

ДЖЕК ЛОНДОН

СОЧИНЕНИЯ

ДЖЕК ЛОНДОН

Рассказы



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1984

84.7 США
Л 76

*Под редакцией
Г. П. Злобина*

Перевод с английского

*Вступительная статья
А. М. Зверева*

*Иллюстраций
П. Н. Пинкисевича*

Лондон Джек
Л 76 Рассказы; Пер. с англ./Вступ. ст. А. М. Зверева; Ил. П. Н. Пинкисевича. — М.: Правда, 1984.— 576 с., ил.

В настоящий том рассказов известного американского писателя Джека Лондона (1876—1916) входят лучшие рассказы, написанные на протяжении всей его жизни.

Л 4703000000—773
080(02)—84 773—84

84.7 США

© Издательство «Правда», 1984. Вступительная статья.
Иллюстрации.

ДЖЕК ЛОНДОН: ВЕЛИЧИЕ ТАЛАНТА И ПАРАДОКСЫ СУДЬБЫ

Всего сорок лет продолжался его жизненный путь, а в литературе он работал менее двух десятилетий. Когда охватываешь взглядом созданное Джеком Лондоном (1876—1916), невольно поражаешься интенсивности, напряженности его писательского труда. И дело здесь не просто в количестве книг — их при жизни Лондона вышло пятьдесят, а еще семь были изданы после смерти. Дело прежде всего в глубоком своеобразии творческого поиска Лондона, который был сущностью и смыслом его писательства, его призванием.

Ему часто завидовали. И в самом деле, по первому впечатлению его судьба может показаться сказочно счастливой. Жадные до сенсации репортеры старались изобразить его взлет как наглядное подтверждение закона «равных возможностей», которые в американском обществе открыты перед каждым. Вот парень из рабочего класса, пасынок фермера, с детства привычный к нищете и не получивший университетского образования, тем не менее стал прославленным писателем, сумел добиться всего, о чем может мечтать человек. Забывали лишь о том, какой ценой все это было оплачено. Забывали, как пылались в захудалых журнальчиках рассказы, которыми вскоре будет зачитываться весь мир, забывали о годах отчаяния и голода и о том нечеловеческом напряжении, какого от него потребовала выматывающая борьба за успех.

Да, это было самосожжение — во имя искусства и во имя успеха: одно здесь не отделить от другого. Творческие силы Лондона были огромны, но он их рано подорвал и ушел тоже рано, не сделав, должно быть, и половины того, что обещало его блистательное дарование. Незачем приглаживать сложности, игнорировать противоречия, которыми отмечено его творчество. Мы знаем о его противоречиях и ошибках, о приступах неверия в себя, о мрачных, мизантропических настроениях, которым он заплатил свою дань — и не однажды.

Но мы знаем и другое: без Джека Лондона немислимо представить себе литературу нашего столетия. А значит, он сказал в литературе

свое слово, над которым время оказалось не властно. И это слово было услышано и современниками и потомками. Мы помним, что один из его лучших рассказов, «Любовь к жизни», нравился Ленину. А с какой теплотой отзывались о Лондоне Горький, и Куприн, и Анатолий Франс!

Зачитанные в детстве до дыр, книги Лондона нередко десятилетиями стоят потом где-то во втором ряду на книжной полке, дожидаясь нового поколения подростков. А если, став взрослыми, мы возвращаемся к ним, то чаще всего для того, чтобы оживить притупляющееся с годами романтическое отношение к жизни, которое когда-то воспитывал в нас овеванный суровой поэзией лондоновский художественный мир.

Учить справедливости и стойкости в испытаниях — одна из благородных задач искусства. Этой задаче служили книги Джека Лондона, и в каждом, кто их читал, остается отблеск их света, даже если сегодня мы этого не создаем.

И все-таки к классикам для юношества он был отнесен слишком поспешно. Он намного сложнее. Художественный талант Джека Лондона был без преувеличения щедрым, помогая ему подняться над своими заблуждениями, подняться и над всей своей эпохой и шагнуть к читателю сегодняшнего дня.

Он родился в Сан-Франциско, городе удачливых дельцов и потерпевших фиаско авантюристов, столице моряков, рудокопов, железнодорожных рабочих Калифорнии. Это был вздыбленный, хаотичный город, где жизнь еще не устоялась, не подчинилась унылому распорядку налаженного буржуазного быта, и каждый горожанин был готов в любой момент сняться с места, отправившись странствовать дальше в поисках богатства или работы.

Землетрясение 1906 года разрушило город до основания, но к тому времени Сан-Франциско успел уже значительно перемениться, утратив свой романтический колорит. Исчезло то ощущение лежащего за будничным горизонтом сказочного, необычайного, дразнящего захватывающими возможностями мира, которое манило сюда людей со всех концов Америки.

Детские годы запомнились Джеку Лондону всегда преследовавшим его чувством голода и первым приобщением к книгам. Он очень рано начал читать и читал все, что попадало под руку. Главным образом это были романы о «бедных добродетельных продавщицах», в финале неизменно становившихся женами миллионеров, но встречались и книги классиков, и это раннее впечатление от настоящей литературы не меркло в его сознании долгие годы.

С детства ему пришлось самому добывать свой хлеб. Он разносил газеты, возил по субботам лед или помогал хозяину кегельбана. «В пятнадцать лет,— пишет он в автобиографическом очерке,— я был мужчиной, равным среди мужчин». Семья бедствовала, и Лондон поступил работать на консервную фабрику, ненавидя этот однообразный, выматывающий труд. А мир за горизонтом влек его к себе все настойчивее.

Юность Лондона овеяна романтикой странствий: на промысловом паруснике он плавал к берегам Чукотки, с отрядом обездоленных совершил марш протеста на Вашингтон и впервые познакомился с рабочим движением, сыгравшим такую большую роль в его жизни и творчестве. В товарных вагонах, в долгие часы ожидания попутного эшелона у насыпи, в ночлежках — всюду люди говорили о социальном неравенстве, несправедливости, бесправии, нищете. Джек Лондон, скитаясь от океана до океана, успел повидать много горя. Жизнь сводила его с теми, кого в прошлом веке называли «низами общества», и он все глубже усваивал жестокие законы действительности. Об этих законах были написаны самые первые его очерки и рассказы. Лондон отправил их в нью-йоркские журналы, они вернулись к автору, были посланы в другие журналы и опять вернулись.

А потом пришла пора Клондайка.

Джек Лондон прибыл туда в самом начале августа 1897 года. Золотоискатели, нахлынувшие на Аляску, устраивались зимовать кто как мог. Зима настигла Лондона у слияния Юкона и реки Стюарт. Там он провел долгих полгода, глубоко восприняв поэзию и правду Севера, и навсегда проникся его суровой красотой, открыл для себя целый художественный мир, ждавший воплощения в слове.

Так родились рассказы, которые позднее принесли Лондону широкую известность. Как художник, он нашел себя на Клондайке. Впечатления этой зимы питали его творчество долгие годы — вплоть до «Смока Белью», вышедшего за четыре года до смерти Лондона.

Когда первые северные рассказы Лондона стали появляться в печати, читателей поразила их новизна, необычность выраженного в них художественного миропонимания. Лондон оставил человека наедине с собой и дал ему возможность испытать себя в тягчайшей борьбе с обстоятельствами, угрожающими самому его существованию. Он вернул высокий смысл понятиям ответственности, товарищества, мужества, воли, чести. Север становится самым суровым в жизни испытанием возможностей, заложенных в человеке.

Своими книгами он вновь и вновь доказывал, что и в тягчайших обстоятельствах человек не беспомощен — решают его духовные качества, его нравственная позиция. Его воля или безволие. Человеч-

ность или своекорыстие. Чувство морального долга или желание разбогатеть любой ценой.

Эту способность передать «величайшее напряжение воли к жизни» особенно ценил в нем А. М. Горький, который писал: «Джек Лондон — писатель, который хорошо видел, глубоко чувствовал творческую силу воли и умел изображать волевых людей»¹.

Герои лучших новелл Лондона оказывались в необычайно драматических жизненных ситуациях, когда отступает все наносное и неистинное в человеке и с беспощадной четкостью выявляется его суть. Психологический рисунок северных рассказов не признает зыбкости штрихов, прихотливой игры оттенков, неясности авторского отношения к персонажам; он вызывает ассоциации не с полотно импрессиониста, а с плакатной графикой.

Лондона привлекали характеры целостные, крупные и выразительные, но эта целостность не являлась — во всяком случае, в лучших его новеллах — следствием упрощения, огрубления внутреннего мира персонажей.

Север переформирует людей, сводя их лицом к лицу с суровыми реальностями бытия, о которых они не задумывались прежде. Вечно преследуемый угрозой самому его физическому существованию, человек должен научиться противоборствовать ей. А для этого необходимы не только крепкие мускулы и ясная голова, но — ничуть не меньше — непритупляющееся чувство товарищества, общей для всех судьбы, человеческого братства. На Клондайке Лондон увидел, как люди освобождаются от индивидуализма, ожесточенности, недоверия друг к другу и словно бы вновь из незнакомых становятся братьями, какими были, наверное, много веков назад, когда их всех спланивала необходимость бороться за жизнь.

«Север есть Север,— писал Лондон,— и человеческие сердца подчиняются здесь странным законам, которых люди, не путешествовавшие в далеких краях, никогда не поймут». Часто не понимали их и сами «путешественники». Для героев, которым отданы симпатии Лондона, главным на Севере было не золото, не обогащение: одних навсегда пленила романтика Клондайка, другие больше всего дорожили крепко завязавшимися здесь узами дружбы, чистотой человеческих отношений. Однако людей заставляла ехать на Север золотая лихорадка, и она не могла не разжигать низменных инстинктов, стремлений во что бы то ни стало добиться удачи. Высокая романтика и грезы нездорового «золотого» ажиотажа переплетались, оставляя причудливый отпечаток в сознании жителей северной страны.

¹ Горький М. О литературе. (Литературно-критические статьи). М., 1953, с. 358.

В наиболее зрелых своих новеллах Лондон нащупывал совершенно новый для его времени тип реализма, сочетающего безукоризненную верность каждой подробности с поэтической фантазией, с лирическими отступлениями, которые перебивали стремительное разворачивание интриги, придавая повествованию углубленность и эпический размах.

Реализм северных рассказов одухотворен поэзией. Самое драгоценное завоевание первых лондоновских книг — лирическая насыщенность и масштабность. Полные отголосков эпических сказаний древности, эти новеллы сегодня воспринимаются как подлинно новаторские образцы складывающейся новой поэтики.

Новеллы были подлинной сагой о Севере. И одним из сказаний, без которых она была бы неполной, стало сказание об индейцах, о том, как «встретился каменный век с веком стали». Эта трагическая встреча приносит утраты, которые уже не возместить, и тяжкую, безысходную драму для тысяч и тысяч.

Другой вопрос, что под пером Лондона изображаемая им драма получила не только социальное истолкование. Север необычайно обострил внимание Лондона к биологической стороне жизни. Это вообще было в духе времени. Считалось, что отношения между людьми, поколениями, расами, народами подчинены «закону жизни»: побеждают молодые, сильные, лучше приспособленные. На Клондайке люди могли выжить, лишь ведя тяжкую и непрерывную борьбу с суровой природой, и каждодневный контакт с нею заставлял проникнуться уважением к ее законам, воздействовал на склад личности. Однако иногда и сильные люди вынуждены были уступать в непрекращающейся борьбе за существование. Подчас эта идея теснила в сознании Лондона веру в действенный гуманизм и писатель расплачивался тягчайшими творческими срывами.

Когда Лондону удавалось, преодолев искус прямолинейных уподоблений, наполнить свои «биологические» повествования большим этическим и философским содержанием, его ждали бесспорные художественные удачи. Здесь прежде всего надо назвать его книги о собаках, в особенности «Белый Клык» (1906).

Лондон был одним из первых писателей XX века, который почувствовал, что в глубинах сознания формируется новое представление о месте человека на земле и о его отношениях с другими обитателями планеты.

Он безошибочно предвидел, что планета будет необратимо «сжиматься», и на покрывшейся густой сетью городов, коммуникаций земле люди совершенно иначе ощутят родство всего живого и научатся по-новому ценить созданный самой природой миропорядок, который они безоглядными «усовершенствованиями» поставили на грань катастрофы.

Он раньше других услышал этот «зов предков», который сегодня побуждает людей из не в меру разросшихся столиц на утлых суденышках пересекать океаны, старательно выискивать еще сохранившиеся кое-где на карте «нецивилизованные» уголки, взбираться на горные пики по опасным, еще никем не пройденным трассам.

И вот это ощущение углубляющегося разрыва между человеком и природой, а вместе с тем — растущих потребностей человека в повседневном, многогранном и живительном общении с природой, с ее обитателями, со всем уходящим миром естественной жизни на редкость интенсивно и полно передано в повестях Лондона о собаках, чем и определяется их поистине выдающаяся художественная ценность.

За каждой картиной и каждым эпизодом этих его книг стоит невысказанная мысль, что человеку уже никогда не вернуть живительного единства с землей, которое еще сохраняет Белый Клык. «Закон дубины и клыка», которому подчиняются прирученные собаки, не может стать для героя законом жизни, ибо он слишком горд. Не может стать им и закон добра и ласки, хотя сердце Белого Клыка переполнено любовью к людям. Но еще сильнее голос инстинкта, голос природы, зовущий его под сень «первобытного закона жизни».

Всем своим строем повесть отрицает иллюзорную, суетливую жизнь, которой противопоставляется реальный мир — суровый и прекрасный мир клондайкской природы. «Читаешь его, — писал о Лондоне Леонид Андреев, — и словно выходишь из какого-то тесного закоулка на широкое лоно морей, забираешь грудью соленый воздух и чувствуешь, как крепчают мускулы, как властно зовет вечно невинная жизнь к работе и борьбе»¹. С огромным мастерством передает Лондон переживания своего мужаящего героя, чьи чувства необычайно полнокровны, интенсивны, ибо сам он неотъемлемая часть того реального мира, в котором растет.

Может быть, именно потому, что Белый Клык во всех своих побуждениях руководствуется голосом природы, ему и дано изведать такую любовь и такое счастье самоотверженности и преданности, какие недоступны чувствам человека, всегда скованного нормами цивилизации с их неизбежным налетом искусственности. Правда, финал повести о клондайкском волке, очутившемся в Калифорнии и мирно играющем со щенятами под южным солнцем, выглядел явно искусственно и противоречил всему ходу авторской мысли. «Бунтарь» Бэк из повести «Зов предков», убежавший от цивилизации и во главе волчьей стаи преследующий стадо лосей, — образ, куда более отвечающий настроениям писателя в дни его молодости.

¹ Лондон Д. Собр. соч., т. 1. СПб., 1912, с. 17.

Скоро и перед самым Джеком Лондоном возникнет проблема выбора между бунтарством и приспособлением к окружавшему его миру, пороки которого он знал лучше многих своих литературных современников, но к которому инстинктивно тянулся, чтобы восстать против него снова и снова.

И обозначится самый глубокий и неразрешимый парадокс его судьбы.

Однако этот парадокс был хотя и главным, но далеко не единственным из тех противоречий, которыми отмечено и мироощущение Лондона и его творчество.

Вернувшись с Клондайка, он снова пережил трудные времена и лишь неистовым упорством сумел добиться признания. Пятнадцать лет спустя, вспоминая о поре своих литературных дебютов, он говорил: «Мне странно теперь думать о том, с каким самозабвением я работал, и о том, как я был беден, как отчаянно хотел пробиться, и еще — как я был счастлив».

В автобиографическом романе «Мартин Иден» (1909) воссоздана эта нелегкая, но прекрасная пора его жизни, когда, скрипя и застревая, колесо фортуны медленно поворачивалось, пока не пришла минута торжества. И там же, в «Мартине Идене», открыто выражены многие внутренние конфликты, пережитые Лондоном уже на заре творчества и не преодоленные им до конца.

Лондон считал себя социалистом, но его позицию никто не называл бы последовательной. Он не представлял себе всей сложности развертывающихся в общественной жизни процессов. И рядом с книгами Маркса на его столе лежали сочинения Ницше, которые он проглатывал залпом, замороженный красочными, романтическими пассажами, в которых немецкий мыслитель прославлял «бунтаря по природе», бросающего вызов дряблему, анемичному, «плебейскому» миру, где всевластен «стадный инстинкт толпы». Клондайкские впечатления Лондона не могли не расположить его к такой философии, и он тщетно пытался примирить ее с фундаментальными положениями научного социализма. Следы этой внутренней борьбы явственны во многих произведениях Лондона, включая и один из его лучших романов — «Морской волк» (1904).

В этой книге не раз возникает бескомпромиссный спор с ницшеанской этикой, причем Лондон не упрощал поставленную им перед собой художественную задачу. Волк Ларсен — характер чрезвычайно сложный, по-своему сильный и цельный, и такой персонаж приличествовал драме, а не сатирическому шаржу. Лондон вложил в книгу всю свою любовь к морю, ввел всегда волновавшую его тему

психологического преобразования человека, в тяжелых испытаниях открывающего в себе и настоящее мужество и неиссякаемую волю к жизни.

Роман был начат блистательно. Он неожиданно «сломался» где-то в середине. Едва рассказчик, Хэмфри Ван-Вейден, сбежал с «Призрака», пустившись в шлюпку вместе с поэтессой Мод в рискованное плавание, завершившееся на необитаемом острове, началось действие совсем иной книги — робинзонады влюбленных, которым рай и в шалаше. Лондону не изменило мастерство: морские пейзажи были все так же великолепны, приключенческая интрига разворачивалась по-прежнему стремительно. Однако исчезло главное — философский поединок, который Лондон устами повествователя вел с Ларсеном в начальных главах.

За несколько дней до смерти Лондон занес в блокнот, всегда лежавший у него на ночном столике: «Мартин Иден» и «Морской волк» развенчивают ницшеанскую философию, а этого не заметили даже социалисты». Винить за это ему следовало в первую очередь самого себя. Творчески он еще не был готов вывести на сцену героя-социалиста; Ларсену противостоял в романе либерально настроенный интеллигент Ван-Вейден, и капитан «Призрака» не раз и не два опровергал его умозрительные аргументы жестокими истинами, подчерпнутыми из практической жизни.

И все-таки никогда еще Лондону не удавалось вылепить столь яркий и непростой характер, как Ларсен в первых главах книги. Всем строем своей философии и всеми своими поступками он старается разрушить тот ореол святости и неприкосновенности, каким в сознании прекраснодушных интеллигентов вроде Хэмфри увенчано понятие «человеческая жизнь». С его точки зрения, «жизнь — это просто торжествующее свинство», и Ларсен умеет находить аргументы в поддержку своей идеи. Сила этих аргументов в том, что понятие «жизнь» для Ларсена обладает не отвлеченным, а реальным, практическим содержанием. Жизнь — это изнурительная борьба за кусок хлеба, безработица, трущобы, бесправие, полицейская дубинка, эпидемии, косящие бедняков сотнями тысяч. Можно ли после этого утверждать, что она священна? Не точнее ли ее назвать самой дешевой из всех дешевых вещей? Что из того, что погибнут десять, сто, пятьсот человек? «Бесчисленные новые жизни ждут своего рождения». И все опять пойдет своим чередом. Вечность? Но это же просто «вечность свинства».

В этой по-своему стройной цепи рассуждений несостоятельна «только» сама исходная посылка: Ларсен отождествляет понятие «жизнь» с понятием «буржуазная цивилизация», и после этого ему не так уж трудно доказать порочность «жизни». Аргументированно

спорить с «волком» мог бы только человек, вооруженный пониманием исторической природы общественных отношений; у Хэмфри его нет, и он вынужден во всех спорах повторять одно и то же: ценность жизни в ней самой, и она не терпит насилия над собой. Аргумент бесспорный, но слишком абстрактный; Хэмфри непросто отражать все новые и новые доводы Ларсена, и он с ужасом замечает, что убийственная логика Ларсена способна поработить и его.

В аргументации Ларсена различимы явные отголоски этических построений Ивана Карамазова из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Да и сами споры, кипящие в капитанской каюте «Призрака», напоминают философскую полемику героев гениального романа русского писателя, повлиявшего на всю мировую литературу XX века и знакомого Лондону с юности. Варварские порядки, заведенные Ларсеном на шхуне, его жестокое глумление над матросами, его бескрайний цинизм, за которым скрываются мучительно переживаемая им духовная опустошенность и одиночество,— все это логические следствия исповедуемой капитаном «Призрака» философии «вседозволенности».

Ларсен — трагический герой, потому что сама эта философия усвоена им не из книг, а явилась во многом естественным результатом всей его изломанной жизни. Однако Лондон не снимает со своего героя ответственности, тем более что Ларсен пошел дальше Ивана Карамазова, трансформировав идею «вседозволенности» в ницшеанский культ «сильного человека», после чего он с необходимостью должен был сделать и еще один шаг и объявить: «Моя единственная доктрина — это целесообразность». Провозглашенное Ларсеном презрение к «свинской» жизни в конечном итоге увело его на противоположный полюс, превратив из бунтаря против уготованной человеку судьбы в предпринимателя-хищника. Лондон понимал закономерность такой эволюции: она-то и была решающим аргументом в его диспуте с Ларсеном. Перелом, происшедший в середине романа, не позволил Лондону довести этот диспут до конца.

Но при всей своей неровности «Морской волк» стал книгой, которая засвидетельствовала заметные сдвиги в сознании Лондона.

А подлинно переломной для него книгой оказалась «Железная пята» (1908), быть может, самый революционный роман в истории американской литературы. Его проблематика была обжигающе актуальной, и Лондон решал ее с принципиальностью, не ведающей никаких уступок. Книга была произведением истинно новаторским — предвидением и вместе с тем обобщенной до символики картиной современности, пролетарским эпосом и притчей, романом-

документом и утопией. Но в «Железной пяте» нет мозаичности художественных планов, поскольку и документализма, и обобщенности, и предвидения требовала сама поднятая Лондоном огромная тема. Это была тема Революции как необходимого и неотвратимого итога всего общественного развития. И тема невиданных потрясений, через которые предстоит пройти человечеству, прежде чем над развалинами капитализма взойдет заря новой эпохи — эры Братства людей.

Выходец из пролетариата, Лондон был долгие годы тесно связан с американским рабочим движением. В литературе он явился одним из первооткрывателей жизни заросших копотью и грязью кварталов, где ютились «люди бездны», — так он озаглавил сборник своих очерков о трущобах английской столицы. Погружаясь в этот мир нищеты, горя и вызревающего гнева, Лондон проникался мыслью о неизбежности переустройства жизни на социалистических началах. И об этом шла речь в его репортажах и новеллах, в публицистических книгах «Борьба классов» и «Революция». Он был непримиримым обличителем социальных язв капитализма, и через все его творчество прошла мысль об обреченности буржуазного миропорядка. А «Железную пяту» по справедливости оценили как произведение, принадлежавшее нарождавшейся социалистической литературе. Об этом писали и А. В. Луначарский и Анатолий Франс.

Новаторство Лондона было предопределено тем, что в «Железной пяте» запечатлен новый этап мирового рабочего движения, открывшийся революцией 1905—1907 годов в России. На страницах книги о ней не раз упоминается открыто. Решают, впрочем, не прямые указания сами по себе. Совершенно новый для западной литературы герой, рабочий-революционер, ставший одним из руководителей борьбы пролетариата, не мог появиться в книге Лондона случайно. Современникам писателя не приходилось гадать о том, почему центральным эпизодом романа стал кровавый разгром Первого восстания американского рабочего класса в Чикаго, а затем по всей стране.

Бесспорно, изображение деятельности профессиональных революционеров в «Железной пяте» не лишено серьезных просчетов; Лондон отдал дань левацкой «романтике». Сказались его личные пристрастия — Лондон всегда тянулся к людям исключительным, бесшабашно храбрым, в любой ситуации полагающимся главным образом на свои индивидуальные качества. Сказалась и незрелость представлений Лондона о том, как практически будет осуществляться революционное переустройство общества, сказалась, наконец, объективно-историческая незрелость американского социалистического движения.

Лондон развенчивал реформистские иллюзии, и в данном случае истина была на его стороне. Однако с ним невозможно было согласиться, когда саму революцию он изображал как итог усилий конспиративных групп, рассматривающих себя как касту избранных, третирующих пролетарскую «массу» и посвятивших себя подпольной войне с олигархией, террору, а то и прямым провокациям, которые приводят к бессмысленной гибели десятков тысяч людей. Но Лондон, который, вероятно, разделял представления своих персонажей о революции, как художник сумел почувствовать опасность избранного ими пути «подвижничества» в одиночку. Его роман приобрел новую актуальность в самые последние годы, когда по странам Запада прокатилась волна левацкого экстремизма с его ультрареволюционной фразеологией, установкой на диверсии и террор. Лондон не ошибся в своем предчувствии, предсказав крайнее обострение социальных противоречий. Современного читателя его роман не может не поразить и тем, что в этой книге предугадано зарождение и распространение фашизма.

«Где-то в недрах общества происходит невидимый глазу, но грандиозный переворот,— говорит Эвергард, главный герой романа, остро чувствующий растущую «угрозу олигархии». —...Что-то надвигается— огромное, неясное, грозное». В эпоху Лондона многих выдающихся писателей преследовало это ощущение близящихся катаклизмов, но, пожалуй, Лондон точнее всех на Западе понял их социальную природу. Он обладал даром предвидения. И в «Железной пяте» уже присутствуют империалистическая война, разразившаяся лишь через шесть лет после выхода книги, и событие, аналогичное поджогу рейхстага с целью начать массовое подавление оппозиции. И тот «порядок», который Железная пята сотворила из хаоса, растоптав бунтарей и «в самом хаосе почерпнув ее основу и строй». И небывалая в истории жестокость расправ над всеми сопротивляющимися, преследований всех недовольных, казней, убийств, охватившая огромную страну эпидемия подозрительности, страха, озлобления...

Картина восстания, созданная в «Железной пяте», была необычайно суровой по краскам: десятки тысяч жертв, разрушенные и сгоревшие кварталы, неистовая ярость с обеих сторон, улицы, заваленные трупами. Но вера Лондона в революцию осталась непоколебимой. Итогом романа оказываются пророческие слова Эвергарда: «Сегодня мы потерпели поражение. Но это ненадолго. Мы многому научились. Завтра, обогатившись новой мудростью и опытом, великое дело возродится вновь». А историк Мередит комментирует повествование как человек, которому лишь специальные знания помогают проникнуть в атмосферу той страшной эпохи, когда олигархия поработила страну,— ведь на земле уже давно настала эра Братства людей.

Вслед за «Железной пятой» был создан роман «Мартин Иден», и, казалось, талант Лондона вступил в пору своего высшего расцвета. В самом деле, писатель теперь работал напряженно, как никогда. Но что-то сломалось. Персонажи получались безжизненными. Художественные идеи выглядели мелкими. И сам реализм Лондона лишился главного — философской мысли. Ее теперь теснили то чистая занимательность, то проповедь.

А проповедовал Лондон нечто такое, что не согласовывалось с его настроениями времен «Железной пяты» да и первых северных рассказов. Он звал к «опрощению», которое одно способно исцелить мир от безумств. Он утверждал, что мирная жизнь на лоне природы, фермерский труд и семейное счастье — панацея от всех бед. Что социальные конфликты будут только множиться, как бы ни старались их разрешить. Что всей «городской» цивилизации суждена гибель. И спасутся лишь те, кто вовремя успеет приобрести участок в долине Сономы, «Лунной долине», и начать все заново, позабыв о былых устремлениях: о культе богатства, о жажде успеха, о требованиях справедливости...

В Лунную долину — неподалеку от Окленда — Лондон переселился в 1911 году. Сюда же бегут, чтобы обрести душевный покой, миллионер Элам Харниш и стенографистка Дид Мэсон — герои его романа «Время-не-ждет» (1910), которым открылся последний период творчества писателя. Эта книга носила все черты переломного произведения. Поначалу она еще очень напоминает прежнего Лондона, умеющего создать великолепные картины Клондайка или с беспощадной резкостью описать пиратские нравы «большого бизнеса». Однако заключительные эпизоды, повествующие о «перерождении» Харниша, которого любовь побудила добровольно объявить себя банкротом и отдаться нравственному самовоспитанию, явно противоречат всей логике романа. Да и бывший герой Клондайка, силач, игрок и романтик, ныне усердно доящий коров и прилаживающий желоб для облегчения стирки пеленок, вопреки авторским намерениям выглядит смешно и жалко.

«Лунная долина» — так назывался программный для позднего Лондона роман, напечатанный в 1913 году. В нем тоже порой оживали мотивы иной эпохи в творчестве писателя, когда темы и образы ему подсказывала жизнь пролетариата. Героям «Лунной долины», прачке Саксон и возчику Биллу, выпадает на долю изведать и несправедливость и нищету, пережить в дни забастовки голод и отчаяние. Но как только им приходит в голову счастливая мысль бежать из «мглы Окленда» на мирные загородные поля, к «естественному» бытию, кошмар их жизни сменяется ничем не омраченной радостью. Ведь люди в долине, как и встарь, «близки к природе и никто понятия не имеет ни о каких рабочих союзах и объединениях предпринимателей».

Верил ли в изображаемую им идиллию сам Лондон? Во всяком случае, хотел верить. Настроения последних лет его жизни можно передать в одном слове — усталость. Тишина Лунной долины, неброская красота окрестных холмов и лесов зачаровали его. Они несли покой и внушали иллюзию осуществившейся гармонии.

Его силы были надломлены, и теперь наступил кризис. Причины этого кризиса порой упрощают, сводят все дело к погоне за деньгами. А на самом деле Лондон чувствовал, что поддержать завоеванную невероятным трудом высокую литературную репутацию самоповторением невозможно. Ему казалось, что в Лунной долине он нашел новую тему, открыл новую «истину», которую необходимо внушить миру. Но он обманулся в этих своих надеждах. Книги, излагавшие программу «опрощения», не расходились; успех «Время-не-ждет» объяснялся не финалом, а динамично написанными северными и «городскими» главами.

«Маленькая хозяйка Большого дома» (1915) местами напоминала об отточенном мастерстве прежнего Лондона, но эти частные удачи не спасли книгу. Лондон все чаще задумывался, в чем смысл его писательского труда.

Сломил его провал «Лунной долины». Сил для нового рывка не было; приходилось полагаться на навык да экспериментировать с необычной для себя тематикой, к которой Лондон совершенно не был готов, — вводить мистику, писать о средневековье.

Закатывалась звезда выдающегося художника, слишком рано растратившего себя. И все-таки закат не был совсем тусклым, и порой по нему можно было угадать литературную «погоду на завтра».

1911-м годом помечен «Мексиканец» — одна из лучших лондонских новелл. Еще в написанной за шесть лет до этого повести «Игра» Лондон не только показал отменное знание ринга, но и едва ли не первым в мировой литературе за его грязью сумел разглядеть особую поэзию спорта, требующего огромного мужества и дающего человеку пережить высшее испытание всех его физических и волевых качеств. В «Мексиканце» поэзия «мужской игры» одухотворена кристально чистым революционным идеалом одного из ее участников — Филипе Риверы, сражающегося ради винтовок для восстания.

Последний раз его талант блеснул в полинезийских и гавайских рассказах. «Сказки южных морей» (1911) и «Храм гордыни» (1912) оживляли в памяти многие мотивы его первых книг. Как и в северных новеллах, человек оказывается здесь лицом к лицу с природой, с бушующим ураганом, который сносит атоллы, с пенящимися громадами волн, в которых vyplывают только самые сильные. Ограбленная Полинезия мстила за себя. Погибал в океане скупщик жемчуга, бессовестно обобравший туземца Мапуи, а огромная жемчужина

возвращалась к хозяину; дряхлый Кулау, как некогда Имбер в «Лиге стариков», один воевал с целым подразделением колонизаторов, охраняя подступы к долине прокаженных. Сверкающий, полный контрастов мир тихоокеанских островов жил в этих книгах по законам «поэтического» реализма, по законам большой литературы.

В гавайских рассказах, составивших посмертно изданный сборник «На циновке Макалоа» (1919), Лондон ввел тему, подхваченную потом Хемингуэем: краткий и блистательный праздник жизни, который заканчивается прощанием навеки, оставив единственный нестирающийся след в памяти и искупив собой всю будничность долгих и бессмысленных лет «благополучного» существования.

Но это был действительно последний взлет. Для Мартина Идена успех оказался ненужным, известность постучала в дом человека, охваченного апатией, испытывающего отвращение к пишущей машинке и бумаге. Лондон сражался до конца, и даже в самые неудачные для него как художника годы из-под его пера выходили глубоко выношенные, подлинно новаторские вещи. Однако случалось это все реже. Накопленный опыт помогал Лондону держаться, но для художника, от которого ждали нового слова, это была шаткая опора. В конечном счете темп бешеной погони за ускользающей славой измотал и его.

Его самоубийство было, по всей вероятности, непредумышленным. Измученный уремией, Лондон не мог обходиться без морфия; приступ в ночь на 22 ноября 1916 года, видимо, был чрезвычайно сильным. Утром его нашли в безнадежном состоянии. В углу спальни валялись два пустых пузырька из-под лекарства. Доза оказалась смертельной.

Было бы явной натяжкой считать, что он ушел в расцвете таланта. Но к созданному им, к намеченным Лондоном путям литература возвращалась так часто и черпала из его опыта так щедро, что некоторые его произведения можно назвать современными и сегодня. Те, в которых больше всего от его личности—бунтаря, скитальца, провозвестника великих битв, рабочего паренька с оклендской окраины, который шагнул в литературу как один из первооткрывателей конфликтов и героев XX века и остался в ней навсегда.

А. Зверев



Рассказы





Белое Безмолвие

Кармен и двух дней не протянет. Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились,— сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку.— Они слабеют и в конце концов издыхают. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума: он...

Раз! Отощавший пес взметнулся вверх, едва не вцепившись клыками Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по голове рукояткой бича опрокинул собаку в снег, она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я и говорю, посмотри на Шукума: Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, что не пройдет и недели, как он задерет Кармен.

— А я,— сказал Мэйлмют Кид, переворачивая хлеб, оттаивающий у костра,— бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести миль по непроложенному

пути, еды хватит всего дней на шесть, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их куском.

— С завтрашнего дня никаких завтраков,— сказал Мэйлмут Кид,— и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, набросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас вдоволь чая. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину—первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что в женщине можно видеть не только животное или вычужную скотину.

— Да, Руфь,— продолжал ее муж на том условном языке, единственно на котором они и могли объясняться друг с другом,— вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедem к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода—словно водяные горы скачут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, двадцать снов, сорок снов—для большей наглядности Мэйсон отсчитывал дни на пальцах,—и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы вот какие высокие—в десять, двадцать сосен!.. Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмута Кида, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмут Кид

насмешливо улыбнулся, но глаза Руфи расширились от удивления и счастья; она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в... в ящик, и—пифф!—поехали.— В виде пояснения Мэйсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал:— И вот—пафф!—уже приехали! О великие шаманы! Ты едешь в Форт Юкон, а я еду в Арктик-сити—двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь соды сколько нужно. И все время ты в Форте Юкон, а я—в Арктик-сити. Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатались со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны, и к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали, потихоньку повизгивая, натягивать постромки, уперся в поворотный шест¹ и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогавший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и суровый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну вперед, хромоногие!—пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на севере—тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

¹ Поворотный шест, или остол—толстый шест, с помощью которого направляют нарты.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются, и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от вертикали на ничтожную долю дюйма грозит бедой, — пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые, валится от изнеможения через сто ярдов, даже если до того он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во весь рост, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по великой Северной Тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и подавленные величиим Белого Безмолвия путники молча прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, — перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом — надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается наедине с богом.

День клонился к вечеру. Русло реки делало тут крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий мыс. Но собаки никак не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то, что Руфь и Мэйлмют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше — нарты выбрались на берег. Но тут вожак потя-

нул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатались вниз по откосу, увлекая за собой упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.

— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид. — Несчастливая и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, — и длинный бич обвился вокруг провинившейся собаки. Кармен — это была она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом перевернулась на бок.

То была трудная, тягостная минута для путников: издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь умоляюще переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький укор, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец — ей, а, может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина, ни единого движения не было в осыпанном снегом лесу; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. Вдруг в воздухе пронесся вздох; они даже не услышали, а скорее ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мэйсон услышал треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он

выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы на ветвях, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался нутужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец, Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища была немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля¹ человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни, и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и подожгли на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог: натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз,— способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре: перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды, сделать ничего нельзя. Медленно тянулась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стойческим отчаянием, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида прибавилось несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэй-

¹ Температура везде дана по Фаренгейту.

сон,— он перенесся в Восточный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. Трогательно звучала мелодия давно забытого южного города: он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все, и каждое слово отдавалось в его душе — так может сочувствовать только тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя, и Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот:

— Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом привязался к ней. Она была хорошей женой, в трудную минуту всегда рядом. А уж что касается нашего промысла, сам знаешь — равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьи Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои

шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает... Дай ему хорошее образование... а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой... надо копать выше. Я намывал, там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мэйлмют Кид натянул на себя парку¹, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла

¹ Парка — верхняя меховая одежда.

столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэйсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь иступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль оставалось не более пяти фунтов муки. Руфь снова подошла к мужу, а Мэйлмют Кид освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки грызлись между собой. Свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к

земле, но только тогда разбежались, когда от Кармен не осталось ни костей, ни клочка шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова перенесся в Теннесси, снова произносил несвязные проповеди, убеждая в чем-то своих собратьев.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело: Руфь наблюдала, как он сооружает хранилище, какие устраивают охотники, желая уберечь припасы от росамах и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича смирив собак, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Товарища он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко над землей.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед властелином всего живущего, перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не стал утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа, — ее народ не знает такого обычая, — а потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, погоняя собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впадшему в беспамятство; Руфь уже давно скрылась из виду, а он все сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неуловимым сочувствием, а прозрачно-чистое и холодное Белое Безмолвие, раскинувшееся под стальным небом, безжалостно.

Прошел час, два — Мэйсон все не умирал. В полдень солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним. Его охватил страх. Раздался короткий выстрел. Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.



Сын Волка

Мужчина редко понимает, как много значит для него близкая женщина,— во всяком случае, он не ценит ее по-настоящему, пока не лишится семьи. Он не замечает тончайшего, неуловимого тепла, создаваемого присутствием женщины в доме; но едва оно исчезнет, в жизни его образуется пустота, и он смутно тоскует о чем-то, сам не зная, чего же ему недостает. Если его товарищи не более умудрены опытом, чем он сам, они с сомнением покачают головами и начнут пичкать его сильнодействующими лекарствами. Но голод не отпускает — напротив, мучит все сильнее; человек теряет вкус к обычному, повседневному существованию, становится мрачен и угрюм; и вот в один прекрасный день, когда сосущая пустота внутри становится нестерпимой, его, наконец, осеняет.

Когда такое случается с человеком на Юконе, он обычно снаряжает лодку, если дело происходит летом, а зимою запрягает своих собак — и устремляется на юг. Несколько месяцев спустя, если он одержим Севером, он возвращается сюда вместе с женою, которой придется разделить с ним любовь к этому холодному краю, а заодно все труды и тяготы. Вот лишнее доказательство чисто мужского эгоизма! И тут поневоле вспоминается история, приключившаяся с Бирюком Маккензи в те далекие времена, когда Клондайк¹ еще не испытал золотой лихорадки и нашествия *чечако*² и славился только как место, где отлично ловится лосось.

В Бирюке Маккензи с первого взгляда можно было узнать пионера, осваивателя земель. На лицо его наложили отпечаток двадцать пять лет непрерывной борьбы с грозными силами природы; и самыми тяжелыми были последние два года, проведенные в поисках золота, таящегося под сенью Полярного круга. Когда щемящее чувство пустоты овладело Бирюком, он не удивился, так как был человек практический и уже встречал на своем

¹ Клондайк — приток Юкона, где в 1896 году были найдены богатейшие россыпи золота.

² Чечако — новички.

веку людей, пораженных тем же недугом. Но он ничем не обнаружил своей болезни, только стал работать еще яростнее. Все лето он воевал с комарами и, разжившись снаряжением под долю в будущей добыче, занимался промывкой песка в низовьях реки Стюарт. Потом связал плот из солидных бревен, спустился по Юкону до Сороковой Мили и построил себе отличную хижину. Это было такое прочное и уютное жилище, что немало нашлось охотников разделить его с Бирюком. Но он несколькими словами, на удивление краткими и выразительными, разбил вдребезги все их надежды и закупил в ближайшей фактории двойной запас провизии.

Как уже сказано, Маккензи был человек практический. Обычно, чего-нибудь захотев, он добивался желаемого и при этом по возможности не изменял своим привычкам и не уклонялся от своего пути. Тяжкий труд и испытания были Бирюку не в новинку, однако ему ничуть не улыбалось проделать шестьсот миль по льду на собаках, потом плыть за две тысячи миль через океан и, наконец, еще ехать добрую тысячу миль до мест, где он жил прежде,— и все это лишь затем, чтоб найти себе жену. Жизнь слишком коротка. А потому он запряг своих собак, привязал к нартам несколько необычный груз и двинулся по направлению к горному хребту, на западных склонах которого берет начало река Танана.

Он был неутомим в пути, а его собаки считались самой выносливой, быстрой и неприхотливой упряжкой на Юконе. И три недели спустя он появился в становище племени стиксов с верховий Тананы. Все племя пришло в изумление, увидев его. О стиксах с верховий Тананы шла дурная слава; им не раз случалось убивать белых из-за такого пустяка, как острый топор или сломанное ружье. Но Бирюк Маккензи пришел к ним один, и во всей его повадке была очаровательная смесь смирения, непринужденности, хладнокровия и нахальства. Нужно большое искусство и глубокое знание психологии дикаря, чтобы успешно пользоваться столь разнообразным оружием; но Маккензи был великий мастер в этих делах и хорошо знал, когда надо подольститься, а когда метать громы и молнии.

Прежде всего он засвидетельствовал свое почтение вождю племени Тлинг-Тиннеху, преподнес ему несколько фунтов черного чая и табаку и тем завоевал его

благосклонность. Затем свел знакомство с мужчинами и девушками племени и в тот же вечер задал им потлач¹. В снегу была вытоптана овальная площадка около ста футов в длину и двадцать пять в ширину. Посередине развели огромный костер, по обе его стороны настлали словых веток. Все племя высыпало из вигвамов, и добрая сотня глоток затянула в честь гостя индейскую песню.

За эти два года Бирюк Маккензи выучился языку индейцев — запомнил несколько сот слов, одолел гортанные звуки, затейливые формы и обороты, выражения почтительности, частицы и приставки. И вот он стал ораторствовать, подделываясь под их речь, полную первобытной поэзии, не скупясь на аляповатые красоты и корявые метафоры. Тлинг-Тиннех и шаман отвечали ему в том же стиле, потом он оделил мужчин мелкими подарками, вместе с ними распевал песни и показал себя искусным игроком в их любимой азартной игре «пятьдесят два».

Итак, они курили его табак и были очень довольны. Однако молодежь племени держалась по-иному — тут чувствовались и вызов и похвальба; и нетрудно было понять, в чем дело, — стоило прислушаться к хихиканью молодых девушек и грубым намекам беззубых старух. Они знавали не так уж много белых людей — Сыновей Волка, — но эти немногие преподали им кое-какие уроки.

При всей своей кажущейся беззаботности Бирюк Маккензи отлично это замечал. По правде сказать, забравшись на ночь в спальный мешок, он все обдумал еще раз, обдумал с величайшей серьезностью и немало трубок выкурил, разрабатывая план кампании. Из всех девушек только одна привлекла его внимание, и не кто-нибудь, а сама Заринка, дочь вождя. Она резко выделялась среди своих соплеменниц; черты ее лица, фигура, осанка больше отвечали представлениям белого человека о красоте. Он добьется этой девушки, он возьмет ее в жены и назовет... да, он будет звать ее Гертрудой! Придя к этому решению, Маккензи повернулся на бок и уснул — истинный сын рода победителей

¹ Потлач — пиршество, на котором хозяин оделяет гостей подарками.

Это была нелегкая задача, она требовала времени и труда, но Бирюк Маккензи действовал хитро, и вид у него при этом был самый беспечный, что совсем сбивало индейцев с толку. Он постарался доказать мужчинам, что он превосходный стрелок и бесподобный охотник, и все становище рукоплескало ему, когда он уложил лося выстрелом с шестисот ярдов. Однажды вечером он посетил вождя Тлинг-Тиннеха в его вигваме из лосиных и оленьих шкур, он хвастал без удержу и не скупился на табак. Не упустил он случая оказать ту же честь и шаману: он ведь хорошо понимал, как прислушивается племя к слову колдуна, и хотел непременно заручиться его поддержкой. Но сей почтенный муж держался до крайности надменно, не пожелал сменить гнев на милость, и Маккензи уверенно занес его в список будущих противников.

Случая поговорить с Заринкой не представлялось, но Маккензи то и дело поглядывал на нее, давая понять, каковы его намерения. И она, разумеется, отлично поняла его, но из кокетства окружала себя целой толпой женщин всякий раз, как мужчины были далеко и Бирюк мог бы к ней подойти. Но он не торопился; притом он знал, что она поневоле думает о нем,—так пусть подумает еще денек-другой, это ему только на руку.

Наконец однажды вечером он решил, что настало время действовать; внезапно поднявшись, он вышел из душного, прокуренного жилища вождя и быстро прошел в соседний вигвам. Заринка по обыкновению сидела окруженная женщинами и молодыми девушками; все они были заняты делом: шили мокасины или расшивали бисером одежду. Маккензи встретили взрывом смеха, посыпались шуточки по адресу его и Заринки; но он без церемоний, одну за другой вышвырнул женщин из вигвама прямо на снег, и они разбежались по становищу, чтобы всем рассказать о случившемся.

Он весьма убедительно изложил Заринке все, что хотел сказать, на ее родном языке (его языка она не знала) и часа через два собрался уходить.

— Так, значит, Заринка пойдет жить в вигвам белого человека? Хорошо! Сейчас я поговорю с твоим отцом, может быть, он еще и не согласен. Я дам ему много даров, но пусть он не спрашивает лишнего. А вдруг он скажет «нет», говоришь ты? Что ж, хорошо! Заринка все равно пойдет в вигвам белого человека.

Он уже поднял шкуру, которой был завешен вход, но тут девушка негромко окликнула его, и он тотчас вернулся. Она опустилась на колени на устилавший пол медвежий мех; лицо ее сияло тем светом, каким светятся лица истинных дочерей Евы; она робко расстегнула тяжелый пояс Маккензи. Он смотрел на нее с недоумением, опасливо прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Но следующий жест девушки рассеял его подозрения, и он улыбнулся, польщенный. Она достала из мешка, где лежало ее рукоделие, ножны из шкуры лося; на них были вышиты бисером яркие фантастические узоры. Вытащила большой охотничий нож Маккензи, почтительно поглядела на острое лезвие, осторожно потрогала его пальцем и вложила в новые ножны. Потом надела их на пояс и сдвинула на обычное место — у левого бедра.

Право же, это было совсем как сцена из далекой старины: дама и ее рыцарь. Маккензи поднял девушку на ноги и коснулся усами ее алых губ — для нее это была незнакомая, чуждая ласка, ласка Волка. Так встретился каменный век с веком стали.

Когда Бирюк Маккензи с объемистым свертком под мышкой вновь появился на пороге шатра Тлинг-Тиннеха, вокруг чувствовалось необычайное оживление. Дети бегали по становищу, стаскивали сучья и хворост для потлача, болтовня женщин стала громче, молодые охотники сходились кучками и мрачно переговаривались, а из жилища шамана доносились зловещие звуки заклинаний.

Вождь сидел один со своей женой, смотревшей прямо перед собой тусклыми, остановившимися глазами, но Маккензи тотчас понял, что то, о чем он собирается говорить, тут уже известно. Он передвинул вышитые бисером ножны на самое видное место в знак того, что обручение совершилось, и немедленно приступил к делу.

— О Тлинг-Тиннех, могучий повелитель племени стиксов и всей страны Танана, властелин лосося и медведя, лося и оленя! Белого человека привела к тебе великая цель. Уже много лун жилище его пусто, и он одинок. Сердце его тоскует в тиши и томится о женщине — пусть сидит рядом с ним в его жилище, пусть

встречает его, когда он возвращается с охоты, разводит огонь в очаге и готовит пищу. Белому человеку чудились странные вещи, он слышал топот маленьких мокасин и детские голоса. И однажды ночью ему было видение. Ворон—твой предок, великий Ворон, отец племени стиксов—явился ему и заговорил с ним. И вот что сказал Ворон одинокому белому человеку: «Надень мокасины, и стань на лыжи, и нагрузи свои нарты припасами для многих переходов и богатыми дарами, предназначенными вождю Тлинг-Тиннеху, ибо ты должен обратиться лицом в ту сторону, где прячется за край земли весеннее солнце, и держать путь в края, где охотится великий Тлинг-Тиннех. Туда привезешь ты щедрые подарки, и сын мой—Тлинг-Тиннех—станет тебе отцом. В его вигваме есть девушка, в которую я для тебя вдохнул дыхание жизни. Эту девушку возьмешь ты в жены». Так говорил великий Ворон, о вождь. Вот почему я кладу эти дары к твоим ногам. Вот почему я пришел взять в жены твою дочь.

Старый вождь царственным жестом плотнее завернулся в свою меховую одежду, но медлил с ответом. В это время в шатер проскользнул мальчишка, ёообщил, что вождя ждут на совет племени, и тотчас исчез.

— О белый человек, которого мы называли Грозой Лосей, известный также под именем Волка и Сына Волка! Мы знаем, ты приходишь из великого племени; мы горды тем, что ты был нашим гостем; но кета не пара лососю. Так и Волк не пара Ворону.

— Неверно!—воскликнул Маккензи.—Я встречал дочерей Ворона в лагерях Волка—у Мортимера, у Треджидго, у Бэрнеби,—в его жилище скво¹ вошла два ледохода назад; и я слышал, что есть еще и другие, хоть и не видел их собственными глазами.

— Ты говоришь правду, мой сын, но это дурные браки: все равно что брак воды с песком, снежинки с солнцем. А встречал ли ты человека по имени Мэйсон и его скво? Нет? Он первым из Волков пришел сюда, десять ледоходов тому назад. С ним был великан, могучий, как медведь гризли, и стройный, как побег ивы, с сердцем, точно полная луна летом. Так вот, его...

¹ Скво—женщина (на языках североамериканских индейцев).

— Да это Мэйлмют Кид! — прервал Маккензи, узнав по описанию личность, хорошо известную всем на Севере.

— Это он, великан. Но видел ли ты когда-нибудь скво Мэйсона? Она родная сестра Заринки.

— Нет, вождь, я не видал ее, но слышал о ней. Далеко-далеко на Севере обрушилась под тяжестью лет вековая сосна и, падая, убила Мэйсона. Но любовь его была велика, и у него было много золота. Женщина взяла золото, взяла сына, которого оставил он ей, и пустилась в долгий путь, и через несчетное множество переходов прибыла в страну, где и зимой светит солнце... Там она живет до сих пор, там нет свирепых морозов, нет снега, летом в полночь не светит солнце, а зимой в полдень не царит мрак.

Тут их прервал второй гонец и сказал, что вождя требуют в совет. Вышвырнув его в снег, Маккензи мельком заметил раскачивающиеся фигуры вокруг огня, где собрался совет племени, услышал размеренное пение низких мужских голосов и понял, что шаман раздувает гнев в людях племени. Время не ждало. Маккензи обернулся к вождю.

— Слушай! — сказал он. — Я хочу взять твою дочь в жены. Смотри: вот табак, вот чай, много чашек сахара, вот теплые одеяла и большие, крепкие платки, а вот настоящее ружье, и к нему много патронов и много пороха.

— Нет, — возразил старик, силясь не поддаться соблазну огромного богатства, разложенного перед ним. — Сейчас собралось на совет мое племя. Оно не захочет, чтоб я отдал тебе Заринку.

— Но ведь ты вождь.

— Да, но юноши наши разгневаны, потому что Волки отнимают у них невест.

— Слушай, Тлинг-Тиннех! Прежде чем эта ночь перейдет в день, Волк погонит своих собак к Восточным Горам и дальше — на далекий Юкон. И Заринка будет прокладывать путь его собакам.

— А может быть, прежде чем эта ночь достигнет середины, мои юноши бросят мясо Волка собакам, и кости его будут валяться под снегом, пока снег не растает под весенним солнцем.

Угроза в ответ на угрозу. Бронзово-смуглое лицо Маккензи залилось краской. Он возвысил голос. Старуха, жена вождя, до этой минуты остававшаяся бесстрастной зрительницей, попыталась проскользнуть мимо него к выходу. Пение оборвалось, послышался гул множества голосов; Маккензи грубо отбросил старуху на ее ложе из шкур.

— Снова я взываю к тебе — слушай, о Тлинг-Тиннех! Волк умирает, сомкнув челюсти, и вместе с ним навсегда уснут десять сильнейших мужчин твоего племени, — а в мужчинах будет нужда, время охоты только начинается, и до начала рыбной ловли осталось не так уж много лун. И что пользы тебе от того, что я умру? Я знаю обычаи твоего народа: не много из моих богатств придется на твою долю. Отдай мне твою дочь — и все достанется тебе одному. И еще скажу тебе: сюда придут мои братья — их много, и они ненасытны, — и дочери Ворона станут рождать детей в жилищах Волка. Мое племя сильнее твоего. Такова судьба. Отдай мне дочь, и все эти богатства — твои.

Снаружи заскрипел под мокасинами снег. Маккензи вскинул ружье и расстегнул кобуры обоих револьверов на поясе.

— Отдай, о Тлинг-Тиннех!

— Но мой народ скажет «нет»!

— Отдай, и это богатство — твое. А с твоим народом я поговорю потом.

— Пусть будет, как хочет Волк. Я возьму дары, но помни, я тебя предупреждал.

Маккензи передал ему подарки, не забыв поднять предохранитель ружья, и дал в придачу ослепительно пестрый шелковый платок. Тут вошел шаман в сопровождении пяти или шести молодых воинов, но Маккензи дерзко растолкал их и вышел из шатра.

— Собирайся! — вместо приветствия коротко бросил он Заринке, проходя мимо ее вигвама, и поспешно стал запрягать собак.

Через несколько минут он явился на совет, ведя за собой свою упряжку; девушка шла бок о бок с ним. Он занял место в верхнем конце утоптанной площадки, рядом с вождем. Заринке он указал место слева от себя, на шаг позади, как ей и подобало. При том в час, когда

можно ждать недоброго, надо, чтобы кто-нибудь охранял тебя с тыла.

Справа и слева склонились к огню мужчины, голоса их слились в древней, полузабытой песне. Нельзя сказать, чтобы она была красива, эта песня,—вся из странных, неожиданных переходов, внезапных пауз, навязчивых повторений. Вернее всего, пожалуй, назвать ее страшной. В дальнем конце площадки с десятком женщин кружились перед шаманом в обрядовой пляске. И шаман гневно выговаривал тем, кто недостаточно самозабвенно отдавался исполнению обряда. Наполовину окутанные распущенными черными, как вороново крыло, волосами, женщины медленно раскачивались назад и вперед, и тела их изгибались, покорные непрерывно меняющемуся ритму.

Странное это было зрелище, чистейший анахронизм. Дальше к югу был на исходе девятнадцатый век, истекали последние годы его последнего десятилетия,—а здесь процветал первобытный человек, тень доисторического пещерного жителя, забытый обломок Древности. Большие рыжие псы сидели рядом со своими одетыми в звериные шкуры хозяевами или дрались из-за места у огня, и отблески костра играли в их налитых кровью глазах, на влажных клыках. Дремучий лес, окутанный призрачным снежным покровом, спал непробудно, не тревожимый происходящим. Белое Безмолвие, на краткий миг отброшенное к дебрям, обступившим становище, словно готовилось вновь заполнить все; звезды дрожали и плясали в небе, как всегда в пору Великого Холода, и Полярные Духи раскинули по всему небосклону свои сияющие огненные одежды.

Бирюк Маккензи, смутно сознавая дикое величие этой картины, обвел взглядом ряды неподвижных фигур в меховых одеждах, высматривая, кого не хватает. На мгновение глаза его остановились на новорожденном младенце, мирно сосавшем обнаженную грудь матери. Было сорок градусов ниже нуля—семьдесят с лишним градусов мороза. Маккензи подумал о нежных женщинах своего народа и хмуро улыбнулся. И, однако, он, рожденный одною из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против ста, в недрах арктической зимы, вдалеке от

родных мест, чувствовал он зов этого наследия — волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть.

Пение и пляски прекратились, и шаман разразился речью. Сложными и запутанными примерами из богатой мифологии индейцев он умело действовал на легковверных слушателей. Он говорил сильно и убедительно. Воплощению мирного созидательного начала — Ворону — он противопоставил Волка-Маккензи, заклеив его как воплощение начала воинственного и разрушительного. Борьба этих начал не только духовная, борются и люди — каждый во имя своего тотема¹. Племя стиксов — дети Джелкса, Ворона, носителя прометеева огня; Маккензи — сын Волка, иными словами — дьявола. Пытаться приостановить эту извечную войну двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу — значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие слова, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи — ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасься к ним в доверие, посланника самого сатаны. Тут слушатели глухо, грозно заворчали, а шаман продолжал:

— Джелкс всемогущ, братья мои! Не он ли принес на землю небесный огонь, чтобы мы могли согреться? Не он ли извлек солнце, месяц и звезды из их небесных нор, чтобы мы могли видеть? Не он ли научил нас бороться с духами Голода и Мороза? А ныне Джелкс разгневался на своих детей, и от племени осталась жалкая горсточка, и Джелкс не поможет им. Ибо они забыли его, они дурно поступают, и идут по дурным тропам, и вводят его врагов в свои вигвамы, и сажают у своего очага. И Ворон скорбит о злонравии своих детей. Но, когда они поймут глубину своего падения и докажут, что они вернулись к Джелксу, он выйдет из мрака им на помощь. О братья! Носитель Огня поведал шаману свою волю, — теперь выслушайте ее вы. Пусть юноши отведут девушек в свои вигвамы, а сами ринутся на Волка, и пусть их ненависть не ослабевает! Тогда женщины будут рождать детей, и народ Ворона станет многочисленным и могуществен-

¹ Тотем — знак племени с изображением животного, растения или какого-либо элемента природы, которому оказывалось религиозное почитание.

ным. И Ворон выведет великие племена их отцов и дедов с Севера, и они будут сражаться с Волками, пока не превратят их в ничто, в пепел прошлогоднего костра, а сами снова станут властелинами всей страны. Так сказал Джелкс, Ворон!

Услышав эту весть о близком пришествии мессии, стиксы с хриплым воплем вскочили на ноги. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Раздались крики: «Лис! Лис!» Они становились все громче; наконец один из молодых охотников выступил вперед и заговорил:

— Братья! Шаман сказал мудрые слова. Волки отнимают наших женщин, и некому рождать нам детей. Нас осталась горсточка. Волки отнимают у нас теплые меха и дают нам взамен злого духа, живущего в бутылке, и одежды, сделанные не из шкуры бобра или рыси, но из травы. И эти одежды не дают тепла, и наши люди умирают от непонятных болезней. У меня, Лиса, нет жены. А почему? Дважды девушки, которые нравились мне, уходили в становище Волка. Вот и сейчас отложил я шкуры бобра, лося, оленя, чтобы завоевать благосклонность Тлинг-Тиннеха и взять в жены его дочь Заринку. И вот, смотрите, она встала на лыжи и готова прокладывать путь собакам Волка. И я говорю не за себя одного. То же самое мог бы сказать Медведь. Он тоже пожелал стать отцом детей Заринки и тоже приготовил много шкур, чтобы отдать Тлинг-Тиннеху. Я говорю за всех молодых охотников, у которых нет жен. Волки вечно голодны. И всегда они берут себе лучшие куски, а нам, Воронам, достаются жалкие остатки.

— Посмотрите, вот Гукла!— и Лис бесцеремонно указал на одну из женщин; она была хромая.— Ноги ее искривлены, точно борта лодки. Она не может собирать дрова и хворост, не может носить за охотниками убитую дичь. Выбрали ее Волки?

— О! О!— вскричали собратья Лиса.

— Вот Мойри,— продолжал он.— Злой дух перекошил ей глаза. Даже младенцы пугаются, глядя на нее, и, говорят, сам медведь уступает ей дорогу. Выбрали ее Волки?

И снова грозный гул одобрения.

— А вот сидит Писчет. Она не слышит моих слов. Никогда она не слышала ни веселой беседы, ни голоса

своего мужа, ни лепета своего ребенка. Она живет в Белом Безмолвии. Разве Волки хотя бы взглянули на нее? Нет! Им достается отборная добыча, нам — остатки. Братья, больше так быть не должно! Довольно Волкам рыскать у наших костров! Время настало!

Гигантское огненное полотнище северного сияния — пурпурное, зеленое, желтое пламя — затрепетало в небе, охватив его от края до края. И Лис, запрокинув голову и воздев руки к небесам, воскликнул:

— Смотрите! Духи наших предков восстали! Великие дела совершатся в эту ночь!

Он отступил, и другой молодой охотник нерешительно вышел вперед, подталкиваемый товарищами. Он был на голову выше всех остальных, широкая грудь обнажена, точно назло морозу. Он переминался с ноги на ногу, слова не шли у него с языка, он был застенчив и неловок. Страшно было смотреть на его лицо: когда-то его, видимо, изорвало, исковеркало каким-то чудовищной силы ударом. Наконец он гулко ударил себя кулаком в грудь, точно в барабан, и заговорил; голос его звучал глухо, как шум прибоя в пещере на берегу океана.

— Я Медведь, Серебряное Копье и сын Серебряного Копья. Когда мой голос был еще звонок, как голос девушки, я убивал рысь, лося и оленя; когда он зазвучал, как крик росوماхи в ловушке, я пересек Южные Горы и убил троих из племени Белой реки; когда он стал, как рев Чинука, я встретил медведя гризли — и я не уступил ему дороги.

Он помедлил, многозначительно провел ладонью по страшным шрамам на лице. Потом продолжал:

— Я не Лис. Язык мой замерз, как река. Я не умею красно говорить. Слов у меня немного. Лис говорит: «Великие дела совершатся в эту ночь». Хорошо! Речь его бежит с языка, точно река в половодье, но на дела он совсем не так щедр. Сегодня ночью я буду сражаться с Волком. Я убью его, и Заринка сядет у моего очага. Я, Медведь, сказал.

Настоящий ад бушевал вокруг, но Маккензи был тверд. Хорошо понимая, что ружье на таком близком расстоянии бесполезно, он незаметно передвинул вперед на поясе обе кобуры, готовясь пустить в дело револьверы, и спустил рукавицы так низко, что они теперь висели у него на пальцах. Он знал — если на

него нападут все разом, ему не на что надеяться, и, верный своей недавней похвальбе, намеревался умереть, сомкнув челюсти на горле врага. Но Медведь сдержал своих собратьев, отбросил самых пылких назад ударами страшного кулака. Буря начала стихать, и Маккензи мельком взглянул на Заринку. Это было великолепное зрелище. Стоя на лыжах, она вся подалась вперед, губы ее приоткрылись, ноздри трепетали — совсем тигрица перед прыжком. В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала. Она так и застыла, судорожно прижав одну руку к груди, стиснув в другой длинный бич. Но как только Маккензи взглянул на нее, Заринку словно отпустило. Напряженные мышцы ослабли, она глубоко вздохнула, выпрямилась и ответила ему взглядом, полным безграничной преданности.

Тлинг-Тиннех пытался заговорить, но голос его утонул в общем крике. И тут Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, но тотчас шарахнулся назад, и пронзительный вопль застрял у него в глотке — с таким бешенством обернулся к нему Маккензи. Поражение Лиса было встречено взрывами хохота — теперь его соплеменники готовы были слушать.

— Братья! — начал Маккензи. — Белый человек, которого вы называете Волком, пришел к вам с открытой душой. Он не станет лгать, подобно иннуиту. Он пришел как друг, как тот, кто хочет стать вам братом. Но ваши мужчины сказали свое слово, и время мирных речей прошло. Так слушайте: прежде всего ваш шаман — злой болтун и лживый прорицатель, и воля, которую он передал вам, — не воля Носителя Огня. Уши его глухи к голосу Ворона, он сам сочиняет коварные небылицы, и он обманул вас. Он бессилен. Когда вам пришлось убить и съесть своих собак и на желудке у вас была тяжесть от сыромятной кожи мокасин; когда умирали старики, и умирали старухи, и младенцы умирали у иссохшей груди матери; когда ваша земля была окутана тьмою и все живое гило, точно лосось в осеннюю пору; да, когда голод обрушился на вас, — разве ваш шаман принес удачу охотникам? Разве он наполнил мясом ваши желудки? Опять скажу вам: шаман бессилен. Вот, я плюю ему в лицо!

Все были поражены этим кошунством, но никто не крикнул. Иные женщины перепугались, мужчины же в волнении ждали чуда. Все взоры обратились на двух главных героев происходящего. Жрец понял, что настала решающая минута, почувствовал, что власть его колеблется, и уже готов был разразиться угрозами, но передумал: Маккензи занес кулак и шагнул к нему — свирепый, со сверкающими глазами. Шаман злобно усмехнулся и отступил.

— Что ж, поразила меня внезапная смерть? Сожгло меня молнией? Или, может, звезды упали с неба и раздавили меня? Тьфу! Я покончил с этим псом. Теперь я скажу вам о моем племени, могущественнейшем из племен, которое владычествует во всех землях. Сначала мы охотимся, как я, в одиночку. Потом охотимся стаями и, наконец, как оленье стада, заполняем весь край. Те, кого мы берем в свои вигвамы, остаются в живых, остальных ждет смерть. Заринка красивая девушка, крепкая и сильная, она будет хорошей матерью Волков. Вы можете убить меня, но она все равно станет матерью Волков, ибо мои братья многочисленны, и они придут по следу моих собак. Слушайте, вот Закон Волка: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Эту цену платили уже во многих землях, во многих землях ее еще будут платить.

Теперь я буду говорить с Лисом и с Медведем. Видно, им приглянулась эта девушка. Так? Но смотрите — я купил ее! Тлинг-Тиннех опирается на мое ружье, и еще я дал за нее другие товары, которые лежат у его очага. И все-таки я буду справедлив к молодым охотникам. Лису, у которого язык пересох от долгих речей, я дам табаку — пять больших пачек. Пусть рот его вновь увлажнится, чтоб он мог всласть шуметь на совете. Медведю же — я горжусь знакомством с ним — я дам два одеяла, двадцать чашек муки, табаку вдвое больше, чем Лису; а если он пойдет со мной к Восточным Горам, я дам ему еще и ружье, такое же, как у Тлинг-Тиннеха. А если он не хочет? Что ж, хорошо! Волк устал говорить. Но он еще раз повторит вам Закон: если ты отнимешь жизнь у одного Волка, десятеро из твоего племени заплатят за это своей жизнью.

Маккензи улыбнулся и отступил на прежнее место, но на душе у него было беспокойно. Ночь была еще совсем темна. Девушка стала рядом с Маккензи и наскоро рассказывала, какие хитрости пускает в ход Медведь, когда дерется на ножах, и Маккензи внимательно слушал.

Итак, решено — они будут биться. Мигом десятки мокасин расширили утопанную площадку вокруг огня. Немало тут было и разговоров о поражении, которое у всех на глазах потерпел шаман; некоторые уверяли, что он еще покажет свою силу, другие вспоминали разные события минувшего и соглашались с Волком. Медведь выступил вперед, в руке у него был обнаженный охотничий нож русской работы. Лис обратил общее внимание на револьверы Маккензи, и тот, сняв свой пояс, надел его на Заринку и передал ей свое ружье. Она покачала головой в знак того, что не умеет стрелять: откуда женщине знать, как обращаться со столь драгоценным оружием.

— Тогда, если опасность придет сзади, крикни громко: «Муж мой!» Нет, вот так: «Муж мой!»

Он рассмеялся, когда она повторила незнакомое английское слово, ущипнул ее за щеку и вернулся в круг. Медведь превосходил его не только ростом, у него и руки были длиннее и нож длиннее на добрых два дюйма. Бирюку Маккензи случалось и прежде смотреть в глаза противнику, и он сразу понял, что перед ним настоящий мужчина; и, однако, он весь ожил при виде сверкнувшей стали, и, послушная зову предков, кровь быстрее побежала в его жилах.

Снова и снова противник отбрасывал его то к самому костру, то в глубокий снег, но снова и снова, шаг за шагом, как опытный боксер, Маккензи отжимал его к центру. Никто не крикнул ему ни единого слова одобрения, тогда как его соперника подбадривали похвалами, советами, предостерегали. Но Маккензи только крепче стискивал зубы, когда со звоном сталкивались лезвия ножей, и нападал или отступал с хладнокровием, которое рождается из сознания своей силы. Сперва он ощущал невольную симпатию к врагу, но это чувство исчезло перед инстинктом самосохранения, который, в свою очередь, уступил место жажде убийства. Десять тысяч лет цивилизации слетели с Маккензи, как шелуха,

и он стал просто пещерным жителем, сражающимся из-за самки.

Дважды он достал Медведя ножом и ускользнул невредимый; но на третий раз, чтобы избежать удара, ему пришлось схватиться с Медведем вплотную — каждый свободной рукой стиснул руку другого, вооруженную ножом. И тут Маккензи почувствовал всю ужасающую силу соперника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения... а лезвие русской стали все ближе, ближе... Он попытался оторваться от противника, но только ослабил свою позицию. Кольцо людей в меховых одеждах сомкнулось теснее, — никто не сомневался, что близок последний удар, и всем не терпелось его увидеть. Но приемом опытного борца Маккензи откатнулся в сторону и ударил противника головой. Медведь невольно попятился, потерял равновесие. Маккензи мгновенно воспользовался этим и, всей тяжестью обрушившись на Медведя, отшвырнул его за круг зрителей, в глубокий, неупотребленный снег. Медведь с трудом выбрался оттуда и ринулся на Маккензи.

— О муж мой! — зазвенел голос Заринки, предупреждая о близкой опасности.

Загудела тетива, но Маккензи уже успел пригнуться, — стрела с костяным наконечником, пролетев над ним, вонзилась в грудь Медведя, и тот тяжело упал, подминая под себя противника. Секунду спустя Маккензи был снова на ногах. Медведь лежал без движения, но по ту сторону костра шаман готовился пустить вторую стрелу.

Маккензи схватил тяжелый нож за конец лезвия, коротко взмахнул им. Сверкнув, как молния, нож пролетел над костром. Лезвие вонзилось шаману в горло по самую рукоятку, он зашатался и рухнул на пылающие уголья.

Клик! Клик! — Лис завладел ружьем Тлинг-Тиннеха и тщетно пытался загнать патрон в ствол, но тотчас выронил ружье, услышав хохот Бирюка.

— Так, значит, Лис еще не научился обращаться с этой игрушкой? Стало быть, Лис пока еще женщина? Поди сюда! Дай ружье, я покажу тебе, что надо делать.

Лис колебался.

— Поди сюда, говорят тебе!

И Лис подошел, неловкий, как побитый щенок.
— Вот так и так—и все в порядке.

Патрон скользнул на место, щелкнул курок, Маккензи вскинул ружье к плечу.

— Лис сказал, что великие дела совершатся в эту ночь, и он говорил правду. Великие дела совершились, но их совершил не Лис. Что же, он все еще намерен взять Заринку в свой вигвам? Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и Медведь? Нет? Хорошо!

Маккензи презрительно отвернулся и вытащил свой нож из горла шамана.

— Может быть, кто-нибудь другой из молодых охотников этого хочет? Если так, Волк отправит их той же дорогой— по двое, по трое, пока ни одного не останется. Никто не хочет? Хорошо. Тлинг-Тиннех, второй раз я отдаю тебе это ружье. Если когда-нибудь ты отправишься на Юкон, знай, что в жилище Волка тебя всегда ждет место у очага и вдоволь еды. А теперь ночь переходит в день. Я ухожу, но, возможно, я еще вернусь. И в последний раз говорю: помните Закон Волка!

Он подошел к Заринке, а они смотрели на него, как на какое-то сверхъестественное существо. Заринка заняла свое место впереди упряжки, и собаки пошли. Несколько минут спустя призрачный снежный лес поглотил их. И тогда стоявший неподвижно Маккензи, в свою очередь, стал на лыжи, готовый двинуться следом.

— Разве Волк забыл про пять больших пачек табаку?

Маккензи гневно обернулся к Лису, но тут же ему стало смешно.

— Я дам тебе одну маленькую пачку.

— Как будет угодно Волку,—скромно сказал Лис и протянул руку.



На Сороковой Миле

ряд ли Большой Джим Белден думал, к чему приведет его вполне как будто безобидное замечание о том, какая «занятная штука» — ледяное сало. Не думал об этом и Лон Мак-Фэйн, заявив в ответ, что еще более занятная штука — донный лед; не думал и

Беттлз, когда он сразу же заспорил, утверждая, что никакого донного льда не существует,— это просто вздорная выдумка вроде буки, которой пугают детей.

— И это говоришь ты,— закричал Лон,— который столько лет провел в этих местах! И мы еще столько раз ели с тобой из одного котелка!

— Да ведь это противоречит здравому смыслу,— настаивал Беттлз,— послушай-ка, ведь вода теплее льда...

— Разница невелика, если проломить лед.

— И все-таки вода теплее, раз она не замерзла. А ты говоришь, она замерзает на дне!

— Да ведь я про донный лед говорю, Дэвид, только про донный лед. Вот иногда плывешь по течению, вода прозрачная, как стекло, и вдруг сразу точно облако закрыло солнце — и в воде льдинки, словно пузырьки, начинают подниматься кверху; и не успеешь оглянуться, как уж вся река от берега до берега, от изгиба до изгиба побелела, как земля под первым снегом. С тобой этого никогда не бывало?

— Угу, бывало, и не раз, когда мне случалось задремать на рулевом весле. Только лед всегда выносило из какого-нибудь бокового протока, пузырьками снизу он не поднимался.

— А наяву ты этого ни разу не видел?

— Нет. И ты не видел. Все это противоречит здравому смыслу. Каждый тебе скажет то же!

Беттлз обратился ко всем сидевшим вокруг печки, но никто не ответил ему, и спор продолжался только между ним и Лоном Мак-Фэйном.

— Противоречит или не противоречит, но то, что я тебе говорю,— это правда. Осенью прошлого года мы с Ситкой Чарли наблюдали такую картину, когда плыли через пороги, что пониже Форта Доверия. Погода была настоящая осенняя, солнце поблескивало на золотых лиственницах и дрожащих осинах, рябь на реке так и сверкала; а с севера уже надвигалась голубая дымка зимы. Ты и сам хорошо знаешь, как это бывает: вдоль берегов реку начинает затягивать ледяной кромкой, а кое-где в заводях появляются уже порядочные льдины; воздух какой-то звонкий и словно искрится; и ты чувствуешь, как с каждым глотком этого воздуха у тебя жизненных сил прибывает. И вот тогда-то, дружище, мир становится тесным и хочется идти и идти вперед.

Да, но я отвлекся.

Так вот, значит, мы гребли, не замечая никаких признаков льда, разве только отдельные льдинки у водоворотов, как вдруг индеец поднимает свое весло и кричит: «Лон Мак-Фэйн! Посмотри-ка вниз! Слышал я про такое, но никогда не думал, что увижу это своими глазами!»

Ты знаешь, что Ситка Чарли, так же как и я, никогда не жил в тех местах, так что зрелище было для нас новым. Бросили мы грести, свесились по обе стороны и всматриваемся в сверкающую воду. Знаешь, это мне напомнило те дни, которые я провел с искателями жемчуга, когда мне приходилось видеть на дне моря коралловые рифы, похожие на цветущие сады. Так вот, мы увидели донный лед: каждый камень на дне реки был облеплен гроздьями льда, как белыми кораллами.

Но самое интересное было еще впереди. Не успели мы обогнуть порог, как вода вокруг лодки вдруг стала белеть, как молоко, покрываясь на поверхности крошечными кружочками, как бывает, когда хариус поднимается весной или когда на реке идет дождь. Это всплывал донный лед. Справа, слева, со всех сторон, насколько хватало глаз, вода была покрыта такими кружочками. Словно лодка подвигалась вперед в густой каше, как клей, прилипавшей к веслам. Много раз мне приходилось плыть через эти пороги и до того и после, но никогда я не видел ничего подобного. Это зрелище запомнилось мне на всю жизнь.

— Рассказывай! — сухо заметил Беттлз. — Неужели ты думаешь, я поверю таким небылицам? Просто-у тебя в глазах рябило да воздух развязал язык.

— Так ведь я же своими глазами видел это; был бы Ситка Чарли здесь, он подтвердил бы.

— Но факты остаются фактами, и обойти их никак нельзя. Это противостоит естественно, чтобы сначала замерзала вода, которая дальше всего от воздуха.

— Но я своими глазами...

— Хватит! Ну что ты заладил одно и то же! — убеждал его Беттлз.

Но в Лоне Мак-Фэйне уже начинал закипать гнев, свойственный его вспыльчивой кельтской натуре:

— Так ты что ж, не веришь мне?!

— Раз уж ты так уперся,— нет; в первую очередь я верю природе и фактам.

— Значит, ты меня обвиняешь во лжи? — угрожающе произнес Лон.— Ты бы лучше спросил свою жену сивашку. Пусть она скажет, правду я говорю или нет.

Беттлз так и вспыхнул от злости. Сам того не сознавая, ирландец больно задел его самолюбие: дело в том, что жена Беттлза, по матери индианка, была дочерью русского торговца пушниной, и он с ней венчался в православной миссии в Нулато, за тысячу миль отсюда вниз по Юкону; таким образом, она по своему положению стояла гораздо выше обыкновенных туземных жен — сивашек. Это была тонкость, нюанс, значение которого может быть понятно только северному искателю приключений.

— Да, можешь понимать это именно так,— подтвердил Беттлз с решительным видом.

В следующее мгновение Лон Мак-Фэйн повалил его на пол, сидевшие вокруг печки повскакали со своих мест, и с полдюжины мужчин тотчас же очутились между противниками.

Беттлз поднялся на ноги, вытирая кровь с губ.

— Драться — это не ново. А не думаешь ли ты, что я с тобой за это рассчитаюсь?

— Еще никто никогда в жизни не обвинял меня во лжи,— учтиво ответил Лон.— И будь я проклят, если я не помогу тебе расквитаться со мной любым способом.

— У тебя все тот же 38—55?

Лон утвердительно кивнул головой.

— Ты бы лучше достал себе более подходящий калибр. Мой револьвер понаделает в тебе дыр величинной с орех.

— Не беспокойся! Хотя у моих пуль рыльце мягкое, но бьют они навывлет и выходят с другой стороны сплюснутыми в лепешку. Когда я буду иметь удовольствие встретиться с тобой? По-моему, самое подходящее место — это у проруби.

— Место неплохое. Приходи туда ровно через час, и тебе не придется долго меня дожидаться.

Оба надели рукавицы и вышли из помещения поста Сороковой Мили, не обращая внимания на уговоры товарищей. Казалось бы, началось с пустяка, но у людей такого вспыльчивого и упрямого нрава мелкие недоразу-

мения быстро разрастаются в крупные обиды. Кроме того, в те времена еще не умели вести разработку золотоносных пластов зимой, и у жителей Сороковой Мили, запертых в своем поселке продолжительными арктическими морозами и страдающих от обжорства и вынужденного безделья, сильно портился характер; они становились раздражительными, как пчелы осенью, когда ульи переполнены медом.

В Северной Стране тогда не существовало правосудия. Королевская конная полиция также была еще делом будущего. Каждый сам измерял обиду и сам назначал наказание, когда дело касалось его. Необходимость в совместных действиях против кого-либо возникала редко, и за всю мрачную историю лагеря Сороковой Мили не было случаев нарушения восьмой заповеди.

Большой Джим Белден сразу же устроил импровизированное совещание. Бирюк Маккензи занял председательское место, а к священнику Рубо был отправлен нарочный с просьбой помочь делу своим участием. Положение совещавшихся было двойственным, и они понимали это. По праву силы, которое было на их стороне, они могли вмешаться и предотвратить дуэль, однако такой поступок, вполне отвечая их желаниям, шел бы вразрез с их убеждениями. В то время как их примитивные законы чести признавали личное право каждого ответить ударом на удар, они не могли примириться с мыслью, что два таких добрых друга, как Беттлз и Мак-Фэйн, должны встретиться в смертельном поединке. Человек, не принявший вызова, был, по их понятиям, трусом, но теперь, когда они столкнулись с этим в жизни, им хотелось, чтобы поединок не состоялся.

Совещание было прервано торопливыми шагами, скрипом мокасин на снегу и громкими криками, за которыми последовал выстрел из револьвера. Одна за другой распахнулись двери, и вошел Мэйлмют Кид, держа в руке дымящийся кольт, с торжествующим огоньком во взгляде.

— Уложил на месте.— Он вставил новый патрон и добавил:— Это твой пес, Бирюк.

— Желтый Клык? — спросил Маккензи.

— Нет, знаешь, тот, вислоухий.

— Черт! Да ведь он был здоров!

— Выйди и погляди.

— Да в конце концов так и надо было. Я и сам думал, что с вислоухим кончится плохо. Сегодня утром возвратился Желтый Клык и сильно покусал его. Потом Желтый Клык едва не сделал меня вдовцом. Набросился на Заринку, но она хлестнула его по морде своим подолом и убежала—отделалась изодранной юбкой да здорово вывалялась в снегу. После этого он опять удрал в лес. Надеюсь, больше не вернется. А что, у тебя тоже погибла собака?

— Да, одна, лучшая из всей своры—Шукум. Утром он вдруг взбесился, но убежал не очень далеко. Налетел на собак из упряжки Ситки Чарли, и они проволокли его по всей улице. А сейчас две из них взбесились и вырвались из упряжки—как видишь, он свое дело сделал. Если мы что-нибудь не предпримем, весной недосчитаемся многих собак.

— И людей тоже.

— Это почему? Разве с кем-нибудь случилась беда?

— Беттлз и Лон Мак-Фэйн поспорили и через несколько минут будут сводить счета вниз, у проруби.

Ему рассказали все подробно, и Мэйлмют Кид, привыкший к беспрекословному послушанию со стороны своих товарищей, решил взяться за это дело. У него быстро созрел план действий; он изложил его присутствующим, и они пообещали точно выполнить указания.

— Как видите,—сказал он в заключение,—мы вовсе не лишаем их права стреляться; но я уверен, что они сами не захотят, когда поймут всю остроумную суть нашего плана. Жизнь—игра, а люди—игроки. Они готовы поставить на карту все состояние, если имеется хотя бы один шанс из тысячи. Но отнимите у них этот единственный шанс, и они не станут играть.—Он повернулся к человеку, на попечении которого находилось хозяйство поста.—Отмерь-ка мне футов восемнадцать самой лучшей полудюймовой веревки. Мы создадим прецедент, с которым будут считаться на Сороковой Миле до скончания веков,—заявил он. Затем он обмотал веревку вокруг руки и вышел из дверей в сопровождении своих товарищей как раз вовремя, чтобы встретиться с главными виновниками происшествия.

— Какого черта он припел мою жену?—заревел Беттлз в ответ на дружескую попытку успокоить

его.— Это было ни к чему!— заявил он решительно.— Это было ни к чему!— повторял он, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэйна.

А Лон Мак-Фэйн с пылающим лицом все говорил и говорил: он открыто восстал против церкви.

— Если так, отец мой,— кричал он священнику,— если так, то я с легким сердцем завернусь в огненные одеяла и улягусь на ложе из горящих углей! Никто тогда не посмеет сказать, что Лона Мак-Фэйна обвинили во лжи, а он проглотил обиду, не шевельнув пальцем! И не надо мне вашего благословения! Пусть моя жизнь была беспорядочной, но сердцем я всегда знал, что хорошо и что плохо.

— Лон, но ведь это не сердце,— прервал его отец Рубо.— Это гордыня толкает тебя на убийство ближнего.

— Эх вы, французы!— ответил Лон. И затем, повернувшись, чтобы уйти, он спросил:— Скажите, если мне не повезет, вы отслужите по мне панихиду?

Но священник только улыбнулся в ответ и зашагал в своих мокалинах по снежному простору уснувшей реки. К проруби вела утоптанная тропинка шириной в санный след, не более шестнадцати дюймов. По обеим сторонам ее лежал глубокий мягкий снег. Молчаливая вереница людей двигалась по тропинке; шагающий с ними священник в своем черном облачении придавал процессии какой-то похоронный вид. Был теплый для Сороковой Мили зимний день; свинцовое небо низко нависло над землей, а ртуть термометра показывала необычные для этого времени года двадцать градусов ниже нуля. Но это тепло не радовало. Ветра не было, угрюмые, неподвижно висящие облака предвещали снегопад, а равнодушная земля, скованная зимним сном, застыла в спокойном ожидании.

Когда подошли к проруби, Беттлз, который, очевидно, по дороге мысленно переживал ссору, в последний раз разразился своим: «Это было ни к чему!» Лон Мак-Фэйн продолжал хранить мрачное молчание. Он не мог говорить: негодование душило его.

И все же, отвлекаясь от взаимной обиды, оба в глубине души удивлялись своим товарищам. Они полагали, что те будут спорить, протестовать, и это молчаливое неппротивление больно задевало их. Можно было ожидать большего участия со стороны столь близких людей, и в душе у обоих поднималось смутное чувство

обиды: их возмущало, что друзья собрались, словно на праздник, и без единого слова протеста готовы смотреть, как они будут убивать друг друга. Видно, не так уж дорожили ими на Сороковой Миле. Поведение товарищей приводило их в замешательство.

— Спиной к спине, Дэвид. На каком расстоянии будем стреляться—пятьдесят шагов или сто?

— Пятьдесят,—решительно ответил тот; это было сказано достаточно четко, хотя и ворчливым тоном.

Внезапно зоркий взгляд ирландца упал на веревку, небрежно обмотанную вокруг руки Мэйлмюта Киды, и он мгновенно насторожился.

— А что ты собираешься делать с этой веревкой?

— Ну, вы, поторапливайтесь!—сказал Мэйлмют Кид, не удостоив его ответом, и взглянул на свои часы.—Я собрался было печь хлеб и не хочу, чтобы тесто село. Кроме того, у меня уже ноги мерзнут.

Остальные тоже начали выказывать нетерпение, каждый по-своему.

— Да, но зачем веревка, Кид? Она же совершенно новая, и уж, конечно, твои хлебы не такие тяжелые, чтобы их нужно было вытягивать веревкой?

В это время Беттлз оглянулся кругом. Отец Рубо прикрыл рукавицей рот: до него только сейчас начал доходить комизм положения.

— Нет, Лон, эта веревка предназначена для человека.

Мэйлмют Кид при желании мог говорить очень внушительно.

— Для какого человека? — Беттлза начинал интересоваться разговор.

— Для второго.

— А кого ты подразумеваешь под этим?

— Послушай, Лон, и ты, Беттлз, тоже! Мы обсудили эту вашу маленькую ссору и приняли одно решение. Мы знаем, что не имеем права запретить вам драться...

— Вот это верно!

— А мы и не собираемся. Но зато мы можем сделать—и сделаем—так, чтобы этот поединок оказался первым и последним в лагере на Сороковой Миле. Пусть это послужит уроком для каждого чечака на Юконе. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь приступайте!

Лон недоверчиво улыбнулся, затем лицо его оживилось:

— Отмеривай пятьдесят шагов, Дэвид; разойдемся и будем стрелять до тех пор, пока один из нас не свалится мертвым. Не посмеют они это сделать! Ты же знаешь, что это штучки нашего янки. Он просто хочет запугать нас!

Он двинулся вперед, самодовольно ухмыляясь, но Мэйлмут Кид остановил его:

— Лон! Давно ты меня знаешь?

— Давно, Кид.

— А ты, Беттлз?

— В июне, в половодье, будет пять лет.

— Был хоть один случай, чтобы я не сдержал свое слово? Может быть, вы хоть от других слышали о таком случае?

Оба отрицательно покачали головой, стараясь в то же время понять, что скрывалось за его вопросами.

— Значит, на мое обещание можно положиться?

— Как на долговую расписку,—изрек Беттлз.

— Верное дело, не то что надежда на райское блаженство,—быстро подтвердил Лон Мак-Фэйн.

— Ну так слушайте! Я, Мэйлмут Кид, даю вам слово,—а вы знаете, что это значит,—что тот из вас, кто останется в живых, будет повешен через десять минут после дуэли.—Он отступил назад, как, быть может, сделал Понтий Пилат, умыв руки.

Молча стояли люди Сороковой Мили. Небо нависло еще ниже, осыпая на землю кристаллическую морозную пыль—крошечные геометрические фигурки, прекрасные и эфемерные, как дыхание, которым тем не менее суждено было существовать до тех пор, пока солнце, возвращаясь, не пройдет половину своего северного пути. Как Беттлзу, так и Лону не раз приходилось отчаянно рисковать; однако, пускаясь в опасное предприятие, с проклятиями или шутками на языке, они всегда сохраняли в душе неизменную веру в Счастливого Случай. Но на сей раз участие этого милостивого божества совершенно исключалось. Они вглядывались в лицо Мэйлмута Кида, тщетно сясь разгадать его истинные намерения, но оно было непроницаемо, как у сфинкса. И по мере того как в тягостном молчании

проходила минута за минутой, они все больше ощущали потребность сказать что-нибудь.

Собачий вой резко разорвал тишину; он доносился со стороны Сороковой Мили. Зловещий звук усиливался, наполняясь отчаянием и предсмертной тоской, и наконец замер.

— Черт возьми! — Беттлз поднял воротник своей теплой куртки и беспомощно оглянулся кругом.

— Выгодную игру ты затеял, Кид! — воскликнул Лон Мак-Фэйн. — Весь выигрыш заведению, и ни гроша игроку. Сам черт не сумел бы придумать такой штуки, и будь я проклят, если я пойду на это.

Когда обитатели Сороковой Мили взбирались по вырубленным во льду ступенькам на берег и пересекали улицу, направляясь к посту, можно было услышать приглушенные смешки и перехватить лукавые подмигивания, едва заметные под пушистыми от инея ресницами. Снова раздался протяжный угрожающий вой собаки. За углом пронзительно взвизгнула женщина. Кто-то крикнул: «Вот он!» И в толпу стремительно врезался мальчик-индеец, а потом полдюжины перепуганных собак, которые мчались с такой быстротой, словно за ними гналась сама смерть. Им вслед пронесся Желтый Клык, ошетинив серую шерсть. Все, кроме янки, бросились бежать. Мальчик споткнулся и упал. Беттлз задержался ровно настолько, чтобы успеть схватить его за края меховой одежды, и вместе с ним бросился к высокой поленнице, куда успели забраться несколько его товарищей. Желтый Клык, преследую одну из собак, уже возвращался быстрыми прыжками. Беглянка, совершенно обезумевшая от страха, сбила Беттлаза с ног и бросилась по улице. Мэйлмют Кид быстро, не целясь, выстрелил в Желтого Клыка. Бешеный пес взвился и, перекувырнувшись в воздухе, упал на спину, но тут же вскочил и одним прыжком покрыл половину расстояния, отделявшего его от Беттлаза.

Но второй роковой прыжок не состоялся. Лон Мак-Фэйн вскочил с поленницы, встретил Желтого Клыка на лету. Они покатались по земле; Лон схватил собаку за горло и удерживал ее морду вытянутой рукой на расстоянии. Зловонная слюна брызнула ему в лицо. И вот тогда Беттлз, с револьвером в руке хладнокровно выжидавший удобного момента, решил исход поединка.



— Это была честная игра, Кид,— сказал Лон, поднимаясь на ноги и вытряхивая снег из рукавов,— и выигрыш достался мне по праву.

Вечером, в то время как Лон Мак-Фэйн, решив вернуться во всепрощающее лоно церкви, направлялся к хижине отца Рубо, Мэйлмют Кид и Маккензи вели длинный, но почти безрезультатный разговор.

— Неужели ты сделал бы это,— упорствовал Маккензи,— если бы они все-таки стрелялись?

— Был ли случай, чтобы я не сдержал свое слово?

— Нет, но не о том речь. Ты отвечай. Сделал бы ты это?

Мэйлмют Кид выпрямился.

— Знаешь, Бирюк, я сам все время спрашиваю себя об этом и...

— И. что?

— И вот пока не могу найти ответа.



В далеком краю

Когда человек уезжает в далекие края, он должен быть готов к тому, что ему придется забыть многие из своих прежних привычек и приобрести новые, отвечающие изменившимся условиям жизни. Он должен расстаться со своими прежними идеалами, отречься от прежних богов, а часто и отрешиться от тех правил морали, которыми до сих пор руководствовался в своих поступках. Те, кто наделен особым даром приспособляемости, могут даже находить удовольствие в новизне положения. Но для тех, кто заостенел в привычках, приобретенных с детства, гнет изменившихся условий невыносим,— такие люди страдают душой и телом, не умея понять требований, которые предъявляет к ним иная среда. Эти страдания порождают дурные наклонности и навлекают на человека всевозможные бедствия. Для того, кто не может войти в новую жизненную колею, лучше сразу вернуться на родину; промедление будет стоить ему жизни.

Человек, распрощавшийся с благами старой цивилизации ради первобытной простоты и суровой юности Севера, может считать, что его шансы на успех обратно

пропорциональны количеству и качеству безнадежно укоренившихся в нем привычек. Он вскоре обнаружит, если только вообще способен на это, что материальные жизненные удобства еще не самое важное. Есть грубую и простую пищу вместо изысканных блюд, носить мягкие бесформенные мокасины вместо кожаной обуви, спать на снегу, а не на пуховой постели—ко всему этому в конце концов привыкнуть можно. Но самое трудное—это выработать в себе должное отношение ко всему окружающему, и особенно к своим ближним. Ибо обычную учтивость он должен заменить в себе снисходительностью, терпимостью и готовностью к самопожертвованию. Так и только так он может заслужить драгоценную награду—истинную товарищескую преданность. От него не требуется слов благодарности—он должен доказать ее на деле, воздав добром за добро, короче, заменить видимость сущностью.

Когда весть об арктическом золоте облетела мир и людские сердца неудержимо потянуло к Северу, Картер Уэзерби распрощался со своим насиженным местом в конторе, где он работал клерком, перевел половину сбережений на имя жены, а на оставшиеся деньги купил себе все необходимое для путешествия. В его натуре не было романтики—занятия коммерцией уничтожили в нем все подобные склонности,—ему просто надоело тянуть служебную лямку и захотелось отважиться на риск в надежде на то, что риск себя оправдает. Подобно многим другим глупцам, презревшим старые, испытанные дороги, которыми в течение долгих лет шли пионеры Севера, он в самом начале весны поспешил в Эдмонтон и там, на свое несчастье, примкнул к партии золотоискателей.

Не было ничего необычного в этой партии, за исключением ее планов. Даже конечной целью ее, как и всех подобных партий, был Клондайк. Но маршрут был выбран такой, что мог поставить в тупик даже самого отважного уроженца Северо-Запада, привыкшего к заключениям. Даже Жак-Батист—сын индианки из племени чиппева и *voyageur*¹, издавший свой первый крик в вигваме из оленьих шкур, севернее шестьдесят пятой

¹ Профессиональный проводник, главным образом из канадских французов (*фр.*).

параллели, и умолкнувший, когда ему сунули в рот кусок сырого сала, даже Жак-Батист был поражен. Хотя он и продал этим людям свои услуги и согласился сопровождать их до вечных льдов, но и он злоеще покачал головой, когда спросили его совета.

В ту пору, должно быть, как раз восходила и несчастливая звезда Перси Катферта, ибо он также присоединился к этой компании аргонавтов. Это был самый обыкновенный человек, чей счет в банке был столь же солиден, как и его образование,—а это уже немало. Он не имел никаких оснований пускаться в такое предприятие, ровно никаких, за исключением, может быть, того, что он страдал избытком сентиментальности. Он ошибочно принял эту свою черту за страсть к романтическим приключениям. Людям часто случается впадать в подобную ошибку и затем жестоко расплачиваться за нее.

Первые дни весны застали партию на Элк-ривер, и как только прошел лед, путешественники отправились вниз по течению. Это была целая флотилия—так как поклажи оказалось много,—сопровождаемая пестрой толпой метисов-проводников с женщинами и детьми. Изю дня в день люди трудились за веслами, воюя с москитами и прочей назойливой мошкаррой, обливались потом и бранились, когда нужно было перетаскивать лодки волоком. Суровый труд обнажает человеческую душу до самых ее глубин, и, прежде чем партия миновала озеро Атабаска, каждый из членов экспедиции показал свою подлинную натуру.

Картер Уэзерби и Перси Катферт оказались лодырями и неисправимыми нытиками. Каждый из них жаловался на свои болезни и трудности больше, чем все остальные, вместе взятые. Не было случая, чтобы они добровольно взялись хотя бы за какое-нибудь дело. Чуть только являлась необходимость принести ведро воды, нарубить лишнюю охапку дров, переменить и перетереть посуду или отыскать в гряде вещей какой-нибудь неожиданно понадобившийся предмет, эти два бессильные отпрыска цивилизации немедленно обнаруживали у себя растяжение связок или волдыри на руках, требующие срочного лечения. Они первыми устраивались на ночлег, не закончив порученного им дела, и последними вставали утром, хотя требовалось еще до завтрака

подготовить все к отъезду. Они первыми садились за еду и последними помогали приготовить пищу, первыми вылавливали лучший кусок и последними замечали, что прихватили порцию соседа. Если им приходилось грести, они просто погружали весла в воду, предоставляя трудиться другим, а лодке самой плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи втихомолку проклинали их и начинали ненавидеть, а Жак-Батист открыто насмехался над ними и поносил их с утра до ночи,— правда, Жак-Батист не был джентльменом.

У Большого Невольничьего озера партия закупила собак и до отказа нагрозила лодки запасами вяленой рыбы и пеммикана. Тем не менее быстрое течение Маккензи легко подхватило их и понесло вперед к Великой Бесплодной Земле. По пути они тщательно обследовали каждый мало-мальски обещающий ручеек, но золотой мираж по-прежнему ускользал от них все дальше на север. У Большого Медвежьего озера проводники, поддавшись извечному страху перед неизведанными землями, начали покидать золотоискателей. У Форта Доброй Надежды последние и самые отважные из них взялись за канаты и потащили свои лодки вверх по реке, которой они так недавно еще доверялись. Остался один только Жак-Батист, но разве он не поклялся сопровождать партию до вечных льдов?

Теперь путники постоянно обращались к своим картам, составленным главным образом понаслышке. Они понимали, что надо спешить, так как летнее солнцестояние уже закончилось и снова надвигалась арктическая зима. Огибая берега залива, где Маккензи впадает в Северный Ледовитый океан, они вошли в устье реки Литтл-Пил. Затем начался трудный путь вверх по течению, и оба «никудашника» справлялись с работой еще хуже, чем прежде. Приходилось тянуть лодки канатом, передвигать их с помощью багра и весел, переправлять через пороги и перетаскивать волоком, и эти испытания внушили одному из них глубокое отвращение к рискованным затеям, а другому дали красноречивое доказательство того, что представляет собою обратная сторона романтики. Однажды они взбунтовались и, несмотря на неистовую ругань Жака-Батиста, не тронулись с места. Метис избил обоих до крови и

заставил работать. Для каждого из них это были первые побои в жизни.

Оставив свои лодки у истоков Литтл-Пил, путники провели остаток лета, совершая трудный переход через водораздел рек Маккензи и Уэст-Рэт. Последняя — приток реки Поркьюпайн, которая, в свою очередь, впадает в Юкон там, где этот великий водный путь с Севера пересекает Полярный круг. Но зима опередила их, и однажды их плоты прибило ко льду, после чего они сразу же поспешили выгрузить свои вещи на берег. Ночью на реке образовывались заторы, льдины с треском раскалывались; к утру все оцепенело в мертвом сне.

— Мы, должно быть, не дальше четырехсот миль от Юкона, — заключил Слоупер, отмечая расстояние по карте ногтем большого пальца.

Совещание, на котором оба «никудашника» хныкали и жаловались на неудачу, подходило к концу.

— Когда-то тут был пост Компании Гудзонова залива. Теперь ничего нет, — сказал Жак-Батист, отец которого, состоявший на службе Пушной компании, совершил в давние времена путешествие по этим местам, после чего недосчитался двух пальцев на ноге.

— Да он не в своем уме! — раздался голос. — Разве здесь нет белых?

— Ни одного! — решительно заявил Слоупер. — Но когда мы выйдем к Юкону, то до Доусона останется миль пятьсот. Так что всего можно считать около тысячи миль.

Уэзерби и Катферт дружно заохали.

— За сколько же времени мы доберемся, Батист? Метис на минуту задумался.

— Если все мы будет работать, как черти, и никто не выйдет из игры, то десять, двадцать, сорок, пятьдесят дней. А с этими младенцами, — он кивнул на обоих «никудашников», — даже не знаю. Может быть, когда сам ад замерзнет, а может быть, и никогда.

Люди, чинившие свои лыжи и мокасины, оставили работу. Кто-то окликнул по имени отсутствующего участника похода, и тот, выйдя из старой хижины неподалеку от костра, присоединился к остальным. Эта хижина была одной из многих загадок, таившихся среди необъятных просторов Севера. Кем и когда она была построена, никто не знал. Две могилы у входа, отмечен-

ные высокими горами камней, хранили, быть может, тайну ранних пришельцев. Но чья рука складывала эти камни?

Решительный момент настал. Жак-Батист перестал прилаживать упряжь и успокоил упрявившуюся собаку. Повар взглядом попросил помедлить и, бросив несколько кусков бекона в бурлящий котелок с бобами, приготовился слушать. Слоупер поднялся на ноги. Его фигура представляла разительный контраст с обоими «никудашниками», сохранявшими вполне здоровый вид. Слабый, с болезненно-желтым лицом, ибо совсем недавно прибыл из Южной Америки, вырвавшись из какой-то дыры, где свирепствовала лихорадка, он, однако, не потерял вкуса к странствиям и все еще был способен работать наравне с остальными. Веса в нем было не больше девяноста фунтов, даже если считать тяжелый охотничий нож; седеющие волосы свидетельствовали о том, что молодость его уже миновала. Сила молодых мускулов Уэзерби или Катферта в десять раз превышала его силу, и все же они не могли за ним угнаться. В течение целого дня он убеждал их решиться на тысячемильный переход, сулящий жесточайшие трудности, которые только может представить себе человек. Он был воплощением неутомимости своей расы, и древнее тевтонское упорство в соединении с сообразительностью и энергией янки поддерживало в нем силу духа.

— Те, кто намерен продолжать путь, как только река окончательно станет, пусть скажут «да».

— Да! — раздалось в ответ восемь голосов. Этим голосам суждено было не раз проклинать судьбу на протяжении многих сотен миль труднейшего пути.

— Кто против, пусть скажет «нет».

— Нет!

Первый раз оба «никудашника» пришли к единодушию, не поступаясь личными интересами каждого.

— Как же вы теперь будете решать? — воинственно спросил Уэзерби.

— Большинство голосов, большинством голосов! — закричали остальные члены партии.

— Я знаю, что экспедиция может потерпеть неудачу, если вы не пойдете с нами, — вкрадчиво сказал Слоупер, — но я думаю, что если мы будем очень стараться,

то уж как-нибудь обойдемся без вас. Что скажете, ребята?

В ответ раздался гул одобрения.

— Но послушайте,—нерешительно сказал Катферт,—а мне-то что делать?

— С нами ты идти не собираешься?

— Не-е-т.

— Ну так и делай что хочешь, черт возьми! В конце концов нас это не касается.

— А ты посоветуйся со своим дружкой,—проговорил один уроженец Дакоты, указывая на Уэзерби.— Когда понадобится сварить обед или пойти за дровами, он, наверное, даст тебе хороший совет.

— Тогда будем считать, что все улажено,—заклучил Слоупер.— Мы тронемся в путь завтра. Через пять миль сделаем остановку, чтобы окончательно все проверить и посмотреть, не забыли ли чего-нибудь.

Нарты заскрипели на окованных сталью полозьях, и собаки тронулись с места, медленно натягивая упряжь, в которой им суждено жить и умереть. Жак-Батист помедлил минуту возле Слоупера и бросил на хижину прощальный взгляд. Из трубы подымалась чуть заметная струйка дыма — это топилась юконская печь. Оба «никудышника», стоя на пороге, следили за отъезжающими.

Слоупер положил руку на плечо метиса.

— Жак-Батист, слышал ли ты когда-нибудь о котах из Килкении?

Тот отрицательно покачал головой.

— Так вот, дружище, раз в Килкении подрались два кота, да так подрались, что после драки только клочья шерсти остались! Ну так вот. Эти двое не любят работать. Они и не будут работать. Это уж наверняка. Они остаются в этой хижине вдвоем на всю зиму, долгую, черную зиму. Теперь понимаешь, почему я вспомнил про котов из Килкении?

Батист-индеец промолчал, Батист-француз в ответ пожал плечами, и все же это был красноречивый жест, заключавший в себе пророчество.

Первое время в хижине все шло хорошо. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Катферта понять взаимную ответственность; кроме того, для двух здоро-

вых мужчин дела в конце концов было не так уж много. Избавление от грозного метиса, его карающей руки дало благотворные результаты. Вначале каждый из них старался превзойти другого, выполняя всякие мелкие работы с усердием, которому немало подивились бы их товарищи, совершавшие в это время долгий и трудный путь по Великой Северной Тропе.

Все тревоги теперь исчезли. Лес, подступавший к хижине с трех сторон, хранил неиссякаемый запас дров. В нескольких ярдах от дверей хижины спала река Поркьюпайн; достаточно было прорубить отверстие в ее зимнем покрове, чтобы иметь источник кристально чистой ледяной воды. Но вскоре они стали тяготиться даже этой несложной обязанностью,— прорубь постоянно замерзала, и нужно было снова и снова браться за топор. Неизвестные строители хижины сделали позади пристройку для хранения провизии. Здесь находилась большая часть оставленных экспедицией запасов. Пищи было много, ее хватило бы человек на шесть, но продукты все больше были такие, что годились для поддержания сил и укрепления мышц, но едва ли могли служить лакомством. Правда, сахару было достаточно для двух взрослых мужчин, но эти двое мало чем отличались от детей: они очень скоро обнаружили, как вкусен напиток из горячей воды с сахаром, макали в него сухари и обильно поливали оладьи густым белым сиропом. Огромное количество сахара истреблялось также с кофе, чаем и особенно с сушеными фруктами. Сахар и стал причиной первой перебранки. А когда двое людей, вынужденных проводить все свое время вдвоем, и только вдвоем, начинают ссориться,— дело плохо.

Уэзерби любил всегда разглагольствовать о политике, тогда как Катферт, всегда предпочитавший спокойно стричь купоны, не вмешиваясь в государственные дела, или вовсе игнорировал подобные разговоры, или раздражался едкими остротами. Но природная тупость мешала клерку оценить блестящую форму, в которую облакалась мысль Катферта, и тот злился, видя, что понапрасну тратит порох: он привык ослеплять слушателей блеском своего красноречия и очень страдал от отсутствия аудитории. Он воспринимал это как личную обиду и в глубине души даже ставил своему товарищу в вину его скудоумие.

Если не считать совместной жизни, у них не было решительно ничего общего, ни одной точки соприкосновения. Уэзерби всю жизнь прослужил в конторе и, помимо конторской работы, ничего не знал и не умел делать. Катферт был магистром искусств, на досуге писал маслом и даже пробовал свои силы в литературе. Один принадлежал к низшим слоям общества, но считал себя джентльменом, а другой был джентльменом и сознавал себя таковым. Отсюда следует вывод, что можно быть джентльменом и не обладая элементарным чувством товарищества. Один был грубо-чувственной натурой, другой — эстетом; и бесконечные рассказы клерка о его любовных похождениях, являвшиеся по преимуществу плодом фантазии, действовали на утонченного магистра искусств, как зловоние из сточной канавы. Он считал клерка грязным животным, которому место в хлеву со свиньями, и прямо говорил ему об этом. В ответ Катферту сообщалось, что он «размазня» и «хам». Что в данном случае означало слово «хам», Уэзерби не смог бы объяснить ни за что на свете, но оно достигало цели, а это в конце концов казалось самым главным.

Отчаянно фальшивя, Уэзерби часами распевал песенки вроде «Бандит из Бостона» или «Юнга-красавчик», так что в конце концов Катферт, который буквально плакал от ярости, не выдерживал больше и выбежал за дверь. Положение становилось безвыходным. Оставаться на морозе долго было невозможно, а в маленькой хижине размером десять на двенадцать, вмещавшей две койки и стол, им вдвоем было чересчур тесно. Для каждого из них само присутствие другого было уже личным оскорблением, и время от времени они впадали в угрюмое молчание, которое становилось все более длительным и глубоким, по мере того как шли дни. Во время этих периодов молчания они старались совершенно не замечать друг друга, но иногда не выдерживали и позволяли себе искоса брошенный взгляд или презрительную гримасу. И каждый в глубине души искренне удивлялся тому, как господь бог создал другого.

От безделья они не знали, куда девать время, и потому обленились еще больше. Ими овладело какое-то сонное оцепенение, которое они не в силах были с себя стряхнуть; необходимость выполнить самую незначительную работу приводила их в ярость. Однажды утром

Уэзерби, зная, что сегодня его очередь готовить завтрак, выбрался из-под одеяла и под храп своего товарища зажег светильник, а затем развел огонь в печке. Вода в котелках замерзла, и нечем было умыться. Но это его не смутило. Ожидая, пока лед в котелках растает, он нарезал ломтями бекон и нехотя принялся замешивать тесто для лепешек. Катферт исподтишка наблюдал за ним краем глаза. Дело кончилось бранью и крупной ссорой: было решено, что отныне каждый готовит завтрак сам для себя. Через неделю утренним омовением пренебрег и Катферт, что не помешало ему с большим аппетитом съесть завтрак, который он сам себе приготовил. Уэзерби только усмехнулся. После этого глупая привычка умываться по утрам была отменена навсегда.

Так как запас сахара и других вкусных вещей быстро истощался, каждый из них стал терзаться опасением, как бы другой не съел больше, и, для того чтобы не быть ограбленным, сам старался поглотить сколько можно. В этом соревновании пострадали не только запасы лакомств, но и те, кто их истреблял. Из-за отсутствия свежих овощей, а также неподвижного образа жизни у них началось худосочие и по телу пошла отвратительная багровая сыпь. Но они упорно не хотели замечать опасности. Затем появились отеки, суставы стали пухнуть, кожа почернела, а рот и десны приобрели цвет густых сливок. Однако общая беда не сблизила их, напротив, каждый с тайным злорадством наблюдал за появлением зловещих симптомов цинги у другого.

Вскоре они совсем перестали следить за внешностью и забыли самые элементарные приличия. Хижина превратилась в настоящий свиной хлев; они не убрали постелей, не меняли хвойных подстилок и охотнее всего вовсе не вылезали бы из-под своих одеял, но это было невозможно: холод стоял невыносимый, и печка требовала много топлива. Волосы у них висели длинными спутанными прядями, лица заросли бородой, а одеждой погнушался бы даже старьевщик. Но их это не трогало. Они были больны, никто их не видел, и, кроме того, двигаться было слишком мучительно.

Ко всем этим бедам прибавилось новое страдание: страх Севера. Этот страх — неразлучный спутник Великого Холода и Великого Безмолвия, он — порождение мрака черных декабрьских ночей, когда солнце скрыва-

ется на юге за горизонтом. Этот страх действовал на них по-разному, сообразно натуре каждого. Уэзерби подпал под власть грубых суеверий. Его непрестанно преследовала мысль о тех, кто спал там, в забытых могилах. Это было какое-то наваждение. Они мерещились ему во сне, приходили из ледящего холода могилы, забирались к нему под одеяло и рассказывали о своей тяжелой жизни и предсмертных муках. Уэзерби содрогался всем телом, отстраняясь от их липких прикосновений, но они прижимались теснее, сковывая его своими ледяными объятиями, и шептались ему злоеющие предсказания, и тогда хижина оглашалась воплями ужаса. Катферт ничего не понимал — они с Уэзерби давно уже перестали разговаривать — и, разбуженный криками, неизменно хватался за револьвер. Охваченный нервной дрожью, он садился на постели и сидел так, сжимая в руке оружие, наведенное на лежащего в беспамятстве человека. Катферт думал, что Уэзерби сходит с ума, и начинал опасаться за свою жизнь.

Его собственная болезнь выражалась в менее определенной форме. Неведомый строитель хижины укрепил на коньке крыши флюгер. Катферт заметил, что флюгер всегда обращен на юг, и однажды, раздраженный этим упорным постоянством, сам повернул его на восток. Он наблюдал за ним с жадным вниманием, но ни одно дуновение ветра не потревожило флюгера. Тогда он повернул его к северу, поклявшись себе не дотрагиваться до него и ждать, пока не подует ветер. В неподвижности воздуха было что-то сверхъестественное, пугающее; часто Катферт среди ночи вставал посмотреть, не шевельнулся ли флюгер. Если бы он повернулся хотя бы на десять градусов! Но нет, он высился над крышей, неумолимый, как судьба. Постепенно он стал для Катферта олицетворением злого рока. Порой больное воображение уносило Катферта туда, куда указывал флюгер, в какие-то мрачные теснины, и ужас сковывал его. Он пребывал в стране невидимого и неведомого, и душа его, казалось, изнемогала под бременем вечности. Все здесь, на Севере, угнетало его: отсутствие жизни и неподвижность, мрак, бесконечный покой дремлющей земли, жуткое безмолвие, среди которого даже биение сердца казалось святотатством, торжественно вздымающийся лес, будто хранящий какую-то непостижимую, страшную

тайну, которой не охватить мыслью и не выразить словом.

Мир, который он так недавно покинул, мир, где волновались народы и вершились важные дела, казался ему чем-то очень далеким. По временам его обступали навязчивые воспоминания о картинных галереях, аукционных залах, широких людных улицах, о фраках, о светских обязанностях, о добрых друзьях и дорогих сердцу женщинах, которых он некогда знал, но эти смутные воспоминания относились к другой жизни, которою он жил много веков назад, на какой-то другой планете. И фантазмагория становилась реальностью, окружавшей его сейчас. Стоя внизу под флюгером и устремив взор на полярное небо, он не мог поверить в то, что существует Юг, что в этот самый момент где-то кипит жизнь. Не было ни Юга, ни людей, которые рождались, жили, вступали в брак. За унылым горизонтом лежали обширные безлюдные пространства, а за ними расстилались другие пространства, еще более необъятные и пустынные. В мире не существовало стран, где светило солнце и благоухали цветы. Все это было лишь древней мечтой о рае. Солнечный Запад, напоенный пряными ароматами Восток, счастливая Аркадия—благословенные острова блаженных! Ха-ха! Смех расколол пустоту, и Катферту стало не по себе от этого непривычного звука. Не было больше солнца. Была вселенная—мертвая, холодная, погруженная во тьму, и он единственный ее обитатель. Уэзерби? В такие мгновения он в счет не шел. Ведь это был Калибан¹, чудовищный призрак, прикованный к нему, к Катферту, на долгие века, кара за какое-то забытое преступление!

Он жил рядом со смертью и среди теней, подавленный сознанием собственного ничтожества, поработенный слепой властью дремлющих веков. Величие окружающего страшило его. Оно было во всем, кроме него самого: в полном отсутствии ветра и движения, в необъятности снеговой пустыни, в высоте неба и в глубине безмолвия. А этот флюгер—о, если бы он только хоть чуть-чуть шевельнулся! Пусть бы грянули все громы небесные или пламя охватило лес! Пусть бы

¹ Калибан—персонаж из пьесы В. Шекспира «Буря», получеловек-получудовище.

небеса разверзлись и наступил день страшного суда! Пусть бы хоть что-нибудь, хоть что-нибудь совершилось! Нет, ничего... Никакого движения. Безмолвие наполняло мир, и страх Севера ледяными пальцами сжимал ему сердце.

Однажды Катферт, точно новый Робинзон, заметил у самой реки след — слабый отпечаток заячьих лапок на свежевывавшем снегу. Это было для него откровением: значит, на Севере существует жизнь! Он пошел по следу, жадно вглядываясь в него. Забыв о своих распухших ногах, он пробирался сквозь снежные сугробы в волнении, порожденном каким-то нелепым предчувствием. Короткие сумерки погасли, и лес поглотил его, но он упорно продолжал идти все вперед и вперед, пока не иссякли последние силы и он в изнеможении не повалился в снег. И тогда, застонав, он проклял свое безрассудство, ибо понял, что след этот был плодом его воображения.

Поздним вечером он дотащился до хижины на четвереньках; щеки у него были отморожены, и ноги как-то странно онемели. Уэзерби злобно усмехнулся, но не предложил помочь. Катферт колот иголками пальцы на ногах и отогревал их у печки. Через неделю у него началась гангрена.

У клерка были свои заботы. Мертвецы все чаще выходили из могил и теперь уже почти не расставались с ним. Он со страхом ждал их появления, и дрожь пробирала его каждый раз, когда он проходил мимо заваленных камнями могил. Однажды ночью они пришли к нему, когда он спал, увлекли его за собой и заставили делать какую-то работу. В невыразимом ужасе проснулся он среди груды камней и, как безумный, бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал там некоторое время, так как и у него оказались отмороженными ноги и щеки.

Иногда эта навязчивость мертвецов доводила его до бешенства, и он метался по хижине, размахивая топором и сокрушая все, что попадалось под руку. Во время этих сражений с призраками Катферт забивался под одеяла и следил за безумцем с револьвером в руке, готовый спустить курок, если тот подойдет слишком близко. Придя в себя после одного из таких припадков, клерк заметил наведенное на него дуло револьвера. В нем

проснулись подозрения, и с этих пор он также пребывал в вечном страхе за свою жизнь. Они настороженно следили друг за другом, и каждый в тревоге оглядывался, если другому случалось проходить у него за спиной. Эти опасения превратились в манию, от которой они не могли избавиться даже во сне. Взаимный страх побуждал их, не сговариваясь, оставлять на ночь огонь в светильнике, с вечера заботливо заправив его жиром. Достаточно было одному пошевелиться, чтобы проснулся другой; их настороженные взгляды встречались, и оба дрожали от страха под своими одеялами, держа палец на взведенном курке.

Страх Севера, нервное напряжение и разрушительная болезнь привели к тому, что они потеряли всякий человеческий облик и стали похожи на затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели, пальцы на ногах начали отваливаться сустав за суставом. Каждое движение причиняло боль, но печь была ненасытна и обрекала на муки их истерзанные тела. Изю дня в день она, как Шейлок¹, требовала свой фунт мяса, и они через силу тащились в лес, чтобы кое-как нарубить дров. Однажды, отправившись в лес за сухим валежником, они неожиданно столкнулись в чаще. Два трупа вдруг оказались лицом к лицу. Страдания так изменили обоих, что они не узнали друг друга. С криком ужаса они вскочили и заковыляли прочь на своих искалеченных ногах, а потом, свалившись у дверей хижины, грызлись и царапались, как дикие звери, пока не обнаружили своей ошибки.

Но бывали дни, когда они приходили в себя. Во время одного из таких просветлений они поделили поровну сахар — главный предмет их ссор. Они хранили свои запасы в разных мешочках и ревниво оберегали их. Сахару оставалось всего несколько пригоршней, а они совсем перестали доверять друг другу. И вот однажды Катферт ошибся. Еле двигаясь, ослабевший от мучительной боли, он пополз в чулан с жестянкой в руке; голова

¹ Шейлок — персонаж комедии В. Шекспира «Венецианский купец»; алчный ростовщик.

его кружилась, глаза почти не видели, и он по ошибке принял мешочек Уэзерби за свой.

Это случилось в начале января. Солнце уже совершило половину своего зимнего пути и в полдень отбрасывало на северное небо косые полосы неверного желтоватого света. На следующий день после того, как произошла ошибка с сахаром, Катферт почувствовал себя лучше, бодрее телом и душой. К полудню, когда стало светлеть, он с трудом выбрался наружу, чтобы полюбоваться бледным сиянием, которое предвещало возвращение солнца. Уэзерби также почувствовал себя несколько лучше и выполз из хижины вслед за ним. Они уселись в снегу под неподвижным флюгером и стали ждать.

Вокруг царило безмолвие смерти. Когда природа так замирает где-нибудь в другом краю, ее неподвижность таит в себе сдержанное ожидание: кажется, вот-вот какой-то слабый звук нарушит напряженную тишину. Не то на Севере. Эти двое как будто вечно жили среди жуткого молчания. Они не могли припомнить ни одной мелодии прошлого, не могли представить мелодий будущего. Сверхъестественная тишина существовала всегда. Это было спокойствие вечности.

Не отрывая глаз, они смотрели на север. Позади, за вздымающимся на юге горным хребтом, медленно двигалось невидимое солнце к зениту чужих небес. Единственные свидетели величественного зрелища, они наблюдали за тем, как постепенно разгоралась в небе ложная заря. Бледное зарево становилось все ярче, меняя оттенки, переходя из оранжевого в пурпурный, а затем в шафранный цвет. Наконец, свет на небе стал настолько ярким, что Катферт подумал: «Вот сейчас совершится чудо, и солнце взойдет с севера!»

Внезапно, без всяких предвестий и переходов, картина резко изменилась. Краски исчезли с небосвода, свет погас. Они затаили дыхание, готовые разрыдаться. Но что это? Воздух наполнился искрящейся морозной пылью, и на снегу, протянувшись к северу, обозначились слабые очертания флюгера. Тень! Тень! Настал полдень. Они быстро повернули головы к югу. Над снежной грядой гор появился краешек золотого диска, озарил их улыбкой на мгновение и снова исчез из вида.

Они взглянули друг на друга, и на глазах у них выступили слезы. Какое-то умиротворение снизошло на

них. Они почувствовали неодолимое влечение друг к другу. Значит, солнце возвращается! Оно придет к ним завтра, и послезавтра, и во все последующие дни. И с каждым разом оно будет оставаться на небе все дольше, пока не настанет время, когда оно будет светить и днем и ночью и больше не исчезнет за горизонтом. Не станет больше ночи. Уйдет закованная в льды зима. Подуют ветры, и леса ответят им своим шумом. Землю омоет благословенный солнечный свет, и возродится жизнь. Они стряхнут с себя этот кошмарный сон и вместе, рука об руку, вернутся домой, на Юг. Бессознательно оба потянулись вперед, и руки их встретились — бедные, искаленные руки!

Но надежде не суждено было осуществиться. Север есть Север, и человеческие сердца подчиняются здесь законам, которых люди, не путешествовавшие в далеких краях, никогда не смогут понять.

Час спустя Катферт поставил в печь сковородку с лепешками и начал раздумывать над тем, смогут ли врачи вылечить его ноги, когда он вернется домой. Дом не казался теперь таким недостижимым. Уэзерби рылся в кладовке. Вдруг оттуда донесся взрыв проклятий и так же внезапно утих. Клерк обнаружил, что у него украли сахар... И все же дело могло кончиться иначе, если бы как раз в эту минуту мертвецы не вышли из своих каменных могил и не забили ему брань обратно в глотку. Затем они тихонько вывели его из кладовой, которую он забыл закрыть. Конец драмы приближался: должно было свершиться то, о чем они нашептывали ему во сне. Призраки тихо, совсем тихо подвели его к куче дров и вложили в руки топор, затем помогли ему открыть дверь и — он был уверен в этом — сами заперли ее за ним, по крайней мере он слышал, как щелкнула задвижка. И он знал, что они за дверью, что они ждут, когда он сделает свое дело.

— Картер! Послушайте, Картер!

При взгляде на лицо клерка Перси Катферту стало не по себе, и он поспешил загородиться столом.

Картер Уэзерби подвигался вперед неторопливо и как бы неохотно; лицо его не выражало ни жалости, ни волнения. В нем была тупая сосредоточенность человека, который должен сделать определенную работу и выполняет ее методически.

— Что с вами, Картер?

Клерк отступил на шаг, отрезая Катферту путь к двери, но не проронил ни слова.

— Послушайте, Картер, давайте же поговорим. Будьте благоразумны...

Магистр искусств с лихорадочной быстротой обдумывал положение. Ловким обходным движением он достиг койки, где у него лежал смит-и-вессон. Затем, не отрывая глаз от сумасшедшего, выхватил из-под подушки револьвер.

— Картер!

Вспышка огня ударила ему в лицо, но Уэзерби взмахнул своим оружием и бросился вперед. Топор глубоко вонзился в спину Катферта, и он сразу же перестал ощущать свои ноги. Затем клерк навалился на него, слабеющими пальцами сжимая ему горло. От удара Катферт выронил револьвер; задыхаясь и пытаясь высвободиться, он беспомощно шарил по одеялу в поисках оружия. И тут он вспомнил. Его рука скользнула к поясу клерка, где висел охотничий нож, и противники сплелись в последнем тесном объятии.

Перси Катферт чувствовал, как силы покидают его. Нижняя часть его тела словно онемела. Тело Уэзерби давило на него своей тяжестью, он был пригвожден к месту, как медведь, попавший в капкан. Хижина наполнялась знакомым запахом: горели лепешки. Но не все ли равно? Они больше не понадобятся ему. А в кладовке осталось еще шесть полных чашек сахара,—если бы он знал все это раньше, не надо было бы так экономить в последние дни...

Повернется ли когда-нибудь флюгер? Может быть, он шевельнулся именно в этот миг? Очень возможно! Ведь показалось же сегодня солнце! Вот сейчас он пойдет и посмотрит. Нет, двинуться невозможно. Он не думал, что Уэзерби такой тяжелый.

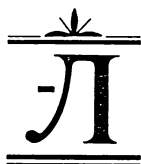
Как быстро остывает хижина! Огонь, должно быть, потух. Холод все усиливается. Сейчас, наверное, уже ниже нуля, и дверь изнутри постепенно покрывается белым. Он этого не видит, но знает, потому что чувствует, как падает температура. Нижняя петля, вероятно, уже совсем обледенела. Узнают ли люди о том, что здесь произошло? Как отнесутся к этому его друзья? Вероятнее всего, прочтут заметку в газете за стаканом

кофе и будут обсуждать ее потом где-нибудь в клубе. Он как будто слышал. «Бедняга Катферт,— говорили они.— Неплохой был, в сущности, малый». Катферт усмехнулся этой похвале и отправился на поиски турецкой бани. На улицах кишит все та же толпа. Странно, что никто не замечает его мокасины из лосевой кожи и рваные шерстяные носки. Лучше, пожалуй, взять кеб. А после бани не худо было бы побриться. Нет, прежде он поест. Бифштекс, картофель и зелень—какое все свежее! А это что? Мед в сотах, прозрачный и благоухающий мед. Но зачем же так много? Ха-ха! Ему столько никогда не съесть... Почистить? Да, конечно. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик сапог смотрит на него с удивлением, и он вспоминает о своих лосевых мокасирах и поспешно уходит.

Чу! Наверно, повернулся флюгер. Нет, это просто звенит в ушах. Звенит в ушах, только и всего. Лед, должно быть, поднялся до самой задвижки. Может быть, уже и верхняя петля обледенела. Между потолочными балками, в щелях, законопаченных мхом, начали появляться небольшие пятна изморози. Как медленно они растут! Нет! Не так уж медленно—вон еще одно появилось, а вон там еще. Два... три... четыре... Они появляются теперь так быстро, что не считаешь. Вон там два сползлись вместе, и к ним присоединилось третье. Теперь уже нет больше отдельных пятен, они все слились, затянув потолок сплошной пеленой.

Что ж! Он будет не один. Если когда-нибудь трубный глас нарушит безмолвие Севера, они вместе, рука об руку, предстанут перед престолом вечного судии... И бог их рассудит! Бог их рассудит...

Перси Катферт закрыл глаза и погрузился в последний сон.



За тех, кто в пути!

ей еще!

— Послушай, Кид, а не слишком ли крепко будет? Виски со спиртом и так уж забористая штука, а тут еще и коньяк, и перцовка, и...

— Лей, говорят тебе! Кто из нас prepares пунш: ты или я?— Сквозь клубы пара видно было, что Мэйлмют Кид добродушно улыбается.— Вот поживешь с мое в этой стране, сынок, да будешь изо дня в день жрать одну вяленую лососину, тогда поймешь, что рождество раз в году бывает. А рождество без пунша все равно что прииск без крупинки золота!

— Уж это что верно, то верно!— подтвердил Джим Белден, приехавший сюда на рождество со своего участка на Мэйзи-Мэй. Все знали, что Большой Джим последние два месяца питался только олениной.— А помнишь, какую выпивку мы устроили раз для племени танана? Не забыл небось?

— Ну еще бы! Ребята, вы бы лопнули со смеху, если бы видели, как все племя передралось спьяну, а пойло-то было просто из перебродившего сахара да закваски. Это еще до тебя было,— обратился Мэйлмют Кид к Стэнли Принсу, молодому горному инженеру, жившему здесь только два года.— Понимаешь, ни одной белой женщины во всей стране, а Мэйсон хотел жениться. Отец Руфи был вождем племени танана и не хотел отдавать ее в жены Мэйсону, и племя не хотело. Трудная была задача! Ну, я и пустил в ход свой последний фунт сахару. Ни разу в жизни не приготовлял ничего крепче! Ох, и гнались же они за нами и по берегу и через реку!

— Ну, а сама скво как?— спросил, заинтересовавшись, Луи Савой, высокий француз из Канады. Он еще в прошлом году на Сороковой Миле слышал об этой лихой выходке.

Мэйлмют Кид, прирожденный рассказчик, стал излагать правдивую историю этого северного Лохинвара¹. И, слушая его, не один суровый искатель приключений чувствовал, как у него сжимается сердце от смутной тоски по солнечным землям Юга, где жизнь обещала нечто большее, чем бесплодную борьбу с холодом и смертью.

— Мы перешли Юкон, когда лед только что тронулся,— заключил Кид,— а индейцы на четверть часа отстали. И это нас спасло: лед шел уже по всей реке, путь был отрезан. Когда они добрались, наконец, до Нуклукайто,

¹ Лохинвар—герой баллады Вальтера Скотта, похитивший свою возлюбленную, которую хотели выдать за другого.

весь пост был наготове. А насчет свадьбы расспросите вот отца Рубо, он их венчал.

1 Священник вынул изо рта трубку и вместо ответа улынулся с отеческим благодушием, а все остальные, и протестанты и католики, энергично зааплодировали.

— А, ей-богу, это здорово! — воскликнул Луи Савой, которого, видимо, увлекла романтичность этой истории. — *La petite*¹ скво! *Mon Mason brave!*² Здорово!

Когда оловянные кружки с пуншем в первый раз обошли круг, неугомонный Беттлз вскочил и затянул свою любимую застольную:

Генри Бичер совместно
С учителем школы воскресной
Дуют целебный напиток,
Пьют из бутылки простой;
Но можно, друзья, покаяться:
Нас провести не удастся,
Ибо в бутылке этой
Отнюдь не невинный настой!

И хор гуляк с ревом подхватил:

Ибо в бутылке этой
Отнюдь не невинный настой!

Крепчайшая смесь, состряпанная Мэйлмютом Кидом, возымела свое действие: под влиянием ее живительного тепла развязались языки, и за столом пошли шутки, песни, рассказы о пережитых приключениях. Пришельцы из разных стран, они пили за всех и каждого. Англичанин Принс провозгласил тост за «дядю Сэма, скороспелого младенца Нового Света»; янки Беттлз — за королеву Англии «да хранит ее господь!»; а француз Савой и немец-скупщик Майерс чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

Потом встал Мэйлмют Кид с кружкой в руке и, бросив взгляд на оконце, в котором стекло заменяла промасленная бумага, покрытая толстым слоем льда, сказал:

— Выпьем за тех, кто сегодня ночью в пути. За то, чтобы им хватило пищи, чтобы собаки их не сдали, чтобы спички у них не отсырели!

¹ Маленькая (фр.).

² Молодец, Мэйсон! (фр.)

И вдруг они услышали знакомые звуки, щелканье бича, визгливый лай ездовых собак и скрип нарт, подъезжавших к хижине. Разговор замер, все ждали проезжего.

— Человек бывалый! Прежде заботится о собаках, а потом уж о себе,—шепнул Мэйлмют Кид Принсу. Щелканье челюстей, рычание и жалобный собачий визг говорили его опытному уху, что незнакомец отгоняет чужих собак и кормит своих.

Наконец в дверь постучали — резко, уверенно. Проезжий вошел. Ослепленный светом, он с минуту стоял на пороге, так что все имели возможность рассмотреть его. В своей полярной меховой одежде он выглядел весьма живописно: шесть футов роста, широкие плечи, могучая грудь. Его гладко выбритое лицо покраснело от мороза, брови и длинные ресницы заиндевели. Расстегнув свой капюшон из волчьего меха, он стоял, похожий на снежного короля, появившегося из мрака ночи. За вышитым бисером поясом, надетым поверх куртки, торчали два больших кольта и охотничий нож, а в руках, кроме неизбежного бича, было крупнокалиберное ружье новейшего образца. Когда он подошел ближе, то, несмотря на его уверенный, упругий шаг, все увидели, как сильно он устал.

Наступившее было неловкое молчание быстро рассеялось от его сердечного: «Эге, да у вас тут весело, ребята!» — и Мэйлмют Кид тотчас пожал ему руку. Им не приходилось встречаться, но они знали друг друга понаслышке. Прежде чем-то гость успел объяснить, куда и зачем он едет, его познакомили со всеми и заставили выпить кружку пунша.

— Давно ли проехали здесь три человека на нартах, запряженных восемью собаками? — спросил он.

— Два дня тому назад. Вы за ними гонитесь?

— Да, это моя упряжка. Угнали ее у меня прямо из-под носа, подлецы! Два дня я уже выиграл, нагоню их на следующем перегоне.

— Думаете, без драки не обойдется? — спросил Белден, чтобы поддержать разговор, пока Мэйлмют Кид кипятил кофе и поджаривал ломти свиного сала и кусок оленины.

Незнакомец многозначительно похлопал по своим револьверам.

— Когда выехали из Доусона?¹

— В двенадцать.

— Вчера? — спросил Белден, явно не сомневаясь в ответе.

— Сегодня.

Пронесся шепот изумления: шутка ли, за двенадцать часов проехать семьдесят пять миль по замерзшей реке.

Разговор скоро стал общим, он вертелся вокруг воспоминаний детства. Пока молодой человек ел свой скромный ужин, Мэйлмут Кид внимательно изучал его лицо. Оно ему сразу понравилось: приятное, честное и открытое. Тяжелый труд и лишения успели оставить на нем свой след. Голубые глаза смотрели весело и добродушно во время дружеской беседы, но чувствовалось, что они способны загораться стальным блеском, когда ему приходится действовать, и особенно в решительную минуту. Массивная челюсть и квадратный подбородок говорили о твердом и неукротимом нраве. Однако наряду с этими признаками сильного человека в нем была какая-то почти женственная мягкость, выдававшая впечатлительную натуру.

— Так-то мы со старухой и поженились, — говорил Белден, заканчивая увлекательный рассказ о своем романе. — «Вот и мы, папа», — говорит она. А отец ей: «Убирайтесь вы к черту!» А потом обернулся ко мне, да и говорит: «Снимай-ка, Джим, свой парадный костюм — до обеда надо вспахать порядочную полосу». Потом как прикрикнет на дочку: «А ты, Сэл, марш мыть посуду!» — и вроде всхлипнул и поцеловал ее. Я и обрадовался. А он заметил да как зарычит: «А ну, поворачивайся, Джим!» Я так и покатился в амбар.

— У вас и ребятишки остались в Штатах? — осведомился проезжий.

— Нет, Сэл умерла, не родив мне ни одного. Вот я и приехал сюда.

Белден рассеянно принялся раскуривать погасшую трубку, но потом опять оживился и спросил:

— А вы женаты, приятель?

Тот вместо ответа снял свои часы с ремешка, заменявшего цепочку, открыл их и передал Белдену. Джим

¹ Доусон — город в Северной Канаде у впадения Клондайка в Юкон. Центр золотоносного края.

поправил фитиль, плававший в жиру, критически осмотрел внутреннюю сторону крышки и, одобрительно чертыхнувшись про себя, передал часы Луи Савою. Луи, несколько раз повторив «ах, черт!», протянул их наконец Принсу, и все заметили, как у того задрожали руки и в глазах засветилась нежность. Часы переходили из одних мозолистых рук в другие. На внутренней стороне крышки была наклеена фотография женщины с ребенком на руках — одной из тех кротких, привязчивых женщин, которые нравятся таким мужчинам.

Те, до кого еще не дошла очередь полюбоваться этим чудом, сгорали от любопытства, а те, кто его уже видел, примолкли и задумались о прошлом. Этим людям не страшен был голод, вспышка цинги, смерть, постоянно подстерегавшая на охоте или во время наводнения, но сейчас изображение неизвестной им женщины с ребенком словно сделало их самих женщинами и детьми.

— Еще ни разу не видел малыша. Только из ее письма и узнал, что сын, — ему уже два года, — сказал проезжий, получив обратно свое сокровище. Он минутами смотрел на карточку, потом захлопнул крышку часов и отвернулся, но не настолько быстро, чтобы скрыть неизбежную слезу.

Мэйлмут Кид подвел его к койке и предложил лечь.

— Разбудите меня ровно в четыре, только непременно! — Сказав это, он почти тотчас же уснул тяжелым сном сильно уставшего человека.

— Ей-богу, молодчина! — объявил Принс. — Поспать три часа, проехав семьдесят пять миль на собаках, и снова в путь! Кто он такой, Кид?

— Джек Уэстондэйл. Он уже три года здесь. Работает как вол, а все одни неудачи. Я его до сих пор не встречал, но мне о нем рассказывал Ситка Чарли.

— Тяжело, верно, разлучиться с такой славной молодой женой и торчать в этой богом забытой дыре, где один год стоит двух.

— Уж такой упорный. Два раза здорово заработал на заявке, а потом все потерял.

Разговор этот был прерван шумными возгласами Беттаза. Волнение, вызванное снимком, улеглось. И скоро суровые годы изнуряющего труда и лишений были снова позабыты в бесшабашном веселье. Только Мэйлмут Кид, казалось, не разделял общего веселья и часто

с тревогой поглядывал на часы; наконец, надев рукавицы и бобровую шапку, он вышел из хижины и стал рыться в кладовке.

Он не дождался назначенного времени и разбудил гостя на четверть часа раньше. Ноги у молодого великана совсем одеревенели, и пришлось изо всех сил растирать их, чтобы он мог встать. Пошатываясь, он вышел из хижины. Собаки были уже запряжены, и все готово к отъезду. Уэстондэйлу пожелали счастливого пути и удачи в погоне; отец Рубо торопливо благословил его и бегом вернулся в хижину: стоять при температуре семьдесят четыре градуса ниже нуля с открытыми ушами и руками не очень-то приятно!

Мэйлмют Кид проводил Уэстондэйла до дороги и, сердечно пожав ему руку, сказал:

— Я положил вам в нарты сто фунтов лососевой икры. Собакам этого запаса хватит на столько же, на сколько хватило бы полтора ста фунтов рыбы. В Пелли вам еды для собак не достать, а вы, вероятно, на это рассчитывали.

Уэстондэйл вздрогнул, глаза его блеснули, но он слушал Кида, не перебивая.

— Ближе, чем у порогов Файв Фингерз, вы ничего не достанете ни для себя, ни для собак, а туда добрых двести миль. Берегитесь разводьев на Тридцатимильной реке и непременно поезжайте большим каналом повыше озера Ла-Барж—этим здорово сократите себе путь.

— Как вы узнали? Неужели дошли слухи?

— Я ничего не знаю, да и не хочу знать. Но упряжка, за которой вы гонитесь, вовсе не ваша. Ситка Чарли продал ее тем людям прошлой весной. Впрочем, он говорил, что вы честный человек, и я ему верю; лицо мне ваше нравится. И я видел... Черт вас возьми, поберегите слезы для других и для своей жены...— Тут Кид снял рукавицы и вытащил мешочек с золотым песком.

— Нет, в этом я не нуждаюсь.— Слезы замерзли у Уэстондэйла на щеках, он судорожно пожал руку Мэйлмюта Кида.

— Тогда не жалейте собак, режьте постромки, как только какая-нибудь свалится. Покупайте других, сколько бы они ни стоили. Их можно купить у порогов Файв Фингерз, на Литл-Салмон и в Хуталинкава. Да смотрите не промочите ноги,— посоветовал Мэйлмют на прощание.— Не останавливайтесь, если мороз будет не сильнее

пятидесяти семи градусов, но когда температура упадет ниже, разведите костер и смените носки.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков возвестил прибытие новых гостей. Дверь отворилась, и вошел офицер королевской северо-западной конной полиции в сопровождении двух метисов, погонщиков собак. Как и Уэстондэйл, все трое были вооружены до зубов и утомлены. Метисы, местные уроженцы, легко переносили трудный путь, но молодой полисмен совсем выбился из сил. Только упорство, свойственное людям его расы, заставляло его продолжать погоню; ясно было, что он не отступит, пока не свалится на дороге.

— Когда уехал Уэстондэйл? — спросил он. — Ведь он останавливался здесь?

Вопрос был излишний: следы говорили сами за себя.

Мэйлмют Кид переглянулся с Белденом, и тот, поняв, в чем дело, уклончиво ответил:

— Да уж прошло немало времени.

— Не вилай, приятель, говори начистоту, — предостерегающим тоном сказал полицейский.

— Видно, он вам очень нужен! А что, он натворил что-нибудь в Доусоне?

— Ограбил Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч, обменял золото у агента Компании Тихоокеанского побережья на чек и теперь преспокойно получит в Сиэтле денежки, если мы его не перехватим! Когда он уехал?

По примеру Мэйлмюта Кида все старались скрыть свое волнение, и молодой офицер видел вокруг себя безучастные лица.

Он повторил свой вопрос, повернувшись к Принсу. Тот пробурчал что-то невнятное насчет состояния дороги, хотя ему и неприятно было лгать, глядя в открытое и серьезное лицо своего соотечественника.

Тут полицейский заметил отца Рубо. Священник солгать не мог.

— Уехал четверть часа тому назад, — сказал он. — Но он и собаки отдыхали здесь четыре часа.

— Четверть часа как уехал да еще отдохнуть успел! О господи!

Полисмен пошатнулся, чуть не теряя сознание от усталости и огорчения, и что-то пробормотал о том, что расстояние от Доусона покрыто за десять часов, и об измученных собаках.

Мэйлмют Кид заставил его выпить кружку пунша. Потом полисмен пошел к дверям и приказал погонщикам следовать за ним. Однако тепло и надежда на отдых были слишком заманчивы, и те решительно воспротивились. Киду был хорошо знаком местный французский диалект, на котором они говорили, и он настороженно прислушивался.

Метисы клялись, что собаки выбились из сил, что Бабетту и Сиваша придется пристрелить на первой же миле, да и остальные не лучше, и не мешало бы отдохнуть.

— Не одолжите ли мне пять собак? — спросил полисмен, обращаясь к Мэйлмюту Киду.

Кид отрицательно покачал головой.

— Я дам вам чек на имя капитана Констэнтайна на пять тысяч. Вот документ: я уполномочен выписывать чеки по своему усмотрению.

Все тот же молчаливый отказ.

— Тогда я реквизирую их именем королевы!

Со скептической усмешкой Кид бросил взгляд на свой богатый арсенал, и англичанин, сознавая, что бессилен, снова повернулся к двери. Погонщики все еще спорили, и он набросился на них с руганью, называя их бабами и трусами. Смуглое лицо старшего метиса покраснело от гнева, он встал и кратко, но выразительно пообещал своему начальнику, что загонит насмерть головную собаку, а потом с удовольствием бросит его в снег.

Молодой полисмен, собрав все силы, решительно пошел к двери, стараясь выказать бодрость, которой у него уже не было. Все поняли и оценили его стойкость. Но он не мог скрыть мучительной гримасы.

Полузамерзшие собаки скорчились на снегу, и поднять их было невозможно. Бедные животные скулили под сильными ударами бича. Только когда обрезали построжки Бабетты, вожака упряжки, удалось сдвинуть с места нарты и тронуться в путь.

— Ах он мошенник! Лгун!

— Черт его побери!

— Вор!

— Хуже индейца!

Все были явно возмущены: во-первых, тем, что их одурачили, а во-вторых, тем, что нарушена этика Севера, где главной доблестью человека считается честность.

— А мы-то еще помогли этому сукину сыну! Знать бы раньше, что он наделал!

Все глаза с упреком устремились на Мэйлмюта Киды. Тот вышел из угла, где устроил Бабетту, и молча разлил остатки пунша по кружкам для последней круговой.

— Мороз сегодня, ребята, жестокий мороз! — так странно начал он свою защитительную речь. — Всем вам приходилось бывать в пути в такую ночь, и вы знаете, что это значит. Загнанную собаку не заставишь подняться! Вы выслушали только одну сторону. Никогда еще не ел с нами из одной миски и не укрывался одним одеялом человек честнее Джека Уэстондэйла. Прошлой осенью он отдал сорок тысяч — все, что имел, — Джо Кастреллу, чтобы тот вложил их в какое-нибудь верное дело в Канаде. Теперь Джек мог бы быть миллионером. А знаете, что сделал Кастрелл? Пока Уэстондэйл оставался в Серкле, ухаживая за своим компаньоном, заболевшим цингой, Кастрелл играл в карты у Мак-Фарлэнда и все спустил. На другой день его нашли в снегу мертвым. И все мечты бедняги Джека поехать зимой к жене и сынишке, которого он еще не видал, разлетелись в прах. Заметьте, он взял ровно столько, сколько проиграл Кастрелл, — сорок тысяч. Теперь он ушел. Что вы теперь скажете?

Кид окинул взглядом своих судей, заметил, как смягчилось выражение их лиц, и поднял кружку.

— Так выпьем же за того, кто в пути этой ночью! За то, чтобы ему хватило пищи, чтобы собаки его не сдали, чтобы спички его не отсырели. Да поможет ему господь! Пусть во всем ему будет удача, а...

— А королевской полиции — посрамление! — закончил Беттлз под грохот опустевших кружек.



Северная Одиссея

I

олозья пели свою бесконечную унылую песню, поскрипывала упряжь, позвякивали колокольчики на вожжах; но собаки и люди устали и двигались молча. Они шли издалека, тропа была не утоптана после недавнего снегопада, и нарты, гружен-

ные мороженой олениной, с трудом двигались по рыхлому снегу, сопротивляясь с настойчивостью почти человеческой. Темнота сгущалась, но в этот вечер путники уже не собирались делать привал. Снег мягко падал в неподвижном воздухе, но не хлопьями, а маленькими снежинками тонкого рисунка. Было совсем тепло, каких-нибудь десять градусов ниже нуля, Майерс и Беттлз подняли наушники, а Мэйлмют Кид даже снял рукавицы.

Собаки устали еще с полудня, но теперь они как будто набирались новых сил. Самые чуткие из них стали проявлять беспокойство, нетерпеливо дергали постромки, принимаясь к воздуху и поводили ушами. Они злились на своих более флегматичных товарищей и подгоняли их, покусывая сзади за ноги. И те, в свою очередь, тоже заражались беспокойством и передавали его другим. Наконец вожак передней упряжки радостно завизжал и, глубже забирая по снегу, рванулся вперед. Остальные последовали за ним. Постромки натянулись, нарты помчались веселее, и люди, хватаясь за поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, чтобы не попасть под полозья. Дневной усталости как не бывало; они криками подбодряли собак, и те отвечали им радостным лаем, во весь опор мчась в сгущающихся сумерках.

— Гей! Гей! — наперебой кричали люди, когда нарты круто сворачивали с дороги и накренились набок, словно парусное суденышко под ветром.

И вот уже осталось каких-нибудь сто ярдов до освещенного, затянутого промасленной бумагой окошка, которое говорило об уюте жилья, пылающей юконской печке и дымящемся котелке с чаем. Но хижина оказалась занятой. С полсотни эскимосских псов угрожающе залаяли и бросились на собак первой упряжки. Дверь распахнулась, и человек в красном мундире северо-западной полиции, по колено утопая в снегу, водворил порядок среди разъяренных животных, хладнокровно и бесстрастно орудуя своим бичом. Мужчины обменялись рукопожатиями; вышло так, что чужой человек приветствовал Мэйлмюта Кида в его же собственной хижине.

Стэнли Принс, который должен был встретить его и позаботиться о вышеупомянутой юконской печке и горячем чае, был занят гостями. Их было человек десять — двенадцать, самая разношерстная компания, и

все они состояли на службе у королевы — одни в качестве блюстителей ее законов, другие в качестве почтальонов и курьеров. Они были разных национальностей, но жизнь, которую они вели, выковала из них определенный тип людей — худощавых, выносливых, с крепкими мускулами, бронзовыми от загара лицами, с бесстрашной душой и невозмутимым взглядом ясных, спокойных глаз. Эти люди ездили на собаках, принадлежащих королеве, вселяли страх в сердца ее врагов, кормились ее скудными милостями и были довольны своей судьбой. Они видели многое, совершали подвиги, жизнь их была полна приключений, но никто из них даже не подозревал об этом.

Они чувствовали себя здесь как дома. Двое из них растянулись на койке Мэйлмюта Кида и распевали песни, которые пели еще их предки-французы, когда впервые появились в этих местах и стали брать в жены индейских женщин. Койка Бетгла подверглась такому же нашествию: трое или четверо *voyageurs*, закутав ноги одеялом, слушали рассказы одного из своих спутников, служившего под командой Вулзли¹, когда тот пробивался к Хартуму. А когда он кончил, какой-то ковбой стал рассказывать о королях и дворцах, о лордах и леди, которых он видел, когда Буффало Билл² совершал турне по столицам Европы. В углу два метиса, старые товарищи по оружию, чинили упряжь и вспоминали дни, когда на Северо-Западе похлал огонь восстания и Луи Рейл³ был королем.

То и дело слышались грубые шутки и еще более грубые остроты; о необыкновенных приключениях на суше и на воде говорилось как о чем-то повседневном и заслуживающем воспоминания только ради какого-ни-

¹ Вулзли Гарнет Джозеф (1833—1913) — английский военачальник, принимавший участие в подавлении народного восстания в Судане в 1884—1885 годах.

² Буффало Билл — прозвище американца Уильяма Фредерика Коди (1846—1917), популярного литератора, охотника, наездника, участника войн с индейцами. Буффало Билл организовал зрелищное предприятие вроде цирка, с которым разъезжал по Америке и Европе, давая представления на тему «Дикий Запад».

³ Луи Рейл (1844—1885) — вождь восстаний метисов в Канаде в 1869 и в 1885 годах.

будь острого словца или смешного происшествия. Принс был совершенно увлечен этими не увенчанными славой героями, которые видели, как творится история, но относились к великому и романтичному как к обыкновенным будням. Он с небрежной расточительностью угощал их своим драгоценным табаком, и в благодарность за такую щедрость разматывались ржавые цепи памяти и воскресали преданные забвению одиссеи.

Когда разговоры смолкли и путники, набив по последней трубке, стали развязывать спальные мешки, Принс обратился к своему приятелю, чтобы тот рассказал ему об этих людях.

— Ну, ты сам знаешь, что такое ковбой,—ответил Мэйлмют Кид, стаскивая мокасины,—а в жилах его товарища по койке течет кровь британца, это сразу заметно. Что касается остальных, то все они потомки *coureurs du bois*¹, и один бог ведает, какая там еще была примесь. Те двое, что улеглись в дверях, чистокровные *bois brulés*². Обрати внимание на брови и нижнюю челюсть вон того юнца с шерстяным шарфом—сразу видно, что в дымном вигваме у его матери побывал шотландец. А этот красивый парень, который подкладывает себе под голову шинель,—француз-метис. Ты слышал, какой у него выговор? Он без особой симпатии относится к тем индейцам, что лежат с ним рядом. Дело в том, что когда метисы восстали под предводительством Рейла, чистокровные индейцы не поддержали их, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— Ну, а вон та мрачная личность у печки, кто это? Клянусь, он не говорит по-английски, за весь вечер не проронил ни слова.

— Ошибаешься. Английский он знает отлично. Ты обратил внимание на его глаза, когда он слушал? Я следил за ним. Но он здесь, видно, чужой. Когда разговор шел на диалекте, было ясно, что он не понимает. Я и сам не разберу, кто он такой. Давай попробуем доискаться... Подбрось-ка дров в печ-

¹ Охотников (*фр.*).

² Буквально: горелое дерево (*фр.*); название первых французских поселенцев в Канаде, которые, особенно после перехода Канады к Англии, промышляли охотой в лесах.

ку,—громко сказал Мэйлмют Кид, в упор глядя на незнакомца.

Тот сразу повиновался.

— К дисциплине его где-то приучили,— вполголоса заметил Принс.

Мэйлмют Кид кивнул, снял носки и стал пробираться к печке, между растянувшимися на полу людьми; там он развесил свои мокрые носки среди двух десятков таких же промокших насквозь.

— Когда вы думаете попасть в Доусон? — спросил он, чтобы завязать разговор с незнакомцем.

Тот внимательно посмотрел на него, потом ответил:

— Туда, говорят, семьдесят пять миль? Если так, дня через два.

Он говорил с едва заметным акцентом, но свободно, не подыскивая слов.

— Бывали здесь раньше?

— Нет.

— Вы с северо-западных территорий?

— Да.

— Тамошний уроженец?

— Нет.

— Так откуда же вы родом, черт возьми? Видно, что вы не из этих.— Мэйлмют Кид кивнул в сторону всех расположившихся в хижине, включая и тех двух полисменов, что растянулись на койке Принса.— Откуда вы? Я видел раньше такие лица, как ваше, но никак не припомню, где именно.

— А я знаю вас,— неожиданно сказал незнакомец, сразу же обрывая поток вопросов Мэйлмюта Кида.

— Откуда? Разве мы встречались?

— Нет. Мне говорил о вас священник в Пастилике, ваш компаньон. Это было давно. Спрашивал, знаю ли я Мэйлмюта Кида. Дал мне провизии. Я был там недолго. Он не рассказывал вам обо мне?

— Ах, так вы тот самый человек, который менял выдру на собак?

Незнакомец кивнул, выбил трубку и завернулся в меховое одеяло, дав понять, что он не расположен продолжать разговор. Мэйлмют Кид погасил светильник, и они с Принсом залезли под одеяло.

— Ну, кто же он?

— Не знаю. Не захотел разговаривать и ушел в себя, как улитка. Любопытнейший субъект. Я о нем кое-что слышал. Восемь лет тому назад он удивил все побережье. Какая-то загадка, честное слово! Приехал с Севера в самые лютые морозы и так спешил, точно за ним сам черт гнался. Было это за много тысяч миль отсюда, у самого Берингова моря. Никто не знал, откуда он, но, судя по всему, его принесло издалека. Когда он брал провизию у шведа-миссионера в бухте Головина, вид у него был здорово измученный. А потом узнали, что он спрашивал, как проехать на юг. Из бухты он двинулся прямо через пролив Нортон. Погода была ужасная, пурга, буря, а ему хоть бы что. На его месте другой давно отправился бы на тот свет. В форт Сент-Майкл он не попал, а выбрался на берег у Пастилики, всего-навсего с двумя собаками и полумертвый от голода.

Он так торопился в путь, что отец Рубо снабдил его провизией, но собак не мог дать, потому что ждал моего приезда и должен был сам отправиться в путь. Наш Улисс знал, что значит путешествовать по Северу без собак, и несколько дней он рвал и метал. На нартах у него лежала груда отлично выделанных шкурок морской выдры — а мех ее, как известно, ценится на вес золота. В это время в Пастилике жил русский купец, скупой, как Шейлок, собак у него хоть отбавляй. Торговались они недолго, и когда наш чудака отправился на юг, в упряжке у него бежал десяток свежих собак, а мистер Шейлок получил, разумеется, выдру. Я видел эти шкуры — великолепные! Мы подсчитали, и вышло, что каждая собака принесла тому купцу по крайней мере пятьсот долларов чистой прибыли. Не думай, что мистер Улисс не знал цену морскую выдру. Хоть он из индейцев, но по выговору видно, что жил среди белых.

Когда море очистилось ото льда, мы узнали, что этот чудака запасается провизией на острове Нунивак. Потом он совсем исчез, и восемь лет о нем ничего не было слышно. Из каких краев теперь он явился, чем занимался и зачем пришел? Индеец неизвестно где побывал. Привык, видно, к дисциплине. А это для индейца не совсем обычно. Еще одна загадка Севера, попробуй ее раскусить, Принс.

— Благодарю покорно! У меня и своих много,— ответил тот.

Мэйлмют Кид уже начал похрапывать, но молодой горный инженер лежал с открытыми глазами, всматриваясь в густой мрак и ожидая, когда утихнет охватившее его непонятное волнение. Потом он заснул, но его мозг продолжал работать, и всю ночь он блуждал по неведомым снежным просторам, вместе с собаками преодолевал бесконечные переходы и видел во сне людей, которые жили, трудились и умирали так, как подобает настоящим людям.

На следующее утро, задолго до рассвета, курьеры и полисмены выехали на Доусон. Но силы, которые стояли на страже интересов ее величества и распоряжались судьбами ее подданных, не давали курьерам отдыха. Неделю спустя они снова появились у реки Стюарт с грузом почты, которую нужно было доставить к Соленой Воде. Правда, собаки были заменены свежими, но ведь на то они и собаки.

Люди мечтали хотя бы о небольшой передышке. Кроме того, Клондайк был новым северным центром, и им хотелось пожить немного в этом Золотом Городе, где золотой песок льется, как вода, а в танцевальных залах никогда не прекращается веселье. Но, как и в первое свое посещение, они сушили носки и с удовольствием курили трубки. И лишь несколько смельчаков строили планы, как можно дезертировать, пробравшись через неисследованные Скалистые горы на восток, а оттуда по долине Маккензи двинуться в знакомые места, в страну индейцев Чиппева. Двое-трое даже решили по окончании срока службы тем же путем возвращаться домой, заранее радуясь этому рискованному предприятию примерно так, как горожанин радуется воскресной прогулке в лес.

Странный незнакомец был, казалось, чем-то встревожен и не принимал участия в разговорах. Наконец, он отозвал в сторону Мэйлмюта Киды и некоторое время вполголоса с ним разговаривал. Принс с любопытством наблюдал за ними; и загадка стала для него еще неразрешимее, когда оба надели шапки и рукавицы и вышли наружу. Вернувшись, Мэйлмют Кид поставил на стол весы для золота, отвесил шестьдесят унций золотого песка и пересыпал его в мешок незнакомца. Потом к

совету был привлечен старший погонщик, и с ним тоже была заключена какая-то сделка. На следующий день вся компания отправилась вверх по реке, а владелец выдровых шкур взял с собою немного провизии и повернул обратно, по направлению к Доусону.

— Я положительно не понимаю, что все это значит,— сказал Мэйлмют Кид в ответ на вопросы Принса.— Бедняга твердо решил освободиться от службы. По-видимому, для него это очень важно, но причин он не объяснил. У них, как в армии: он обязался служить два года, а если хочешь уйти раньше срока, надо откупиться. Дезертировать и оставаться в здешних краях нельзя, а остаться ему почему-то необходимо. Он это еще в Доусоне надумал, но денег у него не было ни цента, а там его никто не знал. Я единственный человек, который перекинулся с ним несколькими словами. Он поговорил с начальством и добился увольнения, в случае если я дам ему денег—в долг, разумеется. Обещал вернуть в течение года и, если я захочу, показать местечко, где уйма золота. Сам он и в глаза его не видел, но твердо уверен, что оно существует.

Когда мы вышли, он чуть не плакал. Просил, умолял, ваялся передо мной на коленях, пока я не поднял его. Болтал какую-то чепуху, как сумасшедший. Клялся, что работал годами, чтобы дожить до этой минуты, и не перенесет разочарования. Я спросил его, до какой минуты, но он не ответил. Сказал только, что боится, как бы его не послали на другой участок, откуда он только года через два попадет в Доусон, а тогда будет слишком поздно. Я в жизни не видал, чтобы человек так убивался. А когда я согласился дать ему взаймы, мне опять пришлось вытаскивать его из снега. Говорю: «Считайте, что вы меня взяли в долю». Куда там! И слышать не хочет! Стал клясться, что отдаст мне всю свою добычу, сулил такие сокровища, которые не снились и скупцу, и все такое прочее. А когда человек берет кого-нибудь в долю, потом ему бывает жалко поделиться даже половиной добычи. Нет, Принс, здесь что-то кроется, помани мое слово. Мы еще услышим о нем, если он останется в наших краях.

— А если нет?

— Тогда великодушию моему будет нанесен удар и плакали мои шестьдесят унций.

Снова настали холода и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мэйлмюта Кида все не появлялся. Но однажды в тусклое январское утро перед хижиной Кида у реки Стюарт остановилось несколько тяжело нагруженных нарт. То был владелец выдровых шкур, а с ним человек той породы, которую боги теперь уже почти разучились создавать. Когда речь заходила об удаче, отваге, о сказочных россыпях, люди всегда вспоминали Акселя Гундерсона. Он незримо присутствовал на ночных стоянках, у костра, когда велись долгие беседы о мужестве, силе и смелости. А если разговор уже не клеился, то, чтобы оживить его, достаточно было назвать имя женщины, которая делила с Акселем Гундерсоном его судьбу.

Как уже было сказано, при сотворении Акселя Гундерсона боги вспомнили свое бывшее искусство и создали его по образу и подобию тех, кто рождался, когда мир был еще молод. Семи футов росту, грудь, шея, руки и ноги великана. Лыжи его были длиннее обычных на добрый ярд, иначе им бы не выдержать эти триста фунтов мускулов и костей, облаченных в живописный костюм короля Эльдорадо. Его суровое, словно высеченное из камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон — закон силы. Заиндевевшие, золотистые, как спелая рожь, волосы, сверкая, словно свет во тьме, спадали на куртку из медвежьего меха. Когда Аксель Гундерсон шагал по узкой тропе впереди собак, в нем было что-то от древних мореплавателей. Он так властно постучал рукояткой бича в дверь Мэйлмюта Кида, как во время набега стучал некогда в запертые ворота замка какой-нибудь скандинавский викинг.

Обнажив свои белые, как у женщины, руки, Принс месил тесто, бросая время от времени взгляды на троих гостей — троих людей, каких не часто встретишь под одной крышей. Чудак, которого Мэйлмют Кид прозвал Улиссом, все еще интересовал молодого инженера; но еще больший интерес возбуждали в нем Аксель Гундерсон и его жена. Путешествие ее утомило, потому что, с тех пор как ее муж наткнулся на золото в этой ледяной пустыне, она спокойно жила в уютном домике и эта

жизнь изнежила ее. Теперь она отдыхала, прислонившись к широкой груди мужа, словно нежный цветок к стене, и лениво отвечала на добродушные шутки Мэйлмюта Кида. Мимолетные взгляды глубоких черных глаз этой женщины странно волновали Принса, ибо Принс был мужчина, здоровый мужчина, и в течение многих месяцев почти не видел женщин. Она была старше его, к тому же индианка. Но он не находил в ней ничего общего с теми скво, которых ему доводилось встречать. Она много путешествовала, побывала, как выяснилось из разговора, и на его родине, знала то, что знали женщины белой расы, и еще многое, чего им не дано знать. Она умела приготовить кушанье из вяленой рыбы и устроить постель в снегу; однако сейчас она дразнила их мучительно подробным описанием изысканных обедов и волновала воспоминаниями о всевозможных блюдах, о которых они уже успели забыть. Она знала повадки лося, медведя, голубого песца и земноводных обитателей северных морей, ей были известны тайны лесов и потоков, и она читала, как открытую книгу, следы, оставленные человеком, птицей или зверем на тонком снежном насте. Однако сейчас Принс заметил, как лукаво сверкнули ее глаза, когда она увидела на стене правила для обитателей стоянки. Эти правила, составленные неисправимым Беттлом в те времена, когда молодая кровь играла в его жилах, были замечательны выразительным грубоватым юмором. Перед приездом женщин Принс обычно поворачивал надпись к стене. Но кто бы подумал, что эта индианка... Ну, теперь уже ничего не поделаешь.

Так вот она какая, жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава облетели весь Север наравне с именем и славой ее мужа! За столом Мэйлмют Кид на правах старого друга поддразнивал ее, и Принс, преодолев смущение первого знакомства, тоже присоединился к нему. Но она ловко защищалась в этой словесной перепалке, а муж ее, не отличавшийся остроумием, только одобрительно улыбался. Он гордился ею. Каждый его взгляд, каждое движение красноречиво говорили о том, какое большое место она занимает в его жизни. Владелец выдровых шкур ел молча, всеми забытый в этой оживленной беседе; он встал из-за стола прежде, чем остальные кончили есть, и вышел к собакам.

Впрочем, и его спутникам пришлось вскоре надеть рукавицы и парки и последовать за ним.

Уже несколько дней не было снегопада, и нарты легко, как по льду, скользили по накатанной юконской тропе. Улисс вел первую упряжку, со второй шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мэйлмют Кид и златокудрый гигант вели третью.

— Мы идем наудачу, Кид,— сказал Аксель Гундерсон,— но я думаю, что дело верное. Сам он никогда там не был, но рассказывает много интересного. Показал мне карту, о которой я слышал в Кутнэе несколько лет тому назад. Мне бы очень хотелось взять тебя с собой. Да он какой-то странный, клянется, что бросит все, если к нам кто-нибудь присоединится. Но дай мне только вернуться, и я выделю тебе лучший участок рядом со своим и, кроме того, возьму тебя в половинную долю, когда начнет строиться город... Нет! Нет! — воскликнул он, не давая Киду перебить себя.— Это мое дело. Ум хорошо, а два лучше. Если все удастся, это будет второй Криппл¹. Понимаешь, второй Криппл! Ведь там не россыпь, а кварцевая жила. И если взяться за дело как следует, все достанется нам — миллионы и миллионы! Я слышал об этом месте раньше, да и ты тоже. Мы построим город... Тысячи рабочих, прекрасные водные пути, пароходные линии... Займемся фрахтовым делом, пустим в верховья легкие суда... Может быть, проложим железную дорогу... Потом построим лесопильные заводы, электростанцию... будет у нас собственный банк, акционерное общество, синдикат... Только держи язык за зубами, пока я не вернусь!

Нарты остановились в том месте, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Сплошное море льда тянулось к далекому неведомому востоку. От нарт отвязали лыжи. Аксель Гундерсон попрощался и двинулся вперед первым; его огромные канадские лыжи уходили на пол-ярда в рыхлый снег и уминали его, чтобы собаки не проваливались. Жена Акселя Гундерсона шла за последними нартами, искусно справляясь с неудобными лыжами. Прощальные крики нарушили тишину, собаки взвизгну-

¹ Криппл-Крик — город в штате Колорадо, США. Центр золотосного района. Здесь в 1891 году были найдены большие месторождения золота.

ли, и владелец выдровых шкур вытянул бичом непокорного жока.

Час спустя санный поезд казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги.



II

Как-то вечером, несколько недель спустя, Мэйлмют Кид и Принс решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кид только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к большой охоте на лосей. Принс тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал блаженный отдых в хижине.

— Загородись черным конем и дай шах королю... Нет, так не годится. Смотри, следующий ход...

— Зачем двигать пешку на две клетки? Ее можно взять на проходе, а слон вне игры.

— Нет, постой! Тут не защищено, и...

— Нет, защищено. Валяй дальше! Вот увидишь, что получится.

Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и только тогда Мэйлмют Кид сказал: «Войдите!» Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принс посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мэйлмюта Кида круто повернуться, и он, в свою очередь, тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное существо, ковыляя, приближалось к ним. Принс стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его смит-и-вессон.

— Господи боже, кто это? — прошептал он.

— Не знаю. Верно, обмороженный и голодный, — ответил Кид, отступая в противоположную сторону. — Берегись! Может быть, он даже сумасшедший, — предостерег он Принса, закрыв дверь.

Странное существо подошло к столу. Яркий свет ударил ему прямо в глаза, и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек — потому что это все-таки был человек — отпрянул

от стола, подтянул свои кожаные штаны и затянул песенку—ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря:

Корабль идет вниз по реке,
Налегай, молодцы, налегай!
Хочешь знать, как зовут капитана?
Налегай, молодцы, налегай!
Джонатан Джонс из Южной Каролины,
Налегай, молодцы...

Песня оборвалась на полуслове, человек со звериным рычанием бросился к полке с припасами и, прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мэйлмюту Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет, он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мэйлмют Кид поставил перед ним. После того как он пресытился сладким, Принс, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона.

Глаза этого существа светились мрачным безумием; оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажившие старые рубцы. Сухая, потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях, мех с одной стороны подпален, а местами даже выжжен—видно, человек заснул у горящего костра.

Мэйлмют Кид показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками,—ужасный знак голода.

— Кто вы такой?—медленно, отчетливо проговорил Кид.

Человек будто не слышал вопроса.

— Откуда вы пришли?

— Корабль плывет вниз по реке,—дрожащим голосом затянул незнакомец.

— Плывет, и черт с ним!—Кид тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить более вразумительно.

Но человек вскрикнул, видимо, от боли и схватился рукой за бок, потом с усилием поднялся, опираясь на стол.

— Она смеялась... и в глазах у нее была ненависть... Она... она не пошла со мной.

Он умолк и зашатался. Мейлмют Кид крикнул, схватив его за руку:

— Кто? Кто не пошел?

— Она, Унга. Она засмеялась и ударила меня— вот так... А потом...

— Ну?

— А потом...

— Что потом?

— Потом он лежал на снегу тихо-тихо, долго лежал. Он и сейчас там.

Друзья растерянно переглянулись.

— Кто лежал на снегу?

— Она, Унга. Она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть, а потом...

— Ну? Ну?

— Потом она взяла нож и вот так— раз-два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота, в этом месте очень много золота...

— Где Унга?

Может быть, эта Унга умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них. Мэйлмют Кид грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца:

— Где Унга? Кто такая Унга?

— Она там... в снегу.

— Говори же!— И Кид крепко сжал ему руку.

— Я тоже... остался бы... в снегу... но мне... надо уплатить долг... Надо уплатить... Тяжело нести... надо уплатить... долг...— Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи.

— Уплатить долг... пять фунтов золотом... Мейлмюту Киду... Я...

Он упал головой на стол, и Мэйлмют Кид уже не мог поднять его.

— Это Улисс,— сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком.— Видимо, Акселю Гундерсону и его жене пришел конец. Давай положим его на койку, под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет.

Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди две ножевые раны.



III

расскажу вам обо всем, как умею, но вы поймете. Я начну с самого начала и расскажу о себе и о ней, а потом уже о нем.

Человек подвинулся ближе к печке, словно боясь, что огонь, этот дар Прометея, вдруг исчезнет—так делают те, которые долго были лишены тепла. Мэйлмют Кид opravил светильник и поставил его поближе, чтобы свет падал на лицо рассказчика. Принс уселся на койку и приготовился слушать.

— Меня зовут Наас, я вождь и сын вождя, родился между закатом и восходом солнца на бурном море, в умиаке моего отца. Мужчины всю ночь работали веслами, а женщины выкачивали воду, которая заливала нас. Мы боролись с бурей. Соленые брызги замерзали на груди моей матери, и ее дыхание ушло вместе с приливом. А я, я присоединил свой голос к голосу бури и остался жить. Наше становище было на Акатане...

— Где, где?—спросил Мэйлмют Кид.

— Акатан—это Алеутские острова. Акатан далеко за Чигником, за Кардалаком, за Унимаком. Как я уже сказал, наше становище было на Акатане, который лежит посреди моря на самом краю света. Мы добывали в соленой воде тюленей, рыбу и выдр; и наши хижины жались одна к другой на скалистом берегу, между опушкой леса и желтой отмелью, где лежали наши каяки. Нас было немного, и наш мир был очень мал. На востоке были чужие земли—острова вроде Акатана; и нам казалось, что мир—это острова, и мы привыкли к этой мысли.

Я отличался от людей моего племени. На песчаной отмели валялись гнутые брусья и покоробившиеся доски от большой лодки. Мой народ не умел делать таких лодок. И я помню, что на краю острова, там, где с трех сторон виден океан, стояла сосна—гладкая, прямая и высокая. Такие сосны редко растут в наших местах. Рассказывали, что как-то раз в этом месте высадились два человека и пробыли там много дней. Эти двое приехали из-за моря на той лодке, обломки которой я видел на берегу. Они были белые, как вы, и слабые, точно малые дети в голодные дни, когда тюлени уходят и

охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я слышал этот рассказ от стариков и старух, а они от своих отцов и матерей. Вначале белым чужеземцам не нравились наши обычаи, но потом они привыкли к ним и окрепли, питаюсь рыбой и жиром, и стали свирепыми. Они построили себе по хижине, и они взяли себе в жены лучших женщин нашего племени, а потом у них появились дети. Так родился тот, кто стал отцом моего деда.

Я уже сказал, что был не такой, как другие люди моего племени, ибо в моих жилах текла сильная кровь белого человека, который появился из-за моря. Говорят, что до прихода этих людей у нас были другие законы. Но белые были свирепы и драчливы. Они сражались с нашими мужчинами, пока не осталось ни одного, кто осмелился бы вступить с ними в бой. Потом они стали нашими вождями, уничтожили наши старые законы и дали нам новые, по которым мужчина был сыном отца, а не матери, как было раньше. Они установили, что первенец получает все, что принадлежало его отцу, а младшие братья и сестры должны сами заботиться о себе. И они дали нам много других законов. Показали, как лучше ловить рыбу и охотиться на медведей, которых так много в наших лесах, и научили нас делать большие запасы на случай голода. И это было хорошо.

Но когда эти белые люди стали нашими вождями и не осталось среди нас людей, которые могли бы им противиться, они начали ссориться между собой. И тот, чья кровь течет в моих жилах, пронзил своим копьем тело другого. Дети их продолжали борьбу, а потом дети их детей. Они враждовали между собой и творили черные дела и тогда, когда родился я, и наконец в обеих семьях осталось только по одному человеку, которые могли передать потомству кровь тех, кто был до нас. В моей семье остался я, в другой — девочка Унга, которая жила со своей матерью. Как-то ночью наши отцы не вернулись с рыбной ловли, но потом, во время большого прилива, их тела прибило к берегу, и они, мертвые, лежали на отмели, крепко сцепившись друг с другом.

И люди дивились на эту вражду, а старики говорили, что вражда эта будет продолжаться и тогда, когда и у Унги и у меня родятся дети. Мне говорили об этом, когда я был еще мальчишкой, и под конец я стал видеть в Унге врага, ту, чьи дети будут врагами моих детей. Я думал об

этом целыми днями, а став юношей, спросил, почему так должно быть, и мне отвечали: «Мы не знаем, но так было при ваших отцах». И я дивился, почему те, которые придут за нами, обречены продолжать борьбу тех, кто уже ушел, и не видел в этом справедливости. Но люди племени говорили, что так должно быть, а я был тогда еще юношей.

Мне говорили, что я должен спешить, чтобы дети мои были старше детей Унги и успели раньше возмужать. Это было легко, ибо я возглавлял племя и люди уважали меня за подвиги и обычаи моих отцов и за богатство. Любая девушка охотно пришла бы в мою хижину, но я ни одной не находил себе по сердцу. А старики и матери девушек торопили меня, говоря, что многие охотники предлагают большой выкуп матери Унги, и если ее дети вырастут раньше, они убьют моих детей.

Но я все не находил себе девушки по сердцу. И вот как-то вечером я возвращался с рыбной ловли. Солнце стояло низко, лучи его били прямо мне в глаза. Дул свежий ветер, и каяки неслись по белым волнам. И вдруг мимо меня пронесся каяк Унги, и она взглянула мне в лицо. Ее волосы, черные, как туча, развевались, на щеках блеснули брызги. Как я уже сказал, солнце било мне в глаза, и я был еще юношей, но тут я почувствовал, как кровь во мне заговорила, и мне все стало ясно. Унга обогнала мой каяк и опять посмотрела на меня—так смотреть могла одна Унга,—и я опять почувствовал, как кровь говорит во мне. Люди кричали нам, когда мы проносились мимо неповоротливых умиаков, оставляя их далеко позади. Унга быстро работала веслами, мое сердце было словно поднятый парус, но я не мог ее догнать. Ветер крепчал, море покрылось белой пеной, и, прыгая, словно тюлени по волнам, наши каяки скользили по золотой солнечной дороге.

Наас сгорбился на стуле, словно он опять, работая веслами, гнался по морю в своем каяке. Быть может, там, за печкой, виделся ему несущийся каяк и развевающиеся волосы Унги. Ветер свистел у него в ушах, и в ноздри бил соленый запах моря.

— Она причалила к берегу и, смеясь, побежала по песку к хижине своей матери. И в ту ночь великая мысль посетила меня—мысль, достойная того, кто был вождем народа Акатана. И вот, когда взошла луна, я направился

к хижине ее матери и посмотрел на дары Яш-Нуша, сложенные у дверей,—дары Яш-Нуша, отважного охотника, который хотел стать отцом детей Унги. Были и другие, которые тоже складывали свои дары грудой у этих дверей, а потом уносили их назад нетронутыми, и каждый старался, чтобы его груды были больше чужой.

Я посмотрел на луну и звезды, засмеялся и пошел к своей хижине, где хранились мои богатства. И много раз я ходил туда и обратно, пока моя груды не стала выше груды Яш-Нуша на целую ладонь. Там была копченая и вяленая рыба, и сорок тюленьих шкур, и двадцать котиковых, причем каждая шкура была перевязана и наполнена жиром, и десять шкур медведей, которых я убил в лесу, когда они выходили весной из своих берлог. И еще там были бусы, и одеяла, и пунцовые ткани, которые я выменял у людей, живущих на востоке, а те, в свою очередь, выменяли их у людей, живущих еще дальше на востоке. Я посмотрел на дары Яш-Нуша и засмеялся, ибо я был вождем Акатана, и мое богатство было больше богатства всех остальных юношей, и мои отцы совершали подвиги и устанавливали законы, навсегда оставив свои имена в памяти людей.

Когда наступило утро, я спустился на берег и краешком глаза стал наблюдать за хижинкой матери Унги. Дары мои стояли нетронутыми. И женщины хитро улыбались и тихонько переговаривались между собой. Я не знал, что подумать: ведь никто прежде не предлагал такого большого выкупа. И в ту ночь я прибавил много вещей, и среди них был каяк из дубленой кожи, который еще не спускали на воду. Но и на следующий день все оставалось нетронутым, на посмешище людям. Мать Унги была хитра, а я разгневался за то, что она позорила меня в глазах моего народа. И в ту ночь я принес к дверям хижины много других даров, и среди них был мой умиак, который один стоил двадцати каяков. Наутро все мои дары исчезли.

И тогда я начал готовиться к свадьбе, и на потlach к нам пришли за угощением и подарками даже люди, жившие далеко на востоке. Унга была старше меня на четыре солнца,—так считаем мы годы. Я в ту пору еще не вышел из юношеских лет, но я был вождем и сыном вождя, и молодость не была помехой.

Но вот в океане показалось парусное судно, и оно приближалось с каждым порывом ветра. В нем, как видно, была течь—матросы торопливо откачивали воду насосами. На носу стоял человек огромного роста; он смотрел, как измеряли глубину, и отдавал приказания громовым голосом. У него были синие глаза—цвета глубоких вод, и грива, как у льва. Волосы у этого великана были желтые, словно пшеница, растущая на юге, или манильская пенька, из которой матросы плетут канаты.

В последние годы мы не раз видели проплывающие вдали корабли, но этот корабль первый пристал к берегу Акатана. Пир наш был прерван, дети и женщины разбежались по домам, а мы, мужчины, схватились за луки и копья. Нос судна врезался в берег, но чужестранцы, занятые своим делом, не обращали на нас никакого внимания. Как только прилив спал, они накренили шхуну и стали чинить большую пробоину в днище. Тогда женщины опять выползли из хижин, и наше пиршество продолжалось.

С началом прилива мореплаватели отвели свою шхуну на глубокое место и пришли к нам. Они принесли с собой подарки и были дружелюбны. Я усадил их у костра и щедро преподнес им такие же подарки, как и другим гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был первым человеком на Акатане. Человек с львиной гривой тоже пришел к нам. Он был такой высокий и сильный, что, казалось, земля дрожит под тяжестью его шагов. Он долго и пристально смотрел на Унгу, сложив руки на груди—вот так, и не уходил, пока не зашло солнце и не зажглись звезды. Тогда он вернулся на свой корабль. А я взял Унгу за руку и повел ее к себе в дом. И все вокруг пели и смеялись, а женщины подшучивали над нами, как это всегда бывает на свадьбах. Но мы ни на кого не обращали внимания. Потом все разошлись по домам и оставили нас вдвоем.

Шум голосов еще не успел затихнуть, как в дверях появился вождь мореплавателей. Он принес с собой черные бутылки, мы пили из них и веселились. Ведь я был еще совсем юношей и все свои годы прожил на краю света. Кровь моя стала, как огонь, а сердце—легким, как пена, которая во время прибоя летит на прибрежные скалы. Унга молча сидела в углу на шкурах, и глаза ее

были широко раскрыты от страха. Человек с гривой пристально и долго смотрел на нее. Потом пришли его люди с тюками и разложили передо мной богатства, равных которым не было на всем Акатане. Там были ружья, большие и маленькие, порох, патроны и пули, блестящие топоры, стальные ножи и хитроумные орудия и другие необыкновенные вещи, которых я никогда не видел. Когда он показал мне знаками, что все это—мое, я подумал, что это великий человек, если он так щедр. Но он показал мне также, что Унга должна пойти с ним на его корабль! Понимаете? Унга должна пойти с ним на его корабль! Кровь моих отцов закипела во мне, и я бросился на него с копьем. Но дух, заключенный в бутылках, отнял силу у моей руки, и человек с львиной гривой схватил меня за горло—вот так, и ударил головой об стену. И я ослабел, как новорожденный младенец, и ноги мои подкосились. Тогда тот человек потащил Унгу к двери, а она кричала и цеплялась за все, что попадалось ей на пути. Потом он подхватил ее своими могучими руками, и когда она вцепилась ему в волосы, он загоготал, как большой тюлень-самец во время случки.

Я дополз до берега и стал кричать, сзывая своих, но никто не решился выйти. Один Яш-Нуш оказался мужчиной. Но его ударили веслом по голове, и он упал лицом в песок и замер. Чужестранцы под звуки песни подняли паруса, и корабль их понесся, подгоняемый ветром. Народ говорил, что это к добру, что не будет больше кровной вражды на Акатане. Но я молчал и стал ждать полнолуния. Когда оно наступило, я положил в свой каяк запас рыбы и жира и отплыл на восток. По пути мне попадалось много островов и много людей; и я, который жил на краю света, понял, что мир очень велик. Я объяснялся знаками. Но никто не видел ни шхуны, ни человека с львиной гривой, и все показывали дальше на восток. И я спал где придется, ел непривычную мне пищу, видел странные лица. Многие смеялись надо мной, принимая за сумасшедшего, но иногда старики повертывали лицо мое к свету и благословляли, а глаза молодых женщин увлажнялись, когда я рассказывал о загадочном корабле, об Унге, о людях с моря.

И вот через суровые моря и бушующие волны я добрался до Уналашки. Там стояли две шхуны, но ни

одна из них не была той, которую я искал. И я поехал дальше на восток, и мир становился все больше, но никто не слышал о том корабле ни на острове Унимак, ни на Кадьяке, ни на Афогнаке¹. И вот однажды я прибыл в скалистую страну, где люди рыли большие ямы на склонах гор. Там стояла шхуна, но не та, что я искал, и люди грузили ее камнями, добытыми в горах. Это показалось мне детской забавой,—ведь камни повсюду можно найти; но меня накормили и заставили работать. Когда шхуна глубоко осела в воде, капитан дал мне денег и отпустил. Но я спросил его, куда он держит путь, и он указал на юг. Я объяснил ему знаками, что хочу ехать с ним; сначала он рассмеялся, но потом оставил меня на шхуне, так как у него не хватало матросов. Там я научился говорить на их языке, и тянуть канаты, и брать рифы на парусах во время шквала, и стоять на вахте. И в этом не было ничего удивительного, ибо в жилах моих отцов текла кровь мореплавателей.

Я думал, что теперь, когда я живу среди белых людей, мне будет легко найти того, кого я искал. Когда мы достигли земли и вошли через пролив в порт, я ждал, что вот сейчас увижу много шхун—ну, столько, сколько у меня пальцев на руках. Но их оказалось гораздо больше,—как рыб в стае, и они растянулись на много миль вдоль берега. Я ходил с одного корабля на другой и всюду спрашивал о человеке с львиной гривой, но надо мной смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что эти корабли пришли сюда со всех концов света.

Тогда я отправился в город и стал заглядывать в лицо каждому встречному. Но людей в городе было не счесть,—как трески, когда она густо идет вдоль берега. Шум оглушил меня, и я уже ничего не слышал, и голова моя кружилась от сутолоки. Но я продолжал свой путь—через страны, звеневшие песней под горячим солнцем, страны, где на полях созревал богатый урожай, где большие города были полны мужчин, изнеженных, как женщины, лживых и жадных до золота. А тем временем на Акатане мой народ охотился, ловил рыбу и думал, что мир мал, и был счастлив в своем неведении.

¹ Уналашка, Унимак, Кадьяк, Афогнак—острова, расположенные к юго-западу от Аляски.

Но взгляд, который бросила Унга, возвращаясь с рыбной ловли, преследовал меня, и я знал, что найду ее, когда настанет час. Она шла по тихим переулкам в вечерние сумерки и следовала за мной по тучным полям, влажным от утренней росы, и глаза ее обещали то, что могла дать только Унга.

Я прошел тысячи городов. И люди, жившие в этих городах, то жалели меня и давали пищу, то смеялись, а некоторые встречали бранью. Но я, стиснув зубы, жил по чужим обычаям и видел многое, что было чуждо мне. Часто я, вождь и сын вождя, работал на людей грубых и жестких, как железо,—людей, которые добывали золото потом и кровью своих братьев. Но нигде я не получил ответа на свой вопрос о людях, которых искал, до тех пор, пока не вернулся к морю, как морж на лежбище. Это было уже в другом порту, в другой стране, которая лежит на Севере. И там я услышал рассказы о желтоволосом морском бродяге и узнал, что сейчас он в океане охотится за тюленями.

Я сел на охотничье судно вместе с ленивыми сивашами, и мы пустились по пути, не оставляющему следов, на север, где в то время шла охота на тюленей. Мы провели не один томительный месяц на море и всюду расспрашивали о том, кого я искал, и слышали многое о нем, но самого его не встретили нигде.

Мы отправились дальше на север, к островам Прибылова, и били тюленей стадами на берегу, и приносили их еще теплыми на борт; и наконец на палубе стало так скользко от жира и крови, что нельзя было удержаться на ногах. За нами погнался корабль, который обстрелял нас из больших пушек. Мы подняли все паруса, так что наша шхуна стала зарываться носом в волны, и быстро скрылись в тумане.

Потом я слышал, что, пока мы в страхе спасались от преследования, желтоволосый морской бродяга высадился на островах Прибылова, пришел в факторию, и в то время, как часть его команды держала служащих взаперти, остальные вытащили из склада десять тысяч сырых шкур и погрузили на свой корабль. Это слухи, но я им верю. В своих скитаниях я никогда не встречал этого человека, но слава о нем и о его жестокости и отваге гремела по северным морям, так что, наконец, три народа, владевшие землями в тех краях, снарядили

корабли в погоню за ним. Я слышал и об Унге, многие капитаны пели ей хвалу, прославляя ее в своих рассказах. Она была всегда с ним. Говорили, что она переняла обычаи его народа и теперь счастлива. Но я знал, что это не так,—я знал, что сердце Унги рвется назад к ее народу, к песчаным берегам Акатана.

Прошло много времени, и я вернулся в гавань, которая служит воротами в океан, и там я узнал, что желтоволосый ушел охотиться на котиков к берегам теплой страны, которая лежит южнее русских морей. И я, ставший к тому времени настоящим моряком, сел на корабль вместе с людьми его крови и понесся следом за ним на охоту за котиками.

Немногие корабли отправлялись туда, но мы напали на большое стадо котиков и всю весну гнали его на север. И когда брюхатые самки повернули в русские воды, наши матросы испугались и стали роптать, потому что стоял сильный туман и шлюпки гибли каждый день. Они отказались работать, и капитану пришлось повернуть судно обратно. Но я знал, что желтоволосый бродяга ничего не боится и будет преследовать стадо вплоть до русских островов, куда не многие решаются заходить. И вот темной ночью я взял шлюпку, воспользовавшись тем, что вахтенный задремал, и поплыл один в теплую страну. Я держал курс на юг и вскоре очутился в бухте Иеддо, где встретил много непокорных и отважных людей. Девушки Иошивары были маленькие, красивые и быстрые, как ртуть. Но я не мог там оставаться, зная, что Унга несется по бурным волнам к берегам Севера.

В бухте Иеддо собрались люди со всех концов света; у них не было родины, они не поклонялись никаким богам и плавали под японским флагом. И я отправился с ними к богатым берегам Медного острова, где наши трюмы доверху наполнились шкурами. В этом безлюдном море мы никого не встретили, пока не повернули обратно. Однажды сильный ветер рассеял туман, и мы увидели позади нас шхуну, а в ее кильватере дымящиеся трубы русского военного судна. Мы понеслись вперед на всех парусах, а шхуна нагоняла нас, делая три фута, пока мы делали два. И на корме шхуны стоял человек с львиной гривой и, схватившись за поручни, смеялся, гордясь своей силой. И Унга была с ним—я тотчас же узнал

ее,—но когда пушки русских открыли огонь, он послал ее вниз. Как я уже сказал, шхуна делала три фута на два наших, и, когда налетала волна, можно было видеть ее днище. Я с проклятиями ворочал штурвалом, не оглядываясь на грохочущие пушки русских. Мы понимали, что он хочет обогнать наше судно и уйти от погони, пока русские будут возиться с нами. У нас сбили мачты, и мы неслись по ветру, как раненая чайка, а он исчез на горизонте—он и Унга.

Что нам было делать? Свежие шкуры говорили сами за себя. Нас отвели в русскую гавань, а оттуда послали в пустынную страну, где заставили работать в соляных копях. И некоторые умерли там, а некоторые... остались жить.

Наас сбросил одеяло с плеч и обнажил тело, исполованное страшными рубцами. То были, несомненно, следы кнута. Принс торопливо прикрыл его вновь: зрелище было не из приятных.

— Долго мы томились там. Иногда люди убегали на юг, но их неизменно возвращали назад. И вот однажды ночью мы—те, кто был из бухты Иеддо,—отняли ружья у стражи и двинулись на север. Кругом тянулись непроходимые болота и дремучие леса, и конца им не было видно. Настали холода, земля покрылась снегом, а куда нам идти, никто не знал. Долгие месяцы бродили мы по необъятным лесам—я всего не помню, потому что у нас было мало пищи, и часто мы ложились и ждали смерти. Наконец трое из нас достигли холодного моря. Один из троих был капитан из Иеддо. Он знал, где лежат большие страны, и помнил место, где можно перейти по льду из одной страны в другую. И капитан повел нас туда. Сколько мы шли, не знаю, но это было очень долго, и под конец нас осталось двое. Мы дошли до места, о котором он говорил, и встретили там пятерых людей из того народа, что живет в этой стране; и у них были собаки и шкуры, а у нас не было ничего. Мы бились с ними на снегу, и ни один не остался в живых, и капитан тоже был убит, а собаки и шкуры достались мне. Тогда я пошел по льду, покрытому трещинами, и меня унесло на льдине и носило до тех пор, пока западный ветер не прибил ее к берегу. Потом была бухта Головина, Пастилик и священник. Потом—на юг, на юг, в теплые страны, где я уже был раньше.

Но море уже не давало большой добычи, и те, кто отправлялся на охоту за котиками, многим рисковали, а выгоды получали мало. Суда попадались редко, и ни капитаны, ни матросы ничего не могли сказать мне о тех, кого я искал. Тогда я ушел от беспокойного океана и пустился в путь по суше, где растут деревья, стоят дома и горы и ничто не меняет своих мест. Я много где побывал и научился многому, даже читать книги и писать. И это было хорошо, ибо я думал, что Унга тоже, верно, научилась этому и что когда-нибудь, когда придет наш час, мы... вы понимаете?... когда придет наш час...

Так я скитался по свету, словно маленькая рыбацья лодка, которая, поднимая парус, оказывается во власти ветров. Но глаза и уши мои были всегда открыты, и я держался поближе к людям, которые много путешествовали, ибо, думалось мне, нельзя забыть тех, кого я искал. Наконец, я встретил человека, только что спустившегося с гор. Он принес с собой камни, в которых блестели кусочки золота—большие, как горошины. Он слышал о них, он встречал их, он знал их. Они богаты, рассказывал этот человек, и живут там, где добывают золото.

Это была далекая дикая страна, но я добрался и туда и увидел лагерь в горах, где люди работали день и ночь, не видя солнца. Но час мой еще не настал. Я прислушивался к тому, что говорят люди. Он уехал—они оба уехали в Англию, говорили кругом, и будут искать там богатых людей, чтобы образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он был похож на те дворцы, какие бывают в Старом Свете. Ночью я забрался в дом через окно: мне хотелось посмотреть, что тот человек дал ей. Я бродил из комнаты в комнату и думал, что так, должно быть, живут только короли и королевы,—так хорошо там было! И все говорили, что он обращался с ней, как с королевой, хотя и недоумевали, откуда эта женщина родом,—в ней всегда чувствовалась иная кровь, и она была не похожа на женщин Акатана. Да, она была королева. Но я был вождь и сын вождя, и я дал за нее неслыханный выкуп мехами, лодками и бусами.

Но зачем так много слов? Я стал моряком, и мне были ведомы пути кораблей. И я отправился в Англию, а потом в другие страны. Мне часто приходилось слышать рассказы о тех, кого я искал, и читать о них в газетах, но догнать их я не мог, потому что они были богаты и

быстро переезжали с места на место, а я был беден. Но вот их настигла беда, и богатство рассеялось, как дым. Сначала газеты много писали об этом, а потом перестали; и я понял, что они вернулись обратно, туда, где много золота в земле.

Обеднев, они скрылись куда-то, и я скитался из поселка в поселок и, наконец, добрался до Кутнэ, где напал на их след. Они были здесь и ушли, но куда? Мне называли то одно место, то другое, а некоторые говорили, что они отправились на Юкон. И я побывал во всех этих местах и под конец почувствовал великую усталость оттого, что мир так велик.

В Кутнэ мне пришлось долго идти по тяжелой тропе, пришлось и голодать, и мой проводник—метис с Северо-запада—не вынес голода. Этот метис незадолго до того побывал на Юконе, пробравшись туда никому не ведомым путем через горы, и теперь, почувствовав, что час его близок, он дал мне карту и рассказал о некоем тайном месте, поклявшись своими богами, что там много золота.

В то время люди ринулись на Север. Я был беден. Я нанялся погонщиком собак. Остальное вы знаете. Я встретил их в Доусоне. Она не узнала меня. Ведь там, на Акатане, я был еще юношей, а она с тех пор прожила большую жизнь! Где ей было вспомнить того, кто заплатил за нее неслыханный выкуп.

Дальше? Дальше ты помог мне откупиться от службы. Я решил сделать все по-своему. Долго пришлось мне ждать, но теперь, когда он был у меня в руках, я не спешил. Говорю вам, я хотел сделать все по-своему, ибо я вспомнил всю свою жизнь, все, что видел и выстрадал, вспомнил холод и голод в бесконечных лесах у русских морей.

Как вы знаете, я повел Гундерсона и Унгу на восток, куда многие уходили и откуда не многие возвращались. Я повел их туда, где вперемешку с костями, осыпанное проклятиями лежит золото, которое людям не суждено было унести. Путь был долгий, и идти по снежной целине было нелегко. Собак у нас было много, и ели они много. Нарты не могли поднять всего, что нам требовалось до наступления весны. А вернуться назад мы должны были прежде, чем вскрыется река. По дороге мы устраивали хранилища и оставляли там часть припасов,

чтобы уменьшить поклажу и не умереть с голода на обратном пути. В Мак-Квещене жили трое людей, и одно хранилище мы устроили неподалеку от их жилья, другое—в Мэйо, где была разбита стоянка охотников из племени пелли, пришедших сюда с юга через горный перевал. Потом мы уже не встречали людей; перед нашими глазами была только спящая река, неподвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как я уже сказал, путь наш был долгий и дорога трудная. Случалось, что, прокладывая тропу для собак, мы за день делали не больше восьми—десяти миль, а ночью засыпали как убитые. И ни разу спутникам моим не пришлось в голову, что я Наас, вождь Акатана, решивший отомстить за обиду.

Теперь мы оставляли уже немного запасов, а ночью я возвращался назад по укатанной тропе и прятал их в другое место, так, чтобы можно было подумать, будто хранилища разорили росوماхи. К тому же на реке много порогов, и бурный поток подмывает снизу лед. И вот на одном таком месте у нас провалилась упряжка, которую я вел, но он и Унга решили, что это несчастный случай. А на провалившихся нартах было много припасов, и везли их самые сильные собаки.

Но он смеялся, потому что жизнь была в нем через край. Уцелевшим собакам мы давали теперь очень мало пищи, а затем стали выпрягать их одну за другой и бросать на съедение остальным.

— Возвращаться будем налегке, без нарт и собак,—говорил он,—и станем делать переходы от хранилища к хранилищу.

И это было правильно, ибо провизии у нас осталось мало; и последняя собака издохла в ту ночь, когда мы добрались до места, где были кости и проклятое людьми золото.

Чтобы попасть в то место, находящееся среди высоких гор—карта оказалась верной,—нам пришлось вырубать ступени в обледенелых скалах. Мы думали, что за горами будет спуск в долину, но кругом расстилалось беспредельное заснеженное плоскогорье, а над ним поднимались к звездам белые скалистые вершины. А посреди плоскогорья был провал, казалось, до самого сердца земли. Не будь мы моряками, у нас закружилась бы голова. Мы стояли на краю пропасти и смотрели, где

можно спуститься вниз. С одной стороны—только с одной стороны—скала уходила вниз не отвесно, а с наклоном, точно палуба, накренившаяся на волне. Я не знаю, как это получилось, но это было так.

— Это преддверие ада,—сказал он.—Сойдем вниз.

И мы спустились.

На дне провала стояла хижина, построенная кем-то из бревен, сброшенных сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали здесь в одиночестве, и мы прочли их последние проклятия, в разное время нацарапанные на кусках бересты. Один умер от цинги; у другого компаньон отнял последние припасы и порох и скрылся; третьего задрал медведь; четвертый пробовал охотиться и все же умер от голода.

Так кончали все, они не могли расстаться с золотом и умирали. И пол хижины был усыпан не нужным никому золотом, как в сказке!

Но у человека, которого я завел так далеко, была бесстрашная душа и трезвая голова.

— Нам нечего есть,—сказал он.—Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все золото будет нашим.

И мы осмотрели мощную золотоносную жилу, которая прорезывала скалу сверху донизу, измерили ее, вбили заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступала тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по громадной скале наверх и двинулись в обратный путь.

Последнюю часть пути нам пришлось нести Унгу. Мы сами то и дело падали, но в конце концов добрались до первого хранилища. Увы—припасов там не было. Я так ловко сделал, что он подумал, будто всему виной росамахи, и обрушился на них и на своих богов с проклятиями. Но Унга не теряла мужества, она улыбалась, взяв его за руку, и я должен был отвернуться, чтобы овладеть собой.

— Мы проведем ночь у костра,—сказала она,—и подкрепимся мокасинами.

И мы отрезали по несколько полос от мокасин и варили эти полосы чуть ли не всю ночь,—иначе их было бы не разжевать. Утром мы стали думать, как быть дальше. До следующего хранилища было пять дней пути, но у нас не хватило бы сил добраться до него. Нужно было найти дичь.

— Мы пойдем вперед и будем охотиться,—сказал он.

— Да,—повторил я,—мы пойдем вперед и будем охотиться.

И он приказал Унге остаться у костра, чтобы не ослабеть совсем. А мы пошли. Он на поиски лося, а я туда, где у меня была спрятана провизия. Но съел я немного, боясь, как бы они не заметили, что у меня прибавилось сил. Возвращаясь ночью к костру, он то и дело падал. Я тоже притворялся, что очень ослабел, и шел, спотыкаясь, на своих лыжах, словно каждый мой шаг был последним. У костра мы опять подкрепились мокасинами.

Он был выносливый человек. Дух его до конца поддерживал тело. Он не жаловался и думал только об Унге. На второй день я пошел за ним, чтобы не пропустить его последние минуты. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он был близок к смерти. Но наутро он опять пошел дальше, бормоча проклятия. Он был как пьяный, и несколько раз мне казалось, что он не сможет идти. Но он был сильным из сильных, и душа его была душой великана, ибо она поддерживала его тело весь день. Он застрелил двух белых куропаток, но не стал их есть. Куропаток можно было бы съесть сырыми, не разводя костра, и они сохранили бы ему жизнь. Но его мысли были с Унгой, и он пошел обратно к стоянке. Вернее, не пошел, а пополз на четвереньках по снегу. Я приблизился к нему и прочел смерть в его глазах. Он мог бы еще спастись, съев куропаток. Но он отшвырнул ружье и понес птиц в зубах, как собака. Я шел рядом с ним. И в минуты отдыха он смотрел на меня и удивлялся, что я так легко иду. Я понимал это, хотя он не мог выговорить ни слова,—его губы шевелились беззвучно. Как я уже сказал, он был сильный человек, и в сердце моем проснулась жалость. Но я вспомнил всю свою жизнь, вспомнил голод и холод в бесконечных лесах у русских морей. Кроме того, Унга была моя: я заплатил за нее неслыханный выкуп шкурами, лодками и бусами.

Так мы пробирались через белый лес, и безмолвие угнетало нас, как тяжелый морской туман. И вокруг носились призраки прошлого. Мне виделся желтый берег Акатана, каяки, возвращающиеся домой с рыбной ловли, и хижины на опушке леса. Я видел людей, которые дали законы моему народу и были его вождями,—людей, чья кровь текла в моих жилах и в жилах жены моей, Унги. И Яш-Нуш шел рядом со мной, в волосах у него был мокрый песок, и он все еще не выпускал из рук сломанного боевого копья. Я знал, что час мой близок, и словно видел обещание в глазах Унги.

Как я сказал, мы пробирались через лес, и, наконец, дым костра защекотал нам ноздри. Тогда я наклонился над Гундерсоном и вырвал куропаток у него из зубов. Он повернулся на бок, глядя на меня удивленными глазами, и рука его медленно потянулась к ножу, который висел у него на поясе. Но я отнял нож, смеясь ему прямо в лицо. И даже тогда он ничего не понял. А я показал ему, как я пил из черных бутылок, показал, как я складывал груды даров на снегу, и все, что случилось в ночь моей свадьбы. Я не произнес ни слова, но он все понял и не испугался. Губы его насмешливо улыбались, а в глазах была холодная злоба, у него, казалось, прибавилось сил, когда он узнал меня. Идти нам оставалось недолго, но снег был глубокий, и он едва тащился. Раз он так долго лежал без движения, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Жизнь то угасала в них, то снова возвращалась. Но когда я отпустил его, он снова пополз. Так мы добрались до костра. Унга бросилась к нему. Его губы беззвучно зашевелились! Он показывал на меня. Потом вытянулся на снегу... Он и сейчас лежит там.

Я не сказал ни слова до тех пор, пока не изжарил куропаток. А потом заговорил с Унгой на ее языке, которого она не слышала много лет. Унга выпрямилась—вот так, глядя на меня широко открытыми глазами,—и спросила, кто я и откуда знаю этот язык.

— Я Наас,—сказал я.

— Наас?—крикнула она.—Это ты?—и подползла ко мне ближе.

— Да,—ответил я.—Я Наас, вождь Акатана, последний из моего рода, как и ты—последняя из своего рода.

И она засмеялась. Да не услышать мне еще раз такого смеха! Душа моя сжалась от ужаса, и я сидел среди

Белого Безмолвия, наедине со смертью и с этой женщиной, которая смеялась надо мной.

— Успокойся,—сказал я, думая, что она бредит.—Подкрепись, и пойдем. Путь до Акатана долог.

Но Унга спрятала лицо в его желтую гриву и смеялась так, что, казалось, еще немного, и само небо обрушится на нас. Я думал, что она обрадуется мне и сразу вернется памятью к прежним временам, но таким смехом никто не выражает свою радость.

— Идем!—крикнул я, крепко беря ее за руку.—Нам предстоит долгий путь во мраке. Надо торопиться!

— Куда?—спросила она, приподнявшись, и перестала смеяться.

— На Акатан,—ответил я, надеясь, что при этих словах лицо ее сразу просветлеет.

Но оно стало похожим на его лицо: та же насмешливая улыбка, та же холодная злоба в глазах.

— Да,—сказала она,—мы возьмемся за руки и пойдем на Акатан. Ты и я. И мы будем жить в грязных хижинах, питаться рыбой и тюленьим жиром, и наплодим себе подобных, и будем гордиться ими всю жизнь. Мы забудем о большом мире. Мы будем счастливы, очень счастливы! Как это хорошо! Идем! Надо спешить. Вернемся на Акатан.

И она провела рукой по его желтым волосам и засмеялась недобрым смехом. И обещания не было в ее глазах. Я сидел молча и дивился нраву женщин. Я вспомнил, как он тащил ее в ночь нашей свадьбы и как она рвала ему волосы—волосы, от которых теперь не могла отнять руки. Потом я вспомнил выкуп и долгие годы ожидания. И я сделал так же, как сделал тогда он, поднял ее и понес. Как в ту ночь, она отбивалась, словно кошка, у которой отнимают котят. Я обошел костер и отпустил ее. И она стала слушать меня. Я рассказал ей обо всем, что случилось со мной в чужих морях и края, о моих неустанных поисках, о голодных годах и о том обещании, которое она дала мне первому. Да, я рассказывал обо всем, даже о том, что случилось между мной и им в этот день. И, рассказывая, я видел, как в ее глазах росло обещание, манящее, как утренняя заря. И я прочел в них жалость, женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова стал юношей, ибо взгляд ее стал взглядом той Унги, которая смеялась и бежала

вдоль берега к материнскому дому. Исчезли мучительная усталость, и голод, и томительное ожидание. Час настал. Я почувствовал, что Унга зовет меня склонить голову ей на грудь и забыть все. Она раскрыла мне объятия, и я бросился к ней. Но вдруг ненависть заглясь у нее в глазах, и рука потянулась к моему поясу. И она ударила меня ножом, вот так—раз, два.

— Собака!—крикнула Унга, толкая меня в снег.—Собака!—Ее смех звенел в тишине, когда она ползла к мертвецу.

Как я уже сказал, Унга два раза ударила меня ножом, но рука ее ослабела от голода, а мне не суждено было умереть. И все же я хотел остаться там и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом с теми, чьи жизни сплелись с моей и кто вел меня по неведомым тропам. Но надо мной тяготел долг, и я не мог думать о покое.

А путь был долгий, холод свирепый, и пищи у меня было мало. Охотники из племени пелли, не напав на лосей, наткнулись на мои запасы. То же самое сделали трое белых в Мак-Квешене, но они лежали бездыханные в своей хижине, когда я проходил мимо. Что было потом, как я добрался сюда, нашел пищу, тепло—не помню, ничего не помню.

Замолчав, он жадно потянулся к печке. Светильник отбрасывал на стену страшные блуждающие тени.

— Но как же Унга?!—воскликнул Принс, потрясенный рассказом.

— Унга? Она не стала есть куропатку. Она лежала, обняв мертвеца за шею и зарывшись лицом в его желтые волосы. Я придвинул костер ближе, чтобы ей было теплее, но она отползла. Я развел еще один костер, с другой стороны, но и это ничему не помогло,—ведь она отказывалась от еды. И вот так они и лежат там на снегу.

— А ты?—спросил Мэйлмют Кид.

— Я не знаю, что мне делать, Акатан мал, я не хочу возвращаться туда и жить на краю света. Да и зачем мне жить? Пойду к капитану Констэнтайну, и он наденет на меня наручники. А потом мне набросят веревку на шею—вот так, и я крепко усну, крепко... А впрочем... не знаю.

— Послушай, Кид!—возмутился Принс.—Ведь это же убийство!

— Молчи!—строго сказал Мэйлмют Кид.—Есть вещи выше нашего понимания. Как знать, кто прав, кто виноват? Не нам судить.

Наас подвинулся к огню еще ближе. Наступила глубокая тишина, и в этой тишине перед мысленным взором каждого из них пестрой чередой проносились далекие видения.



Великая загадка

П оистине, миссис Сейзер промелькнула на небосклоне Доусона подобно метеору. Она прибыла весной, на собаках, с проводниками из канадских французов, ослепительно блеснула на один короткий месяц и уехала вверх по реке, как только сошел лед. Весь Доусон, которому так не хватает женского общества, был ошеломлен столь внезапным отъездом, и местная аристократия огорчалась и расстраивалась по этому поводу до тех самых пор, пока не разразилась золотая лихорадка в Номе и новая сенсация не затмила старую. Ибо Доусон пришел в восторг от миссис Сейзер и принял ее с распростертыми объятиями. Она была мила, очаровательна и притом вдова, поэтому за нею сразу стали увиваться чуть ли не все короли Эльдорадо, должностные лица, искатели приключений из младших сыновей состоятельных семейств—все, кто стосковался по шелесту женского платья.

Горные инженеры с уважением вспоминали ее мужа, покойного полковника Сейзера; представители промышленных кругов почтительно отзывались о его сделках и хватке: ведь он считался одним из крупнейших воротил в американской горной промышленности и, быть может, еще более крупным в английской. Чего ради из всех женщин на свете именно его вдова явилась в эти края? Это была великая загадка. Но обитатели Севера—народ практический, они вполне разумно презируют отвлеченные рассуждения и признают только факты. А для многих из них Карен Сейзер оказалась весьма существенным фактом. Она же смотрела на вещи по-другому, о чем свидетельствуют категоричность и бы-

строта, с какими она весь этот месяц отвечала на бесконечные предложения руки и сердца. И вот она исчезла, а с нею исчез факт, и осталась только загадка.

Однако случай милостиво дал ключ к разгадке. Последняя жертва миссис Сейзер. Джек Кофрэн, понапрасну положивший к ее ногам свое сердце и участок в пятьсот футов на Бонанзе, всю ночь напролет шатался с горя по кабакам в самой разношерстной компании. Среди ночи он невзначай столкнулся с Пьером Фонтэном,—а это был не кто иной, как старший проводник Карен Сейзер. Столкнувшись, они узнали друг друга, выпили и под конец оба порядком опьянели.

— Что?—бормотал уже под утро Пьер Фонтэн.— Чего ради мадам Сейзер явилась в ваши края? А вы у нее самой спросите. Ничего я не знаю; только знаю, что она все спрашивает про одного человека. «Пьер,—говорит,—вы мне его найдите, и я дам вам много денег, тысячу долларов дам, только найдите этого человека». «Какого человека?» «Ах, да. Его зовут... как это... Дэвид Пэйн. Да, мсье, Дэвид Пэйн». Все время это имя у нее на языке. И я все ищу его, ищу, бегаю, как собака, нигде его не видать, черт бы его побрал. Ну и тысячи долларов не видать.

Что? А, да. Один раз приезжали люди из Серкла. Так они его знают. Сказали, он на Березовом ручье. А мадам что? Мадам сказала: «Воп!»¹—и вся так и просияла. И говорит мне: «Пьер,—говорит,—запрягайте собак. Мы сейчас же едем. Если найдем его, я дам вам две тысячи долларов». А я говорю: «Да-да, сейчас же! Allons, madame!»²

А про себя думаю: «Ну, две тысячи у меня в кармане. Экий я молодец!» А потом приехали еще какие-то из Серкла и говорят: «Нет, этот Дэвид Пэйн недавно уехал в Доусон». Так мы с мадам туда и не поехали, в Серкл.

Да, мсье. Тогда мадам мне говорит: «Пьер,—говорит,—купите лодку,—и дает мне пятьсот долларов.—Завтра,—говорит,—мы едем вверх по реке». «Да, хорошо, мадам, завтра едем вверх по реке». И этот каналья Ситка Чарли содрал с меня за лодку пятьсот долларов. Черт бы его побрал.

¹ Прекрасно! (фр.)

² Едемте, мадам! (фр.)

Джек Кофрэн не стал держать эту новость про себя, и на другой же день весь Доусон думал и гадал, кто такой Дэвид Пэйн и какое отношение он имеет к Карен Сейзер. Но в тот же день, как и говорил Пьер Фонтэн, миссис Сейзер со своими канадцами двинулась, держась восточного берега, по направлению к Клондайк-сити, пересекла реку и, идя вдоль западного берега, чтобы не напороться на скалы, скрылась среди бесчисленных островков.

— Да, мадам, это то самое место и есть. Первый, второй, третий остров ниже устья реки Стюарт. Вот это третий остров.

С этими словами Пьер Фонтэн уперся багром в берег и поставил лодку поперек течения. Лодка ткнулась носом в прибрежные камни, один из канадцев ловко выскочил на берег и привязал ее.

— Минутку, мадам, я только взгляну.

Фонтэн скрылся за гребнем скалы, и оттуда донесся многоголосый собачий лай. Он тотчас вернулся.

— Да, мадам, хижина здесь. Я посмотрел. Того человека нет дома. Но очень далеко он не мог уйти и очень надолго—тоже, раз собак не взял. Он скоро вернется, будьте уверены.

— Помогите мне выйти, Пьер. Я измучилась в вашей лодке. Неужели вы не могли устроить меня поудобнее?

Карен Сейзер поднялась из своего мехового гнездышка посреди лодки и выпрямилась, высокая, гибкая. Но хоть в обычной, родной ей обстановке она выглядела хрупкой и нежной, как лилия, этой кажущейся хрупкости никак не соответствовала сила, с какой она оперлась на руку Пьера своей не по-женски крепкой рукой, легко выскочила из лодки и, уверенно ступая стройными, сильными ногами, быстро взобралась по крутому склону. В этой изящной, прекрасно сложенной женщине таились редкая энергия и выносливость.

Хоть она и одолела подъем с такой небрежной легкостью, на щеках ее показался румянец, и сердце билось чаще обычного. Она подошла к хижине с каким-то почтительным любопытством, и румянец на ее щеках разгорелся еще ярче.

— Поглядите-ка,—сказал Пьер, указывая на щепки у поленницы.—Дрова свежие, дня два, может, три, как наколоты.

Миссис Сейзер кивнула. Она попыталась заглянуть в крошечное оконце, но хоть промасленная бумага и пропускала свет, разглядеть сквозь нее ничего не удавалось. Потерпев неудачу, миссис Сейзер подошла к двери, приподняла было тяжелый засов, собираясь войти, но передумала. Потом вдруг опустилась на одно колено и поцеловала грубо обтесанный порог. Если Пьер и заметил это, он не подал виду и потом ни с кем никогда не делился этим воспоминанием. Но в следующее мгновение один из канадцев, мирно раскуривавший трубку, вздрогнул, заслышав необычно грозный окрик своего начальника.

— Эй, Легуар! Сделай там сиденье помягче,—приказал Пьер.—Побольше медвежьих шкур, побольше одеял, черт побери!

Но вскоре это гнездышко пришлось разорить: большую часть мехов и одеял перенесли наверх, на берег, и там в ожидании уютно расположилась миссис Сейзер. Опершись на локоть, она смотрела на широкую, убегающую вдаль ленту Юкона. Над горами, вздымавшимися вдалеке, на противоположном берегу, небо затянуто было дымом невидимых отсюда лесных пожаров, и сквозь эту пелену едва пробивались лучи солнца, слабо освещая землю и отбрасывая неверные тени. Куда ни глянь—до самого горизонта поросшие елью острова, темные воды, скалистые хребты, изрезанные ледниками,—дикая, первобытная пустыня. Ничто здесь не говорило о присутствии человека, ни единый звук не нарушал безмолвия. Весь край, казалось, был скован какой-то неведомой силой, окутан задумчивой тайной безграничных просторов. Быть может, именно от этого миссис Сейзер стало не по себе: она поминутно меняла позу, смотрела то вверх, то вниз по реке, пристально вглядывалась в угрюмые берега, стараясь разглядеть едва заметные устья дальних притоков. Примерно через час гребцам было велено сойти на берег и разбить лагерь для ночлега, но Пьер остался охранять свою хозяйку.

Долго они сидели молча.

— Ага, вот он,—шепнул Пьер, внимательно смотревший вверх по реке, туда, где она огибала остров.

По течению скользило каноэ, то с правого борта, то с левого поблескивало весло. Двое—на корме мужчина, на носу женщина—гребли, мерно раскачиваясь в такт

взмахам весел. Миссис Сейзер не обращала внимания на женщину, пока они не подплыли совсем близко и уже нельзя было не заметить ее своеобразной красоты. Куртка из лосиной шкуры, причудливо расшитая бисером, подчеркивала линии ее стройной фигуры, живописно повязанный яркий шелковый платок наполовину скрывал густые иссиня-черные волосы. Но, мельком взглянув на лицо этой женщины, словно отлитое из красноватой бронзы, миссис Сейзер уже не могла оторваться от него. Огромные черные, чуть раскосые глаза смотрели прямо и пристально из-под тонко очерченных, красиво изогнутых бровей. Хотя скулы заметно выступали, щеки все же мягко округлились, в складке тонких губ была и сила и нежность. Что-то в этом лице говорило о древней монгольской крови, словно спустя много веков в нем проступили черты забытых предков. Впечатление усиливал еще и нос с горбинкой, с тонкими подвижными ноздрями, и то дикое, орлиное, что чувствовалось не только в лице, но во всем облике этой женщины. Это был татарский тип, облагороженный до степени идеала,—счастливо то индейское племя, которое раз в двадцать поколений порождает такую совершенную красоту!

Широкими, сильными ударами весел двое круто повернули легкую лодку, поставили ее поперек течения и мягко пристали к берегу. Еще мгновение—и женщина уже стояла на краю откоса и, перехватывая руками веревку, тащила наверх четверть туши только что убитого лося. Затем к ней присоединился мужчина, и вдвоем быстрыми, сильными рывками они втащили каноэ на откос. Собаки вились вокруг, скуля и повизгивая; женщина наклонилась приласкать их, и тут взгляд мужчины упал на миссис Сейзер, стоявшую невдалеке. Он посмотрел, бессознательно провел рукой по глазам, словно не веря им, и снова посмотрел.

— Карен,—сказал он просто, подойдя к ней и протягивая руку.—Сперва я решил, что вы мне померещились. Этой весной я одно время страдал снежной слепотой, и с тех пор глаза иногда шутят со мной такие шутки.

Румянец миссис Сейзер стал еще ярче, и ее сердце больно сжалось, она была готова ко всему, только не к



этой бесстрастно протянутой руке, но она овладела собой и крепко пожала его руку.

— Вы же знаете, Дэйв, я часто грозилась приехать и уже давно приехала бы, но... но...

— Но я не звал,—засмеялся Дэвид Пэйн и посмотрел вслед индианке, скрывшейся в хижине.

— Нет, я понимаю, Дэйв... на вашем месте я, наверно, поступила бы так же. Но, видите, я здесь.

— Что ж, остается сделать еще несколько шагов, войти в дом и поужинать,—сказал он весело, не замечая или делая вид, что не замечает призывной нотки в ее голосе.—Вы, наверно, устали. Куда вы направляетесь? Вверх? Значит, зимовали в Доусоне? Или приехали совсем недавно? Это ваш лагерь?—Он взглянул на канадцев, собравшихся у костра на берегу, и придержал дверь, давая миссис Сейзер пройти.—Я приехал сюда прошлой зимой по льду из Серкла и на время устроился тут. Копаюсь понемножку на ручье Гендерсона; если толку не будет, осенью попытаю удачи на реке Стюарт.

— Вы не очень изменились за это время?—спросила она вдруг, пытаясь перевести разговор на более личные темы.

— Немного меньше жирку, пожалуй, немного больше мускулов. А вы как находите?

Но она только пожала плечами; в полутьме она старалась разглядеть индианку, которая уже развела огонь и жарила толстые куски лосиного мяса, переложенные тонкими ломтиками копченого свиного сала.

— Долго вы пробыли в Доусоне?—Он строгал обрубок молодой березы, который понемногу превращался в грубое топорщице, и говорил, не поднимая головы.

— О, всего несколько дней,—ответила она, следя глазами за индианкой и почти не расслышав вопроса.—Что вы сказали? В Доусоне? Да месяц пробыла и счастлива, что выбралась оттуда. В Арктике мужчины довольно примитивны, знаете ли, и слишком энергично проявляют свои чувства.

— Иначе и быть не может, когда живешь поближе к земле. Условности оставляешь дома вместе с пружинным матрасом. Но вы вовремя надумали уехать. Вы покинете эти края до появления комаров, вы этого не испытали и даже не можете оценить, как вам повезло.

— Да, наверно. Но расскажите же о себе. Как вы живете? Кто тут еще живет поблизости? Или совсем никого нет?

Спрашивая, она наблюдала, как индианка толчет на плоском камне перед очагом завернутые в грубую мешковину кофейные зерна. С упорством и ловкостью, свидетельствующими о нервной системе столь же первобытной, как и этот способ работы, она растирала зерна тяжелым осколком кварца. Дэвид Пэйн заметил взгляд гостьи, и тень улыбки скользнула по его губам.

— Были и соседи,— ответил он.— Несколько человек с Миссури и двое корнуэльцев, но они нанялись к одному золотоискателю на Эльдорадо.

Миссис Сейзер бросила задумчивый и испытующий взгляд на женщину у очага.

— Но индейцев тут, конечно, сколько угодно?

— Все давным-давно уже перебрались в Доусон. Ни одного индейца не осталось во всей округе. Только вот Винапи—она из племени коюкук, они живут примерно за тысячу миль вниз по реке.

Миссис Сейзер внезапно почувствовала головокружение, правда, любезная улыбка не померкла на ее губах, но лицо собеседника вдруг ушло куда-то бесконечно далеко и бревенчатые стены хижины заплесами вокруг, как пьяные. Но тут ее пригласили к столу, и за ужином она понемногу пришла в себя. Она говорила мало—главным образом о природе и о погоде, он же пустился в пространное описание разницы между мелкими шурфами в Низовьях и глубокими зимними разработками в Верховьях.

— Вы не спрашиваете, зачем я приехала на Север?—сказала она.—Конечно, вы и сами это знаете.—Они уже вышли из-за стола, и Дэвид Пэйн снова принялся за свое топорище.—Вы получили мое последнее письмо?

— Последнее? Должно быть, нет. Скорее всего, оно странствует по Березовому ручью или валяется в хижине какого-нибудь торговца на Нижней реке. С почтой тут у нас из рук вон плохо, ни порядка, ни системы, ни...

— Не будьте же таким деревянным, Дэйв! Помогите мне!—Теперь она говорила резко, властным тоном, как будто прошлое давало ей на это право.—Почему вы ничего не спрашиваете обо мне? О наших общих

знакомых? Неужели вас больше не интересует внешний мир? Вам известно, что мой муж умер?

— Неужели? Это очень печально. Когда же?..

— Дэвид!—Она готова была расплакаться с досады, но оттого, что она, наконец, дала себе волю, вложив в этот возглас и обиду и упрек, ей стало немного легче.—Вы вообще получали мои письма? Ведь, наверное, получали, хоть и не ответили ни разу!

— Я не получил последнего, в котором вы, очевидно, сообщали о смерти мужа. Вполне возможно, что и еще какие-нибудь письма затерялись, но некоторые я получил. Я... мм... я читал их вслух в назидание Винапи... Чтобы, знаете, показать ей, до чего испорчены ее белые сестры. И полагаю... мм... что это пошло ей на пользу. Как, по-вашему?

Она не стала отвечать на колкость.

— Вы угадали,—продолжала она,—в последнем письме, которого вы не получили, я писала о смерти полковника Сейзера. Это было год назад. И я писала, что, если вы не приедете ко мне, я приеду сюда, к вам. Я не раз обещала приехать—и вот приехала.

— Какие обещания?

— А в прежних письмах?

— Да, вы обещали, но ведь я не просил обещаний и не отвечал на них,—они были односторонними. Так что я не знаю ничего об этих обещаниях. Но мне известно другое обещание, которое, может быть, и вы припоминаете. Это было очень давно.—Он уронил топориче на гол и поднял голову.—Очень, очень давно, но я все прекрасно помню—день, час, каждую мелочь. Мы с вами были в саду, полном цветущих роз, в саду вашей матушки. Все вокруг распускалось, цвело, и у нас в сердце тоже была весна. Я обнял вас—это случилось впервые—и поцеловал в губы. Вы не припоминаете?

— Не надо, Дэйв, не говорите! Я помню все, и мне так стыдно! Сколько я плакала потом! Знали бы вы, как я страдала...

— Тогда вы обещали мне—да, и еще тысячу раз повторили это в те чудесные дни... Каждый ваш взгляд, каждое прикосновение руки, каждое слово, которое слетало с ваших уст,—все было обещанием. А потом—как бы это сказать?—потом появился другой. Он был стар, годился вам в отцы, и притом далеко не

красавец, но, как говорится, порядочный человек. Он не совершал ничего дурного, не нарушал буквы закона и был вполне респектабелен, а кстати, у него была и кое-какая собственность: несколько жалких рудников—десятка два, но это, конечно, неважно; и еще он владел кое-какой землей, и занимался деловыми операциями, и стриг купоны. Он...

— Но ведь было и другое,—прервала она.—Я вам говорила. Меня заставили... денежные обстоятельства... нужда... мои родные... неприятности. Вы же знали, как все отвратительно сложилось. Я ничего не могла поделать. Я не хотела этого. Меня принесли в жертву или я сама себя принесла в жертву—назовите это, как хотите. Но, боже мой, Дэйв, я должна была отказаться от вас! Вы несправедливы ко мне. Подумайте, что мне пришлось пережить.

— Вы не хотели? Вас заставили? Нет на земле такой силы, которая могла бы вас заставить, которая могла бы толкнуть вас в постель того или иного мужчины.

— Но я все время любила вас,—защищалась она.

— Я не умел измерять любовь вашими мерками. Я до сих пор не умею. Они мне не понятны.

— Но ведь это было тогда. А теперь...

— Мы с вами говорили о человеке, которого вы сочи подходящим мужем для себя. Что это был за человек? Чем он очаровал вас? Какие неотразимые достоинства вы в нем нашли? Правда, это был золотой мешок, всемогущий золотой мешок. Он знал цену деньгам. Великий мастер наживать сто на сто. Он не блистал умом, но превосходно разбирался во всяких подлостях, при помощи которых можно перекачивать чужие деньги в свой карман. И закон смотрел на это сквозь пальцы. За такие дела не судят, и наша христианская мораль одобряет их. В глазах общества он не был дурным человеком. Но в ваших глазах, Карен, и в моих—в наших глазах, когда мы встречались в розовом саду, что он был такое?

— Вы забываете, что он умер.

— Это ничего не меняет. Что он был? Огромное, толстое, грубое животное, глухое к песне, слепое к красоте, лишенное души. Он ожирел от лени, обрюзг, и толстый живот выдавал его обжорство.

— Но ведь он умер. А теперь речь идет о нас... о нас! Слышите? Вы правы, я была неверна, я согрешила. Хорошо. А разве вам не в чем покаяться? Пусть я нарушила обещание, а вы? Тогда, в розовом саду, вы говорили, что ваша любовь навсегда. Где же она теперь?

— Она здесь!—горячо воскликнул он и ударил себя в грудь кулаком.—Она всегда была здесь.

— И то была великая любовь, невозможно любить сильнее,—продолжала она.—Так вы говорили в розовом саду, и, однако, ваша любовь не делает вас ни добрым, ни великодушным, не помогает вам простить меня теперь, когда я плачу здесь у ваших ног!

Дэвид Пэйн колебался. Губы его беззвучно шевелились, он не знал, что сказать. Она заставила его обнажить свое сердце и высказать ту правду, которую он скрывал от самого себя. И как она была хороша, озаренная пламенем своего чувства!.. Она воскрешала старые воспоминания, иную жизнь. Он отвернулся, чтобы не видеть ее, но она обошла кругом и снова стала перед ним.

— Посмотри на меня, Дэйв! Посмотри на меня! Я все та же, несмотря ни на что. И ты все тот же, пойми. Мы не изменились.

Ее рука легла ему на плечо, и он уже готов был обнять ее,—но вдруг чиркнула спичка, и этот резкий, неожиданный звук привел его в себя. Винапи, не обращая на них внимания, зажгла светильник. Ее лицо внезапно выступило из мрака, и золотые отсветы пламени придали царственный блеск ее бронзовой красоте.

— Вы сами видите, это невозможно,—простонал он, мягко отстраняя светловолосую женщину.—Это невозможно,—повторил он.—Невозможно.

— Я не девочка, Дэйв, и у меня нет детских иллюзий,—сказала она, не решаясь, однако, вновь приблизиться к нему.—Я женщина и все понимаю. Мужчина есть мужчина. Таков здешний обычай. Меня это не удивляет. Я угадала все с первого взгляда. Но ведь это только так, вы же не по-настоящему женаты?

— У нас на Аляске не задаются подобными вопросами,—беспомощно возразил он.

— Я знаю, но...

— Что ж, да—это только юконский брак, не более того.

— И детей нет?

— Нет.

— И не...

— Нет, нет, ничего такого... Но все равно это невозможно.

— Нет, возможно.— Она снова была рядом, ее рука легко, нежно коснулась его загорелой руки.— Я прекрасно знаю здешние обычаи. Мужчины всегда так делают. Им вовсе не по вкусу оставаться тут на всю жизнь, отрезанными от мира; что ж, они через Компанию Тихоокеанского побережья выписывают женщине провизию на год, дают ей немного денег, и она довольна. Пройдет год, а там...— Она пожала плечами.— Так вот и с нею. Мы обеспечим ее через Компанию всем необходимым не на один год, а до конца ее жизни. Чем она была до того, как вы ее подобрали? Дикарка, полуживотное; летом питалась рыбой, зимой— лосяным мясом, в хорошие времена ела до отвала, в плохие— умирала с голоду. Если бы не вы, она такой бы и осталась. Появились вы—и ее жизнь стала лучше. Вы уедете—но она будет жить в достатке, много лучше, чем если бы вовсе не встретила вас.

— Нет, нет,—возразил он.— Это несправедливо.

— Но поймите же, Дэйв. В ее жилах течет другая кровь. Она человек другой расы. Она родилась здесь, на этой земле, выросла в нее корнями. Она родилась дикаркой и дикаркой умрет, а мы—вы и я,—мы принадлежим к господствующей расе, мы соль земли и ее хозяева! Мы созданы друг для друга. Самый властный зов—зов крови, и мы с вами одной крови. Так велят и разум и чувство. Ваш собственный инстинкт требует этого. Вы не можете это отрицать. Вы не можете забыть о своем долге перед вашими предками. Ваш род существует тысячи, сотни тысяч лет, и с вами он не может прекратиться. Не должен! В вас течет кровь ваших предков. Инстинкт сильнее воли. Вы сын своей расы и должны подчиниться ее зову. Дэйв, уедем отсюда! Мы еще молоды, и жизнь так хороша. Уедем!

Тут он заметил на пороге Винапи, которая шла кормить собак, и несколько раз беспомощно покачал головой. Но рука Карен обвилась вокруг его шеи, и ее щека прижалась к его щеке. И в этот миг он ощутил страшную тяжесть безотрадной жизни— тщетная борьба

с грозными силами природы, беспросветные годы, когда подолгу приходилось терпеть холод и голод, жизнь грубая, примитивная, жестокая, и эта сосущая пустота в душе, которую не могло заполнить полуживотное существование. И вот рядом—соблазн, заставляющий вспомнить о том, что есть иные, яркие и теплые края, музыка, свет и радость, соблазн, вновь воскрешающий прошлое. Дэвид Пэйн бессознательно всматривался в это прошлое. Хоровод лиц проносился перед ним, мелькали забытые картины, нахлынули воспоминания о часах веселья, обрывки песен, взрывы смеха...

— Едем, Дэйв, едем! У меня денег хватит на двоих. Путь открыт.—Она окинула взглядом убогую хижину.—У меня хватит на двоих. Мир—у наших ног, все радости ждут нас. Едем! Едем!

Она уже была в его объятиях, она вся дрожала, и он крепче прижал ее к себе. Потом он поднялся... но тут, едва слышное сквозь толстые бревенчатые стены, до его слуха донеслось рычание голодных грызущихся собак и резкие крики умирившей их Винапи. И другая картина внезапно встала перед ним. Схватка в лесу... огромный, страшный гризли с перебитыми лапами... рычание собак и резкие крики Винапи, натравливающей их на медведя... и он сам в гуще схватки задыхающийся, обессиленный, пытается отстранить от себя багровую смерть... Собаки с перебитым хребтом, со вспоротым брюхом воют в бессильной муке, катаясь по снегу, девственная белизна его багровеет, оскверненная кровью человека и зверя... медведь свиреп и неодолим, вот сейчас перегрызет последнюю нить, связывающую его, Пэйна, с жизнью. И, наконец, Винапи в самой гуще этого чудовищного клубка, с разметававшимися волосами, со сверкающими глазами—воплощенная ярость,—снова и снова вонзает в тело зверя длинный охотничий нож... Пот выступил на лбу Пэйна. Он стряхнул обвивавшие его женские руки, шатаясь, отступил к стене. И Карен, понимая, что настала решительная минута, но не в силах угадать, что в нем происходит, почувствовала: все, чего она достигла, ускользает от нее.

— Дэйв, Дэйв!—воскликнула она.—Я не отдам тебя! Не отдам! Если ты не хочешь уехать, мы останемся. Я останусь с тобой. Ты для меня дороже всего на свете. Я буду тебе настоящей северной женой. Буду стра-

пать, кормить собак, прокладывать для тебя тропу, ходить с тобой на веслах. Я все могу. Поверь, я сильная.

Он и не сомневался в этом сейчас, глядя на нее и отстраняя ее от себя, но лицо его стало мрачным, неумолимым, глаза—холодными, как лед.

— Я расплачусь с Пьером и его людьми и отпущу их. Я останусь с тобой—все равно, благословит священник наш брак или нет; я пойду с тобой сейчас же, куда хочешь. Дэйв, Дэйв! Послушай меня! Ты говоришь, я согрешила тогда перед тобой—и это правда; дай же мне исправить это, искупить мою вину. Пусть тогда я не умела мерить любовь правильной мерой, теперь я научилась этому, ты увидишь.

Она опустила на пол и, всхлиывая, обняла его колени.

— И ведь ты любишь меня, любишь. Подумай, сколько лет я ждала и мучилась! Тебе не понять...

Он наклонился и поднял ее.

— Слушайте,—решиительно сказал он, открывая дверь, и почти силой вывел Карен из хижины.—Это невозможно. Тут приходится думать не только о нас двоих. Вы должны уехать. Счастливого пути вам. От Шестидесятой Мили дорога будет тяжелее, но у вас превосходные провожатые, они справятся. Давайте попрощаемся.

Она уже овладела собой, и все-таки в ее глазах, обращенных к нему, мелькнул последний, слабый проблеск надежды.

— А если... если Винапи...—Голос ее задрожал, она не договорила.

Но он понял, что она хотела сказать.

— Да,—ответил он. И тотчас, пораженный чудовищностью этой мысли, продолжал:—Об этом нечего и думать. Совершенно невероятно. На это незачем надеяться.

— Поцелуйте меня,—шепнула она, вспыхнув. Потом повернулась и пошла прочь.

— Снимайтесь с лагеря, Пьер,—сказала она проводнику, который один бодрствовал, дожидаясь ее возвращения.—Нам надо ехать.

При свете костра его зоркие глаза подметили боль в ее лице, но он выслушал странное приказание, как будто в этом не было ничего необычного.

— Хорошо, мадам,—спокойно сказал он.—Куда? К Доусону?

— Нет,—ответила она почти непринужденно.—Вверх по реке. На юг. В Дайю.

И он напустился на своих людей, которые спали, завернувшись в одеяла, пинками и бранью поднял их на ноги и заставил приняться за работу; его пронзительные, требовательные окрики разносились по всему лагерю. В два счета легкая палатка миссис Сейзер была свернута, котелки и сковородки собраны, одеяла сложены, и люди, шатаясь под тяжестью ноши, двинулись к лодке. Миссис Сейзер, стоя на берегу, ждала, пока погрузят багаж и приготовят ей местечко поудобнее.

— Мы обогнем остров,—объяснил ей Пьер, разматывая длинный буксирный канат.—Потом двинемся по тому протоку, там течение потише. Я думаю, все будет прекрасно.

Его чуткое ухо уловило шорох сухой прошлогодней травы под чьими-то быстрыми шагами, и он оглянулся. К ним шла индианка, окруженная ошестинившимися псами. Миссис Сейзер сразу заметила, что лицо ее, оставшееся бесстрастным все время, пока они были в хижине, теперь ожило и горело гневом.

— Что вы сделали моему мужу?—коротко спросила Винапи.—Он лежит на койке, у него лицо совсем плохое. Я говорю: «Что с тобой, Дэйв? Ты больной?» Но он не говорит ничего. Потом говорит: «Ты хорошая, Винапи, ты иди. Я скоро буду здоров». Что вы сделали с моим мужем?.. Я думаю, вы плохая женщина.

Миссис Сейзер с любопытством смотрела на эту дикарку, которая остается с ним, тогда как она—она должна уйти одна в ночную тьму.

— Я думаю, вы плохая женщина,—повторила Винапи. Медленно, старательно она подбирала одно к одному чуждые слова чужого ей языка.—Я думаю, лучше вам уйти. Не приходите больше. Вы как думаете? У меня один муж. Я индианка. Вы американка. Вы красивая. Вы найдете много мужчин. У вас глаза голубые, как небо. Кожа такая белая, мягкая.

Она подняла руку и бронзовым пальцем потрогала нежную щеку американки. Честь и слава Карен Сейзер—она даже не вздрогнула. Пьер нерешительно шагнул было к ним, но она сделала ему знак не

подходить, хотя ее сердце втайне преисполнилось благодарности к нему.

— Ничего, Пьер,—сказала она.—Идите, пожалуйста.

Он почтительно отступил, чтобы не слышать их разговора, и остановился, ворча что-то про себя и прикидывая, сколько прыжков отделяют их от него.

— Белая, мягкая, как маленький ребенок.—Винапи потрогала другую щеку миссис Сейзер и опустила руку.—Скоро придут комары. Кожа пойдет пятнами, будет больно, вскочат пузыри—у-у, какие! Будут болеть—у, как! Много комаров, много пузырей. Я думаю, лучше вам уходить теперь, пока комаров нет. Вот эта дорога,—она показала вниз по течению,—в Сент-Майкл. Та дорога,—и она показала вверх по течению,—в Дайю. Вам лучше в Дайю. Прощайте.

То, что сделала затем миссис Сейзер, безмерно удивило Пьера. Она вдруг обняла индианку, поцеловала ее и расплакалась.

— Береги его!—воскликнула она.—Береги его!

Потом сбежала вниз, к реке, крикнула, обернувшись: «Прощай!»—и прыгнула в лодку. Пьер последовал за ней и оттолкнулся от берега. Он взялся за рулевое весло и подал знак. Легуар затянул старую французскую песню, в смутном свете звезд канадцы, точно череда призраков, низко сгибаясь, двинулись по берегу; натянулся канат, весло врезалось в черную воду—и лодка исчезла в ночи.



Дочь Северного сияния

Вы... как это говорится... лентяй! Вы, лентяй, хотите стать моим мужем? Напрасный старанья. Никогда, о нет, никогда не станет моим мужем лентяй!

Так Джой Молино заявила без обиняков Джеку Харрингтону; ту же мысль, и не далее как накануне, она высказала Луи Савою, только в более банальной форме и на своем родном языке.

— Послушайте, Джой...

— Нет, нет! Почему должна я слушать лентяй? Это очень плохо—ходить за мной по пятам, торчать у меня в хижина и не делать никаких дел. Где вы возьмете еда для famille?¹ Почему у вас нет зольотой песок? У других польный карман.

— Но я работаю, как вол, Джой. День изо дня рыскаю по Юкону и по притокам. Вот и сейчас я только что вернулся. Собаки так и валяются с ног. Другим везет—они находят уйму золота. А я... нет мне удачи.

— Ну да! А когда этот человек—Мак-Кормек, ну тот, что имеет жена-индианка,—когда он открыл Кльондайк, почему вы не пошел? Другие пошел. Другие стал богат.

— Вы же знаете, я был далеко, искал золото у истоков Тананы,—защищался Харрингтон.—И ничего не знал ни об Эльдорадо, ни о Бонанзе. А потом было уже поздно.

— Ну, это пусть. Только вы... как это... сбитый с толк.

— Что такое?

— Сбитый с толк. Ну, как это... в потемках. Поздно не бывает. Тут, по этот ручей, по Эльдорадо, есть очень богатый россыпь. Какой-то человек застольбил и ушел. Никто не знает, куда он девался. Никогда больше не появлялся он тут. Шестьдесят дней никто не может получить бумага на этот участок. Потом все... целый уйма людей... как это... кинутся застольбить участок. И помчатся, о, быстро, быстро, как ветер, помчатся получать бумага. Один станет очень богат. Один получит много еда для famille.

Харрингтон не подал виду, как сильно заинтересовало его это сообщение.

— А когда истекает срок?—спросил он.—И где этот участок?

— Вчера вечером я говорила об этом с Луи Савой,—продолжала она, словно не слыша его вопроса.—Мне кажется, участок будет его.

— К черту Луи Савоя!

— Вот и Луи Савой сказал вчера у меня в хижине. «Джой,—сказал он,—я сильный. У меня хороший упряжка. У меня хороший дыханье. Я добуду этот участок. Вы тогда будете выходить за меня замуж?» А я сказала ему... я сказала...

¹ семья (фр.).

— Что же вы сказали?

— Я сказала: «Если Луи Савой победит, я буду стать его женой».

— А если он не победит?

— Тогда Луи Савой... как это по-вашему... тогда ему не стать отцом моих детей..

— А если я выйду победителем?

— Вы—победитель?—Джой расхохоталась.—Никогда!

Смех Джой Молино был приятен для слуха, даже когда в нем звучала издевка. Харрингтон не придавал ему значения. Он был приручен уже давно. Да и не он один. Джой Молино терзала подобным образом всех своих поклонников. К тому же она была так обольстительна сейчас—жгучие поцелуи мороза размягчили ей щеки, смеющийся рот был полуоткрыт, а глаза сверкали тем великим соблазном, сильнее которого нет на свете,—соблазном, таящимся только в глазах женщины. Собаки живой косматой грудой копошились у ее ног, а вожак упряжки—Волчий Клык—осторожно положил свою длинную морду к ней на колени.

— Ну, а все же, если я выйду победителем?—настойчиво повторил Харрингтон.

Она посмотрела на своего поклонника, потом снова перевела взгляд на собак.

— Что ты скажешь, Вольчий Клык? Если он сильный и полюбит бумага на участок, может быть, мы согласимся стать его женой? Ну, что ты скажешь?

Волчий Клык наострил уши и глухо заворчал на Харрингтона.

— Холодно, — с женской непоследовательностью сказала вдруг Джой Молино, встала и подняла свою упряжку.

Ее поклонник невозмутимо наблюдал за ней. Она задавала ему загадки с первого дня их знакомства, и к прочим его достоинствам с той поры прибавилось еще терпение.

— Эй, Вольчий Клык!—воскликнула Джой Молино, вскочив на нарты в ту секунду, когда они тронулись с места.—Эй-эй! Давай!

Не поворачивая головы, Харрингтон краем глаза следил, как ее собаки свернули на тропу, проложенную по замерзшей реке, и помчались к Сороковой Миле. У

развилки, откуда одна дорога уходила через реку к форту Кьюдахи, Джой Молино придержала собак и обернулась.

— Эй, мистер Лентяй!—крикнула она.—Вольчий Клык говорит—да... если вы побеждать!

Все это, как обычно бывает в подобных случаях, каким-то образом получило огласку, и население Сороковой Мили, долго и безуспешно ломавшее себе голову, на кого из двух последних поклонников Джой Молино падет ее выбор, строило теперь догадки, кто из них окажется победителем в предстоящем состязании, и яростно заключало пари. Лагерь раскололся на две партии, и каждая старалась помочь своему фавориту прийти к финишу первым. Разгорелась ожесточенная борьба за лучших во всем крае собак, ибо в первую голову от собак, от хороших упряжек, зависел успех. А он сулил немало. Победителю доставалась в жены женщина, равной которой еще не родилось на свет, и в придачу золотой прииск стоимостью по меньшей мере в миллион долларов.

Осенью, когда разнеслась весть об открытиях, сделанных Мак-Кормеком у Бонанзы, все—и в том числе жители Серкла и Сороковой Мили—ринулись вверх по Юкону; все, кроме тех, кто, подобно Джеку Харрингтону и Луи Савою, ушел искать золото на запад. Лосиные пастбища и берега ручьев столбили подряд, без разбору. Так, случайно застолбили и малообещающий с виду ручей Эльдорадо. Олаф Нелсон воткнул на берегу колышки на расстоянии пятисот футов один от другого, без промедления отправил по почте свою заявку и так же без промедления исчез. Ближайшая приисковая контора, где регистрировались участки, помещалась тогда в полицейских казармах в форте Кьюдахи—как раз через реку напротив Сороковой Мили. Лишь только пронесся слух, что Эльдорадо—настоящее золотое дно, кому-то сейчас же удалось разнюхать, что Олаф Нелсон не дал себе труда спуститься вниз по Юкону, чтобы закрепить за собой свое приобретение. Уже многие жадно поглядывали на бесхозный участок, где, как всем было известно, на тысячи тысяч долларов золота ждало только лопаты и промывочного лотка. Однако завладеть

участком никто не смел. По неписаному закону, старателю, застолбившему участок, давалось шестьдесят дней на то, чтобы оформить заявку, и пока не истечет этот срок, участок считался неприкосновенным. Об исчезновении Олафа Нелсона уже знали все кругом, и десятки золотоискателей готовились вбить заявочные столбы и помчаться на своих упряжках в форт Кьюдах.

Но Сороковая Миля выставила мало претендентов. После того, как весь лагерь направил свои усилия на то, чтобы обеспечить победу либо Джеку Харрингтону, либо Луи Савою, никому даже не пришло на ум попытаться счастья в одиночку. От участка до приисковой конторы считалось не менее ста миль, и на этом пути решено было расставить по три сменных упряжки для каждого из фаворитов. Последний перегон являлся, понятно, решающим, и для этих двадцати пяти миль ретивые добровольцы старались раздобыть самых сильных собак. Такая лютая борьба разгорелась между двумя партиями и в такой они вошли азарт, что цены на собак взлетели неслыханно высоко, как никогда еще не бывало в истории этого края. И не мудрено, если эта борьба еще крепче приковала все взоры к Джой Молино. Ведь она была не только причиной этих треволнений, но и обладательницей самой лучшей упряжной собаки от Чилкута до Берингова моря. Как вожак, или головной, Волчий Клык не знал себе равных. Тот, чью упряжку повел бы он на последнем перегоне, мог считать себя победителем. На этот счет ни у кого не было сомнений. Но на Сороковой Миле чутьем понимали, что можно и чего нельзя, и никто не потревожил Джой Молино просьбой одолжить собаку. Каждая сторона утешала себя тем, что не только фавориту, но и противнику не придется воспользоваться таким преимуществом.

Однако мужчины—каждый в отдельности и все вкупе—устроены так, что часто доходят до могилы, оставаясь в блаженном неведении всей глубины коварства, присущего другой половине рода человеческого, и по этой причине мужское население Сороковой Мили оказалось неспособным разгадать дьявольские замыслы Джой Молино. Все признавались впоследствии, что недооценили эту черноокую дочь Северного сияния, чей отец промышлял мехами в здешних краях еще в ту пору, когда им и не снилось, что они тоже нагрянут сюда, и чьи

глаза впервые взглянули на мир при холодном мерцании полярных огней. Впрочем, обстоятельства, при которых появилась на свет Джой Молино, не помешали ей быть женщиной до мозга костей и не ограничили ее способности понимать мужскую натуру. Мужчины знали, что она ведет с ними игру, но им и в голову не приходило, как глубоко продумана эта игра, как она искусна и хитроумна. Они принимали в расчет лишь те карты, которые Джой пожелала им открыть, и до последней минуты пребывали в состоянии приятного ослепления, а когда она пошла со своего главного козыря, им оставалось только подсчитать проигрыш.

В начале недели весь лагерь провожал Джека Харрингтона и Луи Савоя в путь. Соперники выехали с запасом на несколько дней—им хотелось прибыть на участок Олафа Нелсона загодя, чтобы немного отдохнуть и дать собакам восстановить силы перед началом гонок. По дороге они видели золотоискателей из Доусона, уже расставлявших сменные упряжки на пути, и получили возможность убедиться, что никто не поспешил на расходы в погоне за миллионом.

Дня через два после их отъезда Сороковая Миля начала отправлять подставы—сначала на семьдесят пятую милю пути, потом на пятидесятую и, наконец,—на двадцать пятую. Упряжки, предназначавшиеся для последнего перегона, были великолепны—все собаки как на подбор, и лагерь битый час, при пятидесятиградусном морозе, обсуждал и сравнивал их достоинства, пока, наконец, они не получили возможности тронуться в путь. Но тут, в последнюю минуту, к ним подлетела Джой Молино на своих нартах. Она отозвала в сторону Лона Мак-Фейна, правившего харрингтоновской упряжкой, и не успели первые слова слететь с ее губ, как он разинул рот с таким ошолобленным видом, что важность полученного им сообщения стала очевидна для всех. Он выпряг Волчьего Клыка из ее нарт, поставил во главе харрингтоновской упряжки и погнал собак вверх по Юкону.

— Бедняга Луи Савой!—заговорили кругом.

Но Джой Молино вызывающе сверкнула черными глазами и повернула нарты назад к отцовской хижине.

Приближалась полночь. Несколько сот закутанных в меха людей, собравшихся на участке Олафа Нелсона, предпочли шестидесятиградусный мороз и все тревожнения этой ночи соблазну натопленных хижин и удобных коек. Некоторые из них держали свои колышки наготове и своих собак под рукой. Отряд конной полиции капитана Констэнтайна получил приказ быть на посту, дабы все шло по правилам. Поступило распоряжение: никому не ставить столбы, пока последняя секунда этого дня не канет в вечность. На Севере такой приказ равносителен повелению Иеговы,—ведь пуля дум-дум¹ карает так же мгновенно и безвозвратно, как десница божья. Ночь была ясная и морозная. Северное сияние зажгло свои праздничные огни, расцветив небосклон гигантскими зеленовато-белыми мерцающими лучами, затмевавшими свет звезд. Волны холодного розового блеска омывали зенит, а на горизонте рука титана воздвигла сверкающие арки. И потрясенные этим величественным зрелищем, собаки поднимали протяжный вой, как их далекие предки в незапамятные времена.

Полисмен в медвежьей шубе торжественно шагнул вперед с часами в руке. Люди засуетились у своих упряжек, поднимая собак, распутывая и подтягивая постромки. Затем соревнующиеся подошли к меже, сжимая в руках колышки и заявки. Они уже столько раз переступали границы участка, что могли бы теперь сделать это с закрытыми глазами. Полисмен поднял руку. Скинув с плеч лишние меха и одеяла, в последний раз подтянув пояса, люди замерли в ожидании.

— Приготовиться!

Шестьдесят пар рукавиц сдернуто с рук; столько же пар обутых в мокасины ног покрепче уперлось в снег.

— Пошли!

Все ринулись с разных сторон на широкое пустое пространство участка, вбивая колышки по углам и посредине, где надлежало поставить две центральные заявки, потом опрометью бросились к своим нартам, поджидавшим их на замершей глади ручья. Все смешалось—движения, звуки; все слилось в единый хаос. Нарты сталкивались; ошетилившись, оскалив клыки,

¹ Дум-дум — разрывные пули с надпиленной металлической оболочкой, причиняющие тяжелое ранение.

упряжка с визгом налетала на упряжку. Образовавшаяся свалка создала затор в узком русле ручья. Удары бичей сыпались на спины животных и людей без разбора. И в довершение неразберихи вокруг каждого гонщика суетилась кучка приятелей, старавшихся выволить их из свадки. Но вот, силой проложив себе путь, одни нарты за другими стали вырываться на простор и исчезать во мраке между угрюмо нависших берегов.

Джек Харрингтон предвидел заранее, что давки не миновать, и ждал у своих нарт, пока не уляжется суматоха. Луи Савой, зная, что его соперник даст ему сто очков вперед по части езды на собаках, ждал тоже, решив следовать его примеру. Крики уже затихли вдали, когда они пустились в путь, и, пройдя миль десять вниз до Бонанзы, нагнали остальные упряжки, которые шли гуськом, но не растягиваясь. Возгласов почти не было слышно, так как на этом отрезке пути нечего было и думать вырваться вперед: ширина нарт—от полоза до полоза—равнялась шестнадцати дюймам, а ширина проторенной дороги—восемнадцати. Этот санный путь, укатанный вглубь на добрый фут, был подобен желобу. По обеим сторонам его расстился пушистый, сверкающий снежный покров. Стоило кому-нибудь, пытаясь обогнать другие нарты, сойти с пути, и его собаки неминуемо провалились бы по брюхо в рыхлый снег и поплелись бы со скоростью улитки. И люди замерли в своих подскакивавших на выбоинах нартах и выжидали. На протяжении пятнадцати миль вниз по Бонанзе и Клондайку до Доусона, где они вышли к Юкону, никаких изменений не произошло. Здесь их уже ждали сменные упряжки. Но Харрингтон и Савой расположили свои подставы двумя-тремя милями дальше, решив, если потребуется, загнать первую упряжку насмерть. Воспользовавшись сутолокой, воцарившейся при смене упряжек, они оставили позади добрую половину гонщиков. Когда нарты вынесли их на широкую грудь Юкона, впереди шло не более тридцати упряжек. Здесь можно было помериться силами. Осенью, когда река стала, между двумя мощными пластами льда осталась быстрина шириной в милю. Она совсем недавно оделась льдом, и он был твердым, гладким и скользким, как паркет балльного зала. Лишь только полозья нарт коснулись этого сверкающего льда, Харрингтон привстал на коле-

ни, придерживаясь одной рукой за нарты, и бич его яростно засвистел над головами собак, а неистовая брань загремела у них в ушах. Упряжки растянулись по ледяной глади, и каждая напрягала силы до предела. Но мало кто на всем Севере умел так высылать собак, как Джек Харрингтон. Его упряжка сразу начала вырываться вперед, но Луи Савой прилагал отчаянные усилия, чтобы не отстать, и его головные собаки бежали, едва не касаясь мордами нарт соперника.

Где-то на середине ледяного пути вторые подставы вынеслись с берега им навстречу. Но Харрингтон не замедлил бега своих собак. Выждав минуту, когда новая упряжка поравнялась с ним, он, гикнув, перескочил на другие нарты, с ходу надав жару собакам. Гонщик подставы кубарем полетел с нарт. Луи Савой и тут во всем последовал примеру своего соперника. Брошенные на произвол судьбы упряжки заметались из стороны в сторону, на них налетели другие, и на льду поднялась страшная кутерьма. Харрингтон набирал скорость. Луи Савой не отставал. У самого конца ледяного поля их нарты начали обходить головную упряжку. Когда они снова легли на узкий санный путь, проторенный в пушистых снежных сугробах, они уже вели гонку, и Доусон, наблюдавший за ними при свете северного сияния, клялся, что это была чистая работа.

Когда мороз крепчает до шестидесяти градусов, надо или двигаться, или разводите огонь, иначе долго не протянешь. Харрингтон и Савой прибегли теперь к старинному способу— «бегом и на собаках». Соскочив с нарт, они бежали сзади, держась за лямки, пока кровь, сильнее забурлив в жилах, не изгоняла из тела мороз, потом прыгали обратно в нарты и лежали на них, пока опять не промерзали до костей. Так—бегом и на собаках—они покрыли второй и третий перегоны. Снова и снова, вылетев на гладкий лед, Луи Савой принимался нахлестывать собак, и всякий раз его попытки обойти соперника оканчивались неудачей. Растянувшись позади на пять миль, остальные участники состязания силились их нагнать, но безуспешно, ибо одному Луи Савою выпала в этих гонках честь выдержать убийственную скорость, предложенную Джеком Харрингтоном.

Когда они приблизились к подставе на Семьдесят Пятой миле, Лон Мак-Фэйн пустил своих собак. Их вел Волчий Клык, и как только Харрингтон увидел жока, ему стало ясно, кому достанется победа. На всем Севере не было такой упряжки, которая могла бы теперь побить его на этом последнем перегоне. А Луи Савой, заметив Вольчего Клыка во главе харрингтоновской упряжки, понял, что проиграл, и послал кому-то сквозь зубы проклятия, какие обычно посылают женщинам. Но все же он решил биться до последнего, и его собаки неотступно бежали в вихре снежной пыли, летящей из-под передних нарт. На юго-востоке занялась заря; Харрингтон и Савой неслись вперед: один преисполненный радостного, другой горестного изумления перед поступком Джой Молино.

Вся Сороковая Миля вылезла на рассвете из-под своих меховых одеял и столпилась у края санного пути. Он далеко был виден отсюда—на несколько миль вверх по Юкону, до первой излучины. И путь через реку к финишу у форта Кьюдахи, где ждал охваченный нетерпением приисковый инспектор, тоже был весь как на ладони. Джой Молино устроилась несколько поодаль, но ввиду столь исключительных обстоятельств никто не позволил себе торчать у нее перед глазами и загораживать ей чуть приметно темневшую на снегу полосу тропы. Таким образом, перед нею оставалось свободное пространство. Горели костры, и золотоискатели, собравшись у огня, держали пари, закладывая собак и золотой песок. Шансы Волчего Клыка стояли необычайно высоко.

— Идут!—раздался с верхушки сосны пронзительный крик мальчишки-индейца.

У излучины Юкона на снегу появилась черная точка, и сейчас же следом за ней—вторая. Точки быстро росли, а за ними начали возникать другие—на некотором расстоянии от первых двух. Мало-помалу все они приняли очертания нарт, собак и людей, плашмя лежавших на нартах.

— Впереди Волчий Клык!—шепнул лейтенант полиции Джой Молино.

Она ответила ему улыбкой, не тая своего интереса.

— Десять против одного за Харрингтона!—воскликнул какой-то король Березового ручья, вытаскивая свой мешочек с золотом.

— Королева... она не очень щедро платит вам?—спросила Джой Молино лейтенанта.

Тот покачал головой.

— Есть у вас зольотой песок? Как много?—не унималась Джой.

Лейтенант развязал свой мешочек. Одним взглядом она оценила его содержимое.

— Пожалуй, тут... да, сотни две тут будет, верно? Хорошо, сейчас я дам вам... как это... подсказка. Принимайте пари.—Она загадочно улыбнулась.

Лейтенант колебался. Он взглянул на реку. Оба передних гонщика, стоя на коленях, яростно нахлестывали собак. Харрингтон шел первым.

— Десять против одного за Харрингтона!—орал король Березового ручья, размахивая своим мешочком перед носом лейтенанта.

— Принимайте пари!—подзадоривала лейтенанта Джой.

Он повиновался, пожав плечами в знак того, что уступает не голосу рассудка, а ее чарам. Джой ободряюще кивнула.

Шум стих. Ставки прекратились.

Накреняясь, подсакивая, ныряя, словно утлые парусники в бурю, нарты бешено мчались к ним. Луи Савой все еще не отставал от Харрингтона, но лицо его было мрачно: надежда покинула его. Харрингтон не смотрел ни вправо, ни влево. Рот его был плотно сжат. Его собаки бежали ровно, ни на секунду не сбиваясь с ритма, ни на йоту не отклоняясь от пути, а Волчий Клык был поистине великолепен. Низко опустив голову, ничего не видя вокруг и глухо подвывая, вел он своих товарищей вперед.

Сороковая Миля затаила дыхание. Слышен был только хрип собак да свист бичей.

Внезапно звонкий голос Джой Молино нарушил тишину:

— Эй-эй! Вольчий Клык! Вольчий Клык!

Волчий Клык услышал, он резко свернул в сторону—прямо к своей хозяйке. Вся упряжка ринулась за ним, нарты накренились и, став на один полоз, выброси-

ли Харрингтона в снег. Луи Савой вихрем пролетел мимо. Харрингтон поднялся на ноги и увидел, что его соперник мчится через реку к приисковой конторе. В эту минуту он невольно услышал разговор у себя за спиной.

— Он? Да, он очень хорошо шел,— говорила Джой Молино лейтенанту.— Он... как это говорится... задал темп. О да, он отлично задал темп.



Закон жизни

Старый Коскуш жадно прислушивался. Его зрение давно угасло, но слух оставался по-прежнему острым, улавливая малейший звук, а мерцающее под высохшим лбом сознание было безучастным к грядущему. А, это пронзительный голос Сит-Кум-То-Ха; она с криком бьет собак, надевая на них упряжь. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы попусту тратить время на дряхлого деда, одиноко сидящего на снегу, всеми забытого и беспомощного. Пора сниматься со стоянки. Предстоит далекий путь, а короткий день не хочет помедлить. Жизнь зовет ее, зовут заботы, которых требует жизнь, а не смерть. А он так близок теперь к смерти.

Мысль эта на минуту ужаснула старика, и он протянул руку, нащупывая дрожащими пальцами небольшую кучку хвороста возле себя. Убедившись, что хворост здесь, он снова спрятал руку под изношенный мех и опять стал вслушиваться.

Сухое потрескивание полузамерзшей оленьей шкуры сказало ему, что вигвам вождя уже убран, и теперь его уминают и скатывают в удобный тюк. Вождь приходился ему сыном, он был рослый и сильный, глава племени и могучий охотник. Вот его голос, понукающий медлительных женщин, которые собирают пожитки. Старый Коскуш напряг слух. В последний раз он слышит этот голос. Сложен вигвам Джихохоу и вигвам Тускена! Семь, восемь, десять... Остался, верно, только вигвам шамана. Вот теперь принялись и за него. Коскуш слышал бормотание шамана, укладывавшего свой вигвам на

нарты. Захныкал ребенок; женщина стала утешать его, напевая что-то тихим гортанным голосом. Это маленький Ку-Ти, подумал старик, капризный ребенок и слабый здоровьем. Может быть, он скоро умрет, и тогда в мерзлой земле тундры выжгут яму и набросают сверху камней для защиты от росамах. А впрочем, не все ли равно? В лучшем случае проживет еще несколько лет и будет ходить чаще с пустым желудком, чем с полным. А в конце концов смерть все равно дождет его — вечно голодная и самая голодная из всех.

Что там такое? А, это мужчины увязывают нарты и туго затягивают ремни. Он слушал, — он, который скоро ничего не будет слышать. Удары бича со свистом сыпались на собак. Слышишь, завывли? Как им ненавистен трудный путь! Уходят! Нарты за нартами медленно скользят в тишину. Ушли. Они исчезли из его жизни, и он один встретит последний тяжкий час. Нет, вот захрустел снег под мокасынами. Рядом стоял человек; на его голову тихо легла рука. Как добр к нему сын! Он вспомнил других стариков, их сыновья уходили вместе с племенем. Его сын не таков. Старик унесся мыслями в прошлое, но голос молодого человека вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик ответил:

— Да, мне хорошо.

— Около тебя есть хворост, — продолжал молодой, — костер горит ярко. Утро серое, мороз спадает. Скоро пойдет снег. Вот он уже идет.

— Да, он уже идет.

— Люди спешат. Их тюки тяжелы, а животы подтянуло от голода. Путь далек, и они идут быстро. Я ухожу. Тебе хорошо?

— Мне хорошо. Я словно осенний лист, который еле держится на ветке. Первое дуновение ветра — и я упаду. Мой голос стал как у старухи. Мои глаза больше не показывают дорогу ногам, а ноги отяжелели, и я устал. Все хорошо.

Довольный Коскуш склонил голову и сидел так, пока не замер вдали жалобный скрип снега; теперь он знал, что сын уже не услышит его призыва. И тогда рука его поспешно протянулась за хворостом. Только эта вязанка отделяла его от зияющей перед ним вечности. Охалпка

сухих сучьев была мерой его жизни. Один за другим сучья будут поддерживать огонь, и так же, шаг за шагом, будет подползать к нему смерть. Когда последняя ветка отдаст свое тепло, мороз примется за дело. Сперва сдадутся ноги, потом руки, под конец оцепенеет тело. Голова его упадет на колени, и он успокоится. Это легко. Умереть суждено всем.

Коскуш не жаловался. Такова жизнь, и она справедлива. Он родился и жил близко к земле, и ее закон для него не нов. Это закон всех живых существ. Природа немилостива к отдельным живым существам. Ее внимание направлено на виды, расы. На большие обобщения примитивный ум старого Коскуша был не способен, но это он усвоил твердо. Примеры этому он видел повсюду в жизни. Дерево наливается соками, распускаются зеленые почки, падает желтый лист — и круг завершен. Но каждому живому существу природа ставит задачу. Не выполнив ее, оно умрет. Выполнит — все равно умрет. Природа безучастна: покорных ей много, но вечность суждена не покорным, а покорности. Племя Коскуша очень старо. Старики, которых он помнил, еще когда был мальчиком, помнили стариков до себя. Следовательно, племя живет, оно олицетворяет покорность всех своих предков, самые могилы которых уже давно забыты. Умершие не в счет; они только единицы. Они ушли, как тучи с неба. И он тоже уйдет. Природа безучастна. Она поставила жизни одну задачу, дала один закон. Задача жизни — продолжение рода, закон ее — смерть. Девушка — существо, на которое приятно посмотреть. Она сильная, у нее высокая грудь, упругая походка, блестящие глаза. Но задача этой девушки еще впереди. Блеск в ее глазах разгорается, походка становится быстрее, она то смела с юношами, то робка и заражает их своим беспокойством. И она хорошеет день ото дня; и, наконец, какой-нибудь охотник берет ее в свое жилище, чтобы она работала и стряпала на него и стала матерью его детей. Но с рождением первенца красота начинает покидать женщину, ее походка становится тяжелой и медленной, глаза тускнеют и меркнут, и одни лишь маленькие дети с радостью прижимаются к морщинистой щеке старухи, сидящей у костра. Ее задача выполнена. И при первой угрозе голода или при первом длинном переходе ее оставят, как оставили его, — на

снегу, подле маленькой охапки хвороста. Таков закон жизни.

Коскуш осторожно положил в огонь сухую ветку и вернулся к своим размышлениям. Так бывает повсюду и во всем. Комары исчезают при первых заморозках. Маленькая белка уползает умирать в чащу. С годами заяц тяжелеет и не может с прежней быстротой ускакать от врага. Даже медведь слепнет к старости, становится неуклюжим и в конце концов свора визгливых собак одолевает его. Коскуш вспомнил, как он сам бросил своего отца в верховьях Клондайка,— это было той зимой, когда к ним пришел миссионер со своими молитвенниками и ящиком лекарств. Не раз облизывал Коскуш губы при воспоминании об этом ящике, но сейчас у него во рту уже не было слюны. В особенности вспоминался ему «болеутолитель». Но миссионер был обузой для племени, он не приносил дичи, а сам ел много, и охотники ворчали на него. В конце концов он простудился на реке около Мэйю, а потом собаки разбросали камни и подрались из-за его костей.

Коскуш снова подложил хворосту в костер и еще глубже погрузился в мысли о прошлом. Во время Великого Голода старики жались к огню и роняли с уст туманные предания старины о том, как Юкон целых три зимы мчался, свободный ото льда, а потом стоял замерзший три лета. В этот голод Коскуш потерял свою мать. Летом не было хода лосося, и племя с нетерпением дожидалось зимы и оленей. Зима наступила, но олени не пришли вместе с ней. Такое никогда не бывало даже на памяти стариков. Олени не пришли, и это был седьмой голодный год. Зайцы не плодились, а от собак остались только кожа да кости. И дети плакали и умирали в долгой зимней тьме, умирали женщины и старики, и из каждых десяти человек только один дожил до весны и возвращения солнца. Да, вот это был голод!

Но он видел и времена изобилия, когда мяса было столько, что оно портилось, и разжиревшие собаки совсем обленились,— времена, когда мужчины смотрели на убегающую дичь и не убивали ее, а женщины были плодовиты, и в вигвамах возились и ползали мальчики и девочки. Мужчины стали тогда заносчивы и чуть что вспоминали прежние ссоры. Они перевалили через горы на юг, чтобы истребить племя пелли, и на запад, чтобы

полюбоваться на потухшие огни племени танана. Старик вспомнил, что еще мальчиком он видел в год изобилия, как волки задрали лося. Зинг-Ха лежал тогда вместе с ним на снегу,—Зинг-Ха, который стал потом искусным охотником и кончил тем, что провалился в полынью на Юконе. Ему удалось выбраться из нее только до половины—так его и нашли через месяц примерзшим ко льду.

Так вот—лось. Он и Зинг-Ха пошли в тот день поиграть в охоту, подражая своим отцам. На замерзшей реке они наткнулись на свежий след лося и на следы гнавшихся за ним волков.

— Старый,—сказал Зинг-Ха, умевший лучше разбирать следы.—Старый. ОтбилсЯ от стада. Волки отрезали его от братьев и теперь не выпустят.

Так оно и было. Таков волчий обычай. Днем и ночью, без отдыха, они будут с рычаньем преследовать его по пятам, щелкать зубами у самой его морды и не отстанут от него до конца. Кровь закипела у обоих мальчиков. Конец охоты—на это стоит посмотреть.

Сгорая от нетерпения, они шли все дальше и дальше, и даже он, Коскуш, не обладавший острым зрением и навыками следопыта, мог бы идти вперед с закрытыми глазами—так четок был след. Он был совсем свежий, и они на каждом шагу читали только что написанную мрачную трагедию погони. Вот здесь лось остановился. Во все стороны на расстоянии в три человеческих роста снег был истоптан и взрыт. Посредине глубокие отпечатки разлтых копыт лося, а вокруг более легкие следы волков. Некоторые, пока их собираться бросались на жертву, видимо, отдыхали, лежа на снегу. Отпечатки их туловищ были так ясны, словно это происходило всего лишь минуту тому назад. Один волк попался под ноги обезумевшей жертве и был затоптан насмерть. Куча костей, чисто обглоданных, подтверждала это.

Они снова замедлили ход своих лыж. Вот здесь тоже происходила отчаянная борьба. Дважды опрокидывали лося наземь,—как свидетельствовал снег,—и дважды он сбрасывал своих противников и снова поднимался на ноги. Он уже давно выполнил свою задачу, но жизнь была дорога ему. Зинг-Ха сказал: «Никогда не бывало, чтобы раз опрокинутый лось встал на ноги». Но этот встал.

Когда потом они рассказывали об этом шаману, он счел это чудом и каким-то предзнаменованием.

Наконец они подошли к тому месту, где лось хотел подняться на берег и скрыться в лесу. Но враги напали на него сзади, и он стал на дыбы и опрокинулся навзничь, придавив двух из них. Они так и остались лежать в снегу, не тронутые своими собратьями, ибо погоня близилась к концу. Еще два места битвы мелькнули мимо, одно вслед за другим. Теперь след покраснел от крови и плавный шаг крупного зверя стал неровным и спотыкающимся. И вот они услышали первые звуки битвы — не громогласный хор охоты, а короткий отрывистый лай, говоривший о близости волчьих зубов к бокам лося. Держась против ветра, Зинг-Ха полз на животе по снегу, а за ним полз Коскуш — тот, кому предстояло с годами стать вождем своего племени. Они отвели в сторону ветки молодой ели и выглянули из-за них. И увидели самый конец битвы.

Зрелище это, подобно всем впечатлениям юности, до сих пор было еще свежо в памяти Коскуша, и конец погони стал перед его потускневшим взором так же ярко, как в те далекие времена. Коскуш изумился этому, ибо в последующие дни, будучи вождем мужей и главой совета, он совершил много великих деяний — даже если не говорить о чужом белом человеке, которого он убил ножом в рукопашной схватке, — и имя его стало проклятием в устах людей племени пелли.

Долго еще Коскуш размышлял о днях своей юности, и, наконец, костер стал потухать, и мороз усилился. На этот раз он подбросил в огонь сразу две ветки, и теми, что остались, точно измерил свою власть над смертью. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о деде и собрала охалпку побольше, часы его жизни продлились бы. Разве это так трудно? Но ведь Сит-Кум-То-Ха всегда была беззаботная, а с тех пор как Бобр, сын сына Зинг-Ха, впервые бросил на нее взгляд, она совсем перестала чтить своих предков. А впрочем, не все ли равно? Разве он в дни своей резвой юности поступал по-иному?

С минуту Коскуш вслушивался в тишину. Может быть, сердце его сына смягчится и он вернется назад с собаками и возьмет своего старика отца вместе со всем племенем туда, где много оленей с тучными от жира боками.

Коскуш напряг слух, его мозг на мгновение приостановил свою напряженную работу. Ни звука — тишина! Посреди полного молчания слышно лишь его дыхание. Какое одиночество! Чу! Что это? Дрожь пошла у него по телу. Знакомый протяжный вой прорезал безмолвие. Он раздался где-то близко. И перед незрячими глазами Коскуша предстало видение: лось, старый самец, с истерзанными, окровавленными боками и взъерошенной гривой, гнет книзу большие ветвистые рога и отбивается ими из последних сил. Он видел мелькающие серые тела, горящие глаза, клыки, слюну, стекающую с языков. И он видел, как круг неумолимо сжимается все тесней и тесней, мало-помалу сливаясь в черное пятно посреди истоптанного снега.

Холодная морда ткнулась ему в щеку, и от этого прикосновения мысли его перенеслись в настоящее. Он протянул руку к огню и вытащил головешку. Уступая наследственному страху перед человеком, зверь отступил с протяжным воем, обращенным к собратьям. И они тут же ответили ему, и брызжущие слюной волчки пасти кольцом сомкнулись вокруг костра. Старик прислушался, потом взмахнул головешкой, и фыркание сразу перешло в рычание; звери не хотели отступать. Вот один подался грудью вперед, подтягивая за туловищем и задние лапы, потом второй, третий; но ни один не отступил назад. Зачем цепляться за жизнь? — спросил Коскуш самого себя и уронил пылающую головню на снег. Она зашипела и потухла. Волки тревожно зарычали, но не двигались с места. Снова Коскуш увидел последнюю битву старого лоса и тяжело опустил голову на колени. В конце концов не все ли равно? Разве не таков закон жизни?



Лига стариков

В Казармах судили человека, речь шла о его жизни и смерти. Это был старик индеец с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Его дело взволновало весь Доусон, и не только Доусон, но и весь Юконский край на тысячу миль в обе

стороны по течению. Пираты на море и грабители на земле, англосаксы издавна несли закон покоренным народам, и закон этот подчас был суров. Но тут, в деле Имбера, закон впервые показался и мягким и снисходительным. Он не предусматривал такой кары, которая с точки зрения простой арифметики соответствовала бы совершенным преступлениям. Что преступник заслуживает высшей меры наказания, в этом не могло быть никаких сомнений; но, хотя такой мерой была смертная казнь, Имбер мог полатиться лишь одной своей жизнью, в то время как на его совести было множество жизней.

В самом деле, руки Имбера были обагрены кровью скольких людей, что точно сосчитать его жертвы оказалось невозможно. Покуривая трубку на привале в пути или бездельничая у печки, жители края прикидывали, сколько же приблизительно людей загубил этот старик. Все, буквально все эти несчастные жертвы были белыми,—они гибли и поодиночке, и по двое, и целыми группами. Убийства были так бессмысленны и беспричинны, что долгое время они оставались загадкой для королевской конной полиции, даже тогда, когда на реках стали добывать золото и правительство доминиона прислало сюда губернатора, чтобы заставить край платить за свое богатство.

Но еще большей загадкой казалось то, что Имбер сам пришел в Доусон, чтобы отдать себя в руки правосудия. Поздней весной, когда Юкон ревел и метался в своих ледяных оковах, старый индеец свернул с тропы, проложенной по льду, с трудом поднялся по береговому откосу и, растеряннo моргая, остановился на главной улице. Все, кто видел его появление, заметили, что он был очень слаб. Пошатываясь, он добрался до кучи бревен и сел. Он сидел здесь весь день, пристально глядя на бесконечный поток проходивших мимо белых людей. Многие с любопытством оглядывались, чтобы еще раз посмотреть на него, а кой у кого этот старый сиваш со странным выражением лица вызывал даже громкие замечания. Впоследствии десятки людей вспоминали, что необыкновенный облик индейца поразил их, и они до конца дней гордились своей проницательностью и чутьем на все необыкновенное.

Однако настоящим героем дня оказался Маленький Диккенсен. Маленький Диккенсен явился в эти края с радужными надеждами и с пачкой долларов в кармане; но вместе с содержимым кармана растаяли и надежды, и, чтобы заработать на обратный путь в Штаты, он занял должность счетовода в маклерской конторе «Холбрук и Мэйсон». Как раз напротив конторы «Холбрук и Мэйсон» и лежала куча бревен, на которой уселся Имбер. Диккенсен заметил его, глянув в окно, перед тем как отправиться завтракать, а позавтракав и вернувшись в контору, он опять глянул в окно: старый сиваш по-прежнему сидел на том же месте.

Диккенсен то и дело поглядывал в окно,—потом он тоже гордился своей проницательностью и чутьем на необыкновенное. Маленький Диккенсен был склонен к романтике, и в неподвижном старом язычнике он увидел некое олицетворение народа сивашей, с непроницаемым спокойствием взирающего на полчища англосаксонских захватчиков.

Часы шли за часами, а Имбер сидел все в той же позе, ни разу не пошевелившись, и Диккенсен вспомнил, как однажды посреди главной улицы остановились нарты, на которых вот так же неподвижно сидел человек; мимо него взад и вперед сновали прохожие, и все думали, что человек просто отдыхает, а потом, когда его тронули, оказалось, что он мертв и уже успел окоченеть—замерз посреди уличной толчеи. Чтобы труп выпрямить—иначе он не влез бы в гроб,—его пришлось тащить к костру и оттаивать. Диккенсена передернуло при этом воспоминании.

Немного погодя Диккенсен вышел на улицу выкурить сигарету и проветриться, и тут-то через минуту появилась Эмили Трэвис. Эмили Трэвис была особой изысканной, утонченной, хрупкой, и одевалась она—будь это в Лондоне или в Клондайке—так, как подобало дочери горного инженера, обладателя миллионов. Маленький Диккенсен положил свою сигарету на выступ окна и приподнял над головой шляпу.

Минут десять они спокойно болтали, но вдруг Эмили Трэвис посмотрела через плечо Диккенсена и испуганно вскрикнула. Диккенсен поспешно оглянулся и сам вздрогнул от испуга. Имбер перешел улицу и, точно

мрачная тень, стоял совсем близко, впившись неподвижными глазами в девушку.

— Чего тебе надо? — храбро спросил Маленький Диккенсен нетвердым голосом.

Имбер, проворчав что-то, подошел вплотную к Эмили Трэвис. Он внимательно оглядел ее всю, с головы до ног, как бы стараясь ничего не пропустить. Особый интерес у него вызвали шелковистые каштановые волосы девушки и румяные щеки, покрытые нежным пушком, точно крыло бабочки. Он обошел ее вокруг, не отрывая от нее оценивающего взгляда, словно изучал стати лошади или устройство лодки. Вдруг он увидел, как лучи заходящего солнца просвечивают сквозь розовое ухо девушки, и остановился будто вкопанный. Потом он снова принялся осматривать ее лицо и долго, пристально вглядывался в ее голубые глаза. Опять проворчав что-то, он положил ладонь на руку девушки чуть ниже плеча, а другой своей рукой согнул ее в локте. Отвращение и удивление отразилось на лице индейца, с презрительным ворчанием отпустил руку Эмили. Затем издал какие-то гортанные звуки, повернулся к девушке спиной и что-то сказал Диккенсену.

Диккенсен не мог понять, что он говорил, и Эмили Трэвис засмеялась. Имбер, хмуря брови, обращался то к Диккенсену, то к девушке, но они лишь качали головами. Он уже хотел отойти от них, как девушка крикнула:

— Эй, Джимми! Идите сюда!

Джимми приближался с другой стороны улицы. Это был рослый неуклюжий индеец, одетый, по обычаю белых людей, в огромной широкополой шляпе, какие носят короли Эльдорадо. Запинаясь и словно давясь каждым звуком, он стал говорить с Имбером. Джимми был родом ситха; на языке племен, живущих в глубине страны, он знал лишь самые простые слова.

— Он от племени Белая Рыба, — сказал он Эмили Трэвис. — Я понимаю его язык не очень хорошо. Он хочет видать главный белый человек.

— Губернатора, — подсказал Диккенсен.

Джимми обменялся с человеком из племени Белая Рыба еще несколькими словами, и лицо его приняло озабоченное и недоуменное выражение.

— Я думаю, ему надо капитан Александер, — заявил Джимми. — Он говорит, он убил белый человек, белый

женщина, белый мальчик, убил много-много белый человек. Он хочет умирать.

— Вероятно, сумасшедший,— сказал Диккенсен.

— Это что есть?— спросил Джимми.

Диккенсен, будто протыкая себе череп, приставил ко лбу палец и с силой покрутил им.

— Может быть, может быть,— сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, все еще требовавшему главного белого человека.

Подошел полисмен из королевской конной полиции (в Клондайке она обходилась без коней) и услышал, как Имбер повторил свою просьбу. Полисмен был здоровенный детина, широкий в плечах, с мощной грудью и стройными, крепкими ногами; как ни высок был Имбер, полисмен на полголовы был выше его. Глаза у него были холодные, серые, взгляд твердый, в осанке чувствовалась та особая уверенность в своей силе, которая идет от предков и освящена веками. Великолепная мужественность полисмена еще более выигрывала от его молодости—он был совсем еще мальчик, и румянец на его гладких щеках вспыхивал с такой же быстротой, как на щеках юной девушки.

Лишь на полисмена и смотрел теперь Имбер. Какой-то огонь сверкнул в глазах индейца, как только он заметил на подбородке юноши рубец от удара саблей. Своей высохшей рукой он прикоснулся к бедру полисмена и ласково провел по его мускулистой ноге. Костяшками пальцев он постучал по его широкой груди, потом ощупал плотные мышцы, покрывавшие плечи юноши, словно кираса. Вокруг них уже толпились любопытные прохожие—золотоискатели, жители гор, пионеры девственных земель—все сыны длинноногой, широкоплечей расы. Имбер переводил взгляд с одного на другого, потом что-то громко сказал на языке племени Белая Рыба.

— Что он говорит?— спросил Диккенсен.

— Он сказал—все эти люди как один, как эта полисмен,—перевел Джимми.

Маленький Диккенсен был мал ростом, и потому он пожалел, что задал такой вопрос в присутствии мисс Трэвис. Полисмен посочувствовал ему и решил прийти на помощь.

— А пожалуй, у него что-то есть на уме. Я отведу его к капитану. Скажи ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми снова стал давиться, а Имбер заворчал, но вид у него был весьма довольный.

— Спросите-ка его, Джимми, что он говорил и что думал, когда взял меня за руку?

Это сказала Эмили Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ:

— Он говорил, вы не трусливый.

При этих словах Эмили Трэвис не могла скрыть своего удовольствия.

— Он говорил, вы не скуку, совсем не сильный, такой нежный, как маленький ребенок. Он может разорвать вас руками на маленькие куски. Он очень смеялся, очень удивлялся, как вы можете родить такой большой, такой сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмили Трэвис нашла в себе мужество не опустить глаз, но щеки ее зарделись. Маленький Диккенсен вспыхнул, как маков цвет, и совершенно смутился. Юное лицо полисмена покраснело до корней волос.

— Эй, ты, шагай,— сказал он резко, раздвигая плечом толпу.

Так Имбер попал в Казармы, где он добровольно и полностью признался во всем и откуда больше уже не вышел.

Имбер выглядел очень усталым. Он был стар и ни на что не надеялся, и это было написано на его лице. Он уныло сгорбился, глаза его потускнели; волосы у него должны были быть седыми, но солнце и непогода так выжгли и вытравили их, что они свисали бесцветными, безжизненными космами. К тому, что происходило вокруг, он не проявлял никакого интереса. Комната была битком набита золотоискателями и охотниками, и зловещие раскаты их низких голосов отдавались у Имбера в ушах, точно рокот моря под сводами береговых пещер.

Он сидел у окна, и его безразличный взгляд то и дело останавливался на расстилавшемся перед ним тоскливом пейзаже. Небо затянуло облаками, сыпалась сизая изморось. На Юконе началось половодье. Лед уже прошел, и река заливала город. По главной улице туда и сюда плыли в лодках никогда не знающие покоя люди. То одна, то другая лодка сворачивала с улицы на залитый водой плац перед Казармами; потом, подплыв

ближе, скрывалась из вида, и Имбер слышал, как она с глухим стуком наталкивалась на бревенчатую стену, а люди через окно влезали в дом. Затем было слышно, как эти люди, хлюпая ногами по воде, проходили нижним этажом и поднимались по лестнице. Сняв шляпы, в мокрых морских сапогах, они входили в комнату и смешивались с ожидавшей суда толпой.

И пока все эти люди враждебно разглядывали его, довольные тем, что он понесет свое наказание, Имбер смотрел на них и думал об их обычаях и порядках, об их недремлющем Законе, который был, есть и будет до скончания веков — в хорошие времена и в плохие, в наводнение и в голод, невзирая на беды, и ужас, и смерть. Так казалось Имберу.

Какой-то человек постучал по столу; разговоры прекратились, наступила тишина. Имбер взглянул на того, кто стучал по столу. Казалось, этот человек обладал властью, но Имбер почувствовал, что начальником над всеми и даже над тем, кто постучал по столу, был другой, широколобый человек, сидевший за столом чуть подальше. Из-за стола поднялся еще один человек, взял много тонких бумажных листов и стал их громко читать. Перед тем как начать новый лист, он откашливался, а закончив его, слюнявил пальцы. Имбер не понимал, что говорил этот человек, но все другие понимали, и видно было, что они сердятся. Иногда они очень сердились, а однажды кто-то выругал его, Имбера, коротким гневным словом, но человек за столом, постучав пальцем, приказал слушнику замолчать.

Человек с бумагами читал бесконечно долго. Под его скучный, монотонный голос Имбер задремал, и когда чтение кончилось, он спал глубоким сном. Кто-то окликнул его на языке племени Белая Рыба, он проснулся и без всякого удивления увидел перед собой лицо сына своей сестры — молодого индейца, который уже давно ушел из родных мест и жил среди белых людей.

— Ты, верно, не помнишь меня, — сказал тот вместо приветствия.

— Нет, помню, — ответил Имбер. — Ты — Хаукан, ты давно ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старая женщина, — сказал Хаукан.

Имбер уже не слышал его ответа, но Хаукан потряс его за плечо и разбудил снова.

— Я скажу тебе, что читал этот человек,— он читал обо всех преступлениях, которые ты совершил и в которых, о глупец, ты признался капитану Александру. Ты должен подумать и сказать, правда это все или неправда. Так тебе приказано.

Хаукан жил у миссионеров и научился у них читать и писать. Сейчас он держал в руках те самые тонкие листы бумаги, которые прочитал вслух человек за столом,— в них было записано все, что сказал Имбер с помощью Джимми на допросе у капитана Александра. Хаукан начал читать. Имбер послушал немного, на лице его выразилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукан, но они идут с твоих губ, а твои уши не слышали их.

Хаукан самодовольно улыбнулся и пригладил расчесанные на пробор волосы.

— Нет, о Имбер, они идут с бумаги. Мои уши не слышали их. Слова идут с бумаги и через глаза попадают в мою голову, а потом мои губы передают их тебе. Вот откуда они идут.

— Вот откуда они идут. Значит, они на бумаге?— благоговейным шепотом спросил Имбер и пощупал бумагу, со страхом глядя на покрывавшие ее знаки.— Это великое колдовство, а ты, Хаукан, настоящий кудесник.

— Пустяки, пустяки,— небрежно сказал молодой человек, не скрывая своей гордости.

Он наугад взял один из листов бумаги и стал читать:

«В тот год, еще до ледохода, появился старик с мальчиком, который хромал на одну ногу. Их я тоже убил, и старик сильно кричал...»

— Это правда,— прервал задыхающимся голосом Имбер.— Он долго-долго кричал и бился, никак не хотел умирать. Но откуда ты это знаешь, Хаукан? Тебе, наверно, сказал начальник белых людей? Никто не видел, как я убил, а рассказывал я только начальнику.

Хаукан с досадой покачал головой.

— Разве я не сказал тебе, о глупец, что все это написано на бумаге?

Имбер внимательно разглядывал испещренный чернильными значками лист.

— Охотник смотрит на снег и говорит: вот тут вчера пробежал заяц, вот здесь, в зарослях ивняка, он присел и

прислушался, а потом испугался чего-то и побежал; с этого места он повернул назад, тут побежал быстро-быстро и делал большие скачки, а тут вот еще быстрее бежала рысь; здесь, где ее следы ушли глубоко в снег, рысь сделала большой-большой прыжок, тут она настигла зайца и перевернулась на спину; дальше идут следы одной рыси, а зайца уже нет. Как охотник глядит на следы на снегу и говорит, что тут было то, а тут это, так и ты глядишь на бумагу и говоришь, что здесь то, а там это и что все это сделал старый Имбер?

— Да, это так,—ответил Хаукан.— А теперь слушай хорошенько и попридержи свой бабий язык, пока тебе не прикажут говорить.

И Хаукан долго читал Имберу его показания, а тот молча сидел, уйдя в свои мысли. Когда Хаукан смолк, Имбер сказал ему:

— Все это мои слова, и верные слова, Хаукан, но я стал очень стар, и только теперь мне вспоминаются давно уже забытые дела, о которых надо знать начальнику. Слушай. Раз из-за Ледяных Гор пришел человек, у него были хитрые железные капканы: он охотился за бобрами на реке Белая Рыба. Я убил его. Потом были еще три человека на реке Белая Рыба, которые искали золото. Их я тоже убил и бросил росомахам. И еще у Файв Фингерз я убил человека,— он плыл на плоту, и у него было припасено много мяса.

Когда Имбер умолкал на минуту, припоминая, Хаукан переводил его слова, а клерк записывал. Публика довольно равнодушно внимала этим бесхитростным рассказам, из которых каждый представлял собою маленькую трагедию, до тех пор, пока Имбер не рассказал о человеке с рыжими волосами и косым глазом, которого он сразил стрелой издалека.

— Черт побери,—произнес один из слушателей в передних рядах, горе и гнев звучали в его голосе. У него были рыжие волосы.— Черт побери,—повторил он,— да это же мой брат Билл!

И пока шел суд, в комнате время от времени раздавалось гневное «черт побери»,— ни уговоры товарищей, ни замечания человека за столом не могли заставить рыжеволосого замолчать.

Голова Имбера опять склонилась на грудь, а глаза словно подернулись пеленой и перестали видеть окру-

жающий мир, Он ушел в свои размышления, как может размышлять лишь старость о беспредельной тщете порывов юности.

Хаукан растолкал его снова.

— Встань, о Имбер. Тебе приказано сказать, почему ты совершил такие преступления и убил этих людей, а потом пришел сюда в поисках Закона.

Имбер с трудом поднялся на ноги и, шатаясь от слабости, заговорил низким, чуть дрожащим голосом, но Хаукан остановил его.

— Этот старик совсем помешался,— обратился он по-английски к широколобому человеку.— Он, как ребенок, ведет глупые речи.

— Мы хотим выслушать его глупые речи,— заявил широколобый человек.— Мы хотим выслушать их до конца, слово за словом. Ясно тебе?

Хаукану было ясно. Имбер сверкнул глазами— он догадался, о чем говорил сын его сестры с начальником белых людей. И он начал свою исповедь— необычайную историю. темнокожего патриота, которая заслуживала того, чтобы ее начертали на бронзовых скрижалях для будущих поколений. Толпа затихла, как замороженная, а широколобый судья, подперев голову рукой, слушал будто самую душу индейца, душу всей его расы. В тишине звучала лишь гортанная речь Имбера, прерываемая резким голосом переводчика, да время от времени раздавался, подобно господнему колоколу, удивленный возглас рыжеволосого: «Черт побери!»

— Я— Имбер, из племени Белая Рыба,— переводил слова старика Хаукан; дикарь проснулся в нем, и налет цивилизации, привитой миссионерским воспитанием, сразу рассеялся, как только ухо его уловило в речи Имбера знакомый ритм и распев.— Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Когда я был маленьким мальчиком, теплое солнце грело нашу землю и радость согревала сердца. Люди не гнались за тем, чего не знали, не слушали чужих голосов, обычаи отцов были их обычаями. Юноши с удовольствием глядели на девушек, а девушек тешили их взгляды. Женщины кормили грудью младенцев, и чресла их были отягчены обильным приплодом. Племя росло, и мужчины в те дни были мужчинами. Они были мужчинами в дни мира и изобилия, мужчинами оставались в дни войны и голода.

В те времена было больше рыбы в воде, чем ныне, и больше дичи в лесу. Наши собаки были волчьей породы, им было тепло под толстой шкурой, и они не страшились ни стужи, ни урагана. И мы сами были такими же, как собаки,—мы тоже не страшились ни стужи, ни урагана. А когда люди племени пелли пришли на нашу землю, мы убивали их, и они убивали нас. Ибо мы были мужчинами, мы, люди племени Белая Рыба; наши отцы и отцы наших отцов сражались с племенем пелли и установили границы нашей земли.

Я сказал: бесстрашны были наши собаки, бесстрашны были и мы сами. Но однажды пришел к нам первый белый человек. Он полз по снегу на четвереньках—вот так. Кожа его была туго натянута, под кожей торчали кости. Мы никогда не видали такого человека, и мы удивлялись и гадали, из какого он племени и откуда пришел. Он был слаб, очень слаб, как маленький ребенок, и мы дали ему место у очага, подстлали ему теплые шкуры и накормили его, как кормят маленьких детей.

С ним пришла собака величиной с трех наших собак, она была тоже очень слаба. Шерсть у этой собаки была короткая и плохо грела, а хвост обморожен, так что конец у него отвалился. Мы накормили эту странную собаку, обогрели ее у очага и отогнали наших собак, иначе те разорвали бы ее.

От оленьего мяса и вяленой лососяны к человеку и собаке понемногу вернулись силы, а набравшись сил, они растолстели и осмелели. Человек стал говорить громким голосом и смеяться над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А его собака дралась с нашими собаками, и, хотя шерсть у нее была мягкая и короткая, однажды она загрызла трех наших собак.

Когда мы спрашивали этого человека, из какого он племени, он говорил: «У меня много братьев»—и смеялся нехорошим смехом. А когда он совсем окреп, он ушел от нас, и с ним ушла Нода, дочь вождя. Вскоре после этого у нас ощенилась одна сука. Никогда мы не видали таких щенков—они были большеголовые, с сильными челюстями, с короткой шерстью и совсем беспомощные. Мой отец Отсбаок был могучий воин; и я помню, что, когда он увидел этих беспомощных щенков, лицо его потемнело от гнева, он схватил камень—вот

так, и потом так — и щенков не стало. А через два лета после этого вернулась Нода и принесла на руках маленького мальчика.

Так оно и началось. Потом пришел второй белый человек с короткошерстными собаками, он ушел, а собак оставил. Но он увел шесть самых сильных наших собак, за которых дал Ку-Со-Ти, брату моей матери, удивительный пистолет — шесть раз подряд и очень быстро стрелял этот пистолет. Ку-Со-Ти был горд таким пистолетом и смеялся над нашими луками и стрелами, он называл их женскими игрушками. С пистолетом в руке он пошел на медведя. Теперь все знают, что не годится идти на медведя с пистолетом, но откуда нам было знать это тогда? И откуда мог знать это Ку-Со-Ти? Он очень смело пошел на медведя и быстро выстрелил в него из пистолета шесть раз подряд, а медведь только зарычал и раздавил грудь Ку-Со-Ти, как будто это было яйцо, и, как будто мед из пчелиного гнезда, растекся на земле его мозг. Он был умелый охотник, а теперь некому стало убивать дичь для его скво и детей. И мы все горевали, и мы сказали так: «Что хорошо для белых людей, то для нас плохо». И это правда. Белых людей много, белые люди толстые, а нас из-за них стало мало, и мы отощали.

И пришел третий белый человек, у него было много-много всякой удивительной пищи и всякого добра. Он сторговал у нас в обмен на эти богатства двадцать самых сильных наших собак. Он увел за собой, сманив подарками и обещаниями, десять наших молодых охотников, и никто не мог сказать, куда они ушли. Говорят, они погибли в снегах Ледяных Гор, где не бывал ни один человек, или на Холмах Безмолвия — за краем земли. Так это или не так, но племя Белой Рыбы никогда не видало больше этих собак и молодых охотников.

Еще и еще приходили белые люди, приносили подарки и вводили с собой наших юношей. Иногда юноши возвращались назад, и мы слушали их удивительные рассказы о тяготах и опасностях, которые им пришлось испытать в далеких землях, что лежат за землей племени пелли, а иногда юноши и не возвращались. И мы сказали тогда: «Если белые люди ничего не боятся, так это потому, что их много, а нас, людей Белой Рыбы, мало, и наши юноши не должны больше уходить

от нас». Но юноши все-таки уходили, уходили и девушки, и гнев наш рос.

Правда, мы ели муку и соленую свинину и очень любили пить чай; но если у нас недоставало чаю, это было очень плохо,—мы становились скупы на беседу и скоры на гнев. Так мы начали тосковать о вещах, которые белые люди привозили, чтобы торговать с нами. Торговать! Торговать! Мы только и думали, что о торговле. Однажды зимой мы отдали всю убитую дичь за часы, которые не шли, за тупые пилы и пистолеты без патронов. А потом наступил голод, у нас не было мяса, и четыре десятка людей умерло, не дождавшись весны.

«Теперь мы ослабели,—говорили мы,—племя пелли нападет на нас и захватит нашу землю». Но беда пришла не только к нам, пришла она и к племени пелли—там тоже люди ослабели и не могли воевать с нами.

Мой отец Отсбаок, могучий воин, был тогда очень стар и очень мудр. И он сказал вождю такие слова: «Посмотри, наши собаки никуда не годятся. У них уже нет густой шерсти, они утратили свою силу, они не могут ходить в упряжке и околевают от мороза. Давай убьем их, оставим одних только сук волчьей породы, а их отвяжем и отпустим на ночь в лес, чтобы они там спарились с дикими волками. И у нас опять будут сильные собаки с теплой шкурой».

И вождь послушался этих слов, и скоро племя Белой Рыбы прославилось своими собаками, лучшими во всем краю. Но только собаками—не людьми. Лучшие наши юноши и девушки уходили от нас с белыми людьми неведомо куда по дальним тропам и рекам. Девушки возвращались, как возвратилась Нода, хворыми и составившимися, или не возвращались вовсе. А если возвращались юноши, то они недолго сидели у наших очагов. В своих странствиях они научались дурным речам и дерзким замашкам, пили дьявольское питье и день и ночь играли в карты, и по первому зову белого человека они вновь уходили в неведомые страны. Они забыли о долге уважения к старшим, никому не оказывали почета, они глумились над нашими старыми обычаями и смеялись в лицо и вождю и шаманам.

Я сказал, что мы, люди племени Белая Рыба, стали слабыми и немощными. Меха и теплые шкуры мы отдавали за табак, виски и одежду из тонкой бумажной

ткани, в которой мы дрожали от холода. На нас напал кашель, болели мужчины и женщины, они кашляли и обливались потом всю ночь напролет, а охотники, выйдя в лес, харкали на снег кровью. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и от этого люди быстро умирали. Детей женщины рожали редко, и дети рождались хилые и хворые. Белые люди принесли нам и другие непонятные болезни, о которых мы никогда не слыхали. Мне говорили, что эти болезни называются оспой и корью — мы гибли от них, как гибнут в тихих протоках лососи, когда они осенью кончат метать икру и им больше незачем жить.

И вот самое удивительное: белые люди приносили нам смерть, все их обычаи вели к смерти, смертельно было дыхание их ноздрей, а сами они не знали смерти. У них и виски, и табак, и собаки с короткой шерстью; у них множество болезней, и оспа, и корь, и кашель, и кровохарканье, у них белая кожа, и они боятся стужи и урагана; у них глупые пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И, несмотря на все свои болезни, они жиреют и процветают, они наложили свою тяжелую руку на весь мир и попирают все народы. А их женщины, нежные, как маленькие дети, такие хрупкие на вид и такие крепкие на самом деле, — матери больших и сильных мужчин. И выходит, что изнеженность, и болезни, и слабость обертываются силой, могуществом и властью. Белые люди либо боги, либо дьяволы — я не знаю. Да и что могу я знать, я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю одно: их невозможно понять, этих белых людей, землепроходцев и воинов.

Я сказал, что дичи в лесах становилось меньше и меньше. Это правда, что ружье белого человека — очень хорошее ружье и бьет далеко, но какая польза в ружье, если нет дичи? Когда я был мальчиком, на земле племени Белая Рыба лось попадался на каждом холме, а сколько каждый год приходило оленей-карибу — этого не сосчитать. Теперь же охотник может идти по тропе десять дней, и ни один лось не порадует его глаз, а оленей-карибу, которых раньше было не сосчитать, теперь не стало вовсе. Я говорю: хоть ружье и бьет далеко, но мало от него пользы, если нечего бить.

И я, Имбер, думал об этом, видя, как погибает племя Белая Рыба, погибает племя пелли и все остальные

племена края,—они погибали, как погибла в лесах дичь. Я думал долго. Я беседовал с шаманами и мудрыми стариками. Чтобы людской шум не мешал мне думать, я уходил из селения подальше в лес, а чтобы тяжесть желудка не давила на меня и не притупляла мое зрение и слух, я перестал есть мясо. Долго я просиживал в лесу, забывая о сне, мои глаза ожидали знака, а мои чуткие уши старались уловить слово, которое должно было все разрешить. Один я выходил темной ночью на берег реки, где стонал ветер и плакала вода,—там, среди деревьев, я хотел встретить тени старых мудрецов, умерших шаманов и просить у них совета.

И в конце концов мне явилось видение—отвратительные собаки с короткой шерстью,—и я понял, что мне делать. По мудрости Отсбаока, моего отца и могучего воина, наши собаки сохранили в чистоте свою волчью породу, и у них были теплые шкуры и хватало силы для того, чтобы ходить в упряжке. И вот я вернулся в селение и сказал свое слово воинам. «Белые люди—это племя, очень большое племя,—сказал я.—В их земле не стало больше дичи, и они пришли на нашу землю, чтобы присвоить ее. Они сделали нас слабыми, и мы гибнем. Они очень жадные люди. И вот на нашей земле уже не стало дичи, и, если мы хотим жить, нам надо сделать с ними то же, что мы сделали с их собаками».

И я сказал еще много слов, я предлагал драться. А люди Белой Рыбы слушали меня, и один сказал одно, а другой другое, кое-кто говорил совсем глупые слова, и ни от одного воина не услышал я слов отваги и войны. Юноши были трусливы и слабы, как вода, но я заметил, что в глазах молчаливо сидящих стариков вспыхнул огонь. И вечером, когда селение уснуло, тайком я позвал стариков в лес и там снова беседовал с ними. И мы пришли к согласию, мы вспомнили дни нашей юности, дни изобилия, и радости, и солнца, когда наша земля была свободна. Мы называли друг друга братьями, мы дали слово строго хранить тайну и великой клятвой поклялись очистить нашу землю от злого племени, которое пришло к нам. Теперь ясно, что это было глупо, но как мы могли это знать тогда—мы, старики племени Белая Рыба?

и чтобы подать пример другим и воодушевить их, я совершил первое убийство. Я залег на берегу Юкона и дождался там каноэ с белыми людьми. В нем сидели двое, и когда они увидели, что я встал и поднял руку, они изменили направление и стали грести к берегу. Но как только человек, сидевший на носу, поднял голову, чтобы узнать, чего мне нужно от него, моя стрела пронеслась по воздуху и впилась ему прямо в горло, и он узнал тогда, чего мне от него нужно. Другой человек, тот, что сидел на корме и правил, не успел приложить к плечу ружье, как я пронзил его своим копьем, два копья у меня еще оставалось.

— Это первые,— сказал я подошедшим ко мне старикам.— Немного погодя мы объединим всех стариков всех племен, а потом и тех юношей, у которых есть еще в руках сила, и дело пойдет быстрее.

Потом мы бросили убитых белых людей в реку. А их каноэ—это было очень хорошее каноэ—мы сожгли, сожгли и все вещи, какие были в каноэ. Но прежде мы осмотрели эти вещи, а они были в кожаных сумках, и нам пришлось их распарывать ножами. В сумках было очень много бумаг—вроде тех, которые ты читал, о Хаукан,—и все они покрыты знаками; мы дивились на эти знаки и не могли понять их. Теперь я стал мудрее и понимаю их: это, как ты сказал мне,—слова человека...

Едва Хаукан перевел рассказ об убийстве двух человек в каноэ, как наполнявшая комнату толпа завоновалась и зажужжала.

— Это почта, которая пропала в девяносто первом году!—раздался чей-то голос.—Ее везли Питер Джеймс и Дилэни, их обоих в последний раз видел Мэттьюз у озера Ла-Барж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне осталось сказать немного,—медленно произнес Имбер.—На бумаге есть все, что мы совершили. Мы, старики,—мы не понимали, что делали. Храня тайну, мы убивали и убивали; мы убивали хитро, ибо прожитые годы научили нас делать свое дело не спеша, но быстро. Однажды пришли к нам белые люди, они глядели на нас сердитыми глазами и говорили нам бранные слова, шести нашим юношам они заковали руки в железо и увели их с собой. Тогда мы поняли, что мы должны

убивать еще хитрее и еще больше. И мы, старики, один за другим уходили вверх и вниз по реке в неведомые края. Для такого дела требовалась смелость. Хотя мы были стары и уже ничего не боялись, все же страх перед далекими, чужими краями—великий страх для стариков.

Так мы убивали—не торопясь и с большой хитростью. Мы убивали и на Чилкуте и у Дельты, на горных перевалах и на морском берегу—езде, где только разбивал свою стоянку или прокладывал тропу белый человек. Да, белые люди умирали, но для нас это было бесполезно. Они все приходили и приходили из-за гор, их становилось все больше и больше, а нас, стариков, оставалось все меньше. Я помню, у Оленьего перевала разбил стоянку один белый человек. Этот человек был очень маленького роста, и три наших старика напали на него, когда он спал. На следующий день я наткнулся и на этого белого и на стариков. Из всех четверых еще дышал один лишь белый человек, и у него даже хватило силы, пока он не умер, изругать и проклясть меня.

Так вот и было: сегодня погибнет один старик, а завтра другой. Иногда, уже спустя много времени, к нам доходила весть о смерти кого-нибудь из наших, а иногда и не доходила. А старики других племен были слабы и трусливы и не хотели помогать нам. Итак, сегодня погибал один старик, завтра другой,—и вот остался только я. Я, Имбер, из племени Белая Рыба. Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Теперь уже нет племени Белая Рыба. Я последний старик этого племени, а юноши и молодые женщины ушли с нашей земли—кто к племени пелли, кто к племени Лососей, а больше всего—к белым людям. Я очень стар и очень устал, я напрасно боролся с Законом, и ты прав, Хаукан,—я пришел сюда в поисках Закона.

— Ты поистине глупец, о Имбер,—сказал Хаукан.

Но Имбер уже не слышал, погрузившись в свои видения. Широколобый судья тоже был погружен в видения: перед его взором величественно проходила вся его раса—закованная в сталь, одетая в броню, устанавливающая законы и определяющая судьбы других народов. Он видел зарю ее истории, встающую багровыми отсветами над темными лесами и простором угрюмых морей. Он видел, как эта заря разгорается



кроваво-красным пламенем, переходя в торжественный, сияющий полдень, видел, как за склоном, тронутым тенью, уходят в ночь багряные, словно кровью пропитанные пески... И за всем этим ему мерещился Закон, могучий и беспощадный, непреложный и грозный, более сильный, чем те ничтожные человеческие существа, которые действуют его именем или погибают под его тяжестью,—более сильный, чем он, судья, чье сердце просило о снисхождении.



Тысяча дюжин

Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие, даже менее заурядные люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глас Севера коснулся его ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предприятию. Он произвел краткий и точный подсчет, и будущее заискрилось и засверкало перед ним всеми цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне будут стоить не дешевле пяти долларов за дюжину. Отсюда неопровержимо следовало, что на одной тысяче дюжин в Столице Золота можно будет заработать пять тысяч долларов.

С другой стороны, следовало учесть расходы, и он их учел как человек осторожный, весьма практичный и трезвый, неспособный увлекаться и действовать очертя голову. При цене пятнадцать центов за дюжину тысяча дюжин яиц обойдется в сто пятьдесят долларов — сущие пустяки по сравнению с громадной прибылью. А если предположить — только предположить — такую баснословную дороговизну, что на дорогу и провоз яиц уйдет восемьсот пятьдесят долларов, все же, после того как он продаст последнее яйцо и ссыплет в мешок последнюю щепотку золотого песка, на руках у него останется чистых четыре тысячи.

— Понимаешь, Альма, — высчитывал он вслух, сидя с женой в уютной столовой, заваленной картами, правительственными отчетами и путеводителями по Аляске, — понимаешь ли, расходы по-настоящему начинаются

только с Дайи, а на дорогу до Дайи за глаза хватит пятидесяти долларов, даже если ехать первым классом. Ну-с, от Дайи до озера Линдерман индейцы-носильщики берут по двенадцати центов с фунта, то есть двенадцать долларов с сотни фунтов, а с тысячи—сто двадцать долларов. У меня будет, скажем, полторы тысячи фунтов, это обойдется в сто восемьдесят долларов; прикинем что-нибудь для верности—ну, хотя бы в двести. Один приезжий из Клондайка заверял меня честным словом, что лодку на Линдермане можно купить за триста долларов. Он же говорил, что нетрудно подыскать двух пассажиров по сто пятьдесят долларов с головы—значит, лодка обойдется даром, а кроме того, они будут помогать в пути. Ну... вот и все. В Доусоне я выгружаю яйца прямо на берег. Ну-ка, сколько же это всего получается?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайи, двести от Дайи до Линдермана, за лодку платят пассажиры—значит, всего двести пятьдесят,—быстро подсчитала жена.

— Да еще сто на одежду и снаряжение,—радостно подхватил муж,—значит, пятьсот остается про запас на экстренные расходы. А какие же там могут быть экстренные расходы?

Альма пожалла плечами и подняла брови. Если просторы Севера могут поглотить человека и тысячу дюжин яиц, они смогут поглотить и все его достояние. Так она подумала, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена и потому предпочла промолчать.

— Если даже положить вдвое больше времени—на случайные задержки,—то на всю поездку уйдет два месяца. Подумай только, Альма! Четыре тысячи в два месяца! Не чета какой-то несчастной сотне в месяц, что я теперь получаю. Мы отстроимся заново, попросторнее, с газом во всех комнатах, с видом на море; а коттедж я сдам и из этих денег буду платить налоги, страховку и за воду, да и на руках кое-что останется. А может, еще нападу на жиюу и вернусь миллионером. Скажи-ка, Альма, как по-твоему, ведь подсчет самый умеренный?

И Альма могла по совести ответить, что да. А кроме того, разве не привез один ее родственник—правда, очень дальний, паршивая овца в семействе и лодырь,

каких мало,—разве не привез он с таинственного Севера на сто тысяч золотого песка, не говоря уж о половинном пае на ту яму, из которой его добывали?

Соседний бакалейщик очень удивился, когда Дэвид Расмунсен, его постоянный покупатель, стал взвешивать яйца на весах в конце прилавка. Но еще больше удивился сам Расмунсен, обнаружив, что дюжина яиц весит полтора фунта,—значит, тысяча дюжин будет весить полторы тысячи фунтов! На одежду, одеяла и посуду не остается ровно ничего, не говоря уж о провизии, которая понадобится на дорогу. Все его расчеты рухнули, и он уже собирался высчитывать все сначала, как вдруг ему пришло в голову взвесить яйца помельче.

— Крупные они или мелкие, а дюжина есть дюжина,—весьма здраво заметил он про себя и, прикинув на весах дюжину мелких яиц, нашел, что они весят фунт с четвертью. Вскоре по городу Сан-Франциско забегали озабоченные посыльные, а комиссионные конторы и торговцы молочными продуктами были удивлены неожиданным спросом на яйца весом не более двадцати унций дюжина.

Расмунсен заложил свой маленький коттедж за тысячу долларов, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и уехал на Север. Чтобы не выходить из сметы, он решился на компромисс и взял билет во втором классе, где из-за наплыва пассажиров было хуже, чем на палубе, и поздним летом, бледный и ослабевший высадился со своим грузом в Дайе. Однако твердость походки и аппетит вернулись к нему в самом скором времени. Первый же разговор с индейцами-носильщиками укрепил его физически и закалил морально. Они запросили по сорок центов с фунта за переход в двадцать восемь миль, и не успел Расмунсен перевести дух от изумления, как цена дошла до сорока трех. Наконец, пятнадцать дюжих индейцев, сговорившись по сорок пять центов, стянули ремнями его тюки, но тут же снова развязали их, потому что какой-то крез из Скагуэя в грязной рубаше и рваных штанах, который загнал своих лошадей на Белом перевале и теперь делал последнюю попытку добраться до Доусона через Чилкут, предложил им по сорок семь.

Но Расмунсен проявил выдержку и за пятьдесят центов нашел носильщиков, которые двумя днями позже доставили его товар в целости и сохранности к озеру Линдерман. Однако пятьдесят центов за фунт—это тысяча долларов за тонну, и после того, как полторы тысячи фунтов съели весь его запасный фонд, он долго сидел на мысу Тантала, день за днем глядя, как свежевоструганные лодки одна за другой отправляются в Доусон. Надо сказать, что весь лагерь, где строились лодки, был охвачен тревогой. Люди работали как бешеные, с утра до ночи, напрягая все силы,—конопятили, смолили, сколачивали в лихорадочной спешке, которая объяснялась очень просто. С каждым днем снеговая линия спускалась все ниже и ниже с оголенных вершин, ветер налетал порывами, неся с собой то изморозь, то мокрый, то сухой снег, а в тихих заводях и у берегов нарастал молодой лед и с каждым часом становился все толще. Каждое утро измученные работой люди смотрели на озеро, не начался ли ледостав. Ибо ледостав означал бы, что надеяться больше не на что,—а они надеялись, что, когда на озерах закроется навигация, они уже будут плыть вниз по быстрой реке.

Душа Расмунсена терзалась тем сильнее, что он обнаружил трех конкурентов по яичной части. Правда, один из них, коротенький немец, уже разорился вчистую и, ни на что больше не рассчитывая, сам перетаскивал обратно последние тюки товара; зато у двух других лодки были почти готовы, и они ежедневно молили бога торговли и коммерции задержать еще хоть на день железную руку зимы. Но эта железная рука уже сдавила страну. Снежная пурга заносила Чилкут, люди замерзали насмерть, и Расмунсен не заметил, как отморозил себе пальцы на ногах. Подвернулся было случай устроиться пассажиром в лодке, которая, шурша галькой, как раз отчаливала от берега, но надо было дать двести долларов наличными, а денег у него не осталось.

— Я так думал, вы погодить немножко,—говорил ему лодочник-швед, который именно здесь нашел свой Клондайк и оказался достаточно умен, чтоб понять это,—совсем немножко погодить, и я вам сделаю очень хороший лодка, верный слово.

Положившись на это слово, Расмунсен вернулся к озеру Кратер и там повстречал двух газетных коррес-

пондентов, багаж которых был раскидан по всему перевалу, от Каменного Дома до Счастливого Лагеря.

— Да,— сказал он значительно.— У меня тысяча дюжин яиц уже доставлена к озеру Линдерман, а сейчас там кончают конопатить для меня лодку. И я считаю, что мне повезло. Сами знаете, лодки нынче нарасхват, их ни за какие деньги не достанешь.

Корреспонденты с криком и чуть ли не с дракой стали навязываться Расмунсену в попутчики, махали у него перед носом долларовыми бумажками и совали в руки золотые. Он не желал ничего слушать, однако в конце концов поддался на уговоры и нехотя согласился взять корреспондентов с собой за триста долларов с каждого. Деньги они ему заплатили вперед. И покуда оба строчили в свои газеты сообщения о добром самаритянине, везущем тысячу дюжин яиц, этот добрый самаритянин уже торопился к шведу на озеро Линдерман.

— Эй, вы! Давайте-ка сюда эту додку,— приветствовал он шведа, позвякивая корреспондентскими золотыми и жадно оглядывая готовое суденышко.

Швед флегматично смотрел на него, качая головой.

— Сколько вам за нее должны уплатить? Триста? Ладно, вот вам четырехста. Берите.

Он совал деньги шведу, но тот только пятился от него.

— Я думаль, нет. Я говорил ему, лодка готовый, можно брать. Вы погодить немножко...

— Вот вам шестьсот. Хотите берите, хотите нет. Последний раз предлагаю. Скажите там, что вышла ошибка.

Швед заколебался и наконец сказал:

— Я думаль, да.— И после этого Расмунсен видел его только один раз— когда он, отчаянно коверкая язык, пытался объяснить другим заказчикам, какая вышла ошибка.

Немец сломал ногу, поскользнувшись на крутом горном склоне у Глубокого озера, и, распродав свой товар по доллару за дюжину, на вырученные деньги нанял индейцев-носильщиков нести себя обратно в Дайю. Но остальные два конкурента отправились следом за Расмунсеном в то же утро, когда он со своими попутчиками отчалил от берега.

— У вас сколько? — крикнул ему один из них, худенький и маленький янки из Новой Англии.

— Тысяча дюжин, — с гордостью ответил Расмунсен.

— Ого! А у меня восемь сотен. Давайте спорить, что я обгоню вас!

Корреспонденты предлагали Расмунсену денег взаймы, но он отказался, и тогда янки заключил пари с последним из конкурентов, могучим сыном волны, море и сушу выдавшим, который обещал показать им настоящую работу, когда понадобится. И показал, поставив большой брезентовый парус, отчего носовая часть лодки то и дело зарывалась в воду при каждом порыве ветра. Он первым вышел из озера Линдерман, но не пожелал идти волоком и посадил перегруженную лодку на камни среди kloчущих порогов. Расмунсен и янки, у которого тоже было двое пассажиров, перетаскивали груз на плечах, а потом перевели лодки порожняком через опасное место в озеро Беннет.

Беннет — это озеро в двадцать пять миль длиной, узкая и глубокая воронка в горах, игралище бурь. Расмунсен переночевал на песчаной косе в верховьях озера, где было много других людей и лодок, направлявшихся к Северу наперекор арктической зиме. Поутру он услышал свист южного ветра, который, набравшись холода среди снежных вершин и оледенелых ущелий, был здесь ничуть не теплее северного. Однако погода выдалась ясная, и янки уже огибал крутой мыс на всех парусах. Лодка за лодкой отплывали от берега, и корреспонденты с воодушевлением взялись за дело.

— Мы его догоним у Оленьего перевала, — уверяли они Расмунсена, когда паруса были поставлены и «Альму» в первый раз обдало ледяными брызгами.

Расмунсен всю свою жизнь побаивался воды, но тут он вцепился в рулевое весло, стиснул зубы и словно окаменел. Его тысяча дюжин была здесь же в лодке, он видел ее перед собой, прикрытую багажом корреспондентов, и в то же время, неизвестно каким образом, он видел перед собой и маленький коттедж и закладную на тысячу долларов.

Холод был жестокий. Время от времени Расмунсен вытаскивал рулевое весло и вставлял другое, а пассажиры сбивали с весла лед. Водяные брызги замерзали на лету, и косая нижняя ряя быстро обросла бахромой

сосулек. «Альма» билась среди высоких волн и трещала по всем швам, но вместо того чтобы вычерпывать воду, корреспондентам приходилось рубить лед и бросать его за борт. Отступать было уже нельзя. Началось отчаянное состязание с зимой, и лодки одна за другой бешено мчались вперед.

— М-мы, не сможем остановиться даже ради спасения души! — крикнул один из корреспондентов, стуча зубами, но не от страха, а от холода.

— Правильно! Держи ближе к середине, старик! — подтвердил другой.

Расмунсен ответил бессмысленной улыбкой. Скованные морозом берега были словно в мыльной пене, и, чтобы уйти от крупных валов, только и оставалось держаться ближе к середине озера — больше не на что было надеяться. Спустить парус — значило дать волне нагнать и захлестнуть лодку. Время от времени они обгоняли другие суденышки, бывшие среди камней, а одна лодка у них на глазах налетела на пороги. Маленькая шлюпка позади, в которой сидело двое, перевернулась кверху дном.

— Г-гляди в оба, старик! — крикнул тот, что стучал зубами.

Расмунсен ответил улыбкой и еще крепче ухватился за руль коченеющими руками. Двадцать раз волна догоняла квадратную корму «Альмы» и выносила ее из-под ветра, так что парус начинал полоскаться, и каждый раз, напрягая все свои силы, Расмунсен снова выравнивал лодку. Улыбка теперь словно примерзла к его лицу, и встревоженные корреспонденты смотрели на него со страхом.

Они пролетели мимо одинокой скалы, торчавшей в ста ярдах от берега. С вершины, заливаемой волнами, кто-то окликнул их диким голосом, на мгновение перебив шум бури. Но в следующий миг «Альма» уже пронеслась дальше, и скала осталась позади, чернея среди волнующейся пены.

— С янки покончено! А где же моряк? — крикнул один из пассажиров.

Расмунсен посмотрел через плечо и поискал глазами черный парус. С час назад этот парус вынырнул из серой мглы с наветренной стороны, и теперь Расмунсен то и дело оглядывался и видел, что парус все близится

и растет. Моряк, должно быть, успел заделать пробоины и теперь навестывал потерянное время.

— Смотрите, нагоняет!

Оба пассажира перестали скалывать лед и тоже следили за черным парусом. Двадцать миль озера Беннет остались позади—было где разгуляться буре, подбрасывая водяные горы к небесам. То низвергаясь в бездну, то взлетая ввысь, словно дух бури, моряк промчался мимо. Огромный парус, казалось, подхватывал лодку с гребней волн, отрывал ее от воды и с грохотом швырял в зияющие провалы между волнами.

— Волне его не догнать.

— Сейчас з-зароется н-носом в воду!

В ту же минуту черный брезент накрыло высоким гребнем волны. Вторая и третья волны прокатились над этим местом, но лодка больше не появлялась. «Альма» промчалась мимо. Всплыли обломки весел, доски от ящиков. Высунулась рука из воды, косматая голова мелькнула на поверхности, ядрах в двадцати от «Альмы».

На время все замолкли. Как только показался другой берег озера, волны стали захлестывать лодку с такой силой, что корреспонденты уже не скалывали лед, а энергично вычерпывали воду. Даже и это не помогало, и, посоветовавшись с Расмунсеном, они принялись за багаж. Мука, бекон, бобы, одеяла, керосинка, веревка—все, что только попадалось под руку, полетело за борт. Лодка сразу отозвалась на это—она черпала меньше воды и легче шла вперед.

— Ну и хватит!—сурово прикрикнул Расмунсен, как только они добрались до верхнего ящика с яйцами.

— Как бы не так! К черту!—огрызнулся тот, что стучал зубами. Они оба пожертвовали всем своим багажом, кроме записных книжек, фотоаппарата и пластинок. Корреспондент нагнулся, ухватился за ящик с яйцами и начал вытаскивать его из-под веревок.

— Брось! Брось, тебе говорят!

Расмунсен умудрился как-то выхватить револьвер и целился, локтем придерживая руль. Корреспондент вскочил на банку; он стоял, пошатываясь, и его лицо исказила злобная и угрожающая гримаса.

— Боже мой!

Это крикнул второй корреспондент, бросившись ничком на дно лодки. «Альму», о которой Расмунсен почти забыл в эту минуту, подхватил и завертел водоворот. Парус заполоскался, рея со страшной силой рванулась вперед и столкнула первого корреспондента за борт, переломив ему позвоночник. Мачта с парусом тоже рухнула за борт. Волна хлынула в лодку, потерявшую направление, и Расмунсен бросился вычерпывать воду.

В следующие полчаса мимо них пролетело несколько лодок, и маленьких и таких, как «Альма», но все они, гонимые страхом, могли только мчаться вперед. Наконец десятитонный барк, рискуя погибнуть сам, спустил паруса с наветренной стороны и, тяжело повернувшись, подошел к «Альме».

— Назад! Назад! — завопил Расмунсен.

Но низкий планшир его лодки уже терся со скрежетом о грузный барк, и оставшийся в живых корреспондент карабкался на высокий борт. Расмунсен, словно кошка, сидел над своей тысячей дюжин яиц на носу «Альмы», онемевшими пальцами стараясь связать два конца.

— Полезай! — закричал ему с барка человек с рыжими бакенами.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц, — крикнул он в ответ. — Возьмите меня на буксир! Я заплачу!

— Полезай! — кричали ему хором.

Высокая волна с белым гребнем встала над самым барком и, перехлестнув через него, наполовину затопила «Альму». Люди махнули рукой и, выругав Расмунсена как следует, подняли парус. Расмунсен тоже выругался в ответ и опять принялся вычерпывать воду. Мачта с парусом еще держалась на фалах и действовала, как якорь, помогая лодке сопротивляться волнам и ветру.

Тремя часами позже, весь закооченев, выбившись из сил и бормоча, как помешанный, но не бросая вычерпывать воду, Расмунсен пристал к скованному льдом берегу близ Оленьего перевала. Правительственный курьер и метис-проводник вдвоем вывели его из полосы прибоя, спасли весь его груз и вытащили «Альму» на берег. Эти люди ехали из Доусона в рыбацкой лодке, но задержались в пути из-за бури. Они приютили Расмунсена на ночь в своей палатке. Наутро путники двинулись дальше, но Расмунсен предпочел задержаться со своей

тысячей дюжин яиц. И после этого по всей стране пошла молва о человеке, который везет тысячу дюжин яиц. Золотоискатели, добравшиеся до места накануне ледостава, принесли с собой слух о том, что он в пути. Поседевшим старожилам с Сороковой Мили и из Серкла, ветеранам с железными челюстями и заскорузлыми от бобов желудками при одном звуке его имени смутно, как сквозь сон, вспоминались цыплята и свежая зелень. Дайя и Скагуэй живо интересовались им и расспрашивали о нем каждого путника, одолевшего перевалы, а Доусон — золотой Доусон, стосковавшийся по яичнице, — волновался и тревожился и жадно ловил каждый слух об этом человеке.

Ничего этого Расмунсен не знал. На другой день после крушения он починил «Альму» и двинулся дальше. Резкий восточный ветер с озера Тагиш дул ему в лицо, но он взялся за весла и мужественно греб, хотя лодку то и дело относило назад, да вдобавок ему приходилось скалывать лед с обмерзших весел. Как полагается, «Альму» выбросило на берег у Уинди-Арм; три раза подряд Расмунсена захлестывало волной на Таги-Ше и прибывало к берегу, а на озере Марш его захватил ледостав. «Альму» затерло льдом, но яйца остались целы. Он волок их две мили по льду до берега и там устроил потайной склад, который местные старожилы показывали желающим и через несколько лет после этого.

Пять сотен миль обледенелой земли отделяли его от Доусона, а водный путь был закрыт. Но Расмунсен словно окаменел и пустился обратно через озеро пешком. Что ему пришлось вытерпеть во время пути — имея при себе только одеяло, топор да горсточку бобов, — не дано знать простому смертному. Понять это может лишь путешественник по Арктике. Достаточно сказать, что на Чилкуте его застала пурга, и врач в Овечьем Лагере отнял ему два пальца на ноге. Сднако Расмунсен не сдался и после этого; до пролива Пюджет он мыл посуду на «Павоне», а оттуда до Сан-Франциско шуровал уголь на пассажирском пароходе.

Совсем одичавшим и опустившимся человеком ввалился он в банкирскую контору, волоча ногу по блестящему паркету, и попросил денег под вторую закладную. Его впалые щеки просвечивали сквозь редкую бороду, глаза ушли глубоко в орбиты и горели холодным огнем,

руки огрубели от холода и тяжелой работы, под ногти черной каймой набилась грязь и угольная пыль. Он бормотал что-то невнятное про яйца, торосистый лед, ветры и течения, но, когда ему отказались дать больше тысячи, речь его потеряла всякую связность, и можно было разобрать только, что дело идет о собаках и корме для собак, а также о мокалинах, лыжах и зимних тропах. Ему дали полторы тысячи, то есть гораздо больше, чем можно было дать под его коттедж, и все вздохнули с облегчением, когда он, с трудом подписав свою фамилию, вышел из комнаты.

Спустя две недели Расмунсен перевалил через Чилкут с тремя упряжками, по пяти собак в каждой. Одну упряжку вел он сам, остальные — два индейца-погонщика. У озера Марш они разобрали тайник и погрузили яйца на нарты. Но тропа еще не была проложена. Расмунсен ступил на лед, и на его долю пришелся труд утаптывать снег и пробиваться через ледяные заторы на реках. На привале он часто видел позади дым костров, поднимавшийся тонкой струйкой в чистом воздухе, и удивлялся, почему это люди не стараются обогнать его. Он был новичком в этих местах и не понимал, в чем дело. Не понимал он и своих индейцев, когда они пытались объяснить ему. Даже с их точки зрения это был тяжелый труд, но когда по утрам они упирались и отказывались двинуться со стоянки, он заставлял их браться за дело, грозя револьвером.

Провалившись сквозь лед у порогов Белой Лошади, Расмунсен опять отморозил себе ногу, очень чувствительную к холоду после первого обмороживания, и индейцы думали, что он сляжет. Но он пожертвовал одним из одеял и, сделав из него огромных размеров мокасин, похожий на ведро, по-прежнему шел за передними нартами. Это был тяжелый труд, и индейцы научились уважать Расмунсена, хотя и постукивали по лбу пальцем, многозначительно качая головой, когда он не мог этого видеть. Однажды ночью они попытались бежать, однако свист пуль, зарывавшихся в снег, образумил их, и они вернулись, угрюмые, но покорные. После этого они сговорились убить Расмунсена, но он спал чутко, словно кошка, и ни днем, ни ночью им не представлялось удобного случая. Не раз они пытались растолковать ему значение струйки дыма позади, но он

ничего не понял и только стал относиться к ним еще подозрительней. А если они хмурились или отлынивали от работы, он быстро унимал их, показывая револьвер, который всегда был у него под рукой.

Так оно и шло — люди были непокорны, собаки одичали, трудная дорога выматывала силы. Он боролся с людьми, которые хотели бросить его, боролся с собаками, отгоняя их от яиц, боролся со льдом, с холодом, с болью в ноге, которая все не заживала. Как только рана затягивалась, кожа на ней трескалась от мороза, и под конец на ноге образовалась язва, в которую можно было вложить кулак. По утрам, когда он впервые ступал на эту ногу, голова у него кружилась от боли, он чуть не терял сознание, но потом в течение дня боль обычно утихала и возобновлялась только к ночи, когда он забирался под одеяло и пробовал уснуть. И все же этот человек, бывший счетовод, полжизни просидевший за конторкой, работал так, что индейцы не могли угнаться за ним; даже собаки и те выдыхались раньше. Сам он не сознавал даже, сколько ему приходилось работать и терпеть. Он был человеком одной идеи, и эта идея, однажды возникнув, поработила его. На поверхности его сознания был Доусон, в глубине — тысяча дюжин яиц, а его «я» витало где-то на подороже между тем и другим, стараясь свести их в одной блистающей точке. Этой точкой были пять тысяч долларов — завершение его идеи и отправной пункт для новой, в чем бы она ни заключалась. Во всем остальном он был просто автомат. Он даже не сознавал, что в мире есть что-нибудь иное, видел окружающее смутно, как сквозь стекло, и относился к нему безразлично. Его руки работали с точностью заведенной машины, так же работала и голова. Выражение его лица стало настолько напряженным, что пугало даже индейцев, и они удивлялись непонятному белому человеку, который сделал их своими рабами и заставлял так неразумно тратить силы.

А потом, когда они подошли к озеру Ле-Барж, снова ударили морозы, и холод межпланетных пространств поразил верхушку нашей планеты с силой шестидесяти с лишним градусов ниже нуля. Шагая с раскрытым ртом, чтобы легче дышать, Расмунсен застудил легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, отрывистый кашель, усиливавшийся от дыма костров и от непосильной

работы. На Тридцатимильной реке он наткнулся на большие полыньи, прикрытые предательскими ледяными мостиками и обведенные каймой молодого льда, тонкой и ненадежной. На этот молодой лед нельзя было полагаться, и индейцы колебались, но Расмунсен грозил им револьвером и шел вперед, невзирая ни на что. Однако на ледяных мостиках, хотя и прикрытых снегом, можно еще было принимать меры предосторожности. Они переходили эти мостики на лыжах, держа в руках длинные шесты, на случай, если подломится лед, и, выбравшись на ту сторону, звали собак. И как раз на таком мостике, где провал посредине был незаметен под снегом, погиб один из индейцев. Он провалился в воду мгновенно и бесследно, как нож в сметану, и течение сразу увело его под лед.

В ту же ночь при бледном лунном свете убежал второй индеец. Расмунсен напрасно тревожил тишину выстрелами из револьвера, которым он орудовал с большей быстротой, чем сноровкой. Спустя тридцать шесть часов этот индеец добрался до полицейского поста на реке Большой Лосось.

— Чудная человек! Как сказать — голова набекрень, — объяснял переводчик изумленному капитану. — А? Ну да, рехнулась, совсем рехнулась. Говорит: яйца, яйца... Все про яйца! Понятно? Скоро сюда придет.

Прошло несколько дней, и Расмунсен явился на пост на трех нартах, связанных вместе и со всеми собаками, соединенными в одну упряжку. Это было очень неудобно, и в тех местах, где дорога была плохая, он переводил нарты поочередно, хотя ценою геркулесовых усилий ему иногда удавалось перевести их не расцепляя. Расмунсена, по-видимому, нисколько не взволновало, когда капитан сказал ему, что его индеец пошел в Доусон и теперь, вероятно, находится где-нибудь между Селкерком и рекой Стюарт. Вполне безучастно выслушал он и сообщение, что полиция накатала тропу до Пелли; он дошел до того, что с фаталистическим равнодушием принимал все, что посылали ему стихии, как, добро, так и зло. Зато когда ему сказали, что в Доусоне жестоко голодают, он усмехнулся, запряг своих собак и тронулся дальше.

Лишь на следующей остановке разъяснилась загадка дыма. Как только до Большого Лосося дошла весть, что тропа проложена до Пелли, дымная цепочка перестала

следовать за Расмунсеном, и, сидя у своего одинокого костра, он видел пеструю вереницу нарт, проносившихся мимо. Первыми проехали курьер и метис, которые вытаскивали его из озера Беннет, затем нарты с почтой для Серклá, а за ними потянулись в Клондайк разношерстные искатели счастья. Собаки и люди выглядели свежими, отдохнувшими, а Расмунсен и его псы измучились и исхудали так, что от них оставались лишь кожа да кости. Люди из дымной цепочки работали один день из трех, отдыхая и приберегая силы до того времени, когда можно будет пуститься в путь по наезженной тропе, а Расмунсен рвался вперед, с трудом протаптывая дорогу, изнуряя своих собак, выматывая из них последние силы.

Его самого сломить было невозможно. Эти сытые, отдохнувшие люди любезно благодарили его за то, что он для них так старался,— благодарили, широко ухмыляясь и нагло посмеиваясь над ним; он понял теперь, в чем дело, но ничего им не ответил и даже не озлобился. Это ничего не меняло. Идея—суть, которая лежала в ее основе,—оставалась все та же. Он здесь, и с ним тысяча дюжин, а там Доусон: значит, все остается по-прежнему.

У Малого Лосося ему не хватило корма для собак; он отдал им свою долю, а сам до Селкерка питался одними бобами, крупными темными бобами, очень питательными, но такими грубыми, что его перегибало пополам от болей в желудке. На дверях фактории в Селкерке висело объявление, что пароходы не ходят вверх по Юкону вот уже два года; поэтому и провизия сильно вздорожала. Агент Компании предложил ему меняться: чашку муки за каждое яйцо, но Расмунсен только покачал головой и поехал дальше. Где-то за факторией ему удалось купить для собак мороженую конскую шкуру: торговцы скотом с Чилката прирезали лошадей, а отбросы подобрали индейцы. Он, Расмунсен, тоже попробовал жевать шкуру, но щетина колола язвы во рту, и боль была невыносимая.

Здесь, в Селкерке, он повстречал первых предвестников голодного исхода из Доусона: беглецов становилось все больше, они являли собой печальное зрелище.

— Нечего есть!— вот что повторяли они хором.— Нечего есть, приходится уходить. Все молят бога, чтобы хоть к весне стало полегче. Мука стоит полтора доллара фунт, и никто ее не продает.

— Яйца? — переспросил один из них. — По доллару штука, только их совсем нет.

Расмунсен сделал в уме быстрый подсчет.

— Двенадцать тысяч долларов, — сказал он вслух.

— Что? — не понял встречный.

— Ничего, — ответил Расмунсен и погнал собак дальше.

Когда он добрался до реки Стюарт, в семидесяти милях от Доусона, пять собак у него погибли, остальные валились с ног. Сам Расмунсен тоже впрягся в постромки и тянул из последних сил. Но даже и так он едва делал десять миль в день. Его скулы и нос, много раз обмороженные, почернели, покрылись струпьями; на него было страшно смотреть. Большой палец, который мерз больше других, когда приходилось держаться за поворотный шест, тоже был отморожен и болел. Ногу, по-прежнему обутую в огромный мокасина, сводила какая-то странная боль. Последние бобы, давно уже разделенные на порции, кончились у Шестидесятой Мили, но Расмунсен упорно отказывался дотронуться до яиц. Он не мог допустить даже мысли об этом, она казалась ему святотатством; и так, шатаясь и падая, он проделал весь путь до Индейской реки. Тут щедрость одного старожилы и свежее мясо только что убитого лося прибавили сил ему и собакам, добравшись до Эйнсли, он воспрянул духом: беглец из Доусона, оставивший город пять часов назад, сказал ему, что он получит за каждое яйцо не меньше доллара с четвертью.

С сильно бьющимся сердцем Расмунсен подходил к крутому берегу, где стояло здание доусонских Казарм; колени у него подгибались. Собаки так обессилели, что пришлось дать им передышку, и, дожидаясь, пока они отдохнут, он от слабости прислонился к шесту. Мимо проходил какой-то человек очень внушительной наружности, в толстой медвежьей шубе. Он с любопытством взглянул на Расмунсена, остановился и оценивающим взглядом окинул собак и связанные постромками нарты.

— Что у вас? — спросил он.

— Яйца, — с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом, чуть громче шепота.

— Яйца! Ура! Ура! — Человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс. — Не может быть! Это все яйца?

— Да, все.

— Послушайте, вы, верно, Человек с Тысячей Дюжин? — Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны. — Нет, в самом деле! Это вы и есть?

Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно, и человек в шубе несколько успокоился.

— Сколько же вы за них хотите? — осторожно спросил он.

Расмунсен осмелел.

— Полтора доллара, — сказал он.

— Заметано! — поспешно ответил человек. — Давай-те мне дюжину!

— Я... я хочу сказать, полтора доллара за штуку, — нерешительно объяснил Расмунсен.

— Ну да, я слышал. Давайте две дюжины. Вот песок.

Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотание в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начинала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро началась толкотня и давка, поднялся шум. Каждый хотел купить, и каждый требовал, чтобы ему отпустили первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойней становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца нарасхват, за этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже два доллара. Во всяком случае, полтора доллара он всегда получит.

— Конец! — объявил он, распродав сотни две яиц. — Больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хищину; вот тогда приходите, поговорим.

Толпа охнула, но человек в медвежьей шубе поддерживал Расмунсена. Двадцать четыре штуки мороженных яиц со стуком перекатывались в его объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах.

— Есть хижина недалеко от «Монте-Карло», второй поворот, сейчас же за углом,— сказал он,— окно там из содовых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее сдать. Цена десять долларов в день, и это еще дешево. Сейчас же и въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте: вместо окна—бутылки.

— Тра-ла-ла!— пропел он минутой позже.— Пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме.

По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден, и зашел в лавку Компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную—купить бифштекс и вяленой рыбы для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе.

— Полтора доллара за штуку... Тысяча дюжин... Восемнадцать тысяч долларов!—твердил он вполголоса, хлопоча возле печки.

Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел очень решительно, видимо, с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение.

— Вот что, послушайте...— начал он и замаялся.

Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой.

— Послушайте, черт возьми! А ведь яйца-то, знаете ли, тухлые!

Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу дубиной. Стены перекошились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство.

— Понимаю,—с трудом выговорил он, роясь в кармане.—Вы хотите получить деньги обратно?

— Не в деньгах дело,—ответил человек в медвежьей шубе,—а нет ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головой.

— Возьмите деньги обратно.

Но тот отказался, пятясь к дверям.

— Я лучше приду потом, когда вы разберете товар, и обменяю на другие.

Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно. Взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим.

Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящичков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла. Кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик.

Кто-то постучался в дверь, еще раз постучался и вошел.

— Что такое тут творится? — спросил гость, останавливаясь у порога и оглядывая комнату.

Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее.

— Должно быть, на пароходе испортились, — заметил вошедший.

Расмунсен уставился на него пустыми глазами.

— Я Мэррей, Большой Джим Мэррей, меня тут все знают, — отрекомендовался гость. — Мне сказали, что у вас испортился товар, предлагаю вам двести долларов за всю партию. Это, конечно, не то, что рыба, но для собак годится.

Расмунсен словно окаменел. Он не пошевелился.

— Подите к черту! — сказал он без всякого выражения.

— Да вы подумайте. Цена хороша за такую тухлятину, все-таки лучше, чем ничего. Две сотни. Ну, так как же?

— Подите к черту, — негромко повторил Расмунсен, — убирайтесь вон!

Мэррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь задом и не сводя с Расмунсена глаз.

Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку постромки от нарт. Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен стал на койку, перебрросил постромки через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко, — он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил. Потом отшвырнул табурет ногой.



Осколок третичной эпохи

с самого начала умываю руки. Не я, а он все это сочинил, и я не собираюсь отвечать за его рассказ. Заметьте, я делаю эти предварительные оговорки, чтобы никто не усомнился в моей честности. Я женат, достиг кое-какого положения, и, чтобы не опорочить доброе имя людей, чье уважение я имел честь заслужить, и не повредить нашим детям, я не вправе рисковать, как когда-то, с юношеским легкомыслием и беспечностью утверждая то, в чем не уверен. Итак, повторяю, я умываю руки, снимаю с себя всякую ответственность за этого Нимрода, могучего охотника, этого нескладного, веснушчатого, голубоглазого Томаса Стивенса.

Теперь, когда я все выложил и чист перед самим собою и перед всеми нашими потомками, сколько бы мне их жена ни подарила, я могу себе позволить быть великодушным. Не скажу дурного слова о том, что рассказал мне Томас Стивенс, более того, я вообще оставляю свое мнение при себе. Если меня спросят, почему, я могу лишь ответить, что у меня нет на этот счет никакого мнения. Я много раз думал, взвешивал, оценивал, но, право слово, так ни к чему и не пришел, а все потому, что далеко мне до Томаса Стивенса. Если он говорил правду — хорошо, если неправду — тоже хорошо. Ибо кто может подтвердить его слова? Или опровергнуть? Я выхожу из игры, ну, а маловеры могут поступить, как поступил в свое время я: разыщите упомянутого Томаса Стивенса и потолкуйте с ним обо всем, что я надеюсь вам рассказать. Вы спросите, где его найти? Пожалуйста, где-нибудь между пятьдесят третьим градусом северной широты и полюсом и между восточными берегами Сибири и западной оконечностью Лабрадора — в любом месте, где водится дичь. Он, без сомнения, где-то там, место вполне определенное, даю вам честное благородное слово человека, который заботится о своем будущем, а потому не лукавит и держится подальше от греха.

Может, Томас Стивенс и великий выдумщик, но не могу не сказать, что он забрел в мой лагерь в тот самый час, когда я сидел один и думал, что от тех мест, где можно встретить цивилизованного человека, меня отде-

ляет тысяча миль. При виде человека, первого за долгие, томительные месяцы, я едва не вскочил и не обнял его (а я вовсе не склонен к бурным проявлениям чувств), для него же в этом посещении не было, кажется, ничего удивительного. Он просто забрел на огонек, поздоровался по обычаю охотников и бродяг и, отодвинув в одну сторону мои лыжи, в другую — собак, расчистил себе место у очага. «Заглянул одолжить щепотку соды, — сказал он, — а заодно поинтересоваться, нет ли у вас хоть немного доброго табаку». Он вынул старую трубку, тщательно набил ее и, глазом не моргнув, отсыпал половину золотистых сухих завитков из моего кисета в свой. Да, табачок был хорош! Не испытывая ни малейших угрызений совести, он блаженно затянулся, а я глядел на него, и мое сердце курильщика радовалось.

Охотник? Зверолов? Старатель? Он пожал плечами. Нет, просто бродит здесь вокруг. Недавно побывал у Большого Невольничьего, подумывает прогуляться на Юкон. В Кошимской фактории говорили о россыпях на Клондайке, и он решил поглядеть, чем дело пахнет.

Я заметил, что он называет Клондайк по старинке, на местный лад Рекой Северного оленя — привычка гордых старожилов, не желающих, чтоб их смешивали с чечачо и прочими неженками. Но у него это получилось так непосредственно и просто, что не уязвляло, и я простил его. Он сказал, что, пока не перевалил кряж и не спустился к Юкону, ему, пожалуй, не худо бы еще заглянуть в форт Доброй Надежды.

Надо сказать, что форт Доброй Надежды далеко на севере, за Полярным кругом, куда редко ступает нога человека, и когда среди ночи к вам невесть откуда является этакий бродяга, подсаживается к огню и сыплет такими словечками, как «прогуляться» на Юкон и «заглянуть» в форт Доброй Надежды, самое время встать и протереть глаза. И я огляделся: увидел брезент, защиту от ветра, под ним сосновые сучья, на которых я на ночь расстилал меховые одеяла, увидел мешки с провизией, фотографическую камеру, пар от дыхания псов, что улеглись вокруг костра, а в вышине — гигантское полотнище северного сияния, раскинувшееся в небе с юго-востока на северо-запад. Я вздрогнул. Есть в ночах Севера какое-то колдовство, которое пробирает до костей, словно лихорадка на болотах. Не успеешь

оглянуться, как ты уже в его власти и повержен наземь. Потом я взглянул на свои лыжи, они лежали плашмя, крест-накрест там, где он их бросил. Увидел я и кисет. По крайней мере половины моего солидного запаса курева как не бывало. Все сомнения рассеялись. Стало быть, мне не померещилось.

Верно, нечеловеческие лишения свели его с ума, подумал я, в упор глядя на гостя, как видно, это одна из жертв золотой лихорадки — из тех, что давно забыли родной дом и бродят, как неприкаянные, по бескрайним и бесплодным просторам. Ну что ж, пусть его болтает, пока, быть может, его омраченное сознание не прояснится. Как знать, вдруг при звуке человеческой речи он придет в себя.

И вот я старался втянуть его в разговор, и вскоре он к моему изумлению со знанием дела заговорил о дичи, о зверье и их повадках. Оказывается, он подстрелил однажды сибирского волка на крайнем западе Аляски и серну в самом сердце Скалистых гор. Он знает местечки, где по сей день бродит последний бизон, он преследовал по пятам стотысячное стадо чем-то испуганных карибу и спал на зимней тропе мускусного быка на Бесплодных землях.

И, слушая эти рассказы, я переменял мнение о нем (в первый раз, но отнюдь не в последний) и решил, что передо мной сама правдивость. Не знаю, почему, но мне вздумалось рассказать ему историю, услышанную от человека, прожившего в этих краях так долго, что он уже не мог не привирать. Он уверял, что на крутых откосах горы св. Илии водится огромный медведь, который никогда не спускается ниже, на более отлогие склоны. И вот бог так создал, приспособил этого зверя, что обе его правые лапы — передняя и задняя — на фут короче левых. И вы, конечно, согласитесь, что это очень удобно.

От первого лица, в настоящем времени я пустился рассказывать, как самолично охотился на этого редкого зверя, для пущего правдоподобия сдобрил местным колоритом, приукрасил все, как полагается, и поглядывал на своего слушателя в надежде, что мой рассказ ошеломит его.

Ничуть не бывало. Усомнись он, я бы его простил. Заспору он, скажи, что такая охота не опасна, — ведь

зверь не может повернуться и побежать в другую сторону,—возрази он хоть слово, и я крепко пожал бы его руку, руку честного человека. Но ничуть не бывало. Он фыркнул, поглядел на меня и снова фыркнул; потом воздал должное моему табаку, положил ногу мне на колени и предложил пощупать мокасины. То были муклуки, какие носят аляскинские эскимосы,—сшитые сухожилиями, не украшенные ни бисером, ни какой-либо другой отделкой. Но шкура, из которой они были сшиты,—вот что меня поразило. Толщиной добрых полдюйма, она напоминала моржовую, но на этом сходство кончалось, ибо ни один морж не может похвастать такой удивительной шерстью. Сбоку, на лодыжках, она почти вся вытерлась оттого, что он изо дня в день продирался сквозь снег и кустарник, но сзади и сверху, в местах, более защищенных, была черная, без блеска и необыкновенно густая. Я с трудом разобрал мех, чтобы поглядеть на великолепный подшерсток, которым отличаются звери Севера, но его не оказалось. Зато шерсть была необычайной длины. В самом деле, на уцелевших, не вытершихся островках она достигала добрых семи, а то и восьми дюймов.

Я поглядел на своего гостя, и он убрал ногу и спросил:

— Ну как, у вашего медведя тоже такая шкура? Я покачал головой.

— Не видал такой ни у одного зверя ни на море, ни на суше,—чистосердечно признался я.

Толщина шкуры и длина шерсти озадачили меня.

— Это шкура мамонта,—сказал он самым будничным голосом.

— Чепуха!—воскликнул я не в силах сдержать свое неверие.—Дорогой мой, мамонт давным-давно исчез с лица земли. По окаменелым остаткам, обнаруженным в земле, и по замерзшему скелету, который сибирское солнце сочло нужным вытопить из самой толщи ледника, мы знаем, что некогда это животное существовало, но мы знаем также, что до наших дней оно не дожило. Наши исследователи...

— Ваши исследователи?—нетерпеливо прервал он.—Тьфу! Хилое племя. И слышать о них не хочу. Но скажи мне, человек, что знаешь ты о мамонте и его повадках!

Тут явно что-то кроется, и я закинул удочку — порывшись в памяти, стал выкладывать все, что знал о мамонтах. Прежде всего я подчеркнул, что это животное доисторическое, и выставил в поддержку все имеющиеся в моем распоряжении факты. Я сослался на песчаные отмели сибирских рек, где в изобилии находят остатки скелетов мамонта, упомянул огромные количества мамонтовой кости, закупленной у эскимосов Торговой компанией Аляски, поведал, что мне и самому довелось выкопать два бивня, один шести футов, другой — восьми, в золотоносном песке на притоках Клондайка.

— И все эти ископаемые остатки, — заключил я, — мы находим в наносных породах, отлагавшихся в давние времена.

— Помню, еще парнишкой я видел окаменелый арбуз, — тут Томас Стивенс фыркнул (ужасно противно он фыркал). — Значит, хоть некоторые фантазеры и воображают, будто они выращивают и едят арбузы, а на самом деле никаких арбузов давным-давно не существует.

— А чем бы они питались? — продолжал я, не обращая внимания на этот ребяческий довод, не имеющий отношения к делу. — Чтобы прокормить таких исполинов, земля должна родить щедро и безотказно. Нигде на Севере не найдешь такого изобилия. Следовательно, мамонт не может существовать в наши дни.

— Я прощаю вам полную неосведомленность о полярных землях, вы ведь еще молоды и мало путешествовали, но в одном я готов с вами согласиться. Мамонтов больше нет. Откуда я знаю? Вот этой рукой я убил последнего мамонта.

Так вещал Нимрод, могучий охотник. Я швырнул в собак головешкой, приказал им прекратить адский вой и ждал. Уж, конечно, этот редкостный враль не утерпит и отплатит мне за медведя с горы св. Илии.

— Дело было так, — начал он наконец, выдержав подобающую случаю паузу, — однажды разбил я лагерь...

— Где именно? — прервал я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток, где простирались неведомые безбрежные просторы, — мало кто отваживался вступать на ту землю и почти никто не вернулся оттуда.



— Разбил я лагерь, и Ключ вертелась тут же. Красивая была собака, лучше и не найти в наших краях. Отец ее был чистокровный мейлмют из Пастилика на Беринговом море, а мать я ей тоже выбрал с толком — лучшую суку из тех, что разводят у Гудзонова залива. Отличная была помесь, можете мне поверить. Так вот, в тот самый день, помню, Ключ принесла мне щенят от дикого волка; из них выросли бы отличные псы — серые, длинноногие, широкогрудые и на редкость выносливые. Слыхали вы что-нибудь подобное? Я вывел новую породу и каких только не строил планов!

Стало быть, она благополучно разрешилась, все честь по чести. Я сидел на корточках и разглядывал щенят — семь крепких слепых зверенышей, как вдруг позади раздался рев, точно в медные трубы затрубили. Что-то налетело, будто шквал, и не успел я подняться, как меня сбило с ног и я уткнулся в землю носом. И тут я услышал, как охнула Ключ — прямо как человек, когда его стукнешь кулаком в живот. Можете биться об заклад, что я лежал тихо, только чуть повернул голову и увидел, что надо мной нависла какая-то огромная туша. Потом мне снова открылось голубое небо, и я поднялся на ноги. И успел увидеть, как волосатая живая гора скрылась в зарослях на краю прогалины. Мелькнул толстый, толциной с меня, торчащий хвост. Через мгновение у меня перед глазами был только широченный пролом в чаще, но еще слышен был гул, будто удалялся ураган: трещали вырываемые с корнем кусты, с грохотом ломались и падали деревья.

Я кинулся за ружьем. Оно было положено на землю, под дулом был чурбан — чтоб не загрязнилось. Теперь от ложа остались одни щепки, ствол был искривлен, затвор сплюснен. Потом я поискал глазами Ключ и... и что, по-вашему, увидел?

Я покачал головой.

— Гореть мне у сатаны на сковородке, если от нее хоть что-нибудь осталось! И Ключ и семь крепких слепых зверенышей исчезли все до единого. На том месте в мягком грунте оказалась скользкая, кровавая вмятина — добрый ярд в поперечнике, а по краям жалкие клочки шерсти.

Я отмерил на снегу три фута, описал круг и поглядел на Нимрода.

— Чудище было длиной в тридцать футов, а ростом в двадцать,— пояснил он,— а в каждом бивне шесть раз по три фута. Я и сам глазам своим не поверил. Может, мне все почудилось, но как же сломанное ружье и пролом в чаще? А Ключ со щенками, куда они девались? Господи, да меня и сейчас в жар бросает, как вспомню Ключ! Ведь это была новая Ева! Прародительница нового племени. И вот дикий, взбесившийся мамонт, точно второй потоп, снес их с лица земли! Право слово, земля, пропитанная кровью, взывала к небесам. Понятно, я схватил топор и кинулся в погоню.

— Топор?— в полнейшем восторге воскликнул я, представив себе эту картину.— С топором на огромного мамонта тридцати футов в длину и двадцати...

Нимрод тоже развеселился и даже прыснул от удовольствия.

— Помереть можно со смеху, а?— воскликнул он.— Хороша история? Я сам потом сколько раз смеялся, но тогда мне было не до смеху. Я совсем рассвирепел из-за ружья и из-за Ключ. Нет, вы только подумайте! Сгинула новенькая с иголочки порода, ее еще и в списки не занесли и патента мне не дали. Щенята и прозреть не успели, и бумаги на них не выправили, а их уже уничтожили! Что ж, ладно. Жизнь полна разочарований, и это правильно. Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги.

Так вот, схватил я топор, и припустился за зверем, и гнался за ним по пятам. Но когда он повернул назад и помчался вверх по долине, я остановился, чтобы перевести дух. И насчет еды я вам заодно кое-что объясню. Там, в горах, причудливо все устроено. Счету нет маленьким тесным ущельям, и все одинаковые, как близнецы, а стены крутые, отвесные. В устье долины всегда узкий проход, пробитый ледниками или тальми водами. Только через него и можно проникнуть в долину, но эти проходы все узкие, один уже другого. Так вот о еде — вы ведь путешественник и, наверное, тонули в грязи под проливными дождями на островах у берегов Аляски, туда, поближе к Ситке. И знаете, какие там леса и травы, густые, сочные — джунгли да и только. Ну, и в этих долинах то же самое. Земля жирная, плодородная, папоротник и всякие там травы кое-где выше головы. Летом три дня из четырех льет дождь, и жратвы хватит

на тысячу мамонтов, а уж о мелкой дичи для человека и говорить нечего.

Да, так ближе к делу. У выхода из долины я совсем задохнулся и бросил погоню. И стал я раскидывать умом, и едва я перевел дух, гнев мой разгорелся вовсю, и я уже знал, что не успокоюсь, пока не отведаю жареной ноги мамонта. И еще знал, что теперь не миновать Skookum matook рука рук — прошу прощения, что говорю починукски, я хотел сказать: не миновать большой драки. Так вот, устье моей долины было очень узкое, а стены совсем крутые, и с одной стороны нависла огромная глыба весом в сотни две тонн, и не просто нависла, а качалась — такие еще называют маятниками. Как раз то, что нужно. Я сбегал в лагерь, все время оглядываясь, не вылез ли мамонт из долины, и прихватил патроны. Но что в них толку, ружье-то разбито. Так что я открыл гильзы, высыпал порох под этот самый камень и подложил бикфордов шнур. Заряд был невелик, но валун лениво качнулся и ухнул вниз, загородив проход, только и осталась щель, чтобы течь ручью. Теперь зверь был мой.

— Как это ваш? — засомневался я. — Где это видано, чтобы человек убил мамонта топором? Да и вообще чем бы то ни было?

— Разве я не сказал вам, что прямо взбесился от злости? — ответил задетый за живое Нимрод. — Да, я был зол из-за Клуч и ружья. И разве я не охотник? И разве мне не интересно поохотиться на такую невиданную дичь? А вы говорите, топор! Тьфу! Да он мне вовсе и не понадобился. Это была такая охота, какая случалась, наверное, только, когда мир был молод и пещерный человек охотился с каменным топором. Ну, и от моего топора было не больше толку, чем от каменного. Но разве не правда, что человек способен пройти больше собаки и лошади, верно? Что он выносливей, потому что куда умней?

Я кивнул.

— И что же?

Но я, кажется, уже понял и ждал продолжения.

— Если обойти всю мою долину кругом, получалось миль пять. Устье завалено. Выбраться ему некуда. Этот мамонт оказался зверем не из храбрых и теперь был в моей власти. Я снова припустился за ним в погоню,

вопил, как дьявол, забрасывал его камнями, трижды заставил обежать долину, а потом отправился ужинать. Понимаете, в чем штука? Гонки! Человек и мамонт! Ипподром, а вместо судей солнце, луна и звезды.

Я убил на это два месяца, но своего добился. И это вам уже не анекдот. Я гнал его круг за кругом, сам бежал по внутренней дорожке, наспех закусывал вяленным мясом и икрой лосося, а между забегами ухитрялся вздремнуть минутку-другую. Бывало, конечно, что он с отчаяния нет-нет да и взбунтуется и повернет на меня. Тогда я мчался к ручью, где земля была мягкая, и клял на чем свет стоит окаянного зверя и всех его предков и подзадоривал подойти поближе, но он был слишком умен, знал, что может завязнуть в грязи. Однажды он загнал меня к отвесной скале, и я заполз в глубокую расщелину и затаился. Всякий раз, как он тянулся ко мне хоботом, я колотил его топором, пока он от ярости не поднимал такой рев, что у меня прямо лопались барабанные перепонки. Он знал, что я попался, а достать меня не мог, это его бесило. Но он был не дурак. Понимал, что, пока я в щели, ему ничего не грозит, и решил не выпускать меня оттуда. И он был совершенно прав, только вот о припасах не подумал. Поблизости не оказалось ни пищи, ни воды, ясное дело, он не мог долго держать осаду. Часами сторожил он у расщелины и хлопал огромными, как одеяло, ушами, отгоняя mosquitos. Потом его одолевала жажда, и он начинал трубить так, что земля дрожала, и поносил меня, как только мог. Это он хотел нагнать на меня страху, решив, что я достаточно напугался, он тихонько пятился и пытался улизнуть к ручью. Иногда я давал ему отойти почти к самой воде — она была всего в сотне-другой ярдов — и тогда выскакивал, и он тотчас с грохотом мчался назад, обвал да и только. Но скоро он разгадал мою хитрость и переменил тактику. Понял роль времени, так сказать. Ни словечком не предупредив, он, как сумасшедший, мчался к ручью, рассчитывая обернуться прежде, чем я сумею удрать. В конце концов он страшно изругал меня, снял осаду и неторопливо зашагал к воде.

Это был единственный раз, когда он взял надо мной верх, но после этих трех дней гонка не прекращалась ни на час. Шесть дней кряду шли эти гонки без всяких правил — делай все, что тебе по вкусу, — но ему-то все

это было совсем не по вкусу. Одежда моя разорвалась в клочки, чинить ее было некогда, так что под конец я бегал нагишом, как дитя природы, с топором в одной руке и с булыжником в другой. Я не останавливался ни ночью, ни днем, лишь изредка на минутку вздремнешь в какой-нибудь расщелине. Что до мамонта, он худел прямо на глазах—потерял самое малое несколько тонн—и стал нервный, как засидевшаяся в девках учительница. Стоило мне подойти к нему и крикнуть или кинуть в него издали камнем, и он сразу подскочит и весь задрожит, точно пугливый жеребенок. А потом опять как припустится, хвост и хобот выставит, косится на меня через плечо, глаза так и горят, а уж ругает меня, уж клянет—на все корки. Бесстыжий был зверь, разбойная душа и богохульник.

Но под конец он утомился и только все хныкал и скулил, как дитя малое. Он совсем пал духом и стал жалкий, несчастный. Этакая гора, а трясется, как студень. Начались у него сердцебиения, его качало, как пьяного, и он валился наземь, сбив ноги в кровь. А то, бывало, бежит и плачет. Боги, и те смиловались бы над ним, вы бы тоже не удержались от слез, никто не удержался бы. На него было жалко смотреть—такой огромный и такой несчастный, но я только больше ожесточился в сердце своим и прибавил шагу. Наконец я совсем загонял его, и он свалился—в отчаянии, задыхаясь, мучимый голодом и жаждой. Видя, что он не в силах пошевелиться, я перерезал ему сухожилия и потом чуть не весь день врубался в него топором, а он сопел и всхлипывал, пока я не врубился так глубоко, что он затих. Да, он был тридцати футов в длину, двадцати ростом, а между бивнями можно было гамак подвесить и спать в свое удовольствие. Правда, я выжал из него все соки, а все же он был недурен на вкус, и одних ног, зажаренных целиком, хватило бы на год. Я провел там всю зиму.

— А где эта долина? — поинтересовался я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток и сказал:

— Хорош у вас табачок. Изрядную долю его я унесу в кисете, а воспоминание о нем сохраняю до самой смерти. В знак того, как высоко я ценю вашу любезность, разрешите взамен ваших мокасин поднести вам эти мукуки. Это память о Клуч и семи слепых щенятах.

А кроме того, они напоминают о событии, какого не знала история: об уничтожении последнего представителя самого древнего и самого раннего на земле звериного племени. А муклукам сносу не будет.

Вручив мне муклуки, он выбил трубку, пожал мне на прощание руку и исчез в снежной пустыне. Вы, конечно, не забыли, что я с самого начала снял с себя всякую ответственность за эту историю, а всем маловерам я советую посетить Смитсоновский институт. Если они представят соответствующие рекомендации и приедут в урочное время, их, без сомнения, примет профессор Долвидсон. Муклуки теперь хранятся у него, и он подтвердит если не то, каким образом они были добыты, то уж, во всяком случае, какой на них пошел материал. Он авторитетно утверждает, что они сшиты из шкуры мамонта, и с ним соглашается весь ученый мир. Чего же вам еще надо?



Любовь к жизни

рихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, — сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная как лед, — такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова,— он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл!— крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видимое сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля и начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и

впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни, — и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу; морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл, — и сам он казался еще более смелым и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлопаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озера к озеру по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камень — это он хорошо помнил, — но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От

водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг, — а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней, — на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но как ни трудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше, — оставалось только лечь на землю и умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще больше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту, — оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой—за подкладку изношенной шапки, а третий—за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно; он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но не надолго. Солнце взошло на северо-востоке—вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и нескоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов—ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны,

серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное, — и это его тревожило. Наконец, он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и пошел дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и небо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр... Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли, — голод заглушал ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намочла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали вокруг него, и наконец это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — и в руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать, — так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав

жестяное ведро, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко от лужи, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если бы он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем, и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одежда была сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званные обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел, и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень

мало, потому что травка сталаась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить стороны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немислимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведром. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а трестьго оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшие клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце,— не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебегали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал, и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и влоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздражили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его—это он видел. Должно быть,

следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведро и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон,— ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание,— муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед

собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая: тук, тук, тук, — потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебежали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах, и должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может быть, к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он не долго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотать с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам, и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепнели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он, не переставая, сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его

преследовала непогода — два дня или две недели, — он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день», — подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно», — подумал он, — это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали вверх, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это по крайней мере не кажется», — подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая,

медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. ШАПКА тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю — очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилиу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового, красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полусохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.

И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк

тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял, понутив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи—такой же, какой был у него,—разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости—все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабе лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, — оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым

парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и сиюсь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевелился ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере он хотел их вскинуть, — пальцы согнулись как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытием и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел длинные сны; но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не

хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезающий в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно

нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.



Бурый Волк

Женщина вернулась надеть калоши, потому что трава была мокрая от росы, а когда она снова вышла на крыльцо, то увидела, что муж, поджидая ее, залюбовался прелестным распускающимся бутонем миндаля и забыл обо всем на свете. Она поглядела по сторонам, поискала глазами в высокой траве между фруктовыми деревьями.

— Где Волк? — спросила она.

— Только что был здесь.

Уолт Ирвин оторвался от своих наблюдений над чудом расцветающего мира и тоже огляделся кругом.

— Мне помнится, я видел, как он погнался за кроликом.

— Волк! Волк! Сюда! — позвала Медж.

И они пошли по усеянной восковыми колокольчиками тропинке, ведущей вниз через заросли мансаниты, на проселочную дорогу.

Ирвин сунул себе в рот оба мизинца, и его пронзительный свист присоединился к зову Медж.

Она поспешно заткнула уши и нетерпеливо поморщилась:

— Фу! Такой утонченный поэт — и вдруг издаешь такие отвратительные звуки! У меня просто барабанные перепонки лопаются. Знаешь, ты, кажется, способен пересвистать уличного мальчишку.

— А-а! Вот и Волк.

Среди густой зелени холма послышался треск сухих веток, и внезапно на высоте сорока футов над ними, на краю отвесной скалы, появилась голова и туловище Волка. Из-под его крепких, упершихся в землю передних лап вырвался камень, и он, насторожив уши, внимательно следил за этим летящим вниз камнем, пока тот не упал к их ногам. Тогда он перевел свой взгляд на хозяев и, оскалив зубы, широко улыбнулся во всю пасть.

— Волк! Волк! Милый Волк!— сразу в один голос закричали ему снизу мужчина и женщина.

Услышав их голоса, пес прижал уши и вытянул морду вперед, словно давая погладить себя невидимой руке.

Потом Волк снова скрылся в чаще, а они, проводив его взглядом, пошли дальше. Спустя несколько минут за поворотом, где спуск был более отлогий, он сбежал к ним, сопровождаемый целой лавиной щебня и пыли. Волк был весьма сдержан в проявлении своих чувств. Он позволил мужчине потрепать себя разок за ушами, претерпел от женщины несколько более длительное ласковое поглаживание и умчался далеко вперед, словно скользя по земле, плавно, без всяких усилий, как настоящий волк.

По сложению это был большой лесной волк, но окраска шерсти и пятна на ней изобличали не волчью породу. Здесь уже явно сказывалась собачья стать. Ни у одного волка никто еще не видел такой расцветки. Это был пес, коричневый с ног до головы— темно-коричневый, красно-коричневый, коричневый всех оттенков. Темно-бурая шерсть на спине и на шее, постепенно светлея, становилась почти желтой на брюхе, чуточку как будто грязноватой из-за упорно пробивающихся всюду коричневых волосков. Белые пятна на груди, на лапах и над глазами тоже казались грязноватыми,— там тоже присутствовал этот неизгладимо-коричневый оттенок. А глаза горели, словно два золотисто-коричневых топаза.

Мужчина и женщина были очень привязаны к своему псу. Может быть, потому, что им стоило большого труда завоевать его расположение. Это оказалось нелегким делом с самого начала, когда он впервые неизвестно откуда появился около их маленького горного коттеджа. Изголодавшийся, с разбитыми в кровь лапами, он

задушил кролика у них на глазах, под самыми их окнами, а потом едва дотащился до ручья и улегся под кустами черной смородины. Когда Уолт Ирвин спустился к ручью посмотреть на незваного гостя, он был встречен злобным рычанием. Таким же рычанием была встречена и Медж, когда она, пытаясь завязать миролюбивые отношения, притащила псу огромную миску молока с хлебом.

Гость оказался весьма несговорчивого нрава. Он пресекал все их дружественные попытки — стоило только протянуть к нему руку, как обнажались грозные клыки и коричневая шерсть вставала дыбом. Однако он не уходил от их ручья, спал тут и ел все, что ему приносили, но только после того, как люди, поставив еду на безопасном расстоянии, сами удалялись. Ясно было, что он остается здесь только потому, что не в состоянии двигаться. А через несколько дней, немного оправившись, он внезапно исчез.

На том, вероятно, и кончилось бы их знакомство, если бы Ирвину не пришлось в это самое время поехать в северную часть штата. Взглянув случайно в окно, когда поезд проходил недалеко от границы между Калифорнией и Орегонем, Ирвин увидел своего недружелюбного гостя. Похожий на бурого волка, усталый и в то же время неутомимый, он мчался вдоль полотна, покрытый пылью и грязью после двухсотмильного пробега.

Ирвин не любил долго раздумывать. На следующей станции он вышел из поезда, купил в лавке мяса и поймал беглеца на окраине города.

Обратно Волка доставили в багажном вагоне, и таким образом он снова попал в горный коттедж. На этот раз его на целую неделю посадили на цепь, и муж с женой любовно ухаживали за ним. Однако им приходилось выражать свою любовь с величайшей осторожностью. Замкнутый и враждебный, словно пришелец с другой планеты, пес отвечал злобным рычанием на все их ласковые уговоры. Но он никогда не лаял. За все время никто ни разу не слышал, чтобы он залаял.

Приручить его оказалось нелегкой задачей. Однако Ирвин любил трудные задачи. Он заказал металлическую пластинку с выгравированной надписью: «Вернуть Уолту Ирвину, Глен-Эллен, округ Сонома, Калифор-

ния». На Волка надели ошейник, к которому наглухо прикрепили эту пластинку. После этого его отвязали, и он мгновенно исчез. Через день пришла телеграмма из Мендосино: за двадцать часов пес успел пробежать сто миль к северу, после чего был пойман.

Обратно Волка доставила транспортная контора. Его привязали на три дня, на четвертый отпустили, и он снова исчез. На этот раз Волк успел добраться до южных районов Орегона. Там его снова поймали и снова вернули домой. Всякий раз, как его отпускали, он убегал — и всегда убегал на север. Словно какая-то неодолимая сила гнала его на север. «Тяга к дому», как выразился однажды Ирвин, когда ему вернули Волка из Северного Орегона.

В следующий раз бурый беглец успел пересечь половину Калифорнии, весь штат Орегон и половину Вашингтона, прежде чем его перехватили и доставили обратно по принадлежности. Скорость, с которой он совершал свои пробеги, была просто поразительна. Подкормившись и передохнув, Волк, едва только его отпускали на свободу, обращал всю свою энергию в стремительный бег. Удалось точно установить, что за первый день он пробежал около ста пятидесяти миль, а затем в среднем около ста миль в день, пока кто-нибудь не ухитрился его поймать. Возвращался он всегда тощий, голодный, одичавший, а убегал крепкий, отдохнувший, набравшись новых сил. И неизменно держал путь на север, влекомый каким-то внутренним побуждением, которого никто не мог понять.

В этих безуспешных побегах прошел целый год, но, наконец, пес примирился с судьбой и остался близ коттеджа, где когда-то в первый день задушил кролика и спал у ручья. Однако прошло еще немало времени, прежде чем мужчине и женщине удалось погладить его. Это была великая победа. Волк отличался такой необщительностью, что к нему просто нельзя было подступиться. Никому из гостей, бывавших в коттедже, не удавалось завести с ним добрые отношения. Глухое ворчание было ответом на все такие попытки. А если кто-нибудь все же отваживался подойти поближе, верхняя губа Волка приподнималась, обнажая острые клыки, и слышалось злобное, свирепое рычание, наводившее страх даже на самых отчаянных храбрецов и на всех соседних

собак, которые отлично знали, как рычат собаки, но никогда не слышали рычания волка.

Прошрое этого пса было покрыто мраком неизвестности. История его жизни начиналась с Уолта и Медж. Он появился откуда-то с юга, но о прежнем его владельце, от которого он, по-видимому, сбежал, ничего не удалось разузнать. Миссис Джонсон, ближайшая соседка, у которой Медж покупала молоко, уверяла, что это клондайкская собака. Ее брат работал на приисках среди льдов в этой далекой стране, и поэтому она считала себя авторитетом по такого рода вопросам.

Да, впрочем, с ней и не спорили. Кончики ушей у Волка явно были когда-то жестоко обморожены, они так и не заживали. Кроме того, он был похож на аляскинских собак, снимки которых Ирвин и Медж не раз видели в журналах. Они часто разговаривали о прошлом Волка, пытаясь представить себе по тому, что они читали и слышали, какую жизнь этот пес вел на далеком Севере. Что Север все еще тянул его к себе, это они знали. По ночам Волк тихонько скулил, а когда поднимался северный ветер и пощипывал морозец, им овладевало страшное беспокойство и он начинал жалобно выть. Это было похоже на протяжный волчий вой. Но он никогда не лаял. Никакими средствами нельзя было исторгнуть у него хотя бы один звук на естественном собачьем языке.

За долгое время, в течение которого Ирвин и Медж добивались расположения Волка, они нередко спорили о том, кто же будет считаться его хозяином. Оба считали его своим и хвастались малейшим проявлением привязанности с его стороны. Но преимущество с самого начала было на стороне Ирвина, и главным образом потому, что он был мужчина. Очевидно, Волк понятия не имел о женщинах. Он совершенно не понимал женщин. С юбками Медж он никак не мог примириться,—заслышав их шелест, всякий раз настораживался и грозно ворчал. А в ветреные дни ей совсем нельзя было к нему подходить.

Но Медж кормила его. Кроме того, она царствовала в кухне, и только по ее особой милости Волку разрешалось туда входить. И Медж была совершенно уверена, что завоюет его, несмотря на такое страшное препятствие, как ее юбка. Уолт же пошел на уловки—он заставлял

Волка лежать у своих ног, пока писал, а сам то и дело поглаживал и всячески уговаривал его, причем работа двигалась у него очень медленно. В конце концов Уолт победил, вероятно, потому, что был мужчиной, но Медж уверяла, что если бы он употребил всю свою энергию на писание стихов и оставил бы Волка в покое, им жилось бы лучше и денег водилось бы больше.

— Пора бы уж получить известие о моих последних стихах,— заметил Уолт, после того как они минут пять молча спускались по крутому склону.— Уверен, что на почте уже лежат для меня денежки и мы превратим их в превосходную гречневую муку, в галлон кленового сиропа и новые калоши для тебя.

— И в чудесное молочко от чудесной коровы миссис Джонсон,— добавила Медж.— Завтра ведь первое, как ты знаешь.

Уолт невольно поморщился, но тут же лицо его прояснилось, и он хлопнул себя рукой по карману куртки.

— Ничего! У меня здесь готова самая удойная корова во всей Калифорнии.

— Когда это ты успел написать?— живо спросила Медж и добавила с упреком:— Даже не показал мне!

— Я нарочно приберег эти стихи, чтобы прочесть тебе по дороге на почту, вот примерно в таком местечке,— сказал он, показывая рукой на сухой пенек, на котором можно было присесть.

Тоненький ручеек бежал из-под густых папоротников, журча, переливался через большой, покрытый скользким мхом камень, и пересекал тропинку прямо у их ног. Из долины доносилось нежное пение полевых жаворонков, а кругом, то поблескивая на солнечном свете, то исчезая в тени, порхали огромные желтые бабочки.

В то время как Уолт вполголоса читал свое произведение, внизу, в чаще, слышался какой-то шум. Это был шум тяжелых шагов, к которому время от времени примешивался глухой стук вырвавшегося из-под ноги камня. Когда Уолт, кончив читать, поднял взгляд на жену, ожидая ее одобрения, на повороте тропинки показался человек. Он шел с непокрытой головой, и пот катился с него градом. Одной рукой он то и дело вытирал себе лицо платком, в другой он держал новую

шляпу и снятый с шеи совершенно размокший крахмальный воротничок. Это был рослый человек, крепкого сложения; мускулы его так и просились наружу из-под тесного черного пиджака, купленного, по-видимому, совсем недавно в магазине готового платья.

— Жаркий денек...— приветствовал его Уолт.

Уолт старался поддерживать добрые отношения с окрестными жителями и не упускал случая расширить круг своих знакомых.

Человек остановился и кивнул.

— Не очень-то я привык к такой жаре,— отвечал он, словно оправдываясь.— Я больше привык к температуре градусов около тридцати мороза.

— Ну, такой у нас здесь не бывает!— засмеялся Уолт.

— Надо полагать,— отвечал человек.— Да я, правду сказать, и не хочу этого. Я разыскиваю мою сестру. Вы случайно не знаете, где она живет? Миссис Джонсон, миссис Уильям Джонсон.

— Так вы, наверно, ее брат из Клондайка?— воскликнула Медж, и глаза ее загорелись любопытством.— Мы так много о вас слышали!

— Он самый, мэм,— скромно отвечал он.— Меня зовут Скифф Миллер. Я, видите ли, хотел сделать ей сюрприз.

— Так вы совершенно правильно идете. Только вы шли не по дороге, а напрямик, лесом.

Медж встала и показала на ущелье вверх, в четверти мили от них.

— Вон видите там сосны? Идите к ним по этой узенькой тропинке. Она сворачивает направо и приведет вас к самому дому миссис Джонсон. Тут уж с пути не собьетесь.

— Спасибо, мэм,— отвечал Скифф Миллер.

— Нам было бы очень интересно услышать от вас что-нибудь о Клондайке,— сказала Медж.— Может быть, вы разрешите зайти к вам, пока вы будете гостить у вашей сестры? А то еще лучше—приходите с ней как-нибудь к нам пообедать.

— Да, мэм, благодарю вас, мэм,— машинально пробормотал Скифф, но тут же, спохватившись, добавил:— Только я ведь недолго здесь пробуду: опять отправлюсь на Север. Сегодня же уеду с ночным

поездом. Я, видите ли, подрядился на работу: казенную почту возить.

Медж выразила сожаление по этому поводу, а Скифф Миллер уже повернулся, чтобы идти, но в эту минуту Волк, который рыскал где-то поблизости, вдруг бесшумно, по-волчьи, появился из-за деревьев.

Рассеянность Скиффа Миллера как рукой сняло. Глаза его впились в собаку, и глубочайшее изумление изобразилось на его лице.

— Черт побери! — произнес он отдельно и внушительно.

Он с сосредоточенным видом уселся на пень, не замечая, что Медж осталась стоять. При звуке его голоса уши Волка опустились, и пасть расплылась в широчайшей улыбке. Он медленно приблизился к незнакомцу, обнюхал его руки, а затем стал лизать их.

Скифф Миллер погладил пса по голове.

— Ах, черт подери! — все так же медленно и внушительно повторил он. — Простите, мэм, — через секунду добавил он, — я просто в себя не приду от удивления. Вот и все.

— Да мы и сами удивились, — шутливо отвечала она. — Никогда еще не бывало, чтобы Волк так прямо пошел к незнакомому человеку.

— Ах, вот как вы его зовете! Волк! — сказал Скифф Миллер.

— Для меня просто непонятно его расположение к вам. Может быть, дело в том, что вы из Клондайка? Ведь это, знаете, клондайкская собака.

— Да, мэм, — рассеянно произнес Миллер.

Он приподнял переднюю лапу Волка и внимательно осмотрел подошву, ощупывая и нажимая на пальцы.

— Мягкие стали ступни, — заметил он. — Давненько он, как видно, не ходил в упряжке.

— Нет, знаете, это просто удивительно! — вмешался Уолт. — Он позволяет вам делать с ним все, что вы хотите.

Скифф Миллер встал. Никакого замешательства теперь уже не замечалось в нем.

— Давно у вас эта собака? — спросил он деловитым, сухим тоном.

И тут Волк, который все время вертелся возле и ластился к нему, вдруг открыл пасть и залаял. Точно

что-то вдруг прорвалось в нем — такой это был странный, отрывистый, радостный лай. Но, несомненно, это был лай.

— Вот это для меня новость! — сказал Скифф Миллер.

Уолт и Медж переглянулись. Чудо свершилось: Волк залаял.

— Первый раз слышу, как он лает! — промолвила Медж.

— И я тоже первый раз слышу, — отвечал Скифф Миллер.

Медж поглядела на него с улыбкой. По-видимому, этот человек — большой шутник.

— Ну еще бы, — сказала она, — ведь вы с ним познакомились пять минут тому назад!

Скифф Миллер пристально поглядел на нее, словно стараясь обнаружить в ее лице хитрость, которую эта фраза заставила его заподозрить.

— Я думал, вы догадались, — медленно произнес он. — Я думал, вы сразу поняли — по тому, как он ластился ко мне. Это мой пес. И зовут его не Волк. Его зовут Бурый.

— Ах, Уолт! — невольно вырвалось у Медж, и она жалобно поглядела на мужа.

Уолт мгновенно выступил на ее защиту.

— Откуда вы знаете, что это ваша собака? — спросил он.

— Потому что моя, — последовал ответ.

Скифф Миллер медленно поглядел на него и сказал, кивнув в сторону Медж:

— Откуда вы знаете, что это ваша жена? Вы просто скажете: потому что это моя жена. И я ведь тоже могу ответить, что это, дескать, за объяснение? Собака моя. Я вырастил и воспитал ее. Уж мне ли ее не знать! Вот, поглядите, я вам сейчас докажу.

Скифф Миллер обернулся к собаке.

— Эй, Бурый! — крикнул он. Голос его прозвучал резко и властно, и тут же уши пса опустились, словно его приласкали. — А ну-ка?

Пес резко, скачком, повернулся направо.

— Эй, пошел!

И пес, сразу перестав топтаться на месте, бросился вперед и так же внезапно остановился, слушая команду.

— Могу заставить его проделать все это просто свистом,—сказал Миллер.—Ведь он у меня вожак был.

— Но вы же не собираетесь взять его с собой? — дрожащим голосом спросила Медж.

Человек кивнул.

— Туда, в этот ужасный Клондайк, на эти ужасные мучения.

Он снова кивнул.

— Да нет,—прибавил он,—не так уж там плохо. Поглядите-ка на меня: разве я, по-вашему, не здоровяк?

— Но для собак ведь это такая ужасная жизнь — вечные лишения, непосильный труд, голод, мороз! Ах, я ведь читала, я знаю, каково это.

— Да, был случай, когда я чуть не съел его как-то раз на Мелкоперой реке,—мрачно согласился Миллер.— Не попадись мне тогда лось на мушку, был бы ему конец.

— Я бы скорей умерла! — воскликнула Медж.

— Ну, у вас здесь, конечно, другая жизнь,—пояснил Миллер.— Вам собак есть не приходится. А когда человека скрутит так, что из него вот-вот душа вон, тогда начинаешь рассуждать по-иному. Вы в таких переделках никогда не бывали, а значит, и судить об этом не можете.

— Так ведь в этом-то все и дело! — горячо настаивала Медж.— В Калифорнии собак не едят. Так почему бы вам не оставить его здесь? Ему здесь хорошо, и голодать ему никогда не придется,—вы это сами видите. И не придется страдать от убийственного холода, от непосильного труда. Здесь его нежат и холят. Здесь нет этой дикости ни в природе, ни в людях. Никогда на него не обрушится удар кнута. Ну, а что до погод, то ведь вы сами знаете: здесь и снегу-то никогда не бывает.

— Ну, уж зато летом, извините, жара адская, просто терпения нет,—засмеялся Миллер.

— Но вы не ответили нам! — с жаром продолжала Медж.— А что вы можете предложить ему в этих ваших северных краях?

— Могу предложить еду, когда она у меня есть, а обычно она бывает.

— А когда нет?

— Тогда, значит, и у него не будет.

— А работа?

— Работы вдоволь!— нетерпеливо отрезал Миллер.— Да, работы без конца, и голодуха, и морозище, и все прочие удовольствия. Все это он получит, когда будет со мной. Но он это любит. Он к этому привык, знает эту жизнь. Для нее он родился, для нее его и вырастили. А вы просто ничего об этом не знаете. И не понимаете, о чем говорите. Там его настоящая жизнь, и там он будет чувствовать себя всего лучше.

— Собака останется здесь,— решительно заявил Уолт,— так что продолжать этот спор нет никакого смысла.

— Что-о?— протянул Скифф Миллер, угрюмо сдвинув брови, и на его побагровевшем лбу выступила упрямая складка.

— Я сказал, что собака останется здесь, и на этом разговор окончен. Я не верю, что это ваша собака. Может быть, вы ее когда-нибудь видели. Может быть, даже когда-нибудь и ездили на ней по поручению хозяина. А то, что она слушается обычной команды северного погонщика, это еще не доказывает, что она ваша. Любая собака с Аляски слушалась бы вас точно так же. Кроме того, это, несомненно, очень ценная собака. Такая собака на Аляске— клад, и этим-то и объясняется ваше желание завладеть ею. Во всяком случае, вам придется доказать, что она ваша.

Скифф Миллер выслушал эту длинную речь невозмутимо и хладнокровно, только лоб у него еще чуточку потемнел, и громадные мускулы вздулись под черным сукном пиджака. Он спокойно смерил взглядом этого стихоплета, словно взвешивая, много ли силы может скрываться под его хрупкой внешностью.

Затем на лице Скиффа Миллера появилось презрительное выражение, и он промолвил резко и решительно:

— А я говорю, что могу увести собаку с собой хоть сию же минуту.

Лицо Уолта вспыхнуло, он весь как-то сразу подтянулся, и все мышцы у него напряглись. Медж, опасаясь, как бы дело не дошло до драки, поспешила вмешаться в разговор.

— Может быть, мистер Миллер и прав,— сказала она.— Боюсь, что он прав. Волк, по-видимому, действительно знает его: и на кличку «Бурый» откликается

и сразу встретил его дружелюбно. Ты ведь знаешь, что пес никогда ни к кому так не ластится. А потом, ты обратил внимание как он лаял? Он просто был вне себя от радости. А отчего? Ну, разумеется, оттого, что нашел мистера Миллера.

Бицепсы Уолта перестали напрягаться. Даже плечи его безнадежно опустились.

— Ты, кажется, права, Медж,— сказал он.— Волк наш не Волк, а Бурый, и, должно быть, он действительно принадлежит мистеру Миллеру.

— Может быть, мистер Миллер согласится продать его?— сказала она.— Мы могли бы его купить.

Скифф Миллер покачал головой, но уже совсем не воинственно, а скорей участливо, мгновенно отвечая великодушием на великодушие.

— У меня пять собак было,— сказал он, пытаясь, по-видимому, как-то смягчить свой отказ,— этот ходил жожаком. Это была самая лучшая упряжка на всю Аляску. Никто меня не мог обогнать. В тысяча восемьсот девяносто пятом году мне давали за них пять тысяч чистоганом, да я не взял. Правда, тогда собаки были в цене. Но не только потому мне такие бешеные деньги предлагали, а уж очень хороша была упряжка. А Бурый был лучше всех. В ту же зиму мне за него давали тысячу двести — я не взял. Тогда не продал и теперь не продам. Я, видите ли, очень дорожу этим псом. Три года его разыскиваю. Прямо и сказать не могу, до чего я огорчился, когда его у меня свели, и не то что из-за цены, а просто... привязался к нему, как дурак, простите за выражение. Я и сейчас просто глазам своим не поверил, когда его увидал. Подумал, уж не мерещится ли мне. Прямо как-то не верится такому счастью. Ведь я его сам вынянчил. Спать его укладывал, кутал, как ребенка. Мать у него издохла, так я его сгущенным молоком выкормил — два доллара банка. Себе-то я этого не мог позволить: черный кофе пил. Он никогда никакой матери не знал, кроме меня. Бывало, все у меня палец сосет, постреленок. Вот этот самый палец.— Скифф Миллер так разволновался, что уже не мог говорить связно, а только вытянул вперед указательный палец и прерывистым голосом повторил: — Вот этот самый палец,— словно это было неоспоримым доказательством его права собственности на собаку.

Потом он совсем замолчал, глядя на свой вытянутый палец.

И тут заговорила Медж.

— А собака?— сказала она.— О собаке-то вы не думаете?

Скифф Миллер недоуменно взглянул на нее.

— Ну, скажите, разве вы подумали о ней?— повторила Медж.

— Не понимаю, к чему вы клоните.

— А ведь она, может быть, тоже имеет некоторое право выбирать,— продолжала Медж.— Может быть, у нее тоже есть свои привязанности и свои желания. Вы с этим не считаетесь. Вы не даете ей выбрать самой. Вам и в голову не пришло, что, может быть, Калифорния нравится ей больше Аляски. Вы считаетесь только с тем, что вам самому хочется. Вы с ней обращаетесь так, будто это мешок картофеля или охапка сена, а не живое существо.

Миллеру эта точка зрения была, по-видимому, внове. Он с сосредоточенным видом стал обдумывать так неожиданно вставший перед ним вопрос. Медж сейчас же постаралась воспользоваться его нерешительностью.

— Если вы в самом деле ее любите, то ее счастье должно быть и вашим счастьем,— настаивала она.

Скифф Миллер продолжал размышлять про себя, а Медж бросила торжествующий взгляд на мужа и прочла в его глазах горячее одобрение.

— То есть вы что же это думаете?— неожиданно спросил пришелец из Клондайка.

Теперь Медж, в свою очередь, поглядела на него с полным недоумением.

— Что вы хотите сказать?— спросила она.

— Так вы что ж, думаете, что Бурому захочется остаться здесь, в Калифорнии?

Она уверенно кивнула в ответ:

— Убедена в этом.

Скифф Миллер снова принялся рассуждать сам с собой, на этот раз уже вслух. Время от времени он испытующе поглядывал на предмет своих размышлений.

— Он был работяга, каких мало. Сколько он для меня трудился! Никогда не отлынивал от работы. И еще тем он был хорош, что умел склотить свежую упряжку так, что она работала на первый сорт. А уж голова

у него! Все понимает, только что не говорит. Что ни скажешь ему, все поймет. Вот посмотрите-ка на него сейчас: он прекрасно понимает, что мы говорим о нем.

Пес лежал у ног Скиффа Миллера, опустив голову на лапы, настороженно подняв уши и быстро переводя внимательный взгляд с одного из говоривших на другого.

— Он еще может поработать. Как следует может поработать. И не один год. И ведь я люблю его, крепко люблю, черт возьми!

После этого Скифф Миллер еще раза два раскрыл рот, но так и закрыл его, ничего не сказав. Наконец он выговорил:

— Вот что. Я вам сейчас скажу, что я сделаю. Ваши слова, мэм, действительно имеют... как бы это сказать... некоторый смысл. Пес потрудился на своем веку, много потрудился. Может быть, он и впрямь заработал себе спокойное житье и теперь имеет полное право выбирать. Во всяком случае, мы ему дадим решить самому. Как он сам захочет, так пусть и будет. Вы оставайтесь и сидите здесь, как сидели, а я распрощаюсь с вами и пойду как ни в чем не бывало. Ежели он захочет, может остаться с вами. А захочет, может идти со мной. Я его звать не буду. Но и вы тоже не зовите.

Вдруг он подозрительно глянул на Медж и добавил:

— Только уж, чур, играть по-честному! Не уговаривать его, когда я спиной повернусь...

— Мы будем играть честно...— начала было Медж.

Но Скифф Миллер прервал ее уверения:

— Знаю я эти женские повадки! Сердце у женщин мягкое, и стоит его задеть, они способны любую карту передернуть, на любую хитрость пойти и врать будут, как черти... Прошу прощения, мэм, я ведь это вообще насчет женского пола говорю.

— Не знаю, как и благодарить вас...— начала дрожащим голосом Медж.

— Еще неизвестно, есть ли вам за что меня благодарить,—отрезал Миллер.—Ведь Бурый еще не решил. Я думаю, вы не станете возражать, если я пойду медленно. Это ведь будет только справедливо, потому что через каких-нибудь сто шагов меня уже не будет видно.

Медж согласилась.

— Обещаю вам честно,— добавила она,— мы ничего не будем делать, чтобы повлиять на него.

— Ну, так теперь, значит, я ухожу,— сказал Скифф Миллер тоном человека, который уже распрощался и уходит.

Уловив перемену в его голосе, Волк быстро поднял голову и стремительно вскочил на ноги, когда увидел, что Медж и Миллер, прощаясь,жимают друг другу руки. Он поднялся на задние лапы и, упершись передними в Медж, стал лизать руку Скиффа Миллера. Когда же Скифф протянул руку Уолту, Волк снова повторил то же самое: уперся передними лапами в Уолта и лизал руки им обоим.

— Да, сказать по правде, невесело обернулась для меня эта прогулочка,— заметил Скифф Миллер и медленно пошел прочь по тропинке.

Он успел отойти шагов на двадцать. Волк, не двигаясь, глядел ему вслед, напряженно застыв, словно ждал, что человек вот-вот повернется и пойдет обратно. Вдруг он с глухим жалобным визгом стремительно бросился за Миллером, нагнал его, любовно и бережно схватил за руку и мягко попытался остановить.

Увидев, что это ему не удастся, Волк бросился обратно к сидевшему на пне Уолту Ирвину, схватил его за рукав и тоже безуспешно пытался увлечь его вслед за удаляющимся человеком.

Смятение Волка явно возрастало. Ему хотелось быть и там и здесь, в двух местах одновременно, и с прежним своим хозяином и с новым, а расстояние между ними неуклонно увеличивалось. Он в возбуждении метался, делая короткие нервные скачки, бросаясь то к одному, то к другому в мучительной нерешительности, не зная, что ему делать, желая быть с обоими и не будучи в состоянии выбрать. Он отрывисто и пронзительно взвизгивал, дышал часто и бурно. Вдруг он уселся, поднял нос вверх, и пасть его начала судорожно открываться и закрываться, с каждым разом разеваясь все шире. Одновременно судорога стала все сильнее сводить ему глотку. Пришли в действие и его голосовые связки. Сначала почти ничего не было слышно — казалось, просто дыхание с шумом вырывается из его груди, а затем раздался низкий грудной звук, самый низкий, какой когда-либо приходилось слышать человеческому уху. Все это было своеобразной подготовкой к вою.

Но в тот самый момент, когда он, казалось, вот-вот должен был завывть во всю глотку, широко раскрытая пасть захлопнулась, судороги прекратились, и пес долгим, пристальным взглядом посмотрел вслед уходящему человеку. Потом повернул голову и таким же пристальным взглядом поглядел на Уолта. Этот молящий взгляд остался без ответа. Пес не дождался ни слова, ни знака, ему ничем не намекнули, не подсказали, как поступить.

Он опять поглядел вперед и, увидев, что его старый хозяин приближается к повороту тропинки, снова пришел в смятение. Он с визгом вскочил на ноги и вдруг, словно осененный внезапной мыслью, устремился к Медж. Теперь, когда оба хозяина от него отступились, вся надежда была на нее. Он уткнулся мордой в колени хозяйке, стал тыкаться носом ей в руку— это был его обычный прием, когда он чего-нибудь просил. Затем он попятился и, шаловливо изгибая все туловище, стал подскакивать и топтаться на месте, скребя передними лапами по земле, стараясь всем своим телом, от молящих глаз и прижатых к спине ушей до умильно помахивающего хвоста, выразить то, чем он был полон, ту мысль, которую он не мог высказать словами.

Но и это он вскоре бросил. Холодность этих людей, которые до сих пор никогда не относились к нему холодно, подавляла его. Он не мог добиться от них никакого отклика, никакой помощи. Они не замечали его. Они точно умерли.

Он повернулся и молча поглядел вслед уходящему хозяину. Скифф Миллер уже дошел до поворота. Еще секунда— и он скроется из глаз. Но он ни разу не оглянулся. Он грузно шагал вперед, спокойно, неторопливо, точно ему не было ровно никакого дела до того, что происходит за его спиной.

Вот он свернул на повороте и исчез из виду. Волк ждал долгую минуту молча, не двигаясь, словно обратившись в камень, но камень, одухотворенный желанием и нетерпением. Один раз он залаял коротким, отрывистым лаем и опять подождал. Затем повернулся и мелкой рысцой побежал к Уолту Ирвину. Он обнюхал его руку и растянулся у его ног, глядя на опустевшую тропинку.

Маленький ручеек, сбегавший с покрытого мохом камня, вдруг словно стал журчать звончей и громче. И ничего больше не было слышно, кроме пения полевых жаворонков. Большие желтые бабочки беззвучно

проносились в солнечном свете и исчезали в сонной тени. Медж ликующим взглядом поглядела на мужа.

Через несколько минут Волк встал. В движениях его чувствовались теперь спокойствие и уверенность. Он не взглянул ни на мужчину, ни на женщину; глаза его были устремлены на тропинку. Он принял решение. И они поняли это; поняли также и то, что для них самих испытание только началось.

Он сразу побежал крупной рысью, и губы Медж уже округлились, чтобы вернуть его ласковым окликом,— ей так хотелось позвать его! Но ласковый оклик замер у нее на губах. Она невольно поглядела на мужа и встретила с его суровым, предостерегающим взглядом. Губы ее сомкнулись, она тихонько вздохнула.

А Волк мчался уже не рысью, а вскачь. И скачки его становились все шире и шире. Он ни разу не обернулся, его волчий хвост был вытянут совершенно прямо. Одним прыжком он срезал угол на повороте и скрылся.

Однодневная стоянка

Такой сумасшедшей гонки я еще никогда не видывал. Тысячи упряжек мчались по льду, собак не видно было из-за пара. Трое человек замерзли насмерть той ночью, и добрый десяток навсегда испортил себе легкие! Но разве я не видел собственными глазами дно проруби? Оно было желтое от золота, как горчичник. Вот почему я застолбил участок на Юконе и сделал заявку. Из-за этих-то заявок и пошла вся гонка. А потом там ничего не оказалось. Ровным счетом ничего. Я так до сих пор и не знаю, чем это объяснить.

Рассказ Шорти

е снимая рукавиц, Джон Месснер одной рукой держался за поворотный шест и направлял нарт по следу, другой растирал щеки и нос. Он то и дело тер щеки и нос. По сути дела, он почти не отрывал руки от лица, а когда онемение усиливалось,

принимался тереть с особенной яростью. меховой шлем закрывал ему лоб и уши. Подбородок защищала густая золотистая борода, заиндеветшая на морозе.

Позади него враскачку скользили тяжело нагруженные юконские нарты, впереди бежала упряжка в пять собак. Постромка, за которую они тянули нарты, терлась о ногу Месснера. Когда собаки поворачивали, следуя изгибу дороги, он переступал через постромку. Поворотов было много, и ему снова и снова приходилось переступать. Порой, зацепившись за постромку, он чуть не падал: движения его были неловки и выдавали огромную усталость, нарты то и дело наезжали ему на ноги.

Когда дорога пошла прямо и нарты могли некоторое время продвигаться вперед без управления, он отпустил поворотный шест и ударил по нему несколько раз правой рукой. Восстановить в ней кровообращение было нелегко. Но, колотя правой рукой по твердому дереву, он левой неумоимо растирал нос и щеки.

— Честное слово, в такой холод нельзя разбегаться, — сказал Джон Месснер. Он говорил громко, как говорят люди, привыкшие к одиночеству. — Только идиот может пуститься в дорогу при такой температуре! Если сейчас не все восемьдесят ниже нуля, то уж семьдесят девять верных.

Он достал часы и, повертев их в руках, положил обратно во внутренний карман толстой шерстяной куртки, затем посмотрел на небо и окинул взглядом белую линию горизонта.

— Двенадцать часов, — пробормотал он. — Небо чистое, и солнца не видно.

Минут десять он шел молча, а потом добавил так, словно не было никакой паузы:

— И не продвинулся почти совсем. Нельзя в такой холод ездить.

Внезапно он закричал на собак: «Хо-о!» — и остановился. Его охватил дикий страх, — правая рука почти онемела. Он начал бешено колотить ею о поворотный шест.

— Ну... вы... бедняги! — обратился Месснер к собакам, которые тяжело упали на лед — отдохнуть. Голос

его прерывался от усилий, с которыми он колотил онемевшей рукой по шесту.— Чем вы провинились, что двуногие запрягают вас в нарты, подавляют все ваши природные инстинкты и делают из вас жалких рабов?

Он остервенело потер нос, стараясь вызвать прилив крови, потом заставил собак подняться. Джон Месснер шел по льду большой замерзшей реки. Позади она простиралась на много миль, делая повороты и теряясь в причудливом нагромождении безмолвных, покрытых снегом гор. Впереди русло реки делилось на множество рукавов, образуя острова, которые она как бы несла на своей груди. Острова были безмолвные и белые. Безмолвие не нарушалось ни криком зверей, ни жужжанием насекомых. Ни одна птица не пролетала в застывшем воздухе. Не слышно было человеческого голоса, не заметно никаких следов человеческого жилья. Мир спал, и сон его был подобен смерти.

Оцепенение, царившее вокруг, казалось, передалось и Джону Месснеру. Мороз сковывал его мозг. Он тащился вперед, опустив голову, не глядя по сторонам, бессознательно растирая нос и щеки, и когда нарты выезжали на прямую дорогу, колотил правой рукой по шесту.

Но собаки были начеку и внезапно остановились. Повернув голову к хозяину, они смотрели на него тоскливыми вопрошающими глазами. Их ресницы и морды выбелил мороз, и от этой седины да еще от усталости они казались совсем дряхлыми.

Человек хотел было подстегнуть их, но удержался и, собравшись с силами, огляделся вокруг. Собаки остановились у края проруби; это была не трещина, а прорубь, сделанная руками человека, тщательно вырубленная топором во льду толщиной в три с половиной фута. Толстая корка нового льда свидетельствовала о том, что прорубью давно не пользовались. Месснер посмотрел по сторонам. Собаки уже указывали ему путь: их заиндеветые морды были повернуты к едва приметной на снегу тропинке, которая, ответвляясь от основного пути, избегала вверх по берегу острова.

— Ну, ладно, бедные вы зверюги,— сказал Месснер.— Пойду на разведку. Я и сам не меньше вас хочу отдохнуть.

Он взобрался по склону и исчез. Собаки не легли и, стоя, нетерпеливо ждали его. Вернувшись, он взял веревку, привязанную к передку нарт, и накинул петлю себе на плечи. Потом повернул собак вправо и погнал их на берег. Втащить сани на крутой откос оказалось нелегко, но собаки забыли про усталость и, распластываясь на снегу, с нетерпеливым и радостным визгом из последних сил лезли вверх. Когда передние скользили или останавливались, задние кусали их за ляжки. Человек кричал на собак, то подбадривая, то угрожая, и всей тяжестью своего тела налегал на веревку.

Собаки стремительно вынесли нарты наверх; сразу свернули влево и устремились к маленькой бревенчатой хижине. В этой необитаемой хижине была одна комната площадью в восемь футов на десять. Месснер распряг собак, разгрузил нарты и вступил во владение жильем. Последний случайный его обитатель оставил здесь запас дров. Месснер поставил в хижине свою маленькую железную печку и развел огонь. Он положил в духовку пять вяленых рыб — корм собакам — и наполнил кофейник и кастрюлю водой из проруби.

Поджидая, когда закипит вода, Месснер нагнулся над печкой. Осевшая на бороде влага, превратившаяся от дыхания в ледяную корку, начинала оттаивать. Падая на печку, льдинки шипели, и от них поднимался пар. Джон Месснер отдирал сосульки от бороды, и они со стуком падали на пол.

Неистовый лай собак не оторвал его от этого занятия. Он слышал визг и рычание чужих собак и чьи-то голоса. В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Месснер глухо, потому что в это мгновение отсасывал кусок льда с верхней губы.

Дверь отворилась, и сквозь окружавшее его облако пара Месснер разглядел мужчину и женщину, остановившихся на пороге.

— Войдите, — сказал он повелительно, — и закройте дверь.

Сквозь пар он едва мог рассмотреть вошедших. Голова женщины была так закутана, что виднелись только черные глаза. Мужчина был тоже темноглазый,

с гладко выбритым лицом; обledenевшие усы совершенно скрывали его рот.

— Мы хотели бы у вас узнать, нет ли тут поблизости еще другого жилья? — спросил он, окидывая взглядом убогую обстановку хижины. — Мы думали, что здесь никого нет.

— Это не моя хижина, — отвечал Месснер. — Я сам нашел ее несколько минут назад. Входите и располагайтесь. Места достаточно, и ставить вашу печку вам не понадобится. Как-нибудь разместимся.

При звуке его голоса женщина с любопытством посмотрела на него.

— Раздевайся, — сказал ее спутник. — Я распрягу собак и принесу воды, чтоб можно было приняться застряпню.

Месснер взял оттаявшую рыбу и пошел кормить собак. Ему пришлось защищать их от чужой упряжки, и когда он вернулся в хижину, вновь прибывший уже разгрузил нарты и принес воды. Кофейник Месснера закипел. Он засыпал в него кофе, влил туда еще полкружки холодной воды, чтобы осела гуща, и снял с печки. Потом положил оттаивать несколько сухарей из кислого теста и разогрел в кастрюльке бобы, которые сварила прошлой ночью и все утро вез с собой замороженными.

Сняв свою посуду с печки, чтобы дать возможность вновь прибывшим приготовить себе пищу, Месснер сел на тюк с постелью, а вместо стола приспособил ящик для провизии. За едой он разговаривал с незнакомцем о дороге и о собаках, а тот, наклонившись над печкой, оттаивал лед на усах. Избавившись наконец от сосулек, незнакомец бросил тюк с постелью на одну из двух коек, стоявших в хижине.

— Мы будем спать здесь, — сказал он, — если только вы не предпочитаете эту койку. Вы пришли сюда первый и имеете право выбора.

— Мне все равно, — сказал Месснер. — Они обе одинаковые.

Он тоже приготовил себе постель и присел на край койки. Незнакомец сунул под одеяло вместо подушки маленькую дорожную сумку с медицинскими инструментами.

— Вы врач? — спросил Месснер.

— Да, — последовал ответ. — Но, уверяю вас, я приехал в Клондайк не для практики.

Женщина занялась стряпней, в то время как ее спутник резал бекон и подтапливал печку. В хижине был полумрак, свет проникал лишь сквозь маленькое оконце, затянутое куском бумаги, пропитанной свиным жиром, и Джон Месснер не мог как следует рассмотреть женщину. Да он и не старался. Она, казалось, мало его занимала. Но женщина то и дело с любопытством поглядывала в темный угол, где он сидел.

— Какая здесь замечательная жизнь! — восторженно сказал врач, перестав на мгновение точить нож о печную трубу. — Мне нравится эта борьба за существование, стремление добиться всего своими руками, примитивность этой жизни, ее реальность.

— Да, температура здесь весьма реальная, — засмеялся Месснер.

— А вы знаете, сколько градусов? — спросил врач. Месснер покачал головой.

— Ну, так я вам скажу. Семьдесят четыре ниже нуля на спиртовом термометре, который у меня в нартах.

— То есть сто шесть ниже точки замерзания. Холодно для путешествия, а?

— Форменное самоубийство, — изрек доктор. — Человек затрачивает массу энергии. Он тяжело дышит, мороз проникает ему прямо в легкие и отмораживает края ткани. Человек начинает кашлять резким, сухим кашлем, отхаркивая мертвую ткань, и следующей весной умирает от воспаления легких, недоумевая, откуда оно взялось. Я пробуду в этой хижине неделю, если только температура не поднимется по крайней мере до пятидесяти ниже нуля.

— Посмотри-ка, Тэсс, — сказал он через минуту. — По-моему, кофе уже вскипел.

Услышав имя женщины, Джон Месснер насторожился. Он метнул на нее быстрый взгляд, и по лицу его пробежала тень — призрак какой-то давно похороненной и внезапно воскресшей горести. Но через мгновение он усилием воли отогнал этот призрак. Лицо его стало по-прежнему невозмутимо, но он настороженно пригля-

дывался к женщине, досадуя на слабый свет, мешавший ее рассмотреть.

Ее первым бессознательным движением было снять кофейник с огня. Лишь после этого она взглянула на Месснера. Но он уже овладел собой. Он спокойно сидел на койке и с безразличным видом рассматривал свои мокасины. Но когда она снова принялась за стряпню, Месснер опять быстро посмотрел на нее, а она, обернувшись, так же быстро перехватила его взгляд. Месснер тотчас перевел глаза на врача, и на его губах промелькнула усмешка—знак того, что он оценил хитрость женщины.

Она зажгла свечу, достав ее из ящика с припасами. Месснеру достаточно было одного взгляда на ее ярко освещенное лицо. В этой маленькой хижине женщине понадобилось сделать всего несколько шагов, чтобы очутиться рядом с Месснером. Она намеренно поднесла свечу поближе к его лицу и уставилась на него расширенными от страха глазами. Она узнала его. Месснер спокойно улыбнулся ей.

— Что ты там ищешь, Тэсс? — спросил ее спутник.

— Шпильки, — ответила она и, отойдя от Месснера, начала шарить в вещевом мешке на койке.

Они устроили себе стол из своего ящика и усадились на ящик Месснера лицом к нему. А он, отдыхая, растянулся на койке, подложив руку под голову, и смотрел на них. В этой тесной хижине казалось, что все трое сидят за одним столом.

— Вы из какого города? — спросил Месснер.

— Из Сан-Франциско, — отвечал врач. — Но я здесь уже два года.

— Я сам из Калифорнии, — объявил Месснер.

Женщина умоляюще вскинула на него глаза, но он улыбнулся и продолжал:

— Из Беркли...

Врач сразу заинтересовался.

— Из Калифорнийского университета? — спросил он.

— Да, выпуска восемьдесят шестого года.

— А я думал, вы профессор. У вас такой вид.

— Очень жаль, — улыбнулся ему Месснер. — Я бы предпочел, чтобы меня принимали за старателя или погонщика собак.

— Он так же не похож на профессора, как ты на доктора,— вставила женщина.

— Благодарю вас,— сказал Месснер. Потом обратился к ее спутнику: — Кстати, доктор, разрешите узнать, как ваша фамилия?

— Хейторн. Но вам придется поверить мне на слово. Я забросил визитные карточки вместе с цивилизацией.

— А это, конечно, миссис Хейторн...— Месснер с улыбкой поклонился.

Она бросила на него взгляд, в котором гнева было больше, чем мольбы.

Хейторн собирался, в свою очередь, спросить его фамилию, он уже открыл рот, но Месснер опередил его:

— Вы, доктор, верно, сможете удовлетворить мое любопытство. Два-три года назад, в профессорских кругах разыгралась скандальная история. Жена одного из профессоров сбежала... прошу прощения, миссис Хейторн... с каким-то, кажется, врачом из Сан-Франциско, не могу припомнить его фамилию. Вы не слышали об этом?

Хейторн кивнул.

— Эта история в свое время наделала немало шума. Его звали Уомбл. Грехэм Уомбл. Врач с великолепной практикой. Я немного знал его.

— Так вот, мне любопытно, что с ними случилось? Может быть, вы знаете? Они исчезли бесследно.

— Да, он ловко замел следы.— Хейторн откашлялся.— Ходили слухи, будто они отправились на торговой шхуне в южные моря и, кажется, погибли там во время тайфуна.

— Ничего об этом не слышал,— сказал Месснер.— А вы помните эту историю, миссис Хейторн?

— Прекрасно помню,— отвечала женщина, и спокойствие ее голоса являло разительный контраст гневу, вспыхнувшему в ее глазах. Она отвернулась, пряча лицо от Хейторна.

Врач опять хотел было спросить Месснера, как его зовут, но тот продолжал:

— Этот доктор Уомбл... говорят, он был очень красив и пользовался... э-э... большим успехом у женщин.

— Может быть, но эта история его доконала,— пробормотал Хейторн.

— А жена была настоящая мегера. Так по крайней мере я слышал. В Беркли считали, что она создала своему мужу... гм... совсем не райскую жизнь.

— Первый раз слышу,— ответил Хейторн.— В Сан-Франциско говорили как раз обратное.

— Жена-мученица, не так ли? Распятая на кресте супружеской жизни?

Хейторн кивнул. Серые глаза Месснера не выражали ничего, кроме легкого любопытства.

— Этого следовало ожидать— две стороны медали. Живя в Беркли, я, конечно, знал только одну сторону. Эта женщина, кажется, часто бывала в Сан-Франциско.

— Налей мне, пожалуйста, кофе,— сказал Хейторн. Наполняя его кружку, женщина непринужденно рассмеялась.

— Вы сплетничаете, как настоящие кумушки,— упрекнула она мужчин.

— А это очень интересно,— улыбнулся ей Месснер и снова обратился к врачу:— Муж, по-видимому, пользуясь не очень-то завидной репутацией в Сан-Франциско.

— Напротив, его считали высоко моральной личностью,— вырвалось у Хейторна с излишним жаром.— Педант, сухарь без капли горячей крови.

— Вы его знали?

— Никогда в жизни не видел. Я не вращался в университетских кругах.

— Опять только одна сторона медали,— сказал Месснер, как бы беспристрастно обсуждая дело со всех сторон.— Правда, он был не бог весть как хорош,— я говорю про внешность,— но и не так уж плох. Увлекался спортом вместе со студентами. И вообще был не без способностей. Написал святочную пьесу, которая имела большой успех. Я слышал, что его хотели назначить деканом английского отделения, да тут как раз все это стряслось, он подал в отставку и уехал куда-то. По-видимому, эта история погубила его карьеру. Во всяком случае, в наших кругах считали, что после такого удара ему не оправиться. Он, кажется, очень любил свою жену.

Хейторн допил кофе и, пробурчав что-то безразличным тоном, закурил трубку.

— Счастье, что у них не было детей,— продолжал Месснер.

Но Хейторн, посмотрев на печку, надел шапку и рукавицы.

— Пойду за дровами,— сказал он.— А потом сниму мокасины и устроюсь поудобнее.

Дверь за ним захлопнулась. Воцарилось долгое молчание. Месснер, не меняя позы, лежал на койке. Женщина сидела на ящике напротив его.

— Что вы намерены делать?— спросила она резко.

Месснер лениво взглянул на нее.

— А что, по-вашему, должен я делать? Надеюсь, не разыгрывать драму? Я, знаете ли, устал с дороги, а койка очень удобная.

Женщина в немой ярости прикусила губу.

— Но...— горячо начала она и замолчала, стиснув руки.

— Надеюсь, вы не хотите, чтобы я убил мистера... э-э... Хейторна?— сказал он кротко, почти умоляюще.— Это было бы очень печально... и, уверяю вас, совсем не нужно.

— Но вы должны что-то сделать!— вскричала она.

— Напротив, я, вероятнее всего, ничего не сделаю.

— Вы останетесь здесь?

Он кивнул.

Женщина с отчаянием оглядела хижину и постель, приготовленную на другой койке.

— Скоро ночь. Вам нельзя здесь оставаться. Нельзя! Понимаете, это просто невозможно!

— Нет, можно. Позвольте вам напомнить, что я первый нашел эту хижину, и вы оба— мои гости.

Снова ее глаза обежали комнату, и в них отразился ужас, когда они скользнули по второй койке.

— Тогда уйдем мы,— объявила она решительно.

— Это невозможно. Вы кашляете тем самым сухим, резким кашлем, который так хорошо описал мистер... э-э... Хейторн. Легкие у вас уже слегка простужены. А ведь он врач и понимает это. Он не позволит вам уйти.

— Но что же тогда вы будете делать? — опять спросила она напряженно спокойным голосом, предвещавшим бурю.

Месснер постарался изобразить на своем лице максимум сочувствия и долготерпения и взглянул на нее почти отечески.

— Дорогая Тереза, я уже сказал вам, что не знаю. Я еще не думал об этом.

— Боже мой, вы меня с ума сведете! — она вскочила с ящика, ломая руки в бессильной ярости. — Раньше вы никогда таким не были.

— Да, я был воплощенная мягкость и кротость, — согласился он. — Очевидно, поэтому вы меня и бросили?

— Вы так переменились! Откуда у вас это злое спокойствие? Я боюсь вас! Я чувствую, вы замышляете что-то ужасное. Не давайте воли гневу, будьте рассудительны...

— Я больше не теряю самообладания... — прервал ее Месснер, — с тех пор как вы ушли.

— Вы исправились просто на удивление, — отпарировала она.

Месснер улыбнулся в знак согласия.

— Пока я буду думать о том, как мне поступить, советую вам сделать вот что: скажите мистеру... э-э... Хейторну, кто я такой. Это делает наше пребывание в хижине более, как бы это выразиться... непринужденным.

— Зачем вы погнались за мной в эту ужасную страну? — спросила она неожиданно.

— Не подумайте, что я искал вас, Тереза. Не льстите своему тщеславию. Наша встреча — чистая случайность. Я порвал с университетской жизнью, и мне нужно было куда-нибудь уехать. Честно признаюсь, я приехал в Клондайк именно потому, что меньше всего ожидал встретить вас здесь.

Послышался стук щеколды, дверь распахнулась, и вошел Хейторн с охапкой хвороста. При первом же звуке его шагов Тереза как ни в чем не бывало принялась убирать посуду. Хейторн опять вышел за хворостом.

— Почему вы не представили нас друг другу?—спросил Месснер.

— Я скажу ему,—ответила она, тряхнув головой.— Не думайте, что я боюсь.

— Я никогда не замечал, чтобы вы чего-нибудь особенно боялись.

— Исповеди я тоже не испугаюсь,—сказала она. Выражение ее лица смягчилось, и голос зазвучал нежнее.

— Боюсь, что ваша исповедь превратится в завуалированное вымогательство, стремление к собственной выгоде, самовозвеличение за счет бога.

— Не выражайтесь так книжно,—проговорила она капризно, но с растущей нежностью в голосе.— Я не любительница мудрых споров. Кроме того, я не побоюсь попросить у вас прощения.

— Мне, собственно говоря, нечего прощать вам, Тереза. Скорее, я должен благодарить вас. Правда, вначале я страдал, но потом ко мне—точно милосердное дыхание весны—пришло ощущение счастья, огромного счастья. Это было совершенно поразительное открытие.

— А что, если я вернусь к вам?—спросила она.

— Это поставило бы меня,—сказал он, посмотрев на нее с лукавой усмешкой,—в немалое затруднение.

— Я ваша жена. Вы ведь не добивались развода?

— Нет,—задумчиво сказал он.—Всему виной моя небрежность. Я сразу же займусь этим, как только вернусь домой.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.

— Я вам больше не нужна, Джон?—Ее голос звучал нежно, прикосновение руки было, как ласка.— А если я скажу вам, что ошиблась? Если я признаюсь, что очень несчастна? И я правда несчастна. Я действительно ошиблась.

В душу Месснера начал закрадываться страх. Он чувствовал, что слабеет под легким прикосновением ее руки. Он уже не был хозяином положения, все его хваленое спокойствие исчезло. Она смотрела на него нежным взором, и суровость этого человека начинала таять. Он видел себя на краю пропасти и не мог бороться с силой, которая толкала его туда.

— Я вернусь к вам, Джон. Вернусь сегодня... сейчас.

Как в тяжелом сне, Месснер старался освободиться от власти этой руки. Ему казалось, что он слышит нежную, журчащую песнь Лорелеи. Как будто где-то вдали играли на рояле и звуки настойчиво проникали в сознание.

Он вскочил с койки, оттолкнул женщину, когда она попыталась обнять его, и отступил к двери. Он был смертельно испуган.

— Я не ручаюсь за себя! — крикнул он.

— Я же вас предупреждала, чтобы вы не теряли самообладания. — Она рассмеялась с издевкой и снова принялась мыть посуду. — Никому вы не нужны. Я просто пошутила. Я счастлива с ним.

Но Месснер не поверил ей. Он помнил, с какой легкостью эта женщина меняла тактику. Сейчас происходит то же самое. Вот оно — завуалированное вымогательство! Она несчастлива с другим и сознает свою ошибку. Его самолюбие было удовлетворено. Она хочет вернуться назад, но ему это меньше всего нужно. Незаметно для самого себя он взялся за щеколду.

— Не убегайте, — засмеялась она, — я вас не укушу.

— Я и не убегаю, — ответил Месснер по-детски запальчиво, натягивая рукавицы. — Я только за водой.

Он взял пустые ведра и кастрюли и открыл дверь. Потом оглянулся.

— Не забудьте же сказать мистеру... э-э... Хейторну, кто я такой.

Месснер разбил пленку льда, которая за один час уже затянула прорубь, и наполнил ведра. Но он не торопился назад в хижину. Поставив ведра на тропинку, он принялся быстро шагать взад и вперед, чтобы не замерзнуть, потому что мороз жег тело, как огнем. К тому времени, когда морщины у него на лбу разгладились и на лице появилось решительное выражение, борода его успела покрыться инеем. План действий был принят, и его застывшие от холода губы скривила усмешка. Он поднял ведра с водой, уже затянувшейся ледком, и направился к хижине.

Открыв дверь, Месснер увидел, что врач стоит у печки, выражение лица у него было натянутое /и нерешительное. Месснер поставил ведра на пол.

— Рад познакомиться с вами, Грехэм Уомбл,— церемонно произнес Месснер, словно их только что представили друг другу.

Он не протянул руки. Уомбл беспокойно топтался на месте, испытывая к Месснеру ненависть, которую обычно испытывают к человеку, причинив ему зло.

— Значит, это вы,— сказал Месснер, разыгрывая удивление.— Так, так... Право, я очень рад познакомиться с вами. Мне было... э-э... любопытно узнать, что нашла в вас Тереза, что, если можно так выразиться, привлекло ее к вам. Так, так...

И он осмотрел его с головы до ног, как осматривают лошадь.

— Я вполне понимаю ваши чувства ко мне...— начал Уомбл.

— О, какие пустяки!— прервал его Месснер с превеличенной сердечностью.— Стоит ли об этом говорить! Мне хотелось бы только знать, что вы думаете о Терезе. Оправдались ли ваши надежды? Как она себя вела? Вы живете теперь, конечно, словно в блаженном сне?

— Перестаньте говорить глупости!— вмешалась Тереза.

— Я простой человек и говорю, что думаю!— сокрушенным тоном сказал Месснер.

— Тем не менее вам следует держать себя соответственно обстоятельствам,— отрезал Уомбл.— Мы хотим знать, что вы намерены делать?

Месснер развел руками с притворной беспомощностью.

— Я, право, не знаю. Это одно из тех невозможных положений, из которых трудно придумать какой-нибудь выход.

— Мы не можем провести ночь втроем в этой хижине.

Месснер кивнул в знак согласия.

— Значит, кто-нибудь должен уйти.

— Это тоже неоспоримо,— согласился Месснер.— Если три тела не могут поместиться одновременно в данном пространстве, одно из них должно исчезнуть.

— Исчезнуть придется вам,—мрачно объявил Уомбл.—До следующей стоянки десять миль, но вы как-нибудь их пройдете.

— Вот первая ошибка в вашем рассуждении,—возразил Месснер.—Почему именно я должен уйти? Я первый нашел эту хижину.

— Но Тэсс не может идти,—сказал Уомбл.—Ее легкие уже простужены.

— Вполне с вами согласен. Она не может идти десять миль по такому морозу. Безусловно, ей нужно остаться.

— Значит, так и будет,—решительно сказал Уомбл. Месснер откашлялся.

— Ваши легкие в порядке, не правда ли?

— Да. Ну и что же?

Месснер опять откашлялся и проговорил медленно, словно обдумывая каждое слово:

— Да ничего... разве только то, что... согласно вашим же доводам, вам ничего не мешает прогуляться по морозу каких-нибудь десять миль. Вы как-нибудь их пройдете.

Уомбл подозрительно взглянул на Терезу и подметил в ее глазах искру радостного удивления.

— А что скажешь ты? —спросил он.

Она промолчала в нерешительности, и лицо Уомбла потемнело от гнева. Он повернулся к Месснеру.

— Довольно! Вам нельзя здесь оставаться.

— Нет, можно.

— Я не допущу этого! — Уомбл угрожающе расправил плечи.— В этом деле мне решать.

— А я все-таки останусь,—стоял на своем Месснер.

— Я вас выброшу вон!

— А я вернусь.

Уомбл замолчал, стараясь овладеть собой. Потом заговорил медленно, тихим, сдавленным голосом:

— Слушайте, Месснер, если вы не уйдете, я вас изобью. Мы не в Калифорнии. Вот этими кулаками я превращу вас в котлету.

Месснер пожал плечами.

— Если вы это сделаете, я соберу золотоискателей и посмотрю, как вас вздернут на первом попавшемся дереве. Совершенно верно, мы не в Калифорнии.



Золотоискатели—народ простой, и мне достаточно будет показать им следы побоев, поведать всю правду и предъявить права на свою жену.

Женщина хотела что-то сказать, но Уомбл свирепо набросился на нее.

— Не вмешивайся!—крикнул он.

Голос Месснера прозвучал совсем по-иному:

— Будьте добры, не мешайте нам, Тереза.

От гнева и с трудом сдерживаемого волнения женщина разразилась сухим, резким кашлем. Лицо ее покраснело, она прижала руку к груди и ждала, когда приступ кончится.

Уомбл мрачно смотрел на нее, прислушиваясь к кашлю.

— Нужно на что-то решиться,—сказал он.—Ее легкие не выдержат холода. Она не может идти, пока не станет теплее. А я не собираюсь уступать ее вам.

Месснер смиренно хмыкнул, откашлялся, снова хмыкнул и сказал:

— Мне нужны деньги...

На лице Уомбла сразу появилось презрительная гримаса. Вот когда Месснер упал неизмеримо ниже его, показал наконец свою подлость!

— У вас есть целый мешок золотого песка,—продолжал Месснер,—я видел, как вы снимали его с нарт.

— Сколько вы хотите?—спросил Уомбл, и в голосе его звучало такое же презрение, какое было написано на лице.

— Я подсчитал, сколько приблизительно может быть в вашем мешке, и... э-э... думаю, что около двадцати фунтов потянет. Что вы скажете о четырех тысячах?

— Но это все, что у меня есть!—крикнул Уомбл.

— У вас есть Тереза,—утешил его Месснер.—Разве она не стоит таких денег? Подумайте, от чего я отказываюсь. Право же, это сходная цена.

— Хорошо!—Уомбл бросился к мешку с золотом.—Лишь бы скорее покончить с этим делом! Эх вы!.. Ничтожество!

— Ну, тут вы не правы,—с насмешкой возразил Месснер.—Разве с точки зрения этики человек, который дает взятку, лучше того, кто эту взятку берет? Укрыва-

ющий краденое не лучше вора, не правда ли? И не утешайтесь своим несуществующим нравственным превосходством в этой маленькой сделке.

— К черту вашу этику!— взорвался Уомбл.— Идите сюда и смотрите, как я взвешиваю песок. Я могу вас надуть.

А женщина, прислонившись к койке, наблюдала в бессильной ярости, как на весах, поставленных на ящик, взвешивают песок и самородки—плату за нее. Весы были маленькие, приходилось взвешивать по частям, и Месснер каждый раз все тщательно проверял.

— В этом золоте слишком много серебра,— заметил он, завязывая мешок.— Пожалуй, тут всего три четверти чистого веса на унцию. Вы, кажется, слегка обставили меня, Уомбл.

Он любовно поднял мешок и с должным почтением к такой ценности понес его к нартам. Вернувшись, он собрал свою посуду, запаковал ящик с провизией и скатал постель. Потом, увязав поклажу, запряг недовольных собак и снова вернулся в хижину за рукавицами.

— Прощайте, Тэсс!— сказал он с порога.

Она повернулась к нему, хотела что-то ответить, но не смогла выразить словами кипевшую в ней ярость.

— Прощайте, Тэсс!— мягко повторил Месснер.

— Мерзавец!— выговорила она, наконец.

Шатаясь, она подошла к койке, повалилась на нее ничком и зарыдала.

— Скоты! Ах, какие вы скоты!

Джон Месснер осторожно закрыл за собой дверь и, трогаясь в путь, с чувством величайшего удовлетворения оглянулся на хижину. Он спустился с берега, остановил нарты у проруби и вытащил из-под веревок, стягивающих поклажу, мешок с золотом. Воду уже затянуло тонкой корочкой льда. Он разбил лед кулаком и, развязав тесемки мешка зубами, высыпал его содержимое в воду. Река в этом месте была неглубока, и в двух футах от поверхности Месснер увидел дно, тускло желтевшее в угасающем свете дня. Он плюнул в прорубь.

Потом он пустил собак по Юкону. Они жалобно повизгивали и бежали неохотно. Держась за поворот-

ный шест правой рукой и растирая щеки и нос левой, Месснер споткнулся о постромку, когда собаки свернули в сторону, следуя изгибу реки.

— Вперед, хромоногие! — крикнул он. — Ну же, вперед, вперед!



Тропой ложных солнц

Ситка Чарли курил трубку, задумчиво рассматривал наклеенную на стене иллюстрацию из «Полис-газет». Он полчаса, не отрываясь, глядел на нее, а я все это время украдкой следил за ним. В мозгу его происходила какая-то работа, — бог весть какая, но во всяком случае интересная. Он прожил большую жизнь, много повидал на своем веку и сумел совершить необычайное превращение: отошел от своего народа и стал, насколько это возможно для индейца, даже по своему духовному облику белым. Он сам говорил, что пришел на огонек, подсел к нашему костру и стал одним из нас. Он так и не научился читать и писать, но язык у него был замечательный, а еще замечательней — та полнота, с какой он усвоил образ мыслей белого человека, его подход к вещам.

Мы наткнулись на эту покинутую хижину после тяжелого дневного перехода. Теперь собаки были накормлены, посуда после ужина вымыта, и мы наслаждались тем чудным мгновением, которое наступает для путешественников по Аляске раз — только раз — в сутки, когда между усталым телом и постелью нет других препятствий, кроме потребности выкурить на ночь трубку. Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырванными из журналов и газет, и вот эти-то иллюстрации привлекли внимание Ситки Чарли, как только мы сюда приехали — часа два назад.

Он пристально изучал их, переводя взгляд с одной на другую и обратно; и я видел, что он сбит с толку, озадачен.

— Ну что? — нарушил я наконец молчание.

Он вынул трубку изо рта и сказал просто:

— Не понимаю.

Опять затянулся, опять вынул трубку и указал концом мундштука на иллюстрацию из «Полис-газет».

— Вот эта картинка. Что такое? Не понимаю.

Я взглянул. Человек с неправдоподобно злодейской физиономией, трагически прижав руку к сердцу, навзничь падает на землю; другой — что-то вроде карающего ангела с наружностью Адониса — стоит против него, подняв дымящийся револьвер.

— Какой-то человек убивает другого, — промолвил я, в свою очередь, сбитый с толку, чувствуя, что не умею подыскать объяснения изображенному.

— Почему? — спросил Ситка Чарли.

— Не знаю, — откровенно признался я.

— В этой картинке только конец, — заявил он. — У нее нет начала.

— Это жизнь, — сказал я.

— В жизни есть начало, — возразил он.

Я промолчал, а он перевел глаза на другое изображение — снимок с картины «Леда и лебедь».

— В этой картине нет начала, — сказал он. — И конца нет. Я не понимаю картин.

— Взгляни вот на эту, — указал я ему на третью иллюстрацию. — В ней есть определенный смысл. Как ты ее понимаешь?

Он рассматривал ее несколько минут.

— Девочка больна, — заговорил он наконец. — Вот — доктор, смотрит на нее. Они всю ночь не спали: видишь — в лампе мало керосина, в окне — рассвет. Болезнь тяжелая; может быть, девочка умрет, поэтому доктор такой хмурый. А это — мать. Болезнь тяжелая: мать положила голову на стол и плачет.

— Откуда ты знаешь, что плачет? — перебил я. — Ведь лица не видно. Может быть, она спит?

Ситка Чарли удивленно взглянул на меня, потом опять на картину. Было ясно, что впечатление его было безотчетным.

— Может, и спит, — согласился он. Потом посмотрел внимательнее. — Нет, не спит. По плечам видно, что не

спит. Я видел, как плачут женщины—и у них такие плечи. Мать плачет. Болезнь очень тяжелая.

— Ну вот, ты и понял содержание картины!— воскликнул я.

Он отрицательно покачал головой и спросил:

— Девочка умрет?

Теперь уж я вынужден был промолчать.

— Умрет она?— повторил он свой вопрос.— Ты художник. Может, знаешь?

— Нет, не знаю,— признался я.

— Это не жизнь,— наставительно промолвил он.— В жизни девочка либо умирает, либо выздоравливает. В жизни что-то происходит. На картине ничего не происходит. Нет, я не понимаю картин.

Он был явно раздосадован. Ему так хотелось понять все, что понятно белым, а в данном случае это не удавалось. В его тоне чувствовался также вызов: я должен был доказать ему наличие мудрости в картинах. Кроме того, он был наделен необычайно сильным воображением,—я давно это заметил. Он все представлял себе наглядно. Он созерцал жизнь в образах, ощущал ее в образах, образно мыслил о ней. И в то же время не понимал образов, созданных другими и запечатленных ими с помощью красок и линий на полотне.

— Картина— частица жизни,— сказал я.— Мы изображаем жизнь так, как мы ее видим. Скажем, ты, Чарли, идешь по тропе. Ночь. Перед тобой хижина. В окне свет. Одну-две секунды ты смотришь в окно. Увидел что-то и пошел дальше. Допустим, там человек, он пишет письмо. Ты увидел что-то без начала и конца. Ничего не происходило. А все-таки ты видел кусочек жизни. И вспомнишь его потом. У тебя в памяти осталась картина. Картина в раме окна.

Он явно был заинтересован: я знал, что, слушая меня, он как бы уже смотрел в окно и видел человека, который пишет письмо.

— Ты нарисовал одну картину, которая мне понятна,— сказал он.— Правдивая. С большим толком. Собрались у тебя в хижине в Доусоне люди. Сидят за столом, играют в фараон. По крупной. Не ограничивают ставок.

— Почему ты знаешь, что не ограничивают? — спросил я взволнованно, так как речь шла об оценке моего творчества беспристрастным судьей, который знает только жизнь, не знаком с искусством, а в области реального чувствует себя как рыба в воде. Надо сказать, что именно этой картиной я особенно дорожил. Я назвал ее «Последний кон» и считал одним из лучших своих созданий.

— На столе нету денег; — объяснил Ситка Чарли. — Играют на фишки. Значит — на все, что в банке. У одного желтые фишки — каждая, может, по тысяче, может, по две тысячи долларов. У другого красные — может, по пятьсот долларов, может, по тысяче. Очень крупная игра. Все ставки высокие, играют на весь банк. Почему я знаю? У твоего банкомета краска в лице. (Я был в восторге.) Тот, кому сдают, сидит у тебя на стуле, наклонившись вперед. Отчего он наклонился? Отчего у него такое застывшее лицо? А глаза горят. Отчего у банкомета краска в лице? Отчего все точно окаменели? И тот, что с желтыми фишками. И тот, что с белыми. И тот, что с красными. Отчего все молчат? Оттого, что очень крупная игра. Оттого, что последний кон.

— Почему ты знаешь, что последний? — спросил я.

— Банк на короле, семерка открыта, — ответил он. — На свои карты никто не ставит. Свои карты — в сторону. У всех одно на уме. Все ставят на семерку. Может, банк потеряет тысяч двадцать, может, выиграет. Да, эту картину я понимаю!

— А все-таки ты не знаешь конца! — победоносно воскликнул я. — Это последний кон, но карты еще не открыты. На картине они так и не будут открыты. Так и останется неизвестным, кто выиграл и кто проиграл.

— И они так и будут сидеть и молчать? — промолвил он с удивлением и ужасом во взгляде. — И тот, кому сдают, так и будет сидеть, наклонившись вперед? И краска не сойдет со щек банкомета? Как странно! Они будут сидеть там всегда, всегда. И карты так и не будут открыты.

— Это картина, — сказал я. — Это жизнь. Ты сам видал такие вещи.

Он поглядел на меня, подумал, потом медленно произнес:

— Да, ты правильно говоришь. Тут нет конца. Никто его не узнает. Но это верно. Я видел. Это жизнь.

Он долго курил, не произнося ни слова, оценивая изобразительную мудрость белого человека и сличая ее с жизненными явлениями. Иногда он покачивал головой и раза два что-то проворчал себе под нос. Потом выбил пепел из трубки, опять тщательно ее набил и после короткого раздумья закурил снова.

— Да, я тоже видал много картин жизни,— заговорил он.— Не нарисованных, а таких, которые видишь своими глазами. Я смотрел на них будто через окно, как на того, что пишет письмо. Я видел много кусков жизни— без конца, без начала, без ясного смысла.

Вдруг он обернулся ко мне, поглядел на меня в упор и задумчиво сказал:

— Послушай. Ты художник. Как бы ты изобразил то, что я видел однажды: картину без начала и с непонятным концом, кусок жизни, освещенный северным сиянием и вставленный в раму Аляски?

— Широкое полотно,— пробормотал я.

Но он не обратил внимания на мои слова, так как перед глазами его уже стояла картина, порожденная воспоминанием, и он созерцал ее.

— Ей можно дать разные названия,— продолжал он.— Но там было много ложных солнц, и вот я придумал назвать ее так: «Тропой ложных солнц». Это случилось давно. Я встретил эту женщину в первый раз семь лет тому назад, осенью тысяча восемьсот девяносто седьмого года. У меня было очень хорошее питербороуское каноэ на озере Линдерман. Я перевалил через Чилкут с двумя тысячами писем для Доусона,— я работал почтальоном. Тогда все рвались на Клондайк. Много народу находилось в пути. Многие валили деревья и делали лодки. Скоро станут реки; в воздухе снег, на земле снег, на озере лед, на реке в заводях тоже лед. День ото дня все больше снега, больше льда. Может, через день, может, через три, может, через неделю ударит мороз, и тогда — нет воды, один лед, и все пойдут пешком. До Доусона шестьсот миль, долгий путь.

А лодка быстро бежит. Всем хочется в лодку. Все говорят: «Чарли, возьми меня в каноэ; двести долларов дам»; «Чарли, триста долларов»; «Чарли, четыреста». Но я говорю: «Нет». Всем говорю: «Нет. Я почтальон».

Утром прихожу на озеро Линдерман. Шел всю ночь, очень устал. Готовлю завтрак, ем, потом три часа сплю на берегу. Просыпаюсь. Десять часов. Идет снег. Ветер сильный, очень сильный ветер. Рядом со мной женщина сидит на снегу. Белая женщина, молодая, очень красивая; лет, может, двадцать, может, двадцать пять. Смотрит на меня. Я — на нее. Очень устала. Да не какая-нибудь шальная бабенка, сразу видно — порядочная. И очень устала.

— Ты — Ситка Чарли? — спрашивает.

Я вскочил, поправил одеяла, чтобы снег не попадал внутрь.

— Я еду в Доусон, — говорит она. — В твоём каноэ. Сколько тебе?

Я никого не хочу пускать к себе в каноэ, но я не люблю говорить «нет». Я говорю ей:

— Тысячу долларов.

Я говорю это просто в шутку, чтобы женщина не могла ехать со мной; так лучше, чем говорить «нет». Она пристально смотрит на меня, потом спрашивает:

— Когда ты едешь?

— Сейчас.

Тогда она говорит:

— Ладно.

Она даст мне тысячу долларов.

Что было делать? Мне не хотелось брать женщину, но ведь за тысячу долларов я обещал отвезти ее. Я был удивлен. Может, она тоже шутит? Говорю:

— Покажи тысячу долларов.

И вот эта женщина, молоденькая женщина, совсем одинокая, здесь на тропе, среди снегов, вдруг вынимает тысячу долларов бумажками и кладет мне в руку. Гляжу на деньги, гляжу на нее. Что сказать?

— Нет, — говорю. — У меня очень маленькое каноэ. Не хватит места для поклажи.

А она смеется.

— Я, — говорит, — старый путешественник. Вот моя поклажа.

И пнула ногой в маленький сверток на снегу: две меховые полости и немного женской одежды завернуты в парусину. Беру сверток в руки—фунтов тридцать пять, не больше. Я удивлен. Она отбирает его у меня. Говорит:

— Поехали.

Несет сверток в каноэ. Что тут скажешь? Кладу свои одеяла в каноэ. Трогаем. Ветер свежий. Подымаю малый парус. Каноэ быстро побежало, птицей полетело по высокой волне. Женщина очень испугалась.

— Зачем приехала в Клондайк, коли так боишься? — спрашиваю.

Она смеется в ответ резким смехом, но видно, что страшно боится. И очень устала. Веду каноэ через стремнины к озеру Беннет. Вода бурная, и женщина вскрикивает от страха. Плыдем по озеру Беннет. Снег, лед, ветер неистовый, но женщина очень устала и засыпает.

Вечером устраиваем привал в Уинди-Арм. Женщина сидит у костра, ужинает. Я смотрю на нее. Она красивая. Причесывает волосы. Волосы густые, каштановые, похожи на золото в свете костра, когда она поворачивает голову— вот так— и по ним пробегают золотые отблески. Глаза большие, карие, иногда мягкие, как свет свечи за занавеской, иногда очень жесткие и блестят, будто льдинки на солнце. Когда она улыбается... как бы это сказать?... Когда она улыбается, я понимаю: белому человеку хорошо целовать ее. Да, вот как! Она не знает черной работы. Руки у нее нежные, как у ребенка. И вся она нежная, как ребенок, не такая хрупкая, но такая же мягкая; руки, ноги, все мускулы— нежные и мягкие, как у ребенка. Стан у нее тонкий. И, когда она встает, ходит, поворачивает голову, подымает руку... я не подберу слова... на это приятно смотреть, будто... ну будто она ладно построена, словно хорошее каноэ,— да, да, вот так, и ее движения— словно движение хорошего каноэ, когда оно скользит по речной глади или скачет в быстрых, резвых, пенистых волнах. Очень приятно смотреть.

Зачем она приехала в Клондайк, совсем одна, с кучей денег? Не знаю. На другой день я спросил ее. Она засмеялась и сказала:

— Ситка Чарли, это не твое дело. Я плачу тебе тысячу долларов, чтоб ты доставил меня в Доусон. Остальное не твое дело.

На другой день спрашиваю, как ее зовут. Засмеялась, потом говорит:

— Мэри Джонс, вот как.

Не знаю, как ее зовут, но только знаю хорошо, что не Мэри Джонс.

В каное очень холодно, и она чувствует себя плохо. А иногда хорошо — и поет. Голос у нее — серебряный колокольчик. И мне тоже делается хорошо, будто я в церкви Святого Креста. От ее пения я становлюсь сильным и гребу как черт. Потом она смеется и говорит:

— Приедем мы в Доусон до ледостава? Как ты думаешь, Чарли?

Иногда она сидит в каное и думает о чем-то далеком, вот с такими, совсем пустыми глазами! Она не видит ни Ситку Чарли, ни льда, ни снега. Она где-то далеко-далеко. Очень часто сидит она так, думая о чем-то далеком. Порой, когда она думает о далеком, у нее такое лицо, что лучше не смотреть. Лицо человека, пылающего гневом. Лицо человека, задумавшего убийство.

Последний день перед Доусоном очень тяжелый. Лед в заводях у берега, ледяная каша на реке. Нельзя грести. Каное вмерзает в лед. Не могу добраться до берега. Дело плохо. Плыдем вниз по Юкону — все время во льду. Ночью — сильный шум льда. Потом — лед стал, каное стало, все стало.

— Идем на берег, — говорит женщина.

Я говорю:

— Нет, лучше подождем.

Мало-помалу все снова двинулись вниз по реке. Валит снег, ничего не видно. В одиннадцать ночи все останавливается. В час снова трогается. В три останавливается. Каное раздавило, как яичную скорлупу, но оно не может затонуть — лежит на льду. Слышу вой собак. Ждем. Спим. Начинает светать. Снег больше не идет. Река стала. Перед нами Доусон. Каное раздавило перед самым Доусоном. Ситка Чарли доставил две тысячи писем по самой последней воде.

Женщина сняла хижину на холме, и я ее целую неделю не видел. Потом вдруг приходит ко мне и говорит:

— Чарли, иди работать ко мне. Будешь править собаками, устраивать привал, ездить со мной.

— Я почтальон,—говорю,—с меня довольно моего заработка.

А она мне:

— Чарли, я больше дам.

— Рудокоп на приисках получает пятнадцать долларов в день,—говорю.

А она:

— То есть чetyреста пятьдесят долларов в месяц?

— Ситка Чарли не рудокоп,—говорю я.

— Понимаю, Чарли,—говорит она.—Я тебе буду платить семьсот пятьдесят долларов в месяц.

Это хорошее жалованье. И я иду работать к ней. Мы поднимаемся по Клондайку, по Бонанзе и Эльдорадо, по Индейской реке, по Серному ручью, добираемся до Канады, поворачиваем назад через водораздел, через Золотое Дно и Золотые Россыпи, возвращаемся в Доусон. Она что-то ищет, не могу понять что. Я озадачен.

— Что ты ищешь?—спрашиваю.

Она смеется.

— Ты ищешь золото?

Опять смеется. Потом говорит:

— Не твое дело, Чарли.

И я больше не задаю вопросов.

У нее есть маленький револьвер; она его носит за поясом. Иногда в пути упражняется в стрельбе. Я смеюсь.

— Чего ты смеешься, Чарли?—спрашивает она.

— Зачем ты играешь этим?—спрашиваю.—Он не годится. Слишком мал. Детская игрушка.

Только вернулись в Доусон, она просит меня достать ей настоящий. Покупаю кольт сорок четвертого калибра; очень тяжелый, но она все время носит его за поясом.

В Доусоне появляется мужчина. Откуда он взялся, не знаю. Знаю только, что он чечак; по-вашему — новичок. Руки нежные, как у нее. Черной работы не знает. Весь

нежный. Сперва я подумал: верно, муж. Нет, слишком молод. И спят врозь. На вид ему лет двадцать. Глаза голубые, волосы светлые, усики тоже. Звать Джон Джонс. Может брат? Не знаю. Я больше не задаю вопросов. Только думаю: он не Джон Джонс. Все зовут его мистер Джирвэн. Думаю, что и это тоже не его фамилия. И она не мисс Джирвэн, как ее все называют. Думаю, никто не знает их настоящих имен.

Как-то ночью, в Доусоне, я спал. Он меня будит. Говорит:

— Запрягай собак. Едем.

Я больше не задаю вопросов; иду, запрягаю собак, и мы трогаем. Идем вниз по Юкону. Время ночное, ноябрь и очень холодно: шестьдесят пять ниже нуля. Она нежная. Он нежный. Мороз жгучий. Они устали, плачут втихомолку. Говорю им: «Лучше остановиться, сделать привал». Но они говорят: «Вперед». Во второй и в третий раз говорю им, что лучше устроить привал и отдохнуть, но они каждый раз говорят: «Вперед». Больше я ничего не говорю. И так все время, изо дня в день. Они очень нежные. Коченеют от холода и совсем замучились. Не привыкли к мокасинам, натирают себе ноги; хромают, шатаются, как пьяные, плачут втихомолку и все твердят: «Вперед! Вперед!»

Они как сумасшедшие. Все время вперед и вперед. Зачем вперед? Не знаю. Но только вперед. Чего им надо? Не знаю. Только не золота. Золотой горячки нет. И они тратят массу денег. Но я больше не задаю вопросов. Я тоже иду вперед и вперед, потому что я вынослив и мне хорошо платят.

Мы в городе Серкл. Того, что они ищут, там нет. Ну, думаю, теперь мы отдохнем и дадим отдых собакам. Но мы не отдыхаем — ни одного дня передышки.

— Подымайся, — говорит она ему. — Едем вперед.

И мы едем вперед. Оставляем Юкон. Идем на запад, пересекаем водораздел и спускаемся в край Тананы. Там — новые прииски. Но того, что они ищут, там нет, и мы возвращаемся в Серкл.

Дорога тяжелая. Конец декабря. День короткий. Очень холодно. Как-то утром было семьдесят ниже нуля.

— Сегодня лучше не ездить,— говорю я.— Ледяной воздух попадет в легкие и обожжет их, будет скверный кашель, а весной того и гляди—воспаление.

Но они—чечак. Ничего не смыслят в переходах. Похожи на мертвецов от усталости, но говорят:

— Вперед!

И мы едем вперед. Мороз обжигает им легкие, начинается сухой кашель. Они кашляют так, что слезы катятся у них по щекам. Когда я жарю сало, они бегут прочь от костра и полчаса кашляют на снегу. Они отмораживают себе щеки, кожа чернеет, и им очень больно. Кроме того, он отмораживает себе большой палец, так что кончик вот-вот отвалится и нужно надевать еще перчатку под рукавицу, чтобы держать больное место в тепле. А в очень свирепый мороз, когда палец зябнет, приходится, сняв рукавицу, засовывать руку между ног, прямо к телу, чтобы согреть его.

Входим, ковыляя, в Серкл. И даже я, Ситка Чарли, чувствую, что устал. Сочельник. Я пью, пляшу, веселюсь: ведь завтра рождество, будем отдыхать. Не тут-то было. Пять часов утра. Рождество. Я спал два часа. А он стоит у моей постели:

— Вставай, Чарли. Запрягай собак. Едем.

Я ведь, кажется, говорил, что перестал задавать вопросы? Они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. Они хозяева. Я их слуга. Если они мне скажут: «Вставай, Чарли, едем в преисподнюю»,—я запрягу собак, щелкну бичом и поеду в преисподнюю. И вот я иду, запрягаю, и мы трогаем вниз по Юкону. Куда? Они не говорят. Твердят только:

— Вперед! Вперед! Едем вперед!

Они очень устали. Они проехали много сотен миль и ничего не смыслят в переходах. Кроме того, у них скверный кашель—сухой кашель, от которого сильный человек начинает ругаться, а слабый—плакать. Но они едут вперед. Каждый день—вперед. Никакого отдыха собакам. Все время покупают новых. На каждом привале, в каждом поселке, в каждой индейской деревне они перерезают постромки усталых собак и впрягают свежих. У них очень много денег, без счета; и они сорят ими направо и налево. Сумасшедшие? Иногда мне кажется:

да. В них вселился какой-то бес, который толкает их вперед и вперед, все время без оглядки вперед. Чего они ищут? Не золота. Они никогда не пробуют копать. Я долго думаю. И мне приходит в голову, что они ищут какого-то человека. Но кого? Мы его нигде не встречаем. Но они похожи на волков, рыщущих по следам добычи. Только это странные волки, нежные; не волки, а волчата, и ничего не смыслят в переходах. По ночам они громко плачут во сне, охают, стонут, жалуется на свою страшную усталость. А днем, шатаясь, бредут вперед и плачут втихомолку. Странные волки.

Проезжаем форт Юкон. Проезжаем форт Гамильтон. Проезжаем Минук. Уже январь на исходе. День очень короткий. В девять часов рассвет. В три — уже сумерки. И холод. И даже я, Ситка Чарли, устал. Неужели вечно ехать и ехать вот так, без конца? Не знаю. Но все время высматриваю впереди — чего они ищут? На тропе безлюдно. Иногда проезжаем сто миль и не встречаем признаков жизни. Полный покой. Тишина. Иногда идет снег, и мы похожи на привидения. Иногда ясно, и в полдень солнце выглянет на минутку из-за холмов на юге. В небе полыхает северное сияние, пляшут ложные солнца; воздух полон морозной пыли.

Я, Ситка Чарли, сильный человек. Я рожден в пути и все свои дни провел в переходах. Но эти два волчонка измотали меня. Я отощал, как голодная кошка, стал радоваться по ночам, что лежу в постели, а утром вставал не отдохнувши. Но мы по-прежнему пускаемся в путь до света, в потемках, и ночь застает нас еще в пути. Ох, уж эти волчата! Если я тощ, как оголодавшая кошка, то они тощи, как кошки, которые так давно не ели, что подыхают с голоду. Глаза у них ввалились и то горят в глубине глазниц лихорадочным огнем, то становятся мутными, тусклыми, как у мертвецов. На месте щек — ямы, как пещеры в скале. Черные щеки без кожи — из-за частых отмораживаний. Иногда по утрам она говорит:

— Не могу подняться. Не могу двинуться. Лучше умереть.

Но он стоит у ее постели:

— Вставай. Едем.

И они едут. А в другой раз он не может подняться, и она говорит ему:

— Вставай. Едем.

Но всегда одно: они едут вперед. Все вперед и вперед.

Иногда, в торговых пунктах, они получают письма. Я не знаю, о чем там написано. Но это след, по которому они идут,—эти письма направляют их на след. Раз индеец принес им письмо. Я потолковал с ним один на один. Он сказал, что письмо дал ему одноглазый человек, который поспешно спускается вниз по Юкону.

И все. Но я понял: волчата гонятся за этим одноглазым.

Февраль. Мы проехали полторы тысячи миль. Выходим к Берингову морю. Там штормы, бураны. Передвигаться трудно. Приезжаем в Анвиг. Я почему-то уверен, что они получают здесь письмо. Они страшно волнуются, твердят:

— Скорей, скорей! Вперед!

Я говорю:

— Надо купить съестных припасов.

А они говорят:

— Надо ехать быстро, налегке. Еду можно будет достать в хижине Чарли Мак-Киона.

Понимаю, что они решили свернуть на Большое спрямление, потому что Чарли Мак-Кион живет как раз там, у Черного Утеса, возле самой тропы.

Перед выездом я перекинулся словечком с анвигским священником. Да, тут проезжал одноглазый, очень спешил. Так оно и есть: они ищут одноглазого. Из Анвига уезжаем почти без припасов; едем налегке, спешим. В Анвиге они купили трех новых собак, и мы едем очень быстро. И он и она—как сумасшедшие. По утрам мы еще раньше трогаемся в путь, на ночлег останавливаемся еще позже. Иногда я оборачиваюсь—посмотреть, не умирают ли они, эти двое волчат; но они держатся. Они рвутся вперед, вперед. Когда их начинает бить сухой кашель, они прижимают руки к груди и кашляют, кашляют, кашляют, скорчившись на снегу. Они не могут идти, не могут говорить. Они кашляют десять минут, а может, и полчаса, потом

выпрямляются. Слезы замерзают у них на лице, но они говорят только:

— Вперед, вперед!

Даже я, Ситка Чарли, страшно устал и начинаю думать, что семьсот пятьдесят долларов — невысокая плата за такой труд. Выезжаем на Большое спрямление; свежий след. Волчата уткнулись носом в след и говорят:

— Шевелись!

Все время твердят:

— Шевелись! Живей! Живей!

Собакам приходится туго. У нас мало корма, мы не можем кормить их досыта, и они слабеют. А работа им выпала тяжелая. Женщина от всего сердца жалеет их, и часто из-за них у нее слезы на глазах. Но дьявол, который в нее вселился и толкает ее вперед, не позволяет сделать остановку и дать собакам отдых.

И вот мы настигаем одноглазого. Он лежит на снегу возле тропы; у него сломана нога. Из-за ноги он не мог устроить хорошего привала и пролежал три дня на своих одеялах, кое-как поддерживая огонь. Когда мы нашли его, он лежал и ругался, как дьявол. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так ругался.

Я был рад: они нашли то, что искали, и мы теперь отдохнем. Но женщина говорит:

— Едем. Скорей!

Я удивлен. А одноглазый говорит:

— Не думайте обо мне. Оставьте мне только свои припасы. Вы завтра купите себе у Мак-Киона. И пошлите Мак-Киона за мной. А сами — вперед!

Он тоже волк, только старый. И у него тоже одна мысль: вперед! Мы отдаем ему свои припасы — их немного осталось! — колем ему дрова, берем самых сильных его собак и едем.

Мы оставили одноглазого на снегу. И он умер там, потому что Мак-Кион так и не приехал за ним. Я не знаю, кто был этот человек и как он там очутился. Но думаю, что мои хозяева щедро платили ему, как и мне, за его работу для них.

Весь тот день и всю ночь нам нечего было есть. И весь следующий день мы ехали очень быстро и в конце концов совсем ослабели от голода. Потом мы достигли

Черного Утеса, который возвышается на пятьсот футов над тропой. Это было к вечеру. Уже смеркалось, и мы не могли найти хижину Мак-Киона. Мы легли спать голодные, а утром стали искать хижину. Она исчезла. И это было очень странно, так как все знали, что Мак-Кион живет в хижине около Черного Утеса. Мы находились близко от побережья, где дует сильный ветер и много снега. Ветром намело много снежных холмов.

Мне приходит в голову мысль. Раскапываю один холм, другой. Натыкаюсь на стены хижины. Копаю дальше, пока не нахожу дверь. Вхожу. Мак-Кион лежит мертвый. Он умер, может, две, может, три недели назад. Какая-то болезнь помешала ему выйти из хижины. Ее занесло снегом. Он съел весь свой запас и умер. Я заглянул в его кладовую, в ней было пусто.

— Вперед,—сказала женщина. Глаза ее светились голодным огнем, а рука лежала на сердце, словно у нее болело внутри. Она стояла и качалась, как дерево на ветру.

— Да, вперед,—сказал мужчина.

Голос его звучал глухо, словно карканье старого ворона. И от голода он был как помешанный. Глаза горели, как раскаленные угли. Его шатало из стороны в сторону. И я видел, что душа еле держится у него в теле.

И я тоже сказал:

— Вперед!—потому что эта мысль хлестала меня, как бич, каждую милю полуторатысьемильного пути и в конце концов врезалась мне в душу, и я, должно быть, сам помешался. Да нам и не оставалось ничего другого, как ехать вперед: ведь у нас не было припасов. И мы поехали вперед, не думая об одноглазом, которого бросили там, на снегу.

Большое спрямление — малоезженная тропа. Иной раз за два-три месяца никто не проедет здесь. Тропу занесло снегом, и на ней не было никаких следов человека — ни в ту, ни в другую сторону. Круглые сутки дул ветер, валил снег. И мы ехали день и ночь, и голод терзал наши внутренности. И с каждым шагом мы все больше слабели. Потом женщина стала падать. А там и мужчина. Я не падал, но у меня отяжелели ноги, и я несколько раз спотыкался и чуть не свалился.

Последняя ночь февраля. Подстрелил трех белых куропаток из ее револьвера, и мы немного подкрепились. Но собакам есть нечего. Они пробуют грызть упряжь, сделанную из бычьей и моржовой кожи; пришлось отогнать их палкой, а упряжь повесить на дерево. И собаки всю ночь воют и дерутся под этим деревом. Но мы не обращаем внимания. Мы спим как убитые, а утром встаем, как мертвецы из могил, и едем вперед.

Первое марта. Утром впервые вижу след того, за кем гонятся волчата. День ясный и холодный. Солнце дольше стоит в небе, и по обе стороны от него сверкают ложные солнца, и воздух блестит морозной пылью. Снег больше не падает на тропу, и я вижу свежие следы собак и полозьев. С упряжкой идет один человек, и по следам его вижу, что у него мало сил. Тоже недоедает. Волчата при виде свежих следов теряют голову.

— Шевелись!—говорят они. Все время твердят:— Шевелись! Поспешай, Чарли. Скорей, скорей!

Мы спешим, но очень медленно. И он и она все время падают. А если пробуют сесть на нарты, так валятся с ног ослабевшие собаки. Да и холод такой, что, сидя на нартах, замерзаешь. Голодному легко замерзнуть. Когда женщина падает, мужчина помогает ей встать. А другой раз она помогает ему. Но то и дело они падают оба сразу и не могут встать. И мне каждый раз приходится подымать их, иначе они так и останутся лежать и умрут на снегу. Мне трудно возиться с ними, потому что я очень устал и еще должен править собаками, а они совсем обессилели и от этого стали тяжелые. И я теперь тоже то и дело валяюсь в снег, но мне никто не помогает—я должен подыматься сам. И я все время встаю сам, подымаю их и погоняю собак.

Вечером я убиваю только одну куропатку, и мы очень голодны. А он говорит мне:

— Когда завтра тронемся, Чарли?

Голос его звучит глухо, будто из могилы.

— Ты всегда велишь трогаться в пять утра,—говорю я.

— Завтра мы тронемся в три,—повторяет он.

— Ты погибнешь,—с горьким смехом говорю я.

— Завтра мы тронемся в три,—говорит он.

И мы трогаемся в три, потому что я их слуга и делаю то, что они прикажут. Ясно, холодно, тихо, ветра нет. С рассветом становится видно далеко. И тишина. Мы слышим только стук своих сердец: в этой тишине они стучат очень громко. Мы как лунатики шагаем во сне, пока не упадем; тогда понимаем, что надо встать. И снова видим тропу и слышим стук своих сердец. И я шагаю как во сне, и мне вдруг приходят в голову странные мысли. «Зачем Ситка Чарли живет на свете? — спрашиваю я себя. — Зачем Ситка Чарли трудится в поте лица, ходит голодный и терпит такие мучения?»

«Ради семисот пятидесяти долларов в месяц», — отвечаю я сам себе, понимая, что это глупый ответ. Но это правильный ответ... И с той поры я никогда не думаю о деньгах. Потому что в тот день у меня открылись глаза, вспыхнул яркий свет и мне стало хорошо. И я понял, что человек должен жить не ради денег, а ради счастья, которое никто не может ни дать, ни купить, ни продать, которого не оплатишь ничем.

Утром подъезжаем к последнему ночному привалу того, кто впереди. Плохой привал, привал человека голодного и слабого. На снегу лоскуты одеяла и парусины. И я уже знаю, в чем дело: его собаки съели упряжь, и он сделал новую — из своих одеял.

Мужчина и женщина так и впились глазами в эти остатки. Я гляжу на них обоих, и по спине у меня пробегают мурашки, как от холодного ветра. Глаза у них запали глубоко в глазницы и горят безумным огнем от усталости и голода. Лица — как у людей, умерших от голода, и щеки чернеют мертвой плотью, обожженные морозом.

— Вперед, — говорит он.

Но она кашляет и падает на снег. Это сухой кашель, легкие у нее тоже обожжены морозом. Она кашляет долго, потом с трудом становится на ноги, словно вылезает из могилы, слезы на щеках у нее превращаются в лед, и дыхание со свистом вырывается из груди. Но она говорит:

— Вперед!

Мы снова пускаемся в путь. Шагаем как во сне, среди безмолвия. Засыпаем на ходу и не чувствуем муки.

И вдруг падаем — и пробуждаемся. И видим снег, и горы, и свежий след того, кто впереди, и снова чувствуем всю нашу муку. Доходим до места, где открывается снежная даль, и то, что они ищут, — прямо перед нами. На расстоянии мили от нас — черные пятна на снегу. Эти черные пятна движутся. У меня темно в глазах, и я напрягаюсь изо всех сил, чтобы рассмотреть. Вижу: человек с собаками, нарты. Волчата тоже видят. Они уже не могут говорить, они шепчут:

— Вперед! Вперед! Скорей!

И валятся с ног, но идут. У того, кто впереди, все время рвется упряжь из одеял; он должен останавливаться и чинить ее. У нас упряжь в порядке, потому что я вешал ее каждый вечер на дерево. В одиннадцать часов человек — в полумиле от нас. В час дня — в четверти мили. Он очень слаб. Мы видим, как он то и дело падает на снег. Одна из его собак не может больше идти и он перерезает постромку, но не убивает собаку. И я убиваю ее топором, когда прохожу мимо, — как делаю со своими собаками, когда они выбиваются из сил и не могут идти дальше.

Теперь нас разделяют с ним триста ярдов. Мы подвигаемся очень медленно: может, милю за два-три часа. Мы не идем. Мы все время падаем. Встаем, делаем, спотыкаясь, два-три шага и опять падаем. И я все время должен подымать их обоих. Иной раз, поднявшись на колени, они валятся ничком на снег; три-четыре раза тычутся головой в снег, прежде чем находят силы встать на ноги; потом сделают два-три шага и, шатаясь, снова падают. Но падают они всегда вперед. Стоят ли на ногах или на коленях — они падают только вперед, и так каждый раз приближаются к цели на длину своего тела.

Иногда они ползут на четвереньках, подобно лесным зверям. Мы подвигаемся, как улитки, — как умирающие улитки, вот как мы тащимся. И все же быстрее, чем тот — впереди. Потому что он тоже все время падает и с ним нет Ситки Чарли, чтобы поднять его. Вот он в двухстах ярдах от нас. Проходит много времени — и он в ста ярдах.

Забавное зрелище! Такое забавное, что мне хочется громко смеяться. Да, да, хохотать во все горло. Гонки

мертвецов и мертвых собак. Как во сне, когда тебя мучает кошмар: ты бежишь со всех ног, чтобы спасти свою жизнь, а подвигаешься страшно медленно. Мужчины сошел с ума. Женщина сошла с ума. Я сошел с ума. Весь мир сошел с ума. И это так забавно, что меня душит смех.

Незнакомец впереди бросает своих собак и дальше идет по снегу один. Проходит много времени, но вот мы наконец поравнялись с его собаками. Они лежат на снегу, беспомощные, в упряжке из одеял и парусины, с нартами позади. И когда мы минуем их, они скулят и воют, взывая к нам, как голодные дети.

Потом и мы бросаем своих собак и бредем по снегу одни. Он и она — живые трупы. Охают, стонут, всхлипывают, но идут вперед. Я тоже иду вперед. У меня одна только мысль: догнать неизвестного. Тогда я отдохну. Только тогда. И, кажется, лягу и просплю тысячу лет, так я устал.

Неизвестный в пятидесяти ярдах от нас, совсем один на белом снегу. Он падает и ползет, встает, спотыкается, падает и опять ползет. Как тяжело раненный зверь, который хочет уйти от охотника. Вот он уже больше не подымается, а только ползет на четвереньках. Мужчина и женщина тоже больше не встают, ползут за ним. Но я встаю. Падаю, но каждый раз опять встаю.

Странная картина! Вокруг снег, и среди этого снега и безмолвия ползут мужчина и женщина. А впереди них — неизвестный. По обе стороны солнца стоят ложные солнца, так что в небе их сразу три. В воздухе от мороза алмазная пыль. Вот женщина кашляет и неподвижно лежит на снегу, пока не пройдет приступ, а потом снова ползет. Вот мужчина глядит вперед, и глаза у него слезятся, как у старика; ему приходится протирать их, чтобы увидеть неизвестного. Вот неизвестный оглядывается через плечо... А Ситка Чарли еще кое-как держится на ногах и если падает, то опять встает во весь рост.

Проходит много времени, и неизвестный перестает ползти. Он медленно поднимается на ноги, снимает рукавицу и ждет с револьвером в руке, качаясь из стороны в сторону. Лицо его — кожа да кости и все в

черных пятнах: обморожено. Лицо голодающего. Глаза глубоко ввалились, зубы оскалены.

Мужчина и женщина тоже поднимаются на ноги и очень медленно идут к нему. И вокруг только снег и тишина. И в небе—три солнца. А воздух сверкает алмазной пылью.

И вот случилось, что я, Ситка Чарли, увидел, как волчата совершили убийство. Никто—ни слова. Только неизвестный с лицом голодающего страшно оскалил зубы. Он качается из стороны в сторону, опустив плечи, согнув колени, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Мужчина и женщина останавливаются футах в пятидесяти от него. Они тоже широко расставили ноги, чтобы не упасть, и их тоже качает из стороны в сторону. Неизвестный очень слаб. У него дрожит рука, и пуля, которую он посылает в мужчину, уходит в снег. Мужчина никак не может снять рукавицу. Неизвестный опять стреляет в него. И на этот раз пуля пролетает мимо. Тогда мужчина зубами стаскивает рукавицу. Но рука у него отморожена; он не может удержать револьвер и роняет его в снег. Я смотрю на женщину. Она тоже сняла рукавицу, и в руке у нее большой кольт. Она делает три выстрела, один за другим, подряд. Неизвестный, все также оскалив зубы, валится ничком в снег. Они не смотрят на убитого.

— Вперед,—говорят они.

И мы идем. Но теперь, найдя то, что искали, они становятся мертвецами. Силы покидают их. Они совсем не могут стоять на ногах. Они не могут даже ползти. У них одно только желание—закрыть глаза и уснуть. Вижу невдалеке удобное место для привала, пинаю их ногой. У меня в руках бич для собак, и я хлещу их. Они громко кричат и ползут поневоле и кое-как подползают к месту для привала. Я развожу костер, чтоб они не замерзли, потом пригоняю нарты. Убиваю собак неизвестного, чтобы нам не умереть с голоду. Укрываю обоих одеялами, и они засыпают. Время от времени бужу их и даю им поесть; они едят не просыпаясь. Женщина спит полтора суток, потом просыпается и опять засыпает. Мужчина спит двое суток, просыпается и опять засыпает. После этого мы трогаемся к побережью, в Сент-Майкл. И когда Берингово море очищается от льда,

мужчина и женщина уезжают на пароходе. Но перед этим они выплачивают мне по семьсот пятьдесят долларов за месяц. И еще дают тысячу долларов—в подарок.

В тот год Ситка Чарли передал крупную сумму миссии Святого Креста.

— Почему ж они убили неизвестного?—спросил я.

Ситка Чарли ответил не сразу. Сперва он закурил трубку, поглядел на иллюстрацию из «Полис-газет», многозначительно кивнул на нее и неторопливо промолвил:

— Я много думал. Не знаю. Так было. Это картина, которую я помню. Все равно как если б я заглянул в окно и увидел человека, пишущего письмо. Они вошли в мою жизнь и вышли из нее. И картина получилась такая, как я сказал: без начала и с непонятным концом.

— Ты нарисовал целый ряд картин, пока рассказывал,—заметил я.

— Да,—кивнул он.—Но все они без начала и без конца.

— Самая последняя имела конец,—возразил я.

— Да,—ответил он.—Но какой?

— Это был кусок жизни,—сказал я.

— Да, кусок жизни,—подтвердил он.

Когда боги смеются

О боги, боги! Времени молва
Смолкает перед ними. Сколько спето
Им страстных гимнов, сколько рук воздето
В молитве к ним! Да будет так, Фелица!
Ведь это—божества!



Каркинес наконец-то улыбнулся и придвинул стул к огню. Он посмотрел на стекла, дребезжавшие в оконных рамах, перевел взгляд на бревенчатый потолок и прислушался к диким завываниям юго-восточного ветра, дышавшего на мой домик своей свирепой пастью. Потом поднял стакан и радостно засмеялся, глядя сквозь золотистое вино на огонь в камине.

— Какая красота! — сказал он. — И какая в нем сладость! Это вино создано для женщин, его же и монахи принимают!

— Оно родом с наших согретых солнцем холмов, — сказал я с простительной калифорнийцу гордостью. — Вы же проезжали вчера по здешним виноградникам.

Каркинеса стоило немного расшевелить. Да откровенно говоря, он становился самим собой лишь в те минуты, когда искрометное вино горячило ему кровь. Правда, он был художник — художник всегда и во всем. Но без вина мысль его работала вяло, и, трезвый, он бывал подчас удручающе скучным, точно английское воскресенье; разумеется, не таким, какими бывают по-настоящему скучные люди, а скучным по сравнению с тем Монте Каркинесом, который неизменно блистал остроумием, когда становился самим собой.

Из всего этого не следует делать вывод, будто Каркинес — мой любимый друг и верный товарищ — пил горькую. Отнюдь нет! Обычно он не позволял себе никаких излишеств. Как я уже сказал, Каркинес был художник. Он знал меру во всем, и этой мерой ему служило равновесие — то душевное равновесие, которым обладаем мы с вами, когда бываем трезвы.

Мудрая, инстинктивная воздержанность Каркинеса сближала его с эллинами, но во всем остальном он был далек от эллинов. Помню, он говаривал мне: «Яцтек, я инка, я испанец». И действительно, в асимметричных, резких чертах его смуглого лица проглядывало что-то родственное этим древним племенам. Его широко расставленные глаза поблескивали дикарским блеском под крутым изломом бровей, и на них падала прядь черных волос, сквозь которую он выглядывал, точно плутоватый сатир из густых зарослей. Каркинес всегда ходил в бархатной куртке и фланелевой рубашке с красным галстуком. Этот последний предмет его туалета символизировал собой красный флаг (в Париже Каркинес близко сошелся с социалистами) и кровное братство всех людей. На голове он носил только сомбреро с кожаной лентой — ни в чем другом его не видели. Злые языки даже утверждали, будто он так и появился на свет в этом

головном уборе. Мне же лично доставляло огромное удовольствие смотреть, как это мексиканское сомбреро подзывает кеб на Пикадилли и как его швыряет из стороны в сторону в толпе, берущей приступом поезд нью-йоркской надземной железной дороги.

Я уже сказал раньше, что Каркинес оживал под действием вина — «подобно тому (говорил он сам о себе), как ожила глина, когда господь вдохнул в нее дыхание жизни». Увы! К богу Каркинес относился с кощунственной фамильярностью, хотя вообще-то в кощунстве его никто не мог обвинить. Он был натура прямодушная, но вся сотканная из противоречий, и людям, мало с ним знакомым, это мешало разобраться в нем. Да разве разберешься сразу в человеке то необузданном, как дикарь, то нежном, как девушка, то изысканном, как испанец! Но ведь он и сам называл себя ацтеком, инкой, испанцем!

А теперь я должен попросить извинения, что уделил ему здесь столько места. (Он мой друг, и я люблю его.)

Итак, мой домик дрожал под порывами ветра, а Каркинес придвинул стул к камину и рассмеялся, подняв на свет свой стакан с вином. Он посмотрел на меня, и по тому, как весело блеснули его и без того блестящие глаза, я понял, что наконец-то мой друг настроился на должный лад.

— Итак, вы думаете, будто вам удалось обыграть богов? — спросил он.

— При чем тут боги?

— А кто, как не они, обрекают человека постоянно испытывать чувство пресыщения?

— Не знаю. Я стараюсь избежать его по собственной воле! — торжествующе воскликнул я.

— Нет, без богов и тут не обошлось, — со смехом сказал он. — Банк мечут боги. Они тасуют колоду, сдают... и, глядишь, загребают себе все ставки. Не думайте, будто ваше бегство из отравленных безумием городов спасет вас. Что они вам дадут, эти одетые виноградниками холмы, эти закаты, восходы, простая пища, буколический образ жизни? Ничего! Я наблюдаю за вами с первого дня, как приехал сюда. Вы не обыграли богов. Вы сдались. Вы сдались на милость противника. Вы

признались, что не можете больше бороться, и выбросили белый флаг. Вы прибили к стене объявление, в котором признаете, что силы ваши иссякают. Вы убежали от жизни. Уловка! Жалкая уловка! Отказавшись продолжать игру, вы швырнули карты под стол и спаслись бегством сюда, под защиту этих холмов.

Он откинул со лба прямую черную прядь, упавшую на его сверкающие глаза, и умолк только на секунду, чтобы свернуть длинную мексиканскую сигарету.

— Нет, богов не проведешь. Ваша уловка стара, как мир. Ее пускали в ход из поколения в поколение, но она никого не спасла. Боги знают, как поступать с вами и вам подобными. Погоня ведет к обладанию, а обладание ведет к пресыщенности. И вот вы, мудрец, решили поставить крест на всех своих стремлениях. Вы предпочли отказаться от всего. Что ж, прекрасно! Но этот отказ вскоре будет вам в тягость. Вы утверждаете, что уберегли себя от пресыщения. Неправда! Оно просто пошло у вас в обмен на старческую дряхлость. А старческая дряхлость—синоним пресыщения. Это маска, под которой прячется пресыщение. Вот так-то!

— Да вы взгляните на меня!—воскликнул я.

Каркинес, как никто другой, умел залезть человеку в душу и разодрать ее в клочья.

Уничтожающим взглядом он смерил меня с головы до ног.

— Где вы видите во мне признаки старческой дряхлости?—с вызовом бросил я ему.

— Увядание подкрадывается незаметно,—отвечал он.—Вы перезрели и гниете с сердцевины.

Я рассмеялся и простил этого задиру. Впрочем, он вовсе не нуждался в моем прощении.

— Как будто я не знаю!—продолжал Каркинес.—Боги всегда выигрывают. Мне приходилось наблюдать людей, которые годами вели игру—по их разумению, верную игру,—и в конце концов теряли все.

— Неужели вы никогда не ошибались?—спросил я.

Прежде чем ответить, он в раздумье пустил дым колечками.

— Да, однажды меня чуть было не провели. Вот, послушайте. Был такой Марвин Фиск. Помните его?

Дантовский профиль, поэтическая душа, песнопения во славу плоти—истинный жрец любви. И была такая Этель Бейрд, которую вы тоже должны помнить.

— Святая с лучистыми глазами?

— Совершенно верно! Олицетворение сладостной любви. Женщина, созданная для любви и вместе с тем... как бы это выразиться?... дурманящая своей святостью, как здешний воздух дурманит вас ароматом цветов. Так вот, они поженились. Они вступили в игру, партнерами по которой у них были боги...

— И выиграли, блистательно выиграли!— перебил его я.

Каркинес с состраданием посмотрел на меня, и, когда он заговорил снова, его слова прозвучали, как погребальный звон.

— Они остались в проигрыше, в бесславном проигрыше.

— В обществе придерживаются другого мнения на этот счет,— холодно заметил я.

— Общество основывается на догадках. Обществу видно только то, что на поверхности. А я—я знаю... Вы никогда не задумывались над тем, почему Этель Бейрд постриглась в монахини, заживо похоронила себя в обители скорби?

— Потому, что она любила его, и когда он умер...

Презрительная усмешка Каркинеса заставила меня умолкнуть.

— Ответ стандартный, словно отштампованный на машине,— сказал он.— Суд общества! Много общество знает! Этель Бейрд, как и вы, бежала от жизни. Она потерпела поражение и выкинула белый флаг. И ни один осажденный город не выкидывал белого флага с такой горечью, с такими слезами.

Выслушайте эту историю от меня, из первоисточника,—я знаю, о чем говорю. Марвин Фиск и Этель Бейрд размышляли над угрозой пресыщения. Они любили Любовь. Они знали ей цену, как никто другой. Они так дорожили Любовью, что им хотелось удержать ее, чтобы она всегда согревала их сердца своим горячим трепетом. Они радовались ее приходу и боялись, как бы она не покинула их.

Любовь — это желание, это сладостная боль, которая жаждет утоления и, пайдя его, умирает. Так говорили они. Любовь жаждущая продолжает жить вечно; Любовь утоленная умирает. Вы понимаете, к чему я веду? Они знали, что людям претит то, чего они вкусили вволю. Насыщаться и испытывать одновременно чувство голода — этого человеку никогда не удавалось достичь. Угроза пресыщения! Да! Вот в чем вся суть. Насыщаться, сидя за уставленным яствами столом, и удерживать голод на самой острой его грани — вот такая задача стояла перед ними, ибо они любили Любовь. Сколько раз они говорили об этом, и взоры их источали сладкое томление Любви, ее алая кровь румянила им щеки, ее голос звучал в их голосах, то дрожа где-то глубоко в груди, то оттеняя слова той невыразимой нежностью, которая ведала одной лишь ей.

Вы спросите, откуда мне известно все это? Я видел, многое видел сам, а еще больше узнал из дневника Этель Бейрд. Вот какую цитату из Феоны Маклауда¹ я нашел там: «Истинно говорю вам, что этот прерывистый голос, этот сумеречный шепот, это сладостное, свежее дыхание, этот огненнокрылый Кифаред, который предстает пред людским взором только на мгновение в радужных переливах счастья или во внезапной, слепящей вспышке страсти, — этот таинственный чудотворец, которого мы зовем Эрос, открывается лишь избранныкам, ясновидцам, и приходит он не с громкой песней на устах, не под звуки веселой скрипки, а неслышно, тайком, и немота его яснее слов говорит о желании».

Как же удержать этого огненнокрылого Кифареда, чье безмолвие яснее слов говорит о желании? Насытить его — значит, расстаться с ним. Марвин Фиск и Этель Бейрд любили друг друга великой любовью. Их богатства были несметны, и все же им хотелось, чтобы чувство их не оскудевало.

И ведь вы не назвали бы их неоперившимися птенцами, которые пускаются в рассуждения, стоя у порога Любви. Нет! Это были сложившиеся, разумные люди. Оба они любили и раньше, до своей встречи, и

¹ Маклауд — псевдоним шотландского поэта и романиста У. Шарпа (1856—1905).

задушили Любовь ласками, отняли у нее жизнь поцелуями и погребли ее в могиле пресыщенности.

Этель и Марвин были не бесплотные духи, а люди, живые люди. В их жилах бежала кровь, алая, как закатное небо,— кровь, не разбавленная англосаксонской трезвостью. По темпераменту они скорее походили на французов; в их идеализме брал верх галльский дух с его приверженностью плотским радостям. Этот идеализм не охлаждала ледяная мутная жидкость, которая заменяет англичанам кровь. Аскетизм был чужд им. Они были американцы—прапраправнуки англичан, и все-таки в них совсем не чувствовалось ни английской склонности к самообузданию, ни английской выпренности.

И вот люди, которых я описываю,— люди, созданные для радостей Любви, возымели некую идею. Будь они прокляты, все эти идеи! Марвин Фиск и Этель Бейрд затеяли игру с логикой, а логика их была такова... Но сначала надо вам рассказать о беседе, которая завязалась у нас однажды вечером. Речь шла о «Мадмуазель де Мопэн». Помните эту героиню Теофиля Готье?¹ Она поцеловала мужчину один раз в жизни—один-единственный раз, и дала себе зарок никогда больше не целоваться, боясь, что поцелуи потеряют для нее свою сладость. Опять пресыщение? Мадмуазель де Мопэн отважилась понтировать против богов, ничего не поставив на карту, что противоречит правилам, установленным самими богами. Но правила эти негласные, и, чтобы усвоить их, смертные должны продолжать игру.

Теперь вернемся к этой игре с логикой. Марвин Фиск и Этель Бейрд рассуждали так: ограничиться одним поцелуем? Но, если мадмуазель де Мопэн поступила мудро, они будут еще большими мудрецами и откажутся от этого единственного поцелуя... Тогда Любовь не умрет. Вечно жаждущая, она никогда не устанет стучаться в их сердца.

Откуда к ним пришла эта нечестивая идея? Уж не наследственность ли тому виной? Ведь порода сказыва-

¹ Теофиль Готье (1811—1872)—представитель позднего французского романтизма. Его роман «Мадмуазель де Мопэн» отличается соединением авантюрного элемента и психологической изысканности.

ется иногда самым фантастическим образом. Может быть, на сей раз проклятый Альбион надел обличье коварной распутницы, потаскушки, действующей с холодным расчетом? В конце концов откуда мне это знать? Но что я знаю, то знаю: во имя своего поистине безудержного стремления к радости они отказались от нее.

Вот как говорил об этом Марвин Фиск (я читал потом его письма к Этель): «Держать тебя в объятиях, такую близкую и в то же время такую далекую! Томиться по тебе и никогда не обладать тобою и так — обладать тобою вечно». А она отвечала ему: «Пусть мои руки будут всегда протянуты к возлюбленному и никогда не коснутся его! Каждый час, каждую минуту стремиться к тебе, недостижимому, чтобы новизна и свежесть нашего чувства и первый радостный стук наших сердец навеки остались с нами!»

Я привожу все это по памяти и поневоле искажаю философию их любви. Но кто я такой, чтобы копаться в душах этих людей! Я лягушка, которая сидит у края непроглядной тьмы, уставившись выпученными глазами на чудо и тайну двух пламенеющих сердец.

И ведь по-своему они были правы. Все прекрасное прекрасно до тех пор, пока ты не обладаешь им. Пресыщенность и обладание — кони смерти, они бегут у нее в одной упряжке.

Нас учит время: пламени на смену
Придет привычки предвечерний луч.

Они прочитали это у Альфреда Остина¹. Сонет «Мудрость любви». Все тот же один-единственный поцелуй мадемуазель де Мопэн. Как там дальше?

Целуем мы и гаснем постепенно,
А лучше смерть, чем путь в низины с круч.

Но Марвин Фиск и Этель Бейрд считали себя мудрее. Они не хотели, чтобы поцелуи привели их к разлуке. Не надо ни единого поцелуя, и тогда они всегда будут

¹ Альфред Остин (1833—1913) — английский поэт. Лирическая поэзия Остина ценилась в английских и американских литературных кругах начала XX века.

стоять на горной вершине Любви. И вот брачные узы соединили их. Вы жили тогда в Англии. Такой супружеской четы больше нигде не было и не будет. Они никому не открыли своей тайны. В то время я ничего не знал. Их чувство не только не остывало, но разгоралось все ярче и ярче. Я впервые видел такую пару. Время шло: проходили месяцы, годы, а огненнокрылый Кифаред становился все лучезарнее.

Люди удивлялись, глядя на Марвина Фиска и Этель Бейрд. Их называли изумительной парой, им завидовали. Правда, кое-кто из женщин жалел Этель, потому что у нее не было детей, но какую только форму не принимает зависть...

А я, не догадываясь об их тайне, размышлял и дивился. Сначала я ждал, вероятно, подсознательно, когда же их любовь пройдет. Потом убедился, что проходит Время, а Любовь остается. И наконец во мне проснулось любопытство. В чем же их тайна? Какими волшебными оковами приковали они к себе Любовь? Почему этот своенравный эльф не убегает от них? Может быть, они, подобно любовникам глубокой древности—Тристану и Изольде, испили из одной чаши эликсир вечной любви? Но чьи же руки приготовили им этот чудодейственный напиток.

Итак, я любопытствовал и наблюдал за ними. Любовь опьяняла их. Это был какой-то нескончаемый праздник любви. Они справляли его торжественно, пышно, упиваясь утонченностью и поэтичностью своего чувства. Никому не пришло бы в голову обвинять их в неврастении, истеричности. Нет! Это были разумные, вполне здоровые люди, художники по натуре. Но им удалось достичь недостижимого. Они добились того, что их желание не умирало.

А я? Я часто встречался с ними все эти годы, и перед моими глазами было непреходящее чудо их любви. Оно поражало меня, не давало мне покоя, и вот в один прекрасный день...

Каркинес вдруг оборвал свой рассказ и спросил меня:

— Вы читали «Любовь, помедли»?

Я покачал головой.

— Если не ошибаюсь, это стихотворение Пейджа — Куртиса Хиддена Пейджа¹. Вот оно-то и послужило мне ключом к отгадке тайны. В один прекрасный день на диване в оконной нише, возле которой у них стоял рояль... Вы помните, как Этель Бейрд играла? Подсмеиваясь иногда надо мной, она говорила, что я хожу к ним не ради них самих, а ради музыки, и называла мою меломанию запоем, одержимостью. А какой голос был у Марвина! Когда он пел, я начинал верить в бессмертие, мое отношение к богам становилось чуть ли не покровительственным, и в голове у меня зарождались всякие планы, с помощью которых можно было бы пережить их.

Какое великолепное зрелище являли собой этот мужчина и эта женщина! После стольких лет супружеской жизни они пели любовные песни с той целомудренной свежестью, которая под стать только новорожденной любви, с той пылкостью и зрелостью чувства, которой не знают юные любовники! Да! Юные любовники показались бы бледными и вялыми рядом с этой немолодой четой. Сколько пылкой ласки было в каждом их взгляде, слове, жесте и даже в самом молчании! Покорные любви, они, словно бабочки, летели на огонек свечи, которым каждый из них был друг для друга, и в каком-то сумасшедшем вихре кружились по этой орбите. И мне казалось, что, повинуясь неведомому нам тайному закону, более могущественному, чем закон земного притяжения, тела их сольются и растают у меня на глазах. Надо ли спрашивать, почему все поражались им и называли такую любовь беспримерной!

Но я отвлекся. Давайте вернемся к тому, что послужило мне ключом к отгадке тайны. Итак, в один прекрасный день я нашел у них на диване около рояля томик стихов. Он раскрылся у меня в руках сам собой на стихотворении «Любовь, помедли», очевидно, много раз читанном. Уголки у страницы были захватанные, истертые. И вот что я прочитал:

¹ Куртис Хидден Пейдж (1870—1946) — американский ученый, переводчик, поэт, издатель известной антологии «Британские поэты XIX в.» (1904).

Так сладко рядом быть и чуть поодаль.
Узнать друг друга лучше... Сохранить
Всю сладость первого прикосновения...
Любовь?.. О, нет еще!.. Позволь ей быть
Окутанной в туман священной тайны
И в ожиданье тайн грядущих лет,
Не близких, нет еще... не у порога, нет...
О, пусть любовь растет еще, еще!
Чуть расцветет—умрет. Питай ее
Мечтой слиянья уст, пускай поспит
Еще хоть чуть в строжайшем отреченье.
О, пусть еще чуть-чуть, еще мгновенье...

Я захлопнул книжку, заложив эту страницу пальцем, и долго сидел молча, не двигаясь. Меня ошеломила ясность открывшейся мне картины. Это было настоящее озарение—вспышка молнии в кромешной тьме. Они хотели насильно удержать Любовь, эту капризную сильфиду, эту предвестницу новой жизни—новой жизни, которая нетерпеливо ждет часа своего рождения!

Я повторил мысленно эти строки: «Любовь?.. О, нет еще!.. Питай ее мечтой слиянья уст...»—и громко рассмеялся. Их непорочные души предстали предо мной в ясном свете дня. Какие дети! Они ничего не понимали! Они играли с огнем и клали на свое ложе обнаженный меч. Они смеялись над богами. Они тщились остановить космический ток крови. Они выдумали какую-то свою систему и сели за игровой стол жизни в надежде, что эта система принесет им выигрыш. «Берегитесь!—крикнул я.—Боги только притаились! На каждую новую систему они отвечают новыми правилами игры. Вам у них никогда не выиграть!»

Но все это было сказано не им в глаза, а мысленно, про себя. Я ждал, что будет дальше. Откроется же им когда-нибудь вся ложность их системы! Они отбросят ее, удовольствуются своей долей счастья и не будут пытаться вырвать у богов больше.

Я наблюдал за ними. Наблюдал молча. Месяцы бежали один за другим, а страсть их становилась все острее. Ни разу не позволив себе притупить эту страсть узаконенными объятиями, они точили и правили ее на оселке голода. Наконец даже меня взяло сомнение. «Что же боги—спят или умерли?—думал я и тихо смеялся.—Этот мужчина и эта женщина сотворили чудо. Они

перехитрили богов. Им удалось посрамить нашу добрую мать Природу. Они играли с ее огнем и не обожглись. Им ничто не страшно. Они сами стали как боги, познав разницу между добром и злом и не вкусив от зла».

«Значит, вот как смертные становятся богами? — спрашивал я самого себя. — Я лягушка, и не будь глаза мои залеплены тиной, сияние этого чуда ослепило бы меня». Я пыхтел и надувался, гордясь собственной мудростью, и осмеливался высказывать свое мнение о богах.

Но я ошибся, положившись на свою вновь обретенную мудрость. Марвин Фиск и Этель Бейрд не стали богами. Это были всего лишь мужчина и женщина — мягкая глина, которая исходила вздохами, дрожала, пронзенная желанием, и никла от слабости, неведомой богам.

Прервав свой рассказ, Каркинес свернул вторую сигарету и громко рассмеялся. Смех этот, резнувший мой слух какой-то сатанинской ноткой, перекрыл рев ветра, который бушевал в мире, но до нас долетал приглушенным.

— Я лягушка, — извиняющимся тоном повторил Каркинес. — Где им было понять все это — им, художникам, а не биологам? Они имели дело с глиной только у себя в студии, а о существовании той, из которой были слеплены сами, даже не подозревали. Но отдадим должное этим любовникам: они вели большую игру. Так до них никто не играл и вряд ли будет играть. Никто до них не знал такого упоения любовью. Поцелуй не убил их любви. Своим отказом удовлетворить ее они сообщали ей все новую жизнь. И любовь их безумствовала, раздираемая на части желанием. Огненнокрылый Кифаред веял им в лицо своими крыльями, так что сердце у них почти переставало биться. Поистине это было любовное исступление, и оно не только не утихало, но разгоралось с каждой неделей, с каждым месяцем.

Они жаждали друг друга и томилась той сладостной болью, той упоительной мукой, которой никто не знал и никто не узнает.

Но вот задремавшие боги встрепенулись. Они подняли голову и посмотрели на мужчину и женщину, которые насмеялись над ними. А те посмотрели однажды утром друг другу в глаза и поняли— что-то ушло. Ушел тот, Огненнокрылый. Он улетел тайком, среди ночи, покинув их отшельнический кров.

Они посмотрели друг другу в глаза и прочитали там не любовь, а безразличие. Желание умерло. Вы понимаете? Умерло желание. А они ни разу не обменялись поцелуем. Ни единого разу. Любовь ушла. Им не суждено больше гореть, томиться ею. Исчезло все: дрожь, трепет и сладостная мука; исчезли вздохи, волнение, горячий стук сердца, песни. Желание умерло. Оно умерло ночью на холодном, никому не нужном ложе, и они не уследили за тем, как его не стало. Они впервые прочитали это в глазах друг у друга.

Боги— недобрые существа, но милосердие все же не чуждо им. Они пустили по кругу шарик слоновой кости и лопаткой сгребли банк со стола. И все, что осталось после игры, были мужчина и женщина, холодно смотревшие в глаза друг другу. А потом Марвин Фиск умер. Вот он, акт милосердия. Не прошло и недели после этого, как Марвин Фиск умер. Вы, вероятно, помните... несчастный случай. И много лет спустя я прочел в ее дневнике запись, сделанную в те дни,— две строки из стихотворения Митчелла Кеннерли:

О, был ли час, когда б могли
Мы целоваться и не целовались!

— Боже, какая насмешка судьбы!— воскликнул я. А Каркинес— настоящий Мефистофель в отблесках огня, падавших из камина на его бархатную куртку, устремил на меня пронзительный взгляд своих черных глаз и сказал:

— И вы говорите, будто они остались в выигрыше? Суд общества! Вы слышали мой рассказ, а я знаю все. Они выиграли так же, как выиграете вы, сидя здесь, среди ваших любимых холмов.

— А вы сами!— с жаром воскликнул я.— К чему приведет вас ваше буйство чувств? Что вам дадут ваши города с царящим в них бедламом?

Он медленно покачал головой.

— Если вы с вашим размеренным, буколическим образом жизни обречены на проигрыш, это еще не значит, что я останусь в выигрыше. Мы никогда не выигрываем. Иной раз нам это кажется, но такова маленькая любезность, которой удостоивают нас боги.



Кусок мяса

Последним кусочком хлеба Том Кинг подобрал последнюю каплю мучного соуса, начисто вытер им тарелку и долго, сосредоточенно жевал его. Из-за стола он встал с гнетущим ощущением голода. А ведь только он один и поел. Обоих ребятишек уложили спать пораньше в соседней комнате в надежде, что во сне они забудут о пустых желудках. Жена не притронулась к еде и сидела молча, озабоченно наблюдая за мужем. Это была худая, изможденная женщина, дочь рабочего, сохранившая еще остатки былой привлекательности. Муку для соуса она заняла у соседей. Последние два полпенни ушли на покупку хлеба.

Том Кинг присел у окна на расшатанный стул, затрепавший под его тяжестью, и, машинально сунув в рот трубку, полез в боковой карман. Отсутствие табака вернуло его к действительности, и, обругав себя за беспамятность, он отложил трубку в сторону. Движения его были медленны, почти неуклюжи — казалось, он изнемогает под тяжестью собственных мускулов. Это был человек весьма внушительного вида и внушительного сложения; наружность его не слишком располагала к себе. Грубая поношенная одежда висела на нем мешком. Ветхие башмаки были подбиты слишком тяжелыми подметками, тоже отслужившими свой век. Ворот дешевой, двухшллинговой рубашки давно обтрепался, а покрывавшие ее пятна уже не поддавались чистке.

Профессию Тома Кинга можно было безошибочно определить по его лицу — типичному лицу боксера. Долгие годы работы на ринге наложили на него свой отпечаток, придав ему какую-то настороженность зверя,

готового к борьбе. Это угрюмое лицо было чисто выбрито, словно для того, чтобы все его черты выступили как можно резче. Бесформенные губы складывались в крайне жесткую линию, и рот был похож на шрам. Тяжелая, массивная нижняя челюсть выдавалась вперед. Глаза под набрякшими веками и кустистыми бровями двигались медленно и казались почти лишенными выражения. Да, несомненно, было что-то звериное в наружности Кинга и особенно в его глазах — сонных с виду глазах льва, готового к схватке. Низкий лоб был покат, а под коротко остриженными волосами отчетливо проступал каждый бугор на обезображенной голове. Нос, дважды сломанный, исковерканный бесчисленными ударами на все лады, и оттопыренное, всегда распухшее ухо, изуродованное так, что оно стало вдвое больше своей нормальной величины, тоже отнюдь его не красили, а уже проступавшая на недавно выбритых щеках борода придавала коже синеватый оттенок.

Словом, у Тома Кинга была внешность человека, которого можно испугаться где-нибудь в темном переулке или в каком-либо уединенном месте. А между тем он вовсе не был преступником и никогда ничего преступного не совершал. Иногда побранится — это дело обычное в его среде, а вообще-то он никому не делал вреда. Никто никогда не видел, чтобы он затеял ссору. Том Кинг был боксер-профессионал и всю свою боевую свирепость сохранял для профессиональных выступлений. Вне ринга он был флегматичен, покладист, а в молодые годы, когда у него водились деньги, раздавал их щедрой рукой, не заботясь о себе. Он не страдал злопамятностью и имел мало врагов. Бой на арене являлся для него средством к жизни. На ринге он наносил удары, чтобы причинить повреждения, чтобы изувечить противника, уничтожить его, но делал это без злобы. Для него это было обыкновенным деловым занятием. Зрители собирались и платили деньги, чтобы посмотреть, как противники нокаутируют друг друга. Победителю доставалась большая часть денежного приза. Когда Том Кинг встретился двадцать лет назад с Улумулу Гуджером, он знал, что нижняя челюсть Гуджера, сломанная в ньюкаслском состязании, всего месяца

четыре как зажила. И он метил именно в эту челюсть и опять сломал ее на девятом раунде, но не потому, что питал к Гуджеру вражду, а потому, что это был наиболее верный способ вывести Гуджера из строя и получить большую часть приза. И Гуджер не обозлился на него. Таков был закон игры, оба они знали его и следовали ему.

Том Кинг был несловоохотлив. Сидя у окошка, он молчал, угрюмо разглядывая свои руки. На тыльной стороне кистей выступали толстые, вздутые вены, а расплющенные и изуродованные суставы пальцев свидетельствовали о службе, которую они несли. Том Кинг никогда не слышал, что жизнь человека — это жизнь его артерий, но что значат эти толстые, набухшие вены, было ему очень хорошо известно. Его сердце гнало по ним слишком много крови под слишком высоким давлением. Они уже не справлялись со своей работой. Задавая им непосильную задачу, он заставил их потерять эластичность, а вместе с этим утратил и свою былую выносливость. Теперь он легко уставал и уже не мог двадцать бешеных раундов биться, биться, биться, как одержимый, от гонга до гонга, то прижавшись к канатам, то сам отбрасывая к канатам противника и с каждым раундом усиливая ярость своих атак, чтобы в двадцатом, последнем, раунде, когда весь зал, вскочив, ревет, собрать воедино всю свою стремительность и всю мощь и нападать, бить, увертываться, снова и снова обрушивая на противника град ударов и получая такой же град ударов в ответ, в то время как сердце безотказно гонит по упругим венам бурно приливающую кровь. Вздувавшиеся во время боя вены потом всегда опадали, но не совсем, — каждый раз, незаметно для глаза, они становились чуточку шире прежнего.

Том Кинг смотрел на свои вены и на искалеченные суставы пальцев, и на мгновение ему припомнилось, какой юношески-безупречной формой обладали эти руки до того, как он впервые разможил одну из костяшек о голову Бенни Джонса, известного под кличкой «Валлийское Страшилище».

Голод снова заговорил в нем.

— Эх! Неужели нельзя достать кусок мяса! — пробормотал он, сжимая свои огромные кулаки, и тихонько выругался.

— Я пробовала, просила и у Берка и у Соулея...— виновато сказала жена.

— Не дали?— спросил он.

— Ни на полпенни. Берк сказал...— Она запнулась.

— Договаривай! Что он сказал?

— Да что мы и так уж много забрали у него продуктов в долг и что Сэндл, наверное, задаст тебе нынче трепку.

Том Кинг хмыкнул, но промолчал. Ему вспомнился вдруг бультерьер, которого он держал, когда был помоложе, и закармливал до отвала мясом. Тогда Берк поверил бы ему, Кингу, тысячу бифштексов в долг. Но времена изменились. Том Кинг старел, а старые боксеры, выступающие в состязаниях во второразрядных клубах, не могут рассчитывать на сколько-нибудь порядочный кредит у лавочников.

Том Кинг встал в это утро с тоской по куску говядины, и тоска эта не утихала. К тому же он знал, что недостаточно натренирован для предстоящей борьбы. Этот год в Австралии выдался засушливый, дела у всех шли туго, и даже случайную работу нелегко было подыскать. Партнера для тренировки у Тома не было, питался он плохо, редко ел досыта. Иногда он по несколько дней работал чернорабочим, если удавалось устроиться, а по утрам обегал кругом весь парк Домен для тренировки ног. Но трудно тренироваться без партнера, да еще когда у тебя жена и ребятишки, которых надо прокормить. Предстоящее состязание с Сэндлом не слишком-то подняло его кредит у лавочников. Секретарь Гейети-клуба выдал ему вперед три фунта— ту часть приза, которая причитается побежденному,— но дать что-либо сверх этого отказался. Время от времени Кингу удавалось перехватить несколько шиллингов у старых приятелей; они одолжили бы ему и больше, если бы не засуха, из-за которой им самим приходилось туго. Нет, что уж правду таить,— он плохо подготовлен к состязанию. Следовало бы лучше питаться и не иметь столько забот. К тому же в сорок лет труднее входить в форму, чем в двадцать.

— Который час, Лиззи?

Жена побежала к соседям через площадку узнать время и тотчас вернулась.

— Без четверти восемь.

— Первый бой начнется через несколько минут,— сказал он.— Это только пробный. Потом пойдет бой в четыре раунда между Диллером Уэллсом и Гридли, потом в десять раундов — между Скайлайтом и каким-то матросом. Мне выступать не раньше чем через час.

Посидев молча еще минут десять, он поднялся.

— Правду сказать, Лиззи, у меня не было настоящей тренировки.

Взяв шляпу, Кинг направился к двери. Он не поцеловал жену,— он никогда не целовал ее на прощание,— но в этот вечер она сама решилась его поцеловать и, обхватив руками за шею, заставила нагнуться к ней; она выглядела совсем маленькой рядом со своим громадиной мужем.

— Желаю удачи, Том,— шепнула она.— Ты должен его одолеть.

— Да, я должен его одолеть,— повторил он.— Тут и говорить не о чем. Я должен его одолеть, вот и все.

Он засмеялся с притворной веселостью, а жена еще теснее прижалась к нему. Поверх ее плеча он окинул взглядом убогую комнату. Здесь было все, чем он обладал в этом мире: комната, за которую давно не плачено, жена и ребятишки. И он уходил в ночь, покидал их, чтобы добыть пропитание для своей подруги и детенышей, но не так, как добывает его современный рабочий, направляясь на однообразную, изнурительную работу к своему станку, а древним, царственно-первобытным, звериным способом — в бою.

— Я должен его одолеть,— повторил он, на этот раз ноткой отчаяния в голосе.— Если побью, получу тридцать фунтов, расплачусь со всеми долгами, и еще куча денег останется. Не побью—не получу ничего, ни единого пенни, даже на трамвай до дому не получу. Ну, прощай, старуха. Если побью, вернусь прямо домой.

— Я не лягу, буду дожидаться!— крикнула она ему вдогонку, выглянув на лестницу.

До Гейети-клуба было добрых две мили, и, шагая по улице, Том Кинг вспомнил, как в былые, счастливые дни он, чемпион тяжелого веса Нового Южного Уэлса, ездил на состязания в кебе, и кто-нибудь из тех, кто ставил на

него тогда большие суммы, сопровождал его и платил за кеб. И вот теперь Томми Бернс и этот негр-янки Джек Джонсон катаются в автомобилях, а он тащится пешком! А ведь отмахать добрых две мили — неважная подготовка к бою, кто ж этого не знает. Он стар, а жизнь не милует стариков. Ни на что он больше не годен, разве только на черную работу, да и тут сломанный нос и изуродованное ухо оказывают ему плохую услугу. Жаль, что он не выучился какому-нибудь ремеслу. Да, как видно, так было бы лучше. Но никто в свое время не дал ему такого совета, да и в глубине души он знал, что все равно не стал бы никого слушать. Ведь жизнь давалась ему тогда так легко! Уйма денег, жаркие, славные бои, а в промежутках — долгие периоды отдыха, безделья... целая свита услужливых льстецов... Похлопывания по спине, рукопожатия... светские щеголи, наперебой угощавшие его виски, только бы добиться высокой чести — пятиминутного разговора с ним... И венец всего — неистовствующая публика, бурный финал, судья, объявляющий: «Победил Кинг!», — и его имя на столбцах спортивной хроники в газетах на следующий день.

Да, славное было времечко! Но сейчас, после того как он, по своему обыкновению, медленно и долго размышлял над этим, ему стало ясно, что он в ту пору сталкивал с дороги стариков. Он был тогда восходящей звездой, Молодостью, а они — близившейся к закату Старостью. Не мудрено, что победа над ними давалась ему легко: у них были вздувшиеся жилы, искалеченные суставы, крепко засевшая в теле усталость от бесчисленных проведенных ими боев. Ему вспомнилось, как в Раш-Каттерс Бэй он побил старого Стоушера Билла на восемнадцатом раунде и как тот, словно ребенок, плакал потом у себя в раздевалке. Быть может, Билл просрочил плату за квартиру? Может, дома его ждали жена, ребятишки? И может, Билл в день состязания был голоден и тосковал по куску мяса? Старик не хотел сдаваться, и он страшно его разделал. Теперь, сам находясь в его шкуре, Том Кинг понимал, что в тот вечер, двадцать лет назад, Стоушер Билл ставил на кон куда больше, чем юный Том, сражавшийся ради славы,

ради легко достававшихся ему денег. Что ж мудреного, если Стоушер Билл плакал потом в раздевалке!

Да, каждому, как видно, отпущено сил на определенное число схваток, не больше. Таков железный закон боя. Один может выдержать сотню тяжелых боев, другой — только двадцать; каждого, в соответствии с его сложением и темпераментом, хватает на определенное время, а потом он конченный человек. Что ж, его, Тома Кинга, хватило на большее, чем многих других, на его долю выпало больше жестоких, изнурительных боев, которые задавали такую работу легким и сердцу, что они, казалось, готовы были лопнуть, и артерии лишались эластичности, мягкая гибкость гладких юношеских мышц превращалась в жесткие узлы мускулов, нервы изматывались, выносливость подрывалась, тело и мозг утомлялись от непосильного напряжения. Да, он еще дольше продержался, чем другие! Все его старые товарищи уже сошли с ринга. Он был последним из старой гвардии. Они выбывали из строя у него на глазах, и подчас он сам прикладывал к этому руку.

Его выпускали против стариков, и он сметал их с дороги одного за другим, смеясь, когда они, как старый Стоушер Билл, плакали в раздевалке. А теперь он сам стар, и юнцы пробуют на нем свои силы. Вот, к примеру, хоть этот малый, Сэндл. Он приехал из Новой Зеландии, где уже прославился. Но здесь, в Австралии, о нем никто ничего не знает, и его выпускают против старого Тома Кинга. Если Сэндл себя покажет, ему дадут противников посильнее и увеличат приз, так что он, без сомнения, будет сегодня биться до последнего. Ведь в этом бою он может выиграть все — деньги, славу, карьеру. И преградой на этом широком пути к славе и богатству стоит старый, седой Кинг. А Том Кинг ничего уже больше не может выиграть — только тридцать фунтов, чтобы расплатиться с домохозяином и с лавочниками. И когда он подумал об этом, в его неповоротливом мозгу возник образ сияющей Молодости, ликующей и непобедимой, с гибкими мышцами, шелковистой кожей и здоровыми, не знающими усталости легкими и сердцем. Молодости, которая смеется над тем, кто бережет силы. Да, Молодость — это Возмездие! Она уничтожает стариков, не

задумываясь над тем, что, поступая так, уничтожит и самое себя. Ее артерии вздуются, суставы на пальцах расплющатся, и ее, в свой черед, уничтожит победоносная Молодость. Ибо Молодость всегда юна. Стареют только поколения.

На Кеслри-стрит он свернул налево и, пройдя три квартала, подошел к Гейети-клубу. Толпа молодых сорванцов, торчавших у входа, почтительно расступилась перед ним, и он услышал за своей спиной:

— Это он! Это Том Кинг!

Направляясь в раздевалку, он встретил секретаря — востроглазого молодого человека с лисьей мордочкой; тот пожал ему руку.

— Как вы себя чувствуете, Том? — спросил он.

— Превосходно! Свеж, как огурчик! — ответил Кинг, хотя знал, что лжет и что, будь у него сейчас в кармане фунт стерлингов, он отдал бы его, не задумываясь, за хороший кусок мяса.

Когда он вышел из раздевалки и в сопровождении своих секундантов двинулся по проходу между скамьями к квадратной, огороженной канатами площадке в центре зала, томящиеся в ожидании зрители встретили его бурными аплодисментами и приветствиями. Том Кинг раскланивался направо и налево, но замечал мало знакомых лиц. Большинство зрителей составляли зеленые юнцы, которых еще на свете не было, когда он пожинал первые лавры на ринге. Нырнув под канат, Кинг легко вскочил на площадку, прошел в свой угол и опустился на складной стул. Судья Джек Болл направился к нему — позвать ему руку. Болл, сошедший с ринга боксер, не выступал уже свыше десяти лет. Кинга обрадовало, что судьей назначен Болл. Оба они были старики. Том знал — на Болла можно положиться. Если он обойдется с Сэндлом не совсем по правилам, Болл с него не взыщет.

Молодые тяжеловесы один за другим поднимались на площадку, судья представлял их публике и тут же объявлял их ставки.

— Молодой Пронто из Северного Сиднея, — выкрикнул он, — вызывает победителя. Ставит пятьдесят фунтов!

Публика аплодировала. Когда Сэндл, перескочив через канат, уселся в своем углу, его тоже встретили аплодисментами. Том Кинг с любопытством поглядел на противника. Еще несколько минут — и они сойдутся в беспощадном бою, в котором каждый из них приложит все силы, чтобы измолотить другого до бесчувствия. Но рассмотреть Сэндла хорошенько он не мог, потому что тот, как и он сам, был в длинных брюках и свитере, надетых поверх спортивного костюма. Лицо Сэндла было мужественно и красиво, над лбом вились золотистые кудри, крепкая, мускулистая шея говорила о большой физической мощи.

Юный Пронто прошел из угла в угол, чтобы обменяться рукопожатиями с противниками, и спрыгнул с ринга. Вызовы продолжались. Юнцы один за другим проскакивали под канат — еще безвестные, но полные задора, спеша объявить на весь мир о своей готовности померяться с победителем силой и ловкостью. Несколько лет назад непобедимому Тому Кингу, достигшему апогея славы, все предшествующие бою церемонии казались смешными и скучными. Но теперь он сидел как зачарованный, не в силах оторвать глаз от этого парада Молодости. Так было всегда — все новые и новые юнцы проскакивали под канат и бросали свой вызов всем. И старики неизменно склонялись перед ними, побежденные. Молодые карабкались к успеху по телам стариков. Их прибывало все больше и больше. То была Молодость — ненасытная, непобедимая. И всегда они сметали с дороги стариков, а потом сами старели и катились вниз, следом за стариками, а за ними, неустанно напирая на них, бесконечной чередой шли новые и новые поколения. И так будет до скончания веков, ибо Молодость идет своим путем и никогда не умирает.

Кинг бросил взгляд на ложу журналистов и кивнул Моргану из «Спортсмена» и Корбетту из «Рефери». Потом протянул руки своим секундантам, Сиду Сэлливену и Чарли Бейтсу. Они надели на него перчатки и туго затянули их под внимательным взглядом одного из секундантов Сэндла, который сначала придирчиво проверил обмотки на суставах Кинга. Секундант Кинга выполнил ту же обязанность по отношению к Сэндлу.

С Сэндала стянули брюки, он встал, с него стащили через голову свитер, и Том Кинг увидел перед собой воплощение Молодости — с могучей грудью и крепкими мускулами, которые играли, перекачиваясь, как живые, под атласистой кожей. Жизнь была ключом в этом теле, и Том Кинг знал, что оно не растратило еще своей свежести, что жизнь еще не уходила из него по капле через все поры в долгих, изнурительных боях, в которых Молодость платит свою дань, выходя из них всякий раз уже не столь юной.

Противники двинулись навстречу друг другу; прозвучал гонг, секунданты прыгнули вниз, унося складные стулья. Том Кинг и Сэндал обменялись рукопожатиями и встали в стойку. И сразу же Сэндал, действуя подобно хорошо слаженному механизму из стали и пружин, сделал выпад, отступил, повторил выпад, левой ударил Тома в глаза, правой под ребра, нырнул, чтобы избежать ответного удара, легко, словно танцую, отскочил назад и так же легко сделал угрожающий бросок вперед. Он был стремителен и ловок. Зрелище показалось увлекательным. Зал огласился восторженными криками. Но Кинг не был ослеплен этим зрелищем. Он провел уже столько боев, с таким множеством молодых боксеров, что знал цену подобным ударам, чересчер быстрым и чересчур ловким, чтобы быть опасными. По-видимому, Сэндал намеревался развязать бой сразу. Этого следовало ожидать. Так действует Молодость, щедро расточая свое несравненное превосходство, свою дивную красоту в бешеных натисках и яростных схватках и подавляя противника великолепием своей силы и жажды победы.

Сэндал — легконогий, горячий, живое чудо сверкающего белизной тела и разящих мускулов — наступал и отступал, мелькая то тут, то там, повсюду, скользя и ныряя, как снующий челнок, сплетая тысячу движений в ослепительный натиск, устремленный к одной цели — уничтожить Тома Кинга, стоящего на его пути к славе. И Том Кинг терпеливо это сносил. Он знал свое дело и теперь, когда сам уже не был молод, понял, что такое Молодость. Сейчас оставалось только выжидать, пока противник не выдохнется. И, порешив так, он

ухмыльнулся, пригибаясь, умышленно подставляя свое тело под тяжелый удар. Это был предательский прием, но разрешенный правилами бокса. Каждый должен сам беречь свои суставы, а если противник упорно старается треснуть тебя по макушке, пусть пеняет на себя. Кинг мог избежать удара, нагнувшись ниже, но ему припомнились его первые бои и то, как он впервые расплющил сустав пальца о голову Валлийского Страшилища. Теперь он платил той же монетой. Этот маневр был рассчитан на то, что Сэндл разобьет себе костяшку о его голову. Пусть даже Сэндл и не заметит этого сгоряча, — с той же великолепной беззаботностью он будет снова и снова наносить такие же тяжелые удары до конца боя. Но когда-нибудь впоследствии, когда долгие бои начнут сказываться на нем, Сэндл оглянется назад и пожалеет о том, что раздробил этот сустав о голову Тома Кинга.

Весь первый раунд нападал один Сэндл, и зрительный зал гудел, восхищаясь молниеносностью его ураганных атак. Он обрушивал на Кинга лавину ударов, а Кинг не отвечал. Он не нанес ни одного удара, только прикрывался, блокировал, нырял, входил в клинч, спасаясь от нападения. Он двигался неторопливо, временами делал ложный выпад, тряс головой, получив увесистый удар, и ни разу не сделал ни одного прыжка, ни одного отскока, не потратил ни капли сил. Пусть в Сэндле оседет пена Молодости, прежде чем осторожная Старость решится отплатить ей. Все движения Кинга были размеренны, неспешны, а прикрытые тяжелыми веками глаза и застывший взгляд придавали ему вид человека, который оглушен или движется в полусне. Но глаза его видели все — за двадцать с лишним лет работы на ринге они приучились ничего не упускать. Они не жмурились, встречая удар, в них не мелькало боязни, они смотрели холодно, измеряя дистанцию.

В минутный перерыв по окончании раунда Том Кинг отдыхал в своем углу. Вытянув ноги, широко раскинув руки и положив их на канаты, он глубоко дышал всей грудью и животом, в то время как секунданты обмахивали его полотенцами. Закрыв глаза, он прислушивался к голосам в публике.

— Почему ты не дерешься, Том? — кричали некоторые из зрителей. — Боишься ты его, что ли?

— Скованность мускулов! — заявил кто-то в первом ряду. — Он не может двигаться быстрее. Два фунта против одного за Сэндла!

Прозвучал гонг, и противники двинулись из своих углов. Сэндл прошел три четверти разделявшего их расстояния — ему не терпелось начать, а Кинг был доволен, что на его долю осталось меньше. Это отвечало его тактике экономии сил. Он не получил хорошей тренировки, скудно питался, и каждый шаг надо было беречь. К тому же он уже отмахал две мили пешком до ринга! Этот раунд был повторением предыдущего: Сэндл налетал на противника, как вихрь, и зрители орали, возмущаясь, почему Кинг не дерется. Кроме нескольких вялых, безрезультатных ударов и ложных выпадов, Кинг ничего не предпринимал, — только увертывался, блокировал и входил в клинч. Сэндл стремился навязать бой в бешеном темпе, но Кинг, умудренный опытом, не шел на это. Он продолжал беречь силы, ревниво, как бережет только Старость, и усмехался с выражением какого-то грустного торжества на изуродованном в схватках лице. А Сэндл была сама Молодость и расточал силы с великолепной беспечностью Молодости. Кинг — мастер ринга — обладал мудростью, выработанной в многочисленных тяжелых боях на ринге. Движения его были неторопливы. Ни на секунду не теряя головы, он холодным взглядом следил за Сэндлом, дожидаясь, когда у него остынет боевой задор. Большинству зрителей казалось, что Кинг безнадежно слаб, потерял класс, и они громко выражали свое мнение, ставя три против одного за Сэндла. Но кое-кто, поопытней, знавший прежнего Кинга — таких нашлось не много, — принимал пари, считая, что выигрыш ему обеспечен.

Третий раунд начался так же, как и предыдущие, — активность принадлежала Сэндлу, он все время шел в нападение. Раунд длился уже с полминуты, когда Сэндл в пылу самонадеянности раскрылся. Глаза Кинга сверкнули, и в то же мгновение его правая рука взметнулась вверх. Это был его первый настоящий

удар — хук, нанесенный полусогнутой в локте рукой для придания ей жесткости, усиленный всей тяжестью тела, описавшего полукруг. Словно притворяющийся спящим лев молниеносно выбросил разящую лапу. Удар пришелся Сэндлу в челюсть сбоку и повалил его на пол, как вола на бойне. Зрители ахнули, и по залу прошел благоговейный шепот одобрения. Оказывается, этот старик вовсе не страдает скованностью мускулов, его правая бьет, как кузнечный молот!

Сэндл был ошеломлен. Он повернулся, намереваясь встать, но секунданты закричали, чтобы он выждал счет, и остановили его. Привстав на одно колено, он ждал, готовый подняться, пока судья, стоя над ним, громко отсчитывал секунды у него над ухом. На девятой секунде он уже стоял, готовый к бою, и Том Кинг, взглянув на него, пожалел, что удар не пришелся дюймо́м ниже — точно в подбородок. Тогда это был бы нока́ут, и он пошел бы домой, к жене и ребятишкам, с тридцатью фунтами в кармане.

Раунд продолжался, пока не истекли положенные три минуты. Сэндл, казалось, впервые почувствовал уважение к своему противнику, а Кинг был все так же нетороплив, и его глаза снова приобрели прежнее сонное выражение. Когда секунданты уже присели на корточки у ринга, готовясь проскочить под канат, Кинг, поняв, что раунд близится к концу, стал направлять бой к своему углу. С ударом гонга он уже опускался на стул, в то время как Сэндлу нужно было еще пересечь по диагонали всю площадку, чтобы добраться до своего угла. Это была мелочь, но мелочи, складываясь вместе, приобретают немалое значение. Сэндлу пришлось сделать несколько лишних шагов, потратить на это какую-то энергию и потерять частицу драгоценного отдыха. В начале каждого раунда Кинг медленно подвигался вперед из своего угла и тем самым заставлял противника пройти большую часть расстояния. А к концу раунда он маневрировал так, чтобы перенести бой поближе к своему углу, где он мог сразу опуститься на стул.

В последующих двух раундах Кинг расходовал силы все так же бережливо, Сэндл — все так же расточитель-

но. Сэндл сделал попытку форсировать бой, и Кингу пришлось довольно туго, ибо немалая часть обрушившихся на него бесчисленных ударов попали в цель. И все же Кинг упорно оставался пассивен, хотя молодежь в зале шумела и кое-какие горячие головы требовали, чтобы он принял бой. В шестом раунде Сэндл опять допустил промах, и снова страшная правая рука Кинга мелькнула в воздухе, и снова Сэндлу, получившему удар в челюсть, были отсчитаны девять секунд.

В седьмом раунде Сэндл чувствовал себя уже не столь блестяще; он понял, что ввязался в тяжелый, беспремерный бой. Том Кинг был старик, но с таким стариком ему ни разу еще не приходилось меряться силами; он никогда не терял головы, был поразительно искусен в защите, а удар его обладал силой тяжелой дубинки, и казалось, в каждом кулаке у него скрыто по нокауту. Тем не менее Кинг не отваживался часто наносить удары. Он ни на минуту не забывал о своих искалеченных суставах, зная, что каждый удар должен быть на счету, чтобы костяшки пальцев выдержали до конца боя. Сидя в своем углу и поглядывая через площадку на противника, он подумал вдруг, что молодость Сэндла в соединении с его собственным опытом могла бы дать мирового чемпиона тяжелого веса. Но в том-то и вся суть: Сэндлу никогда не стать чемпионом мира. Сейчас ему не хватает опыта, а приобрести его он может только ценой своей молодости, но, когда он его приобретет, молодость уже будет позади.

Кинг пользовался всеми преимуществами, какие давал ему опыт. Он ни разу не упустил случая перейти в клинч, и при этом почти всегда его плечо основательно надавливало противнику на ребра. Философия ринга гласит, что плечо и кулак одинаково хороши, когда надо нанести повреждение, но в смысле экономии сил первое имеет несомненные преимущества. К тому же в клинчах Кинг отдыхал, наваливаясь всей тяжестью на противника, и весьма неохотно расставался с ним. Всякий раз требовалось вмешательство судьи, разъединявшего их с помощью самого Сэндла, еще не научившегося отдыхать. Сэндл же не мог удержаться, чтобы не пускать в ход своих стремительно взлетающих рук и играющих муску-

лов. Когда Кинг входил в клинч, с силой заезжая Сэндлу плечом в ребра и пряча голову под его левую руку, тот почти неизменно заносил правую руку за спину и бил в торчащее из-под его подмышки лицо. Это был ловкий прием, чрезвычайно восхищавший публику, но неопасный и, следовательно, приводивший лишь к бесполезной трате сил. И Кинг только ухмылялся, стойко снося удары.

Сэндл правой нанес Кингу яростный удар в корпус. Со стороны могло показаться, что Кингу на этот раз здорово досталось, но кое-кто из завсегдатаев ринга сумел оценить ловкое прикосновение левой перчатки Кинга к бицепсу противника перед самым ударом. Правда, каждый удар Сэндла попадал в цель, но всякий раз прикосновение Кинга к его бицепсу лишало удар силы. В девятом раунде согнутая в локте правая рука Кинга трижды на протяжении одной минуты наносила Сэндлу удар в челюсть, и трижды Сэндл всей своей тяжестью грохался на пол. И всякий раз он, используя положенные девять секунд, поднимался на ноги — оглушенный, но все еще сильный. Однако он заметно утратил свою стремительность и действовал осмотрительнее. Лицо его стало угрюмо, но он по-прежнему делал ставку на свой главный капитал — молодость. Главным же капиталом Кинга был опыт. С тех пор как силы его стали сдавать и боевой дух слабеть, Кинг заменил их мудростью и хитростью, приобретенными в многолетних боях, и расчетливой экономией сил. Он научился не только избегать лишних движений, но и выматывать вместе с тем силы противника. Снова и снова обманными движениями ноги, руки, корпуса он принуждал Сэндла отскакивать назад, увертываться, наносить контрудары. Кинг отдыхал, но ни на минуту не давал отдохнуть Сэндлу. Такова была стратегия Старости.

В начале десятого раунда Кинг начал парировать атаки Сэндла прямыми ударами левой в лицо, и Сэндл, став осторожнее, прикрывался левой, а затем отвечал длинным боковым ударом правой в голову. Удар этот приходился слишком высоко, чтобы иметь роковые последствия, но, когда он впервые был нанесен, Кинг

испытал давнишнее, знакомое ощущение,— словно какая-то черная пелена заволокла его мозг. На мгновение—вернее, на какую-то долю мгновения—Кинга словно не стало. Противник исчез из глаз, исчезли и белые выжидающие лица на заднем плане; но тут же он снова увидел и противника и зрительный зал. Словно он на миг заснул и тотчас открыл глаза. Миг этот был так короток, что Кинг не успел упасть. Зрители видели, как он пошатнулся, колени у него подогнулись, но он тут же оправился и уткнул подбородок поглубже, прикрываясь левой.

Сэндл повторял этот удар несколько раз подряд, держа Кинга в полуоглушенном состоянии, а затем тот выработал особый способ защиты, служивший одновременно и контратакой. Сосредоточив внимание противника на своей левой, он отступил на полшага назад и в то же мгновение нанес ему что было сил апперкот правой. Удар был так точно рассчитан, что угодил Сэндлу прямо в лицо в ту самую минуту, когда он наклонился, и Сэндл, подброшенный кверху, упал, стукнувшись головой и плечами об пол. Кинг повторил этот прием дважды, затем перестал беречь силы и, обрушив на противника град ударов, прижал его к канату. Он не давал Сэндлу опомниться, не давал ему передохнуть, бил и бил его под рев зрителей, вскочивших с мест, и несмолкающий гром аплодисментов. Но сила и выносливость Сэндла были великолепны, и он все еще держался. Нокаут казался неизбежным, и полисмен, увидев, что это может кончиться плохо, появился возле площадки, намереваясь прекратить бой. Гонг возвестил об окончании раунда, и Сэндл, шатаясь, добрался до своего угла, заверив полисмена, что он в полном порядке. В доказательство он дважды подпрыгнул, и тот сдался.

Кинг сидел в своем углу, откинувшись назад, тяжело дыша. Он был разочарован. Если бы бой прекратили, судьбе пришлось бы вынести решение в его пользу, и приз достался бы ему. Он, не в пример Сэндлу, дрался не ради славы или карьеры, а ради тридцати фунтов. А теперь Сэндл оправится за эту минуту отдыха.

«Молодость свое возьмет!» — промелькнуло у Кинга в уме, и он вспомнил, что слышал впервые эти слова в ту

ночь, когда убрал с дороги Стоушера Билла. Это сказал какой-то фронт, угощая его после боя виски и хлопывая по плечу: «Молодость свое возьмет!» Фронт оказался прав. В тот вечер — как он далек! — Кинг был молод. А сегодня Молодость сидит напротив него, вон в том углу. И он ведет с ней бой уже целых полчаса, а ведь он старик. Если б он бился, как Сэндл, ему бы и пятнадцати минут не выдержать. Все дело в том, что у него не восстанавливаются силы. Эти вот вздувшиеся артерии и усталое, измотанное сердце не дают ему набраться сил в перерывах между раундами. Да, по правде сказать, у него и перед состязанием сил было уже маловато. Он чувствовал, как отяжелели ноги и как по ним пробегает судорога. Да, нельзя было идти пешком целых две мили перед самым боем! И еще с утра он тосковал по куску мяса! Великая, лютая ненависть поднялась в нем против лавочников, отказавшихся отпустить ему мяса в долг. Трудно старику выходить на ринг, не поев досыта. И что такое кусок говядины? Мелочь, и цена-то ему несколько пенни. А вот для него этот кусок мог бы превратиться в тридцать фунтов стерлингов.

Едва гонг возвестил о начале одиннадцатого раунда, как Сэндл ринулся в атаку, демонстрируя бодрость, которой у него уже и в помине не было. Кинг понимал, что это блеф, старый, как самый бокс. Сначала, спасаясь от противника, он ушел в клинч, затем, оторвавшись, дал возможность Сэндлу сделать стойку. Это было Кингу на руку. Притворно угрожая противнику левой, он заставил его нырнуть, вызвал на себя боковой удар снизу вверх и, отступив на полшага назад, сокрушительным апперкотом опрокинул Сэндла на пол. С этой минуты Кинг не давал Сэндлу передохнуть. Он сам получал удары, но наносил их неизмеримо больше, отбрасывая Сэндла к канатам, осыпая его прямыми и боковыми, короткими и длинными ударами, вырываясь из его клинчей или своевременно отражая попытки войти в клинч, подхватывая его одной рукой всякий раз, когда он готов был упасть, а другой отбивая к канатам, которые удерживали его от падения.

Зрители обезумели; теперь они все были на стороне Тома и чуть ли не каждый вопил:

— Давай, Том! Жарь! Наддай, Том! Всыпь ему! Твоя взяла, Том!

Финал обещал быть очень бурным, а ведь за это публика и платит деньги.

И Том Кинг, в течение получаса сберегавший силы, теперь расточительно расходовал их в едином мощном натиске, на который, он знал, его еще могло хватить. Это был его единственный шанс — теперь или никогда. Силы его быстро убывали, и он надеялся лишь на то, что успеет свалить противника прежде, чем они иссякнут. Но, продолжая нападать и бить, бить, холодно оценивая силу ударов и размеры наносимых повреждений, он начинал понимать, как трудно нокаутировать такого малого, как Сэндл. Запас жизненных сил и выносливости был в нем неисчерпаем — нерастраченных жизненных сил и юношеской выносливости. Да, Сэндл, несомненно, далеко пойдет. Это прирожденный боксер. Только из такого крепкого материала и формируются чемпионы.

Сэндала кружило и шатало, но и у Тома Кинга ноги сводило судорогой, а суставы пальцев отказывались служить. И все же он заставлял себя наносить яростные удары, из которых каждый отзывался мучительной болью в его искалеченных руках. Но хотя на его долю сейчас почти не доставалось ударов, он слабел так же быстро, как противник. Его удары попадали в цель, но в них уже не было силы, и каждый стоил ему огромного напряжения воли. Ноги словно налились свинцом, и стало заметно, что он с трудом волочит их. Обрадованные этим симптомом, сторонники Сэндала начали криками подбадривать своего фаворита.

Это подхлестнуло Кинга, заставило его собраться с силами. Он нанес Сэндлу один за другим два удара: левой — в солнечное сплетение, чуть повыше, чем следовало, и правой — в челюсть. Удары были не тяжелы, но Сэндл уже так ослаб и выдохся, что они свалили его. Он лежал, и по телу его пробегала дрожь. Судья стал над ним, громко отсчитывая роковые секунды. Сэндл проиграл бой, если не встанет прежде, чем будет отсчитана

десятая. Зрители затаили дыхание. Кинг едва держался на ногах; он испытывал смертельную слабость и головокружение: море лиц колыхалось у него перед глазами, а голос судьи, отсчитывавшего секунды, долетал откуда-то издалека. Но он был уверен, что выиграл бой. Не может быть, чтобы человек, избитый подобным образом, поднялся.

Только Молодость могла подняться—и Сэндл поднялся. На четвертой секунде он перевернулся лицом вниз и ощупью, как слепой, ухватился за канат. На седьмой он привстал на одно колено и отдыхал; голова у него моталась из стороны в сторону, как у пьяного. Когда судья крикнул: «Девять!»—Сэндл уже стоял на ногах, в защитной позиции, прикрывая левой лицо, правой—живот. Охранив таким образом наиболее уязвимые места, он качнулся вперед, к Кингу, в надежде на клинч, чтобы выиграть время.

Едва Сэндл встал, как Кинг ринулся к нему, но два нанесенных им удара были ослаблены подставленными руками Сэндла. В следующее мгновение Сэндл был в клинче и прилип к противнику, отчаянно протиясь попыткам судьи разнять их. Кинг старался освободиться. Он знал, как быстро восстанавливает силы Молодость и что, только помешав Сэндлу восстановить силы, он может его побить. Один хороший удар довершит дело. Сэндл побежден, несомненно, побежден. Он побил его, превзошел его боевым умением, набрал больше очков.

Выйдя из клинча, Сэндл пошатнулся,—судьба его висела на волоске. Опрокинуть его одним хорошим ударом, и ему конец! И снова Том Кинг с горечью подумал о куске мяса и пожалел, что не пришлось ему подкрепиться для последнего, решающего натиска. Собравшись с силами, он нанес этот удар, но он оказался недостаточно сильным и недостаточно быстрым. Сэндл покачнулся, но не упал и, привалившись к канатам, ухватился за них. Кинг, шатаясь, бросился к противнику и, преодолевая нестерпимую боль, нанес ему еще один удар. Но силы изменили ему. В нем уже не оставалось ничего, кроме борющегося сознания, тускнеющего, гаснущего от изнеможения. Удар, направленный в челюсть,

пришелся в плечо. Кинг метил выше, но усталые мускулы не повиновались, и он сам едва устоял на ногах. Кинг повторил удар. На этот раз он и вовсе промахнулся и, совершенно обессилев, привалился к Сэндлу, обхватив его руками, чтобы не упасть.

Кинг уже не пытался оторваться. Он сделал все, что мог, и для него все было кончено. А Молодость взяла свое. Привалившись к Сэндлу в клинче, он почувствовал, что тот крепнет. Когда судья развел их, Кинг увидел, как Молодость восстанавливает силы у него на глазах. Сэндл набирался сил с каждым мгновением; его удары, сперва слабые, не достигавшие цели, становились жесткими и точными. Том Кинг, как в тумане, заметил кулак в перчатке, нацеленный ему в челюсть, и хотел защититься, подставив руку. Он видел опасность, хотел действовать, но рука его была слишком тяжела. Кажется, в ней тонны свинца, она не могла подняться, и Кинг напряг всю волю, чтобы поднять ее. Но в это мгновение кулак в перчатке попал в цель. Острая боль пронизала Кинга, как электрическим током, и он провалился в темноту.

Открыв глаза, он увидел, что сидит на стуле в своем углу, и услышал рев публики, доносившийся до него, словно шум морского прибоя у Бонди-Бич. Кто-то прикладывал влажную губку к его затылку, а Сид Сэлливен поливал ему лицо и грудь живительной струей холодной воды. Перчатки были уже сняты, и Сэндл, нагнувшись над ним, пожимал ему руку. Кинг не испытывал недоброжелательства к этому человеку, который убрал его с дороги, и ответил таким сердечным рукопожатием, что его искалеченные суставы напомнили о себе. Потом Сэндл вышел на середину ринга, и адский шум на мгновение стих, когда он заявил, что принимает вызов юного Пронто и предлагает поднять ставки до ста фунтов. Кинг безучастно глядел, как секунданты вытирают его тело, залитое водой, прикладывают ему полотенце к лицу, готовят его к уходу с ринга. Кинг чувствовал голод. Не тот обычный грызущий голод, который он часто испытывал, а какую-то огромную слабость, болезненную мелкую дрожь под лопаточкой, передававшуюся всему телу. Его мысли снова

вернулись к бою, к той секунде, когда Сэндл едва держался на ногах и был на волосок от поражения. Да, кусок мяса довершил бы дело! Вот чего не хватало ему, когда он наносил свой решающий удар, вот из-за чего он потерял бой! Все из-за этого куска мяса!

Секунданты поддерживали его, помогая пролезть под канат. Но он отстранил их, пригнувшись, проскочил между канатами без их помощи и тяжело спрыгнул вниз. Он шел по центральному проходу, запруженному толпой, следом за секундантами, прокладывая ему дорогу. Когда он вышел из раздевалки и, пройдя через вестибюль, отворил наружную дверь, какой-то молодой парень остановил его.

— Почему ты не уложил Сэндла, когда он был у тебя в руках? — спросил парень.

— А поди ты к черту! — сказал Том Кинг и сошел по ступенькам на тротуар.

Двери пивной на углу широко распахнулись, и он увидел огни и улыбающихся официанток, услышал голоса, судившие и рядившие о бое, и вожделенный звон монет, ударявшихся о стойку. Кто-то окликнул его, предлагая выпить. Поколебавшись, он отказался и побрел своей дорогой.

У него не было и медяка в кармане, и две мили до дома показались ему бесконечными. Да, он стареет! Пересекая парк Домен, он внезапно присел на скамейку, сразу утратив присутствие духа при мысли о своей женушке, которая не спит, дожидается его, чтобы узнать исход боя. Это было тяжелее любого нокаута, и ему показалось невозможным встретиться с ней лицом к лицу.

Он ощутил невероятную слабость, а боль в искалеченных суставах напомнила ему, что, если и отыщется какая-нибудь работа, пройдет не меньше недели, прежде чем он сможет взять в руки кирку или лопату. Голодная судорога под ложечкой вызвала тошноту. Несчастье сломало его, и на глазах выступили непривычные слезы. Он закрыл лицо руками и, плача, вспомнил про Стоушера Билла, вспомнил, как отделал его в тот давно прошедший вечер. Бедный, старый Стоушер Билл! Теперь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раздевалке.



Дом Мапуи

Несмотря на свои тяжеловесные очертания, шхуна «Аораи» двигалась при легком ветре послушно и быстро, и капитан подвел ее близко к острову, прежде чем бросить якорь чуть не доходя до того места, где начинался прибой. Атолл Хикуэру, ярдов сто в ширину и окружностью двадцать миль, представлял собою кольцо измельченного кораллового песка, поднимавшееся всего на четыре-пять футов над высшим уровнем прилива. На дне огромной, гладкой, как зеркало, лагуны было много жемчужных раковин, и с палубы шхуны было видно, как за узкой полоской атолла искатели жемчуга бросаются в воду и снова выходят на берег. Но войти в атолл не могла даже торговая шхуна. Небольшим гребным катерам при попутном ветре удавалось пробраться туда по мелкому извилистому проливу, шхуны же останавливались на рейде и высылали к берегу лодки.

С «Аораи» проворно спустили шлюпку, и в нее прыгнули несколько темнокожих матросов, голых, с алыми повязками вокруг бедер. Они взялись за весла, а на корме у руля стал молодой человек в белом костюме, какие носят в тропиках европейцы. Но он не был чистым европейцем: золотистый отлив его светлой кожи и золотые блики в мерцающей голубизне глаз выдавали примесь полинезийской крови. Это был Рауль, Александр Рауль, младший сын Мари Рауль, богатой квартиронки, владелицы шести торговых шхун. Шлюпка одолела водоворот у самого входа в пролив и сквозь кипящую стену прибоя прорвалась на зеркальную гладь лагуны. Рауль выпрыгнул на белый песок и поздоровался за руку с высоким туземцем. У туземца были великолепные плечи и грудь, но обрубок правой руки с торчащей на несколько дюймов, побелевшей от времени костью свидетельствовал о встрече с акулой, после которой он уже не мог нырять за жемчугом и стал мелким интриганом и прихлебателем.

— Ты слышал, Алек? — были его первые слова. — Мапуи нашел жемчужину. Да какую жемчужину! Такой еще

не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту¹, и нигде во всем мире. Купи ее, она еще у него. Он дурак и много не запросит. И, помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

Рауль немедленно зашагал вверх по берегу, к лачуге под высоким пандановым деревом. Он служил у своей матери агентом, и в обязанности его входило объезжать все острова Паумоту и скупать копру, раковины и жемчуг.

Он был новичком в этом деле, плавал агентом всего второй раз и втайне тревожился, что не умеет оценивать жемчуг. Но когда Мапуи показал ему свою жемчужину, он сумел подавить изумленное восклицание и сохранить небрежную деловитость тона. А между тем жемчужина поразила его. Она была величиною с голубиное яйцо, безупречной формы, и белизна ее отражала все краски матовыми огнями. Она была как живая. Рауль никогда не видел ничего подобного ей. Когда Мапуи положил жемчужину ему на ладонь, он удивился ее тяжести. Это подтверждало ценность жемчужины. Он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна: она была такая чистая, что, казалось, вот-вот растворится в воздухе. В тени она мягко светилась переливчатым лунным светом. И так прозрачна была эта белизна, что, бросив жемчужину в стакан с водой, Рауль едва мог различить ее. Так быстро она опустилась на дно, что он сразу оценил ее вес.

— Сколько же ты хочешь за эту жемчужину?—спросил он с ловко разыгранным равнодушием.

— Я хочу...—начал Мапуи, и из-за плеч Мапуи, обрамляя его коричневое лицо, высунулись коричневые лица двух женщин и девочки; они закивали в подтверждение его слов и, еле сдерживая восторг, жадно сверкая глазами, вытянули вперед шеи.

— Мне нужен дом,—продолжал Мапуи.—С крышей из оцинкованного железа и с восьмиугольными часами

¹ Острова Паумоту (Туамоту)—архипелаг в Тихом океане в Полинезии, которая вместе с Микронезией, Меланезией и Новой Зеландией составляет Океанию. В начале XX века, когда Лондон бывал на архипелагах Океании, эти группы островов входили в сферы влияния Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Японии, Германии. Некоторые из них принадлежали Чили.

на стене. Чтобы он был длиной в сорок футов и чтобы вокруг шла веранда. В середине чтобы была большая комната, и в ней круглый стол, а на стене часы с гириями. И чтобы было четыре спальни, по две с каждой стороны от большой комнаты; и в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. А за домом кухня—хорошая кухня, с кастрюльками и сковородками и с печкой. И чтобы ты построил мне этот дом на моем острове, на Факарава.

— Это все?—недоверчиво спросил Рауль.

— И чтобы была швейная машина,—заговорила Тэфара, жена Мапуи.

— И обязательно стенные часы с гириями,—добавила Наури, мать Мапуи.

— Да, это все,—сказал Мапуи.

Рауль засмеялся. Он смеялся долго и весело. Но смеясь, он торопливо решал в уме арифметическую задачу: ему никогда не приходилось строить дом, и представления о постройке домов у него были самые туманные. Не переставая смеяться, он подсчитывал, во что обойдется рейс на Таити за материалами, сами материалы, обратный рейс на Факарава, выгрузка материалов и строительные работы. На все это, круглым счетом, потребуется четыре тысячи французских долларов, иными словами—двадцать тысяч франков. Это немыслимо! Откуда ему знать, сколько стоит такая жемчужина? Двадцать тысяч франков—огромные деньги, да к тому же это деньги его матери.

— Мапуи,—сказал он,—ты дурак. Назначь цену деньгами.

Но Мапуи покачал головой, и три головы позади него тоже закачались.

— Мне нужен дом,—сказал он,—длиной в сорок футов, чтобы вокруг шла веранда...

— Да, да,—перебил его Рауль.—Про дом я все понял, но из этого ничего не выйдет. Я дам тебе тысячу чилийских долларов...

Четыре головы дружно закачались в знак молчаливого отказа.

— И кредит на сто чилийских долларов.

— Мне нужен дом...—начал Мапуи.

— Какая тебе польза от дома?—спросил Рауль.—Первый же ураган снесет его в море. Ты сам это знаешь. Капитан Раффи говорит, что вот и сейчас можно ждать урагана.

— Только не на Факарава,—сказал Мапуи,—там берег много выше. Здесь, может быть, и снесет; на Хикуэру всякий ураган опасен. Мне нужен дом на Факарава: длиною в сорок футов и вокруг веранда...

И Рауль еще раз выслушал весь рассказ о доме. В течение нескольких часов он старался выбить эту навязчивую идею из головы туземца, но жена, и мать Мапуи, и его дочь Нгакура поддерживали его. Слушая в двадцатый раз подробное описание вожделенного дома, Рауль увидел через открытую дверь лачуги, что к берегу подошла вторая шлюпка с «Аораи». Гребцы не выпускали весел из рук, очевидно, спеша отвалить. Помощник капитана шхуны, выскочив на песок, спросил что-то у однорукого туземца и быстро зашагал к Раулю. Внезапно стало темно,—грозовая туча закрыла солнце. Было видно, как за лагуной по морю быстро приближается зловещая линия ветра.

— Капитан Раффи говорит, надо убираться отсюда,—сразу же начал помощник.—Он велел передать, что, если есть жемчуг, все равно надо уходить, авось, успеем собрать его после. Барометр упал до двадцати девяти и семидесяти.

Порыв ветра тряхнул пандановое дерево над головой Рауля и пронесся дальше; несколько спелых кокосовых орехов с глухим стуком упали на землю. Пошел дождь—сначала вдалеке, потом все ближе, надвигаясь вместе с сильным ветром, и вода в лагуне задымилась бороздками. Дробный стук первых капель по листьям заставил Рауля вскочить на ноги.

— Тысячу чилийских долларов наличными, Мапуи,—сказал он,—и кредит на двести.

— Мне нужен дом...—затянул Мапуи.

— Мапуи!—прокричал Рауль, сквозь шум ветра.—Ты дурак!

Он выскочил из лачуги и вместе с помощником капитана кое-как добрался до берега, где их ждала

шлюпка. Шлюпки не было видно. Тропический ливень окружал их стеной, так что они видели только кусок берега под ногами и злые маленькие волны лагуны, кусавшие песок. Рядом выросла фигура человека. Это был однорукий Хуру-Хуру.

— Получил жемчужину?—прокричал он в ухо Раулю.

— Мапуи дурак!—крикнул тот в ответ, и в следующую минуту их разделили потоки дождя.

Полчаса спустя Хуру-Хуру, стоя на обращенной к морю стороне атолла, увидел, как обе шлюпки подняли на шхуну и «Аораи» повернула прочь от острова. А в том же месте, словно принесенная на крыльях шквала, появилась и стала на якорь другая шхуна, и с нее тоже спустили шлюпку. Он знал эту шхуну. Это была «Орохена», принадлежавшая метису Торики, торговцу, который сам объезжал острова, скупая жемчуг, и сейчас, разумеется, стоял на корме своей шлюпки. Хуру-Хуру лукаво усмехнулся. Он знал, что Мапуи задолжал Торики за товары, купленные в кредит еще в прошлом году.

Гроза пронеслась. Солнце палило, и лагуна опять стала гладкой, как зеркало. Но воздух был липкий, словно клей, и тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание.

— Ты слышал новость, Торики?—спросил Хуру-Хуру.—Мапуи нашел жемчужину. Такой никогда не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Мапуи дурак. К тому же он у тебя в долгу. Помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

И вот к соломенной лачуге Мапуи зашагал Торики. Это был властный человек, но не очень умный. Он небрежно взглянул на чудесную жемчужину—взглянул только мельком—и преспокойно опустил ее себе в карман.

— Тебе повезло,—сказал он.—Жемчужина красивая. Я открою тебе кредит на товары.

— Мне нужен дом...—в ужасе залепетал Мапуи.—Чтобы длиной был сорок футов...

— А, поди ты со своим домом!—оборвал его торговец.—Тебе нужно расплатиться с долгами, вот что тебе нужно. Ты был мне должен тысячу двести чилийских

долларов. Прекрасно! Теперь ты мне ничего не должен. Мы в расчете. А кроме того, я открою тебе кредит на двести чилийских долларов. Если я удачно продам эту жемчужину на Таити, увеличу тебе кредит еще на сотню—всего, значит, будет триста. Но помни,—только если я удачно продам ее. Я могу еще потерпеть на ней убыток.

Мапуи скорбно скрестил руки и понурил голову. У него украли его сокровище. Нового дома не будет,—он попросту отдал долг. Он ничего не получит за жемчужину.

— Ты дурак,—сказала Тэфара.

— Ты дурак,—сказала старая Наури.—Зачем ты отдал ему жемчужину?

— Что мне было делать?—оправдывался Мапуи.— Я был ему должен. Он знал, что я нашел жемчужину. Ты сама слышала, как он просил показать ее. Я ему ничего не говорил, он сам знал. Это кто-то другой сказал ему. А я был ему должен.

— Мапуи дурак,—подхватила и Нгакура.

Ей было двенадцать лет, она еще не набралась ума-разума. Чтобы облегчить душу, Мапуи дал ей такого тумака, что она свалилась наземь, а Тэфара и Наури залились слезами, не переставая корить его, как это свойственно женщинам.

Хуру-Хуру, стоя на берегу, увидел, как третья знакомая ему шхуна бросила якорь у входа в атолл и спустила шлюпку. Называлась она «Хира»—и недаром: хозяином ее был Леви, немецкий еврей, самый крупный скупщик жемчуга, а Хира, как известно,—таитянский бог, покровитель воров и рыболовов.

— Ты слышал новость?—спросил Хуру-Хуру, как только Леви, толстяк с крупной головой и неправильными чертами лица, ступил на берег.—Мапуи нашел жемчужину. Такой жемчужины не бывало еще на Хику-эру, и на всех Паумоту, и во всем мире. Мапуи дурак: он продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов,—я подслушал их разговор. И Торики тоже дурак. Ты можешь купить у него жемчужину, и дешево. Помни: я первый тебе сказал. Табак есть?

— Где Торики?

— У капитана Линча, пьет абсент. Он уже час как сидит там.

И пока Леви и Торики пили абсент и торговались из-за жемчужины, Хуру-Хуру подслушивал—и слышал, как они сошлись на невероятной цене: двадцать пять тысяч франков!

Вот в это-то время «Орохена» и «Хира» подошли совсем близко к острову и стали стрелять из орудий и отчаянно сигнализировать. Капитан Линч и его гости, выйдя из дому, еще успели увидеть, как обе шхуны поспешно повернули и стали уходить от берега, на ходу убирая гроты и кливера и под напором шквала низко кренясь над побелевшей водой. Потом они скрылись за стеною дождя.

— Они вернутся, когда утихнет,—сказал Торики.—Надо нам выбираться отсюда.

— Барометр, верно, еще упал,—сказал капитан Линч.

Это был седой бородатый старик, который уже не ходил в море и давно понял, что может жить в ладу со своей астмой только на Хикуэру. Он вошел в дом и взглянул на барометр.

— Боже ты мой!—услышали они и бросились за ним следом: он стоял, с ужасом глядя на стрелку, которая показывала двадцать девять и двадцать.

Снова выйдя на берег, они в тревоге оглядели море и небо. Шквал прошел, но небо не прояснилось. Обе шхуны, а с ними и еще одна, под всеми парусами шли к острову. Но вот ветер переменился, и они поубавили парусов. А через пять минут шквал налетел на них с противоположной стороны, прямо в лоб,—и с берега было видно, как там поспешно ослабили, а потом и совсем убрали передние паруса. Прибой звучал глухо и грозно, началось сильное волнение. Потрясающей силы молния разрезала потемневшее небо, и оглушительными раскатами загремел гром.

Торики и Леви бегом пустились к шлюпкам. Леви бежал вперевалку, словно насмерть перепуганный бегемот. При выходе из атолла навстречу их лодкам неслась шлюпка с «Аораи». На корме, подгоняя гребцов, стоял Рауль. Мысль о жемчужине не давала ему покоя, и он решил вернуться, чтобы принять условия Мапуи.

Он выскочил на песок в таком вихре дождя и ветра, что столкнулся с Хуру-Хуру, прежде чем увидел его.

— Опоздал!—крикнул Хуру-Хуру.— Мапуи продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, а Торики продал ее Леви за двадцать пять тысяч франков. А Леви продаст ее во Франции за сто тысяч. Табак есть?

Рауль облегченно вздохнул. Все его терзания кончились. Можно больше не думать о жемчужине, хоть она и не досталась ему. Но он не поверил Хуру-Хуру: вполне возможно, что Мапуи продал жемчужину за тысячу четыреста чилийских долларов, но чтобы Леви, опытный торговец, заплатил за нее двадцать пять тысяч франков—это едва ли. Рауль решил переспросить капитана Линча, но, добравшись до жилища старого моряка, он застал его перед барометром в полном недоумении.

— Сколько, по-твоему, показывает?—тревожно спросил капитан, протер очки и снова посмотрел на барометр.

— Двадцать девять и десять,—сказал Рауль.—Я никогда не видел, чтобы он стоял так низко.

— Неудивительно,—проворчал капитан.—Я пятьдесят лет ходил по морям и то не видел ничего подобного. Слышишь?

Они прислушались к реву прибоя, сотрясавшего дом, потом вышли. Шквал утих. За милю от берега «Аораи», попавшую в штиль, кренило и швыряло на высоких волнах, которые величественно, одна за другой, катились с северо-востока и с яростью кидались на коралловый берег. Один из гребцов Рауля указал на вход в пролив и покачал головой. Посмотрев в ту сторону, Рауль увидел белое месиво клубящейся пены.

— Я, пожалуй, переночую у вас, капитан,—сказал он и велел матросу вытащить шлюпку на берег и найти пристанище для себя и для остальных гребцов.

— Ровно двадцать девять,—сообщил капитан Линч, уходящий в дом, чтобы еще раз взглянуть на барометр.

Он вынес из дома стул, сел и уставился на море. Солнце вышло из-за облаков, стало душно, по-прежнему не было ни ветерка. Волнение на море усиливалось.

— И откуда такие волны, не могу понять,—нервно начал Рауль.—Ветра нет... А вы посмотрите... нет, вы только посмотрите вон на ту!

Волна, протянувшаяся на несколько миль, обрушила десятки тысяч тонн воды на хрупкий атолл, и он задрожал, как от землетрясения. Капитан Линч был ошеломлен.

— О, господи!—воскликнул он, привстав со стула, и снова сел.

— А ветра нет,—твердил Рауль.— Был бы ветер, я бы еще мог это понять.

— Можешь не беспокоиться, будет и ветер,—мрачно ответил капитан.

Они замолчали. Пот выступил у них на теле миллионами мельчайших росинок, которые сливались в капли и ручейками стекали на землю. Не хватало воздуха, старик мучительно задыхался. Большая волна взбежала на берег, облизала стволы кокосовых пальм и спала почти у самых ног капитана Линча.

— Намного выше последней отметки,—сказал он.— А я живу здесь одиннадцать лет.— Он посмотрел на часы.— Ровно три.

На берегу появились мужчина и женщина в сопровождении стайки детей и собак. Пройдя дом, они остановились в нерешительности и после долгих колебаний сели на песок. Несколько минут спустя с противоположной стороны приплелось другое семейство, нагруженное всяким домашним скарбом. И вскоре вокруг дома капитана Линча собралось несколько сот человек—мужчин и женщин, стариков, детей. Капитан окликнул одну из женщин, с грудным младенцем на руках, и узнал, что ее дом только что смыло волной.

Дом капитана стоял на самом высоком месте острова, справа и слева от него огромные волны уже перехлестывали через узкое кольцо атолла в лагуну. Двадцать миль в окружности имело это кольцо, и лишь кое-где оно достигало трехсот футов в ширину. Сезон ловли жемчуга был в разгаре, и туземцы съехались сюда со всех окрестных островов и даже с Таити.

— Здесь сейчас тысяча двести человек,—сказал капитан Линч.— Трудно сказать, сколько из них уцелеет к завтрашнему утру.

— Непонятно, почему нет ветра?—спросил Рауль.

— Не беспокойся, мой милый, не беспокойся, неприятности начнутся очень скоро.

Не успел капитан Линч договорить, как огромная волна низринулась на атолл. Морская вода, покрыв песок трехдюймовым слоем, закипела вокруг их стульев. Раздался протяжный стон испуганных женщин. Дети, стиснув руки, смотрели на гигантские валы и жалобно плакали. Куры и кошки заметались в воде, а потом дружно, как сговорившись, устремились на крышу дома. Один туземец, взяв корзину с новорожденными щенятами, залез на кокосовую пальму и привязал корзину на высоте двадцати футов над землей. Собака-мать, повизгивая и таякая, скакала в воде вокруг дерева.

А солнце светило по-прежнему ярко, и все еще не было ни ветерка. Они сидели, глядя на волны, кидавшие «Аораи» из стороны в сторону. Капитан Линч, не в силах больше смотреть на вздымающиеся водяные горы, закрыл лицо руками, потом ушел в дом.

— Двадцать восемь и шестьдесят,— негромко сказал он, возвращаясь.

В руке у него был моток толстой веревки. Он нарезал из нее концы по десять футов длиной, один дал Раулю, один оставил себе, а остальные роздал женщинам, посоветовав им лезть на деревья.

С северо-востока потянул легкий ветерок, и, почувствовав на лице его дуновение, Рауль оживился. Он увидел, как «Аораи», выбрав шкоты, двинулась прочь от берега, и пожалел, что остался здесь. Шхуна-то уйдет от беды, а вот остров... Волна перехлестнула через атолл, чуть не сбив его с ног, и он присмотрел себе дерево, потом, вспомнив про барометр, побежал в дом и в дверях столкнулся с капитаном Линчем.

— Двадцать восемь и двадцать,— сказал старик.— Ох, и заварится тут чертова каша!.. Это что такое?

Воздух наполнился стремительным движением. Дом дрогнул и закачался, и они услышали мощный гул. В окнах задребезжали стекла. Одно окно разбилось; в комнату ворвался порыв ветра такой силы, что они едва устояли на ногах. Дверь с треском захлопнулась, расщепив щеколду. Осколки белой дверной ручки посыпались на пол. Стены комнаты вздулись, как воздушный шар, в который слишком быстро накачали газ. Потом послышался новый шум, похожий на ружейную стрельбу,— это

гребень волны разбился о стену дома. Капитан Линч посмотрел на часы. Было четыре пополудни. Он надел синюю суконную куртку, снял со стены барометр и засунул его в глубокий карман. Новая волна с глухим стуком ударилась в дом, и легкая постройка повернулась на фундаменте и осела, накренившись под углом в десять градусов.

Рауль первый выбрался наружу. Ветер подхватил его и погнал по берегу. Он заметил, что теперь дует с востока. Ему стоило огромного труда лечь и прикинуться к песку. Капитан Линч, которого ветер нес, как соломинку, упал прямо на него. Два матроса с «Аорай» прыгнули с кокосовой пальмы и бросились им на помощь, уклоняясь от ветра под самыми невероятными углами, на каждом шагу хватаясь за землю.

Капитан Линч был уже слишком стар, чтобы лазить по деревьям, поэтому матросы, связав несколько коротких веревок, стали постепенно поднимать его по стволу и наконец привязали к верхушке в пятидесяти футах от земли. Рауль закинул свою веревку за ствол другой пальмы и огляделся. Ветер был ужасающий. Ему и не снилось, что такой бывает. Волна, перекатившись через атолл, промочила его до колен и хлынула в лагуну. Солнце исчезло, наступили свинцовые сумерки. Несколько капель дождя ударили его сбоку, словно дробинки, лицо окатило соленой пеной, словно ему дали оплеуху; щеки жгло от боли, на глазах выступили слезы. Несколько сот туземцев забрались на деревья, и в другое время Рауль посмеялся бы, глядя на эти гроздьи людей. Но он родился на Таити и знал, что делать: он согнулся, обхватил руками дерево и, крепко ступая, пошел по стволу вверх. На верхушке пальмы он обнаружил двух женщин, двух девочек и мужчину; одна из девочек крепко прижимала к груди кошку.

Со своей вышки он помахал рукой старику капитану, и тот бодро помахал ему в ответ. Рауль был потрясен видом неба: оно словно нависло совсем низко над головой и из свинцового стало черным. Много народу еще сидело кучками на земле под деревьями, держась за стволы. Кое-где молились, перед одной из кучек проповедовал миссионер-мормон. Станный звук долетел до

слуха Рауля—ритмичный, слабый, как стрекот далекого сверчка; он длился всего минуту, но за эту минуту успел смутно пробудить в нем мысль о рае и небесной музыке. Оглянувшись, он увидел под другим деревом большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. По их лицам и по одинаковым у всех движениям губ он понял, что они поют псалом.

А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить,—этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре,—но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. Невдалеке от него вырвало с корнем дерево; висевших на нем людей швырнуло на землю. Волна окатила узкую полосу песка—и люди исчезли. Все совершалось быстро. Рауль увидел на фоне белой вспененной воды лагуны черную голову, коричневое плечо. В следующее мгновение они скрылись из глаз. Деревья гнулись, падали и скрещивались, как спички. Рауль не уставал поражаться силе ветра; пальма, на которой он спасался, тоже угрожающе раскачивалась. Одна из женщин причитала, крепко прижав к себе девочку, а та все не выпускала из рук кошку.

Мужчина, державший второго ребенка, тронул Рауля за плечо и указал вниз. Рауль увидел, что в ста шагах от его дерева мормонская часовня, как пьяная, шатается на ходу: ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силы вал подхватил ее, повернул и бросил на купу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Волна схлынула, а они остались лежать на земле: одни неподвижно, другие—извиваясь и корчась. Они чем-то напомнили Раулю муравьев. Он не ужаснулся,—теперь его уже ничто не могло ужаснуть. Спокойно и деловито он наблюдал, как следующей волной эти человеческие обломки смыло в воду. Третья волна, самая огромная из всех, швырнула часовню в лагуну, и она поплыла во мрак, наполовину затонув,—ни дать ни взять Ноев ковчег.

Рауль поискал глазами дом капитана Линча и с удивлением убедился, что дома больше нет. Да, все совершалось очень быстро. Он заметил, что с уцелевших деревьев многие спустились на землю. Ветер тем време-

нем еще усилился, Рауль видел это по своей пальме: она уже не раскачивалась взад и вперед,—теперь она оставалась почти неподвижной, низко согнувшись под напором ветра, и только дрожала. Но от этой дрожи тошнота подступала к горлу. Это напоминало вибрацию камертона или струн гавайской гитары. Хуже всего было то, что пальма вибрировала необычайно быстро. Даже если ее не вырвет с корнями, она долго не выдержит такого напряжения и переломится.

Ага! Одно дерево уже не выдержало! Он не заметил, когда оно сломалось, но вот стоит обломок—половина ствола. Пока не увидишь, так и не будешь знать, что творится. Треск деревьев и горестные вопли людей тонули в мощном реве и грохоте... Когда это случилось, Рауль как раз смотрел туда, где был капитан Линч. Он увидел, как пальма бесшумно треснула посередине и верхушка ее, с тремя матросами и старым капитаном, понеслась к лагуне. Она не упала, а поплыла по воздуху, как соломинка. Он следил за ее полетом: она ударилась о воду шагах в ста от берега. Он напряг зрение и увидел—он мог бы в том поклясться,—что капитан Линч помахал ему на прощание рукой.

Рауль не стал больше ждать, он тронул туземца за плечо и знаками показал ему, что нужно спускаться. Туземец согласился было, но женщины словно окаменели от страха, и он остался с ними. Рауль захлестнул веревку вокруг дерева и сполз по стволу на землю. Его окатило соленой водой. Он задержал дыхание, судорожно вцепившись в веревку. Волна спала, и, прижавшись к стволу, он перевел дух, потом завязал веревку покрепче. И тут его окатила новая волна. Одна из женщин соскользнула с дерева, но мужчина остался со второй женщиной, обоими детьми и кошкой. Рауль еще сверху видел, что кучки людей, жавшихся к подножиям других деревьев, постепенно таяли. Теперь это происходило справа и слева от него, со всех сторон. Сам он напрягал все силы, чтобы удержаться; женщина рядом с ним заметно слабела. После каждой волны он дивился сначала тому, что его еще не смыло, а потом—что не смыло женщину. Наконец, когда схлынула еще одна волна, он остался один. Он поднял голову: верхушка

дерева тоже исчезла. Укоротившийся наполовину, дрожал расщепленный ствол. Рауль был спасен: корнями пальма держалась, и теперь ветер был ей не страшен. Он полез вверх по стволу. Он так ослабел, что двигался медленно, и еще несколько волн догнали его, прежде чем ему удалось от них уйти. Тут он привязал себя к стволу и приготовился мужественно встретить ночь и то неизвестное, что еще ожидало его.

Ему было очень тоскливо одному в темноте. Временами казалось, что наступил конец света и только он один еще остался в живых. А ветер все усиливался, усиливался с каждым часом. К одиннадцати часам, по расчетам Рауля, он достиг совсем уже невероятной силы. Это было что-то чудовищное, дикое—визжащий зверь, стена, которая крушила все перед собой и пронеслась мимо, но тут же налетала снова,—и так без конца. Ему казалось, что он стал легким, невесомым, что он сам движется куда-то, что его с неимоверной быстротой несет сквозь бесконечную плотную массу. Ветер уже не был движущимся воздухом—он стал ощутимым, как вода или ртуть. Раулю чудилось, что в этот ветер можно запустить руку и отрывать его кусками, как мясо от туши быка, что в него можно вцепиться и приникнуть к нему, как к скале.

Ветер душил его. Он врывался с дыханием через рот и ноздри, раздувая легкие, как пузыри. В такие минуты Раулю казалось, что все тело у него набито землей. Чтобы дышать, он прижимался губами к стволу пальмы. Этот непрекращающийся вихрь лишал его последних сил, он изматывал и тело и рассудок. Рауль уже не мог ни наблюдать, ни думать, он был в полусознании. Четкой оставалась одна мысль: «Значит, это ураган». Мысль эта упорно мерцала в мозгу, точно слабый огонек, временами дававший вспышки. Очнувшись от забытья, он вспоминал: «Значит, это ураган»,—потом снова погружался в забытье.

Яростнее всего ураган бушевал от одиннадцати до трех часов ночи,—и как раз в одиннадцать сломалось то дерево, на котором спасался Мапуи и его семья. Мапуи всплыл на поверхность лагуны, все еще не выпуская из рук свою дочь Нгакуру. Только местный житель мог

уцелеть в такой переделке. Верхушка дерева, к которой Мапуи был привязан, бешено крутилась среди пены и волн. То цепляясь за нее, то быстро перехватывая по стволу руками, чтобы высунуть из воды свою голову и голову дочери, он ухитрился не захлебнуться, но вместе с воздухом в легкие проникала вода—летающие брызги и дождь, ливший почти горизонтально.

До противоположного берега лагуны было десять миль. Здесь о бешено крутящиеся завалы из стволов, досок, обломков домов и лодок разбивалось девять из каждых десяти несчастных, не погибших в водах лагуны. Захлебнувшихся, полуживых, их швыряло в эту дьявольскую мельницу и размалывало в кашу. Но Мапуи повезло, волею судьбы он оказался в числе уцелевших; его выкинуло на песок. Он истекал кровью; у Нгакуры левая рука была сломана, пальцы правой расплющило, щека и лоб были рассечены до кости. Мапуи обхватил рукою дерево и, держа дочь другой рукой, со стонами переводил дух, а набегавшие из лагуны волны доставали ему до колен, а то и до пояса.

В три часа утра урагана пошла на убыль. В пять часов было очень ветрено, но не более того, а к шести стало совсем тихо и показалось солнце. Море начало успокаиваться. На берегу еще покрытой волнами лагуны Мапуи увидел искалеченные тела тех, кому не удалось живыми добраться до суши. Наверное, среди них и его жена и мать. Он побрел по песку, осматривая трупы, и увидел свою жену Тэфару, лежавшую наполовину в воде. Он сел на землю и заплакал, подвывая по-звериному,—ибо так свойственно дикарю выражать свое горе. И вдруг женщина пошевелилась и застонала. Мапуи вгляделся в нее: она была не только жива, но и не ранена. Она просто спала! Тэфара тоже оказалась в числе немногих счастливых.

Из тысячи двухсот человек, населявших остров накануне, уцелело всего триста. Миссионер-мормон и жандарм переписали их. Лагуна была забита трупами. На всем острове не осталось ни одного дома, ни одной хижины—не осталось камня на камне. Почти все кокосовые пальмы вырвало с корнем, а те, что еще стояли, были сломаны, и орехи с них сбиты все до одного. Не

было пресной воды. В неглубоких колодцах, куда стекали струи дождя, скопилась соль. Из лагуны выловили несколько промокших мешков с мукой. Спасшиеся вырезали и ели сердцевину упавших кокосовых орехов. Они вырыли ямы в песке, прикрыли их остатками железных крыш и заползли в эти норы. Миссионер соорудил примитивный перегонный куб, но не успевал опреснять воду на триста человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, почувствовал, что жажда мучит его не так сильно. Он оповестил всех о своем открытии, и скоро триста мужчин, женщин и детей стояли по шею в воде, стараясь хотя бы так утолить жажду. Трупы плавали вокруг них, попадались им под ноги. На третий день они похоронили мертвых и стали ждать спасательных судов.

А между тем Наури, разлученная со своей семьей, одна переживала все ужасы урагана. Вместе с доской, за которую она упорно цеплялась, не обращая внимания на бесчисленные занозы и ушибы, ее перекинуло через атолл и унесло в море. Здесь, среди сокрушительных толчков огромных, как горы, волн, она потеряла свою доску. Наури было без малого шестьдесят лет, но она родилась на этих островах и всю жизнь прожила у моря. Плывая в темноте, задыхаясь, захлебываясь, ловя ртом воздух, она почувствовала, как ее с силой ударил в плечо кокосовый орех. Мгновенно составив план действий, она схватила этот орех. В течение часа ей удалось поймать еще семь. Она связала их. И получился спасательный пояс, который и удержал ее на воде, хотя ей все время грозила опасность насмерть расшибиться о него. Наури была толстая и скоро вся покрылась синяками, но ураганы были ей не внове, и, прося у своего акульского бога защиты от акул, она ждала, чтобы ветер начал стихать. Но к трем часам ее так укачало, что она пропустила этот момент. И о том, что к шести часам ветер совсем стих, она тоже не знала. Она очнулась, только когда ее выкинуло на песок, и, хватаясь за него израненными, окровавленными руками, поползла вверх по берегу, чтобы волны не смыли ее обратно в море.

Она знала, где находится: ее выбросило на крошечный островок Такокота. Здесь не было лагуны, здесь никто не жил. Островок отстоял от Хикуэру на пятнадцать миль. Хикуэру не было видно, но Наури знала, что он лежит к югу от нее. Десять дней она жила, питаясь кокосовыми орехами, которые не дали ей утонуть: она пила их сок и ела сердцевину, но понемножку, чтобы хватило надолго. В спасении она не была уверена. На горизонте виднелись дымки спасательных пароходов, но какой пароход догадается заглянуть на маленький необитаемый остров Такокота?

С самого начала ей не давали покоя трупы. Море упорно выбрасывало их на песок, и она, пока хватало сил, так же упорно сталкивала их обратно в море, где их пожирали акулы. Когда силы у нее иссякли, трупы опоясали остров страшной гирляндой, и она ушла от них как можно дальше, хотя далеко уйти было некуда.

На десятый день последний орех был съеден, и Наури вся высохла от жажды. Она ползала по песку в поисках орехов. «Странно,— думала она,— почему всплывает столько трупов, а орехов нет? Орехов должно бы плавать больше, чем мертвых тел!» Наконец она отчаялась и в изнеможении вытянулась на песке. Больше надеяться было не на что, оставалось только ждать смерти.

Придя в себя, Наури медленно осознала, что перед глазами у нее голова утопленника с прядью светло-рыжих волос. Волна подбросила труп поближе к ней, потом унесла назад и, наконец, перевернула навзничь. Наури увидела, что у него нет лица, но в пряди светло-рыжих волос было что-то знакомое. Прошел час. Она не старалась опознать мертвеца,— она ждала смерти и ее не интересовало, кем было раньше это страшное лицо.

Но через час она с усилием приподнялась и взглядела в труп. Сильная волна подхватила его и оставила там, куда не доставали волны поменьше. Да, она не ошиблась: это прядь рыжих волос могла принадлежать только одному человеку на островах Паумоту: это был Леви, немецкий еврей,— тот, что купил жемчужину Мапуи и увез ее на шхуне «Хира». Что ж, ясно одно:

«Хира» погибла. Бог рыболовов и воров отвернулся от скупщика жемчуга.

Она подползла к мертвецу. Рубашку с него сорвало, широкий кожаный пояс был на виду. Затаив дыхание, Наури попробовала расстегнуть пряжку. Это оказалось совсем не трудно, и она поспешила отползти прочь, волоча пояс за собой по песку. Она расстегнула один кармашек, другой, третий—пусто. Куда же он ее дел? В последнем кармашке она нашла ее — первую и единственную жемчужину, купленную им за эту поездку. Наури отползла еще на несколько шагов, подальше от вонючего пояса, и рассмотрела жемчужину. Это была та самая, которую Мапуи нашел, а Торики отнял у него. Она взвесила ее на руке, любовно покатала по ладони. Но не красота жемчужины занимала Наури: она видела в ней дом, который они с Мапуи и Тэфарой так старательно построили в своих мечтах. Глядя на жемчужину, она видела этот дом во всех подробностях, включая восьмиугольные часы на стене. Ради этого стоило жить.

Она оторвала полосу от своей аху и, крепко завязав в нее жемчужину, повесила на шею, потом двинулась по берегу, крихтя и задыхаясь, но зорко высматривая кокосовые орехи. Очень скоро она нашла один, а за ним и второй. Разбив орех, она выпила сок, отдававший плесенью, и съела дочиста всю сердцевину. Немного позже она набрела на разбитый челнок. Уключин на нем не было, но она не теряла надежды и к вечеру разыскала и уключину. Каждая находка была добрым предзнаменованием. Жемчужина принесла ей счастье. Перед закатом Наури увидела деревянный ящик, качавшийся на воде. Когда она тащила его на берег, в нем что-то гроыхало. В ящике оказалось десять банок рыбных консервов. Одну из них она открыла, поколотив ее о борт челнока. Соус она выпила через пробитое отверстие, а потом несколько часов по маленьким кусочкам извлекала из жестянки лососину.

Еще восемь дней Наури ждала помощи. За это время она пристроила к челноку найденную уключину, используя все волокна кокосовых орехов, какие ей удалось собрать, и остатки своей аху. Челнок сильно растрескал-

ся, проконопатить его было нечем, но Наури припасла скорлупу от кокосового ореха, чтобы вычерпывать воду. Она долго думала, как сделать весло; потом куском жести отрезала свои волосы, сплела из них шнурок и этим шнурком привязала трехфуттовую палку к доске от ящика с консервами, закрепив ее маленькими клиньями, которые выгрызла зубами.

На восемнадцатые сутки, в полночь, Наури спустила челнок на воду и, миновав полосу прибоя, пустилась в путь домой, на Хикуэру. Наури была старуха. От пережитых лишений весь жир у нее сошел, остались одна кожа да чуть прикрытые дряблыми мышцами кости. Челнок был большой, рассчитанный на трех сильных гребцов, но она справлялась с ним одна, работая самодельным веслом; протекал он так сильно, что треть времени уходила на вычерпывание. Уже совсем рассвело, а Хикуэру еще не было видно. Такокота исчез позади, за линией горизонта. Солнце палило, и обильный пот проступил на обнаженном теле Наури. У нее остались две банки лососины, и в течение дня она пробила в них дырки и выпила соус,— доставать рыбу было некогда. Челнок относил к западу, но подвигался ли он на юг, она не знала.

Вскоре после полудня, встав во весь рост на дне челнока, она увидела Хикуэру. Пышные купы кокосовых пальм исчезли. Там и сям торчали редкие обломанные стволы. Вид острова придавал ей бодрости. Она не думала, что он уже так близко. Течение относил ее к западу. Она продолжала грести, стараясь направлять челнок к югу. Клинышки, державшие шнурок на весле, стали выскакивать, и Наури тратила много времени каждый раз, когда приходилось загонять их на место. И на дне все время набиралась вода: через каждые два часа Наури бросала весло и час работала черпаком. И все время ее относил на запад.

К закату Хикуэру был в трех милях от нее, на юго-востоке. Взошла полная луна, и в восемь часов остров лежал прямо на восток, до него оставалось две мили. Наури промучилась еще час, но земля не приближалась: течение крепко держало ее, челнок был велик, никуда не годилось весло и слишком много времени и

сил уходило на вычерпывание. К тому же она очень устала и слабела все больше и больше. Несмотря на все ее усилия, челнок дрейфовал на запад.

Она помолилась акульему богу, выпрыгнула из челнока и поплыла. Вода освежила ее, челнок скоро остался позади. Через час земля заметно приблизилась. И тут случилось самое страшное. Прямо впереди нее, не дальше чем в двадцати футах, воду разрезал огромный плавник. Наури упорно плыла на него, а он медленно удалялся, потом свернул вправо и описал вокруг нее дугу. Не теряя плавника из вида, она плыла дальше. Когда он исчезал, она ложилась ничком на воду и выжидала. Когда он вновь появлялся, она плыла вперед. Акула не торопилась—это было ясно: со времени урагана у нее не было недостатка в пище. Наури знала, что, будь акула очень голодна, она сразу бросилась бы на добычу. В ней было пятнадцать футов в длину, и одним движением челюстей она могла перекусить человека пополам.

Но Наури было некогда заниматься акулой,—течение упорно тянуло ее прочь от земли. Прошло полчаса, и акула обнаглела. Видя, что ей ничего не грозит, она стала сужать круги и, проплывая мимо Наури, жадно скашивала на нее глаза. Женщина не сомневалась, что рано или поздно акула осмелеет и бросится на нее. Она решила действовать, не дожидаясь этого, и пошла на отчаянный риск. Старуха, ослабевшая от голода и лишений, встретившись с этим тигром морей, задумала предвосхитить его бросок и броситься на него первой. Она плыла, выжидая удобную минуту. И вот акула лениво проплыла мимо нее всего в каких-нибудь восьми футах. Наури кинулась вперед, словно нападая. Яростно ударив хвостом, акула пустилась наутек и, задев женщину своим шершавым боком, содрала ей кожу от локтя до плеча. Она уплывала быстро, по кругу, и наконец исчезла.

В яме, вырытой в песке и прикрытой кусками искореженного железа, лежали Мапуи и Тэфара; они ссорились.

— Послушался бы ты моего совета,—в тысячный раз корила его Тэфара,—припрятал жемчужину и никому бы не говорил, она и сейчас была бы у тебя.

— Но Хуру-Хуру стоял около меня, когда я открывал раковину, я тебе уже говорил это много-много раз.

— А теперь у нас не будет дома. Рауль мне сегодня сказал, что если б ты не продал жемчужину Торики...

— Я не продавал ее. Торики меня ограбил.

— ...если бы ты ее не продал, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов, а это все равно что десять тысяч чилийских.

— Он посоветовался с матерью,—пояснил Мапуи.—Она-то знает толк в жемчуге.

— А теперь у нас нет жемчужины,—простонала Тэфара.

— Зато я заплатил долг Торики. Значит, тысячу двести я все-таки заработал.

— Торики умер!—крикнула она.—О его шхуне нет никаких известий. Она погибла вместе с «Аораи» и «Хира». Даст тебе Торики на триста долларов кредита, как обещал? Нет, потому что Торики умер, а не найди ты эту жемчужину, был бы ты ему сейчас должен тысячу двести? Нет! Потому что Торики умер, а мертвым долгов не платят.

— А Леви не заплатил Торики,—сказал Мапуи.—Он дал ему бумагу, чтобы по ней получить деньги в Папеее; а теперь Леви мертвый и не может заплатить; и Торики мертвый, и бумага погибла вместе с ним, а жемчужина погибла вместе с Леви. Ты права, Тэфара. Жемчужину я упустил и не получил за нее ничего. А теперь давай спать.

Вдруг он поднял руку и прислушался. Снаружи посылались какие-то странные звуки, словно кто-то дышал тяжело и надсадно. Чья-то рука шарила по циновке, закрывавшей вход.

— Кто здесь?—крикнул Мапуи.

— Наури,—раздалось в ответ.—Скажите мне, где Мапуи, мой сын?

Тэфара взвизгнула и вцепилась мужу в плечо.

— Это дух!—пролепетала она.—Дух!

У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он трусливо прижался к жене.

— Добрая женщина,—сказал он, запинаясь и стараясь изменить голос.—Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны.

За циновкой послышался вздох. Мапуи приободрился: ему удалось провести духа.

— А откуда ты пришла, добрая женщина?—спросил он.

— С моря,—печально раздалось в ответ.

— Я так и знала, так и знала!—завопила Тэфара, раскачиваясь взад и вперед.

— Давно ли Тэфара ночует в чужом доме?—сказал голос Наури.

Мапуи с ужасом и укоризной посмотрел на жену,—ее голос выдал их обоих.

— И давно ли мой сын Мапуи стал отрекаться от своей старой матери?—продолжал голос.

— Нет, нет, я не... Мапуи не отрекается от тебя!—крикнул он.—Я не Мапуи. Говорю тебе, он на восточном берегу.

Нгакура проснулась и громко заплакала. Циновка заколыхалась.

— Что ты делаешь?—спросил Мапуи.

— Вхожу,—ответил голос Наури.

Край циновки приподнялся. Тэфара хотела зарыться в одеяла, но Мапуи не отпускал ее,—ему нужно было за что-то держаться. Дрожа всем телом и стуча зубами, они оба, вытаращив глаза, смотрели на циновку. В яму вползла Наури, вся мокрая и без аху. Они откатились от входа и стали рвать друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы закрыться им с головой.

— Мог бы дать старухе матери напиться,—жалобно сказал дух.

— Дай ей напиться!—приказала Тэфара дрожащим голосом.

— Дай ей напиться,—приказал Мапуи дочери.

И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту Мапуи краешком глаза увидел, что дух пьет воду. А потом дух протянул трясущуюся руку и коснулся его руки, и, почувствовав ее тяжесть, Мапуи

убедился, что перед ним не дух. Тогда он вылез из-под одеяла, таща за собою жену, и скоро все они уже слушали рассказ Наури. А когда она рассказала про Леви и положила жемчужину на ладонь Тэфары, даже та признала, что ее свекровь—человек из плоти и крови.

— Завтра утром,—сказала Тэфара,—ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов.

— А дом?—возразила Наури.

— Он построит дом,—сказала Тэфара.—Он говорит, что это обойдется в четыре тысячи. И кредит даст на тысячу французских долларов—это две тысячи чилийских.

— И дом будет сорок футов в длину?—спросила Наури.

— Да,—ответил Мапуи,—сорок футов.

— И в средней комнате будут стенные часы с гириями?

— Да, и круглый стол.

— Тогда дайте мне поест, потому что я проголодалась,—удовлетворенно сказала Наури.—А потом будем спать, потому что я устала. А завтра мы еще поговорим про дом, прежде чем продать жемчужину. Тысячу французских долларов лучше взять наличными. Всегда лучше платить за товары наличными, чем брать в кредит.



Ату их, ату!

то был пьянчуга шотландец, он глотал неразбавленное виски, как воду, и, зарядившись ровно в шесть утра, потом регулярно подкреплялся часов до двенадцати ночи, когда надо было укладываться спать. Для сна он урывал каких-нибудь пять часов в сутки, остальные же девятнадцать тихо и благородно выпивал. За два месяца моего пребывания на атолле Оолонг я ни разу не видел его трезвым. Он так мало спал, что и не успевал протрезвиться. Такого образцово-

го пьяницу, который пил бы так прилежно и методично, мне еще не приходилось встречать.

Звали его Мак-Аллистер. Посмотреть — хлипкий старикашка, еле на ногах держится, руки трясутся, как у параличного, особенно когда он наливает себе стаканчик, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хоть каплю. Двадцать восемь лет носило его по Меланезии, между германской Новой Гвинеей и германскими Соломоновыми островами¹, и он так акклиматизировался в этих краях, что и разговаривал уже на тамошнем тарабарском наречии, которое зовется «*bêche de mer*». Даже говоря со мной, не обходился он без таких выражений, как «солнце, он встал» — вместо «на рассвете», «кай-кай, он здесь» — вместо «обед подан» или «моя пуза гуляет» — вместо «живот болит».

Маленький человек, сухой, как щепка, прокаленный снаружи жгучим солнцем и винными парами изнутри, живой обломок шлака, еще не остывшего шлака, он двигался толчками, как заведенный манекен. Казалось, его могло унести порывом ветра. Он и весил каких-нибудь девяносто фунтов, не больше.

Но, как ни странно, это был царек, облеченный всей полнотою власти. Атолл Оолонг насчитывает сто сорок миль в окружности. Только по компасу можно войти в его лагуну. В то время население Оолонга составляли пять тысяч полинезийцев; все — мужчины и женщины — статные, как на подбор, многие ростом не ниже шести футов и весом в двести фунтов с лишним. От Оолонга до ближайшей земли двести пятьдесят миль. Дважды в год навевывалась сюда маленькая шхуна за копррой.

Мелкий торговец и отпетый пьяница, Мак-Аллистер был на Оолонге единственным представителем белой расы и правил его пятитысячным населением поистине железной рукой. Воля его была здесь законом. Любая его фантазия, любая прихоть исполнялись беспрекословно. Сварливый ворчун, какие нередко встречаются среди

¹ Германская Новая Гвинея и германские Соломоновы острова. — До первой мировой войны 1914—1918 годов Германия владела частью территории острова Новая Гвинея и частью архипелага Соломоновых островов.

стариков шотландцев, он постоянно вмешивался в домашние дела дикарей. Так, когда Нугу, королевская дочь, избрала себе в мужа молодого Гаунау, жившего на другом конце атолла, отец дал согласие; но Мак-Аллистер сказал: «Нет!» — и свадьба расстроилась. Или когда король пожелал купить у своего верховного жреца принадлежавший тому островок в лагуне, Мак-Аллистер опять сказал: «Нет!» Король задолжал Компании сто восемьдесят тысяч кокосовых орехов, и ни один кокос не должен был уйти на сторону, пока не будет выплачен весь долг.

Однако заботы Мак-Аллистера не снискали ему любви короля и народа. Вернее, его ненавидели лютой ненавистью. Как я узнал, жители атолла во главе со своими жрецами на протяжении трех месяцев творили заклинания, стараясь сжить тирана со света. Они насылали на него самых страшных своих духов, но Мак-Аллистер ни во что не верил, и никакой дьявол не был ему страшен. Такого пьяницу шотландца никакими заклятиями не проймешь. Напрасно дикари подбирали остатки пищи, которой касались его губы, бутылки из-под виски и кокосовые орехи, сок которых он пил, даже его плевки и колдовали над ними, — Мак-Аллистер жил не тужил. На здоровье он не жаловался, не знал, что такое лихорадка, кашель или простуда; дизентерия обходила его стороной, как и обычные в этих широтах злокачественные опухоли и кожные болезни, которым подвержены равно белые и черные. Он, верно, так проспиртовался, что никакой микроб не мог в нем уцелеть. Мне представлялось, что, едва угодив в окружающую Мак-Аллистера проспиртованную атмосферу, они так и падают к его ногам мельчайшими частицами пепла. Все живое бежало Мак-Аллистера, даже микробы, а ему бы только виски. Так он и жил!

Это казалось мне загадкой: как могут пять тысяч туземцев мириться с самовластием какого-то старого сморчка? Каким чудом он еще держится, а не скончался скоропостижно уже много лет назад? В противоположность трусливым меланезийцам, местное племя отличается отвагой и воинственным духом. На большом кладбище, в головах и ногах погребенных, хранится немало кровавых трофеев — гарпуны, скребки для ворвани, ржавые штыки и сабли, медные болты, железные

части руля, бомбарды, кирпичи — по-видимому, остатки печей на китобойных судах, старые бронзовые пушки шестнадцатого века — свидетельство того, что сюда заходили еще корабли первых испанских мореплавателей. Не один корабль нашел в этих водах безвременную могилу. И тридцати лет не прошло с тех пор, как китобойное судно «Бленнердейл», ставшее в лагуне на ремонт, попало в руки туземцев вместе со всем экипажем. Та же участь постигла команду «Гаскетта», шхуны, перевозившей сандаловое дерево. Большой французский парусник «Тулон» был застигнут штилем у берегов атолла и после отчаянной схватки взят на бордаж и потоплен у входа в Липау. Только капитану с горсточкой матросов удалось бежать на баркасе. И, наконец, испанские пушки — о гибели какого из первых отважных мореплавателей они возвещали? Но все это давно стало достоянием истории, — почитайте «Южно-Тихоокеанский справочник»! О существовании другой истории — неписаной — мне еще только предстояло узнать. Пока же я безуспешно ломал голову над тем, как пять тысяч дикарей до сих пор не расправились с каким-то выродком шотландцем, почему они даровали ему жизнь?

Однажды в знойный полдень мы с Мак-Аллистером сидели на веранде и смотрели на лагуну, которая чудесно отливала всеми оттенками драгоценных камней. За нами на сотни ярдов тянулись усеянные пальмами отмели, а дальше, разбиваясь о прибрежные скалы, ревел прибой. Было жарко, как в пекле. Мы находились на четвертом градусе южной широты, и солнце, всего лишь несколько дней назад пересекшее экватор, стояло в зените. Ни малейшего движения в воздухе и на воде. В этом году юго-восточный пассат перестал дуть раньше обычного, а северо-западный муссон еще не вступил в свои права.

— Сапожники они, а не плясуны, — упрямо твердил Мак-Аллистер.

Я отозвался о полинезийских плясках с похвалой, сказав, что папуасские¹ и в сравнение с ними не идут;

¹ *Папуасы* — негроидная группа племен Западной Меланезии. *Полинезийцы* — коренное население Полинезии. По этническим данным и по языку сильно отличаются от папуасов, относятся к так называемой малайско-полинезийской группе.

Мак-Аллистер же, единственно по причине дурного характера, отрицал это. Я промолчал, чтобы не спорить в такую жару. К тому же мне еще ни разу не случалось видеть, как пляшут жители Оолонга.

— Сейчас я вам докажу,— не унимался мой собеседник и, подозвав туземца с Нового Ганновера, исполнявшего при нем обязанности повара и слуги, послал его за королем:— Эй ты, бой, скажи королю, пусть идет сюда.

Бой повиновался, и вскоре перед Мак-Аллистером предстал растерянный премьер-министр. Он бормотал какие-то извинения: король-де отдыхает и его нельзя тревожить.

— Король здорово крепко отдыхай,— сказал он в заключение.

Это привело Мак-Аллистера в такую ярость, что министр трусливо бежал и вскоре возвратился с самим королем. Я невольно залюбовался этой чудесной парой. Особенно поразил меня король, богатырь не менее шести футов трех дюймов росту. В его чертах было что-то орлиное— такие лица не редкость среди североамериканских индейцев. Он был не только рожден, но и создан для власти. Глаза его метали молнии, однако он покорно выслушал приказание созвать со всей деревни двести человек, мужчин и женщин, лучших танцоров. И они действительно плясали перед нами битых два часа под палящими лучами солнца. Пусть они за это еще больше возненавидели Мак-Аллистера— плевать ему было на чувства туземцев, и домой он проводил их бранью и насмешками.

Рабская покорность этих великолепных дикарей все сильнее и сильнее меня поражала. Я спрашивал себя: как это возможно? В чем тут секрет? И я все больше терялся в догадках, по мере того как новые доказательства этой непрерываемой власти вставали предо мной, но так и не находил ей объяснения.

Однажды я рассказал Мак-Аллистеру о своей неудаче: старик туземец, обладатель двух великолепных золотистых раковин «каури», отказался променять их мне на табак. В Сиднее я заплатил бы за них не менее пяти фунтов. Я предлагал ему двести плиток табаку, а он просил триста. Когда я упомянул об этом невзначай,



Мак-Аллистер вызвал к себе туземца, отобрал у него раковины и отдал мне. Красная цена им, рассудил он, пятьдесят плиток, и чтобы я и думать не смел предлагать больше. Туземец с радостью взял табак. Очевидно, он и на это не рассчитывал. Что касается меня, то я решил в будущем придержать язык. Я еще раз подивился могуществу Мак-Аллистера и, набравшись храбрости, даже спросил его об этом; Мак-Аллистер только хитро прищурился и с глубокомысленным видом отхлебнул из стакана.

Как-то ночью мы с Отти—так звали обиженного туземца—вышли в лагуну ловить рыбу. Я втихомолку вручил старику недоданные сто пятьдесят плиток, чем заслужил величайшее его уважение, граничившее с каким-то детским обожанием, тем более удивительным, что человек этот годился мне в отцы.

— Что это вы, канаки, точно малые дети,—приступил я к нему,—купец один, а вас, канаков, много. Вы лижете ему пятки, как трусливые собачонки. Бойтесь, что он съест вас? Так ведь у него и зубов нет. Откуда у вас этот страх?

— А если много канаки убивай купец?—спросил он.

— Он умрет, только и всего,—ответил я.—Ведь вам, канакам, не впервой убивать белых. Что же вы так испугались этого белого человека?

— Да, канаки много убивал белый человек,—согласился он.—Я правда говорю. Но только давно, давно. Один шхуна—я тогда совсем молодой—стал там, за атолл: ветер, он не дул. Нас много канаки, много-много челнов, надо нам поймай этот шхуна. И нас поймай эта шхуна—я правда говорю,—но после большой драки. Два-три белый стрелял как дьявол. Канак, он не знал страх. Везде, внизу, сверху, много канак, может, десять раз пятьдесят. А еще на шхуна белый Мери. Моя никогда не видел белый Мери. Канаки убивал много-много белый. Только не капитан. Капитан, он живой, и еще пять-шесть белый не умирал. Капитан, он давал команда. Белый, он стрелял. Другой белый спускал лодка. А потом все марш-марш за борт. Капитан, он белый Мери тоже спускал за борт. Все гребь, как дьявол. Мой отец, он тогда сильный был, бросал копье. Копье

пробил бок белой Мери, пробил другой бок, выскочил наружу. Конец белой Мери. Нас, канаки, ничего не боялся.

Очевидно, гордость Отти была задета — он сдвинул набедренную повязку и показал мне шрам, в котором нетрудно было признать след пулевой раны. Но прежде чем я успел ему ответить, его поплавок сильно задержался. Отти подсек, но леска не поддавалась, рыба успела уйти за ветвь коралла.

Старик посмотрел на меня с упрёком, так как я разговорами отвлек его внимание, скользнул по борту вниз, потом, уже в воде, перевернулся и плавно ушел на дно следом за леской. Здесь было не меньше десяти саженьей.

Перегнувшись, я с лодки следил за его мелькающими пятками. Постепенно теряясь в глубине, они тянули за собой в темную пучину призрачный, фосфорический след. Десять морских саженьей — шестьдесят футов — что это значило для такого старика по сравнению с драгоценной снастью! Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он, облитый белым сиянием, снова вынырнул из глубины. Выплыв на поверхность, он бросил в лодку десятифунтовую треску — крючок, торчавший в ее губе, благополучно вернулся к своему хозяину.

— Что ж, может, это и правда, — не отставал я. — Когда-то вы не боялись. Зато теперь купец нагнал на вас страху.

— Да, много страх, — согласился он, явно не желая продолжать разговор.

Мы еще с полчаса удили в полном молчании. Но вот под нами зашныряли мелкие акулы, они откусывали с наживкою и крючок, и мы, потеряв по крючку, решили подождать — пусть разбойники уберутся восвояси.

— Да, твоя верно говори, — вдруг словно спохватился Отти. — Канаки узнал страх.

Я зажег трубку и приготовился слушать. Хотя старик изъяснялся на ужасающем «*bêche de mer*», я передаю его рассказ на правильном английском языке. Но самый дух и строй его повествования я постараюсь сохранить.

— Вот тогда-то мы и возгордились. Столько раз дрались мы с чужими белыми людьми, что являются к

нам с моря, и всегда побеждали. Немало полегло и наших, но что это в сравнении с сокровищами, что ждали нас на кораблях! И вот, может, двадцать, а может, двадцать пять лет назад у входа в лагуну показался корабль и прямехонько вошел в нее. Это была большая трехмачтовая шхуна. На ее борту находилось пять белых и человек сорок экипажа — все черные с Новой Гвинеи и Новой Британии. Они прибыли сюда для ловли трепангов. Шхуна стала на якорь у Паулоо — это на другом берегу, — ее лодки шныряли по всей лагуне. Повсюду они разбили свои лагерь и стали сушить трепангов. Когда белые разделились, они уже были нам не страшны: ловцы находились милях в пятидесяти от шхуны, а то и больше.

Король держал совет со старейшинами, и мне вместе с другими пришлось весь остаток дня и всю ночь плыть в челне на ту сторону лагуны, чтобы передать жителям Паулоо: мы собираемся напасть на все становища сразу, а вы захватите шхуну. Сами гонцы, хоть и выбились из сил, тоже приняли участие в драке. На шхуне было двое белых, капитан и помощник, а с ними шесть черных. Капитана и трех матросов схватили на берегу и убили, но сначала капитан из двух револьверов уложил восьмерых наших. Видишь, как близко, лицом к лицу, сошлись мы с врагами!

Помощник услышал выстрелы и не стал ждать; он погрузил запас воды, съестное и парус в маленькую шлюпку, футов двенадцать длиной. Мы, тысяча человек, в челнах, усеявших всю лагуну, двинулись на судно. Наши воины дули в раковины, оглашали воздух песнями войны и громко били веслами о борт. Что мог сделать один белый и трое черных против всех нас? Ничего — и помощник знал это.

Но белый человек подобен дьяволу. Стар я и немало белых перевидал на своем веку, но теперь, наконец, понял, как случилось, что белые захватили все острова в океане. Это потому, что они дьяволы. Взять хоть тебя, что сидишь со мною в одной лодке. Ты еще молод годами. Что ты знаешь? Мне каждый день приходится учить тебя то тому, то другому. Да я еще мальчишкой знал о рыбе и ее привычках больше, чем знаешь ты

сейчас. Я, старый человек, ныряю на дно лагуны, а ты... где тебе за мной угнаться! Так на что же, спрашивается, ты годишься? Разве только на то, чтобы драться. Я никогда не видел тебя в бою, но знаю, ты во всем подобен своим братьям, и дерешься ты, верно, как дьявол. И ты такой же глупец, как твои братья,— ни за что не признаешь себя побежденным. Будешь драться насмерть и так и не узнаешь, что ты разбит.

А теперь послушай, что сделал помощник. Когда мы, дуя в раковины, окружили шхуну и от наших челнов почернела вся вода кругом, он спустил шлюпку и вместе с матросами направился к выходу в открытое море. И опять по этому видно, какой он глупец. Ни один умный человек не отважится выйти в море на такой шлюпке. Борта ее и на четыре дюйма не выдавались над водой. Двадцать челнов устремились за ним в погоню, в них было двести человек—вся наша молодежь. Пока матросы проходили на своей шлюпке одну сажень, мы успевали пройти пять. Дела его были совсем плохи, но, говорю тебе, это был глупец. Он стоял в шлюпке и выпускал заряд за зарядом. Он был никудышный стрелок, но мы его догоняли, и у нас все прибывало убитых и раненых. Но все равно дела его были совсем, совсем плохи.

Помню, он не выпускал изо рта сигары. Когда же мы, изо всех сил налегая на весла, приблизились к нему шагов на сорок, он бросил винтовку, поднес сигару к динамитной шашке и кинул ее в нашу сторону. Он зажигал все новые и новые шашки и бросал их одну за другой, без счета. Теперь я понимаю, что он расщеплял шнур и вставлял в него спичечные головки, чтобы шнур скорее сгорал, и у него были очень короткие шнуры. Иногда шашка взрывалась в воздухе, но чаще в каком-нибудь челне, и всякий раз, как она взрывалась в челне, от людей ничего не оставалось. Из двадцати наших лодок половина была разбита в щепы. Та, где сидел я, тоже взлетела на воздух, а с нею двое моих товарищей—динамит взорвался как раз между ними. Остальные повернули назад. Тогда помощник с криком «Ату их, ату!» опять схватился за ружье и стал стрелять нам в спину. И все это время его черные матросы гребли изо

всех сил. Видишь, я не обманул тебя, человек этот и вправду был дьявол.

Но этим дело не кончилось. Оставляя шхуну, он поджег ее и устроил так, чтобы весь порох и динамит на борту взорвались одновременно. Сотни наших тушили пожар и качали воду, когда шхуна взлетела на воздух. И вот добыча, за которой мы гнались, ушла от нас, а сколько наших было убито! Даже и сейчас, когда я стар и меня навещают дурные сны, я слышу, как помощник кричит: «Ату их, ату!» Громовым голосом кричит он: «Ату их, ату!» Зато из тех белых, кто был застигнут на берегу, ни один не остался в живых.

Помощник в своей маленькой лодке вышел в океан—на верную гибель, как мы думали, разве может такое суденышко с четырьмя гребцами уцелеть в открытом море? Но прошел месяц, и в часы затишья между двумя ливнями в лагуну вошел корабль и стал на якорь против нашей деревни. Король собрал старейшин, было решено дня через два-три напасть на корабль. Тем временем, соблюдая обычай, мы поплыли в наших челнах приветствовать гостей и захватили с собой связки кокосов, птицу и свиней для обмена. Но едва наши головные поравнялись со шхуной, как люди на борту начали расстреливать нас из винтовок. Остальные обратились в бегство. Изо всех сил налегая на весла, я увидел помощника—того, что в маленькой лодке бежал в открытое море: он взобрался на борт, и приплясывал, и орал во все горло: «Ату их, ату!»

В тот же полдень к берегу подошли три шлюпки; в них было полным-полно белых людей, и они высадились в нашей деревне. Они прошли ее из конца в конец и убивали каждого на своем пути. Они перебили всю птицу и всех свиней. Те из нас, что спаслись от пуля, сели в челны и укрылись в лагуне. Отъезжая от берега, мы увидели, что вся деревня в огне. К вечеру нам повстречалось много челнов из селения Нихи у прохода Нихи, что на северо-востоке. Это были те, кому, как и нам, удалось спастись, их деревня была сожжена дотла вторым кораблем, вошедшим в лагуну через северо-восточный проход Нихи.

Темнота застала нас западнее Паулоо. Здесь в глухую полночь до нас донесся женский плач, и мы врезались в

целую стаю челнов с беглецами из Паулоо. Это было все, что осталось от людной деревни; теперь там курилось огромное пожарище, так как в Паулоо тем временем пришла третья шхуна. Как оказалось, помощник вместе с тремя черными матросами добрался до Соломоновых островов и рассказал своим братьям, что произошло на Оолонге. И тогда его братья сказали, что пойдут и накажут нас. Вот они и явились на трех шхунах, и три наши деревни были стерты с лица земли.

Что же нам было делать? Наутро два корабля, воспользовавшись попутным ветром, настигли нас посреди лагуны. Дул сильный ветер, и они мчались прямо на нас, топя на своем пути десятки челнов. Мы бежали от них врассыпную, как летучая рыба бежит от меч-рыбы, и нас было так много, что тысячам канаков удалось все же укрыться на окраинных островах.

Но и после этого три корабля продолжали охотиться за нами по всей лагуне. Ночью мы благополучно прокрались мимо них. И на второй, и на третий, и на четвертый день шхуны возвращались и гнали нас на другой конец лагуны. И так день за днем. Мы потеряли счет убитым и уже не вспоминали о них. Правда, нас было много, а белых мало. Но что могли мы сделать? Я находился среди тех храбрецов, что собрались в двадцати челнах и были готовы сложить голову. Мы напали на шхуну, что поменьше. Они убивали нас без пощады. Они забросали нас динамитными шашками, а когда динамит кончился, стали поливать кипящей водой. Их ружья ни на минуту не смолкали. Тех, кто спасся с затонувших лодок и пустился вплавь, они приканчивали в воде. А помощник опять плясал на палубе рубки и кричал во все горло: «Ату их, ату!»

Каждый дом на самом крошечном островке был сожжен дотла. Они не оставили нам ни одной курицы, ни одной свиньи. Все колодцы были забиты трупами или доверху засыпаны обломками коралла. До прихода трех шхун нас было на Оолонге двадцать пять тысяч. Сейчас нас пять тысяч, тогда как после их ухода, как ты увидишь, нас оставалось всего три тысячи.

Наконец трем шхунам надоело перегонять нас из конца в конец по всей лагуне. Они собрались в Нихи,

что у северо-восточного прохода, и оттуда стали теснить нас на запад. Белые спустили девять шлюпок и обшаривали каждый островок. Они преследовали нас неустанно, день за днем. А едва наступала ночь, три шхуны и девять шлюпок выстраивались в сторожевую цепь, которая тянулась через всю лагуну, из края в край, и не давала проскользнуть ни одному челну.

Это не могло длиться вечно. Ведь лагуна не так уж велика. Все, кто остался в живых, были вытеснены на западное побережье. Дальше простирался океан. Десять тысяч канаков усеяло песчаную отмель от входа в лагуну до прибрежных скал, где пенился прибой. Никто не мог ни прилечь, ни размять ноги, для этого просто не было места. Мы стояли бедро к бедру, плечо к плечу. Два дня они продержали нас так; помощник то и дело взбирался на мачту и, глумясь над нами, оглашал воздух криками: «Ату их, ату!» Мы уже сожалели, что месяц назад осмелились поднять руку на него и его шхуну. Мы были голодны и двое суток простояли на ногах. Умирали дети, умирали старые и слабые, и те, кто истекал кровью от ран. Но самое ужасное — не было воды, чтобы утолить жажду. Два дня сжигало нас солнце и не было тени, чтобы укрыться. Многие мужчины и женщины искали спасения в прохладном океане, и кипящие буруны выбрасывали на скалы их тела. Новая казнь — нас роями осаждали мухи. Кое-кто из мужчин пытался вплавь добраться до шхун, но всех их до одного пристрелили в воде. Те из нас, кто остался жив, горько сожалели, что напали на трехмачтовое судно, вошедшее в лагуну для ловли трепангов.

Наутро третьего дня к нам подъехала лодка, в ней сидели три капитана вместе с помощником. Вооруженные до зубов, они вступили с нами в переговоры. Они только потому прекратили избиение, объявили капитаны, что устали нас убивать. А мы уверяли их, что раскаиваемся, никогда мы больше не поднимем руку на белого человека и в доказательство своей покорности посыпали голову песком.

Тут наши женщины и дети стали громко вопить, моля дать им воду, и долгое время ничего нельзя было разобрать. Наконец мы услышали свой приговор. Нам было приказано нагрузить все три корабля копррой и трепангами. Мы согласились. Нас мучила жажда, и

мужество оставило нас: теперь мы знали, что в бою канаки сущие дети по сравнению с белыми, которые сражаются, как дьяволы. А когда переговоры кончились, помощник встал и, насмехаясь, закричал нам вслед: «Ату их, ату!» После этого мы сели в лодки и отправились на поиски воды.

Проходили недели, а мы все ловили и сушили трепангов, собирали кокосы и готовили из них копру. День и ночь дым густой пеленой стлался над всеми островами Оолонга — так искупали мы свою вину. Ибо в те дни смерти нам каленым железом выжгли в мозгу, что нельзя поднимать руку на белого человека.

Но вот трюмы шхун наполнились трепангами и копррой, а наши пальмы были начисто обобраны. И тогда три капитана и помощник снова созвали нас для важного разговора. Они сказали, что сердце у них радуется, так хорошо канаки затвердили свой урок, а мы, в тысячный раз уверяли их в своем раскаянии и клялись, что больше это не повторится, и опять посыпали голову песком. И капитаны сказали, что все это очень хорошо. Но в знак своей милости они приставят к нам дьявола, дьявола из дьяволов, чтобы было кому нас остеречь, если мы задумаем зло против белого человека. И тогда помощник, чтобы поглумиться над нами, еще раз крикнул: «Ату их, ату!» Шестеро наших, которых мы уже оплакивали, как мертвых, были спущены на берег, после чего корабли, подняв паруса, ушли к Соломоновым островам.

Шесть высаженных на берег канаков первыми пали жертвой страшного дьявола, которого приставили к нам капитаны.

— Вас посетила тяжкая болезнь? — перебил я, сразу раскусив, в чем заключалась хитрость белых.

На борту одной из шхун свирепствовала корь, и пленников умышленно заразили этой болезнью.

— Да, тяжкая болезнь. Это был могущественный дьявол. Самые древние старики не слыхали о таком. Мы убили последних жрецов, остававшихся в живых, за то, что они не могли справиться с этим дьяволом. Болезнь что ни день становилась злее. Я уже говорил, что тогда, на песчаной отмели, бедро к бедру и плечо к плечу стояли десять тысяч человек. Когда же болезнь ушла

прочь, нас осталось только три тысячи. И так как все кокосы ушли на копру, в стране начался голод.

— Этот купец,—сказал Отти в заключение,—он кучка навоза, что валяйся на дороге. Он гнилой мясо, черви его кай-кай, он смердит. Он пес, шелудивый пес, его заедат блохи. Канак, он не бойся купец. Он бойся белый человек. Он слишком хорошо знай, что значит—убей белый человек. Шелудивый пес купец, он имей много братья, братья не давай его в обиду, они сражайся, как дьявол. Канак, он не бойся окаянный купец. Канак злой-злой, он рад убей купец, но он помни страшный дьявол. Помощник кричи: «Ату их, ату!»—и канак, он не убивай.

Отти зубами вырвал кусок мякоти из брюшка огромной, судорожно бившейся макрели, насадил на крючок, и крючок с наживкой, озаренный призрачным светом, стал быстро погружаться на дно.

— Акула марш-марш,—сказал Отти.—Теперь нас поймай много-много рыба.

Поплавок отчаянно дернуло. Старик потащил леску, осторожно выбирая ее руками, и большая треска, сердит разевая пасть, шлепнулась на дно лодки.

— Солнце, он вставай,—сказал Отти,—моя неси окаянный купец большой-большой рыба задаром.



Страшные Соломоновы острова

ряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова—райское местечко, хотя, с другой стороны, на свете есть места и похуже. Но новичку, незнакомому с жизнью вдали от цивилизации, Соломоновы острова могут показаться сущим адом.

Правда, там до сих пор свирепствует тропическая лихорадка, и дизентерия, и всякие кожные болезни; воздух там насквозь пропитан ядом, который, просачиваясь в каждую царапину и ссадину, превращает их в гноящиеся язвы, так что редко кому удастся выбраться оттуда живым, и даже самые крепкие и здоровые люди зачастую возвращаются на родину жалкими развалинами. Правда и то, что туземные обитатели Соломоновых

островов до сих пор еще пребывают в довольно диком состоянии; они с большой охотой едят человечину и одержимы страстью коллекционировать человеческие головы. Подкрасться к своей жертве сзади и одним ударом дубины перебить ей позвонки у основания черепа считается там верхом охотничьего искусства. До сих пор на некоторых островах, как, например, на Малаите, вес человека в обществе зависит от числа убитых им, как у нас — от текущего счета в банке; человеческие головы являются самым ходким предметом обмена, причем особенно ценятся головы белых. Очень часто несколько деревень складываются и заводят общий котел, который пополняется из месяца в месяц, пока какой-нибудь смелый воин не представит свеженькую голову белого, с еще не запекшейся на ней кровью, и не потребует в обмен все накопленное добро.

Все это правда, и, однако, немало белых людей десятками лет живут на Соломоновых островах и тоскуют, когда приходится их покинуть. Белый может долго прожить на Соломоновых островах, для этого ему нужна только осторожность и удача, а кроме того, надо, чтобы он был неукротимым. Печатью неукротимости должны быть отмечены его мысли и поступки. Он должен уметь с великолепным равнодушием встречать неудачи, должен обладать колоссальным самомнением, уверенностью, что все, что бы он ни сделал, правильно; должен, наконец, непоколебимо верить в свое расовое превосходство и никогда не сомневаться в том, что один белый в любое время может справиться с тысячей черных, а по воскресным дням — и с двумя тысячами. Именно это и сделало белого неукротимым. Да, и еще одно обстоятельство: белый, который желает быть неукротимым, не только должен глубоко презирать все другие расы и превыше всех ставить самого себя, но и должен быть лишен всяких фантазий. Не следует ему также вникать в побуждения, мысли и обычаи черно-, желто- и краснокожих, ибо отнюдь не этим руководилась белая раса, совершая свое триумфальное шествие вокруг всего земного шара.

Берти Аркрайт не принадлежал к числу таких белых. Для этого он был чересчур нервным и чувствительным, с излишне развитым воображением. Слишком болезненно воспринимал он все впечатления, слишком остро реаги-

ровал на окружающее. Поэтому Соломоновы острова были для него самым неподходящим местом. Правда, он и не собирался долго там задерживаться. Пяти недель, пока не придет следующий пароход, было, по его мнению, вполне достаточно, чтобы удовлетворить тягу к первобытному, столь приятно щекотавшему его нервы. По крайней мере так—хотя и в несколько иных выражениях—он излагал свои планы попутчицам по «Макембо», а те смотрели на него как на героя, ибо сами они, как и подобает путешествующим дамам, намеревались знакомиться с Соломоновыми островами, не покидая безопасной паровой палубы.

На борту парохода находился еще один пассажир, который, впрочем, не пользовался вниманием прекрасного пола. Это был маленький сморщенный человечек с загорелым дочерна лицом, иссушенным ветрами и солнцем. Имя его—то, под которым он значился в списке пассажиров,—никому ничего не говорило. Зато его прозвище—капитан Малу—было хорошо известно всем туземцам от Нового Ганновера до Новых Гебридов; они даже пугали им непослушных детей. Используя все—труд дикарей, самые варварские меры, лихорадку и голод, пули и бичи надсмотрщиков,—он нажил состояние в пять миллионов, выражавшееся в обширных запасах трепанга и сандалового дерева, перламутра и черепаховой кости, пальмовых орехов и копры, в земельных участках, факториях и плантациях.

В одном покалеченном мизинце капитана Малу было больше неукротимости, чем во всем существе Берти Аркрайта. Но что поделаешь! Путешествующие дамы судят главным образом по внешности, а внешность Берти всегда завоевывала ему симпатии дам.

Разговаривая как-то с капитаном Малу в курительной комнате, Берти открыл ему свое твердое намерение изведать «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах»,—так он при этом случае выразился. Капитан Малу согласился с тем, что это весьма смелое и достойное мужчины намерение. Но настоящий интерес к Берти появился у него лишь несколькими днями позже, когда тот вздумал показать ему свой автоматический пистолет 44-го калибра. Объяснив систему зарядки, Берти для наглядности вставил снаряженный магазин в рукоятку.

— Видите, как просто,—сказал он, отводя ствол назад.—Теперь пистолет заряжен и курок взведен. Остается только нажимать на спусковой крючок, до восьми раз, с любой желательной вам скоростью. А посмотрите сюда, на защелку предохранителя. Вот что мне больше всего нравится в этой системе. Полная безопасность! Возможность несчастного случая абсолютно исключена!—Он вытащил магазин и продолжал:—Вот! Видите, насколько эта система безопасна?

Пока Берти производил свои манипуляции, выцветшие глаза капитана Малу пристально следили за пистолетом, особенно под конец, когда дуло пришлось как раз в направлении его живота.

— Будьте любезны, направьте ваш пистолет на что-нибудь другое,—попросил он.

— Он не заряжен,—успокоил его Берти.—Я же вытащил магазин. А незаряженные пистолеты не стреляют, как вам известно.

— Бывает, что и палка стреляет.

— Эта система не выстрелит.

— А вы все-таки поверните его в другую сторону.

Капитан Малу говорил негромко и спокойно, с металлическими нотками в голосе, но глаза его ни на миг не отрывались от дула пистолета, пока Берти не отвернул его наконец в сторону.

— Хотите пари на пять фунтов, что пистолет не заряжен?—с жаром воскликнул Берти.

Его собеседник отрицательно покачал головой.

— Хорошо же, я докажу вам...

И Берти приставил пистолет к виску с очевидным намерением спустить курок.

— Подождите минутку,—спокойно сказал капитан Малу, протягивая руку.—Дайте, я еще разок на него взгляну.

Он направил пистолет в море и нажал спуск. Раздался оглушительный выстрел, механизм щелкнул и выбросил на палубу дымящуюся гильзу. Берти застыл с открытым ртом.

— Я, кажется, отводил назад ствол, да?—пробормотал он.—Как глупо...

Он жалко улыбнулся и тяжело опустился в кресло. В лице у него не было ни кровинки, под глазами обозначи-

лись темные круги, руки так тряслись, что он не мог донести до рта дрожащую сигарету. У него было слишком богатое воображение: он уже видел себя распростертым на палубе с простреленной головой.

— В-в-вот история!— пролепетал он.

— Ничего, хорошая штучка,— сказал капитан Малу, возвращая пистолет.

На борту «Макембо» находился правительственный резидент, возвращающийся из Сиднея, и с его разрешения пароход зашел в Уги, чтобы высадить на берег миссионера. В Уги стояло небольшое двухмачтовое суденышко «Арла» под командованием шкипера Гансена. «Арла», как и многое другое, тоже принадлежала капитану Малу, и по его приглашению Берти перешел на нее, чтобы погостить там несколько дней и принять участие в вербовочном рейсе вдоль берегов Малаиты. Через четыре дня его должны были посадить на плантации Реминдж (тоже собственность капитана Малу), где он мог пожить недельку, а затем отправиться на Тулаги—местопребывание резидента—и остановиться у него в доме. Остается еще упомянуть о двух предложениях капитана Малу, сделанных им шкиперу Гансену и мистеру Гаривелу, управляющему плантацией, после чего он надолго исчезает из нашего повествования. Сущность обоих предложений сводилась к одному и тому же—показать мистеру Бертраму Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах». Говорят также, будто капитан Малу намекнул, что тот, кто доставит мистеру Аркрайту наиболее яркие переживания, получит премию в виде ящика шотландского виски.

— Между нами, Сварц всегда был порядочным идиотом. Как-то повез он четверых своих гребцов на Тулаги, чтобы их там высекли—конечно, совершенно официально. И с ними же отправился на вельботе обратно. В море немного штормило, и вельбот перевернулся. Все спаслись, ну, а Сварц—Сварц-то утонул. Разумеется, это был несчастный случай.

— Вот как? Очень интересно,—рассеянно заметил Берти, так как все его внимание было поглощено чернокожим гигантом, стоявшим у штурвала.

Уги остался за кормой, и «Арла» легко скользила по сверкающей глади моря, направляясь к густо поросшим лесом берегам Малаиты. Сквозь кончик носа у рулевого, так занимавшего внимание Берти, был щегольски продет большой гвоздь, на шее красовалось ожерелье из брючных пуговиц, в ушах висели консервный нож, сломанная зубная щетка, глиняная трубка, медное колесико будильника и несколько гильз от винчестерных патронов; на груди болталась половинка фарфоровой тарелки. По палубе в разных местах разлеглось около сорока чернокожих, разукрашенных примерно таким же образом. Пятнадцать человек из них составляли экипаж судна, остальные были завербованные рабочие.

— Конечно, несчастный случай,—заговорил опять помощник шкипера «Арлы» Джекобс, худощавый, с темными глазами, похожий скорее на профессора, чем на моряка.—С Джонни Бедилом тоже чуть было не приключился такой же несчастный случай. Он тоже вез домой нескольких высеченных, и они перевернули ему лодку. Но он плавал не хуже их и спасся с помощью багра и револьвера, а двое черных утонули. Тоже несчастный случай.

— Это здесь частенько бывает,—заметил шкипер.—Взгляните вон на того парня у руля, мистер Аркрайт! Ведь самый настоящий людоед. Полгода назад он вместе с остальной командой утопил тогдашнего шкипера «Арлы». Прямо на палубе, сэр, вон там, у бизань-мачты.

— А уж в какой вид палубу привели — смотреть было страшно,—проговорил помощник.

— Позвольте, вы хотите сказать?..—начал Берти.

— Вот, вот,—прервал его шкипер Гансен.—Несчастный случай. Утонул человек.

— Но как же — на палубе?

— Да уж вот так. Между нами говоря, они воспользовались топором.

— И это — теперешний ваш экипаж?!

Шкипер Гансен кивнул.

— Тот шкипер был уж очень неосторожен,—объяснил помощник.—Повернулся к ним спиной, ну... и пострадал.

— Нам приходится избегать лишнего шума,—пожаловался шкипер.—Правительство всегда стоит за черномазых.

Мы не можем стрелять первыми, а должны ждать, пока выстрелит черный. Не то правительство объявит это убийством, и вас отправят на Фиджи. Вот почему так много несчастных случаев. Тонут, что поделаешь.

Подали обед, и Берти со шкипером спустились вниз, оставив помощника на палубе.

— Смотрите в оба за этим чертом Ауки,— предупредил шкипер на прощание.— Что-то не нравится мне последнее время его рожа.

— Ладно,— ответил помощник.

Обед еще не закончился, и шкипер дошел как раз до середины своего рассказа о том, как была вырезана команда на судне «Вожди Шотландии».

— Да,— говорил он,— отличное было судно, одно из лучших на побережье. Не успели вовремя повернуть, ну и напоролись на риф, а тут сразу же на них набросилась целая флотилия челнов. На борту было пятеро белых и двадцать человек команды с Самоа и Санта-Крус, а спасся один второй помощник. Кроме того, погибло шестьдесят человек завербованных. Всех их дикари — кай-кай. Что такое кай-кай? Прошу прощения, я хотел сказать — всех их съели. Потом еще «Джемс Эдвардс», прекрасно оснащенный...

Громкая брань помощника прервала шкипера. На палубе раздались дикие крики, затем прогремели три выстрела, и что-то тяжелое упало в воду. Одним прыжком шкипер Гансен взлетел по трапу, ведущему на палубу, на ходу вытаскивая револьвер. Берти тоже полез наверх, хотя и не столь быстро, и с осторожностью высунул голову из люка. Но ничего не случилось. На палубе стоял помощник с револьвером в руке, трясясь, как в лихорадке. Вдруг он вздрогнул и отскочил в сторону, как будто сзади ему угрожала опасность.

— Туземец упал за борт,— доложил он каким-то странным, звенящим голосом.— Он не умел плавать.

— Кто это был?— строго спросил шкипер.

— Ауки!

— Позвольте, мне кажется, я слышал выстрелы,— вмешался Берти, испытывая приятный трепет от сознания опасности — тем более приятный, что опасность уже миновала.

Помощник круто повернулся к нему и прорычал:

— Вранье! Никто не стрелял. Черномазый просто упал за борт.

Гансен посмотрел на Берти немигающим, невидящим взглядом.

— Мне показалось,— начал было Берти.

— Выстрелы?— задумчиво проговорил шкипер.— Вы слышали выстрелы, мистер Джекобс?

— Ни единого,— отвечал помощник.

Шкипер с торжествующим видом повернулся к своему гостю.

— Очевидно, несчастный случай. Спустимся вниз, мистер Аркрайт, и закончим обед.

В эту ночь Берти спал в крошечной каюте, отгороженной от кают-компания и важно именовавшейся капитанской каютой. У носовой переборки красовалась ружейная пирамида. Над изголовьем койки висело еще три ружья. Под койкой стоял большой ящик, в котором Берти обнаружил патроны, динамит и несколько коробок с бикфордовым шнуром. Берти предпочел перейти на диванчик у противоположной стены, и тут его взгляд упал на судовой журнал «Арлы», лежавший на столике. Ему и в голову не приходило, что этот журнал был изготовлен капитаном Малу специально для него. Из журнала Берти узнал, что двадцать первого сентября двое матросов упали за борт и утонули. Но теперь Берти уже научился читать между строк и знал, как это надо понимать. Далее он прочитал о том, как в зарослях на Суу вельбот с «Арлы» попал в засаду и потерял трех человек убитыми; как шкипер обнаружил в котле у повара человеческое мясо, которое команда купила, сойдя на берег в Фуи; как во время сигнализации случайным взрывом динамита были перебиты все гребцы в шлюпке. Он прочитал также о ночных нападениях на шхуну, о ее спешном бегстве со стоянок под покровом ночной темноты, о нападениях лесных жителей на команду в мангровых зарослях и о сражениях с дикарями в лагунах и бухтах. То и дело Берти наткался на случаи смерти от дизентерии. Со страхом он заметил, что так умерли двое белых, подобно ему гостивших на «Арле».

— Послушайте, э-э!..— обратился на другой день Берти к шкиперу Гансену.— Я заглянул в ваш судовой журнал...

Шкипер был, по-видимому, крайне раздосадован тем, что судовой журнал попался на глаза постороннему человеку.

— Так вот эта дизентерия — это такая же ерунда, как и все ваши несчастные случаи, — продолжал Берти. — Что на самом деле имеется в виду под дизентерией?

Шкипер изумился проницательности своего гостя, сделал было попытку все отрицать, потом сознался.

— Видите ли, мистер Аркрайт, дело вот в чем. Эти острова и так уже имеют печальную славу. С каждым днем становится все труднее вербовать белых для здешней работы. Предположим, белого убили — Компании придется платить бешеные деньги, чтобы заманить сюда другого. А если он умер от болезни, — ну, тогда ничего. Против болезней новички не возражают, они только не согласны, чтобы их убивали. Когда я поступал сюда, на «Арлу», я был уверен, что ее прежний шкипер умер от дизентерии. Потом я узнал правду, но было уже поздно: я подписал контракт.

— Кроме того, — добавил мистер Джекобс, — слишком уж много получается несчастных случаев. Это может вызвать ненужные разговоры. А во всем виновато правительство. Что еще остается делать, если белый не имеет возможности защитить себя от черномазых?

— Правильно, — подтвердил шкипер Гансен. — Возьмите хотя бы случай с «Принцессой» и этим янки, который служил на ней помощником. Кроме него, на судне было еще пятеро белых, в том числе правительственный агент. Шкипер, агент и второй помощник съехали на берег в двух шлюпках. Их всех перебили до одного. На судне оставались помощник, боцман и пятнадцать человек команды, уроженцев Самоа и Тонга. С берега явилась толпа дикарей. Помощник и оглянуться не успел, как боцман и экипаж были перебиты. Тогда он схватил три патронташа и два винчестера, влез на мачту и стал оттуда стрелять. Он словно взбесился при мысли, что все его товарищи погибли. Палил из одного ружья, пока оно не раскалилось. Потом взялся за другое. На палубе было темно от дикарей — ну, он всех их прикончил. Бил их влет, когда они прыгали за борт, бил в лодках, прежде чем они успевали схватиться за весла. Тогда они стали кидаться в воду, думали добраться до берега вплавь, а он уже так рассвирепел, что и в воде

перестрелял еще с полдесятка. И что же он получил в награду?

— Семь лет каторги на Фиджи,— угрюмо бросил помощник.

— Да, правительство заявило, что он не имел права стрелять дикарей в воде,— пояснил шкипер.

— Вот почему они теперь умирают от дизентерии,— закончил Джекобс.

— Подумать только,— заметил Берти, чувствуя острое желание, чтобы эта поездка скорее кончилась.

В этот же день он имел беседу с туземцем, который, как ему сказали, был людоедом. Звали туземца Сумазаи. Три года он проработал на плантации в Квинсленде, побывал и в Сиднее, и на Самоа, и на Фиджи. В качестве матроса на вербовочной шхуне он объездил почти все острова — Новую Британию и Новую Ирландию, Новую Гвинею и Адмиралтейские острова. Он был большой шутник и в разговоре с Берти следовал примеру шкипера. Ел ли он человечину? Случалось. Сколько раз? Ну, разве запомнишь. Едал и белых. Очень вкусные, только не тогда, когда они больные. Раз как-то случилось ему попробовать больного.

— Фу! Плохой! — воскликнул он с отвращением, вспоминая об этой трапезе. — Я потом сам очень большой чуть кишки наружу не вылазил.

Берти передернуло, но он мужественно продолжал расспросы. Есть ли у Сумазаи головы убитых? Да, несколько голов он припрятал на берегу, все они в хорошем состоянии — высушенные и прокопченные. Одна с длинными бакенбардами — голова шкипера шхуны. Ее он согласен продать за два фунта, головы черных — по фунту за каждую. Еще у него есть несколько детских голов, но они плохо сохранились. За них он просит всего по десять шиллингов.

Немного погодя, присев в раздумье на трапе, Берти вдруг обнаружил рядом с собой туземца с какой-то ужасной кожной болезнью. Он вскочил и поспешно удалился. Когда он спросил, что у этого парня, ему ответили — проказа. Как молния, влетел он в свою каюту и тщательно вымылся антисептическим мылом. За день ему пришлось еще несколько раз мыться, так как оказалось, что все туземцы на борту больны той или другой заразной болезнью.

Когда «Арла» бросила якорь среди мангровых болот, над бортом протянули двойной ряд колючей проволоки. Это выглядело весьма внушительно, а когда вблизи показалось множество челнов, в которых сидели туземцы, вооруженные копьями, луками и ружьями, Берти еще раз подумал, что хорошо бы поездка скорее кончилась.

В этот вечер туземцы не спешили покинуть судно, хотя им не разрешалось оставаться на борту после заката солнца. Они даже стали дерзить, когда помощник приказал им убираться восвояси.

— Ничего, сейчас они запоют у меня по-другому, — заявил шкипер Гансен, ныряя в люк.

Вернувшись, он украдкой показал Берти палочку с прикрепленным к ней рыболовным крючком. Простая аптечная склянка из-под хлородина, обернутая в бумагу, с привязанным к ней куском бикфордова шнура может вполне сойти за динамитную шашку. И Берти и туземцы были введены в заблуждение. Стоило шкиперу Гансену поджечь шнур и прицепить крючок к набедренной повязке первого попавшегося дикаря, как того сразу охватило страстное желание очутиться как можно скорее на берегу. Забыв все на свете и не догадываясь сбросить с себя повязку, несчастный рванулся к борту. За ним, шипя и дымя, волочился шнур, и туземцы стали очертя голову бросаться через колючую проволоку в море. Берти был в ужасе. Шкипер Гансен тоже. Еще бы! Двадцать пять завербованных им туземцев — за каждого он уплатил по тридцать шиллингов вперед — попрыгали за борт вместе с местными жителями. За ними последовал и тот, с дымящейся склянкой.

Что было дальше с этой склянкой, Берти не видел, но так как в это самое время помощник взорвал на корме настоящую динамитную шашку, не причинившую, конечно, никому никакого вреда, то Берти с чистой совестью присягнул бы на суде, что туземца у него на глазах разорвало в клочья.

Бегство двадцати пяти завербованных обошлось капитану «Арлы» в сорок фунтов стерлингов, так как не было, конечно, никакой надежды разыскать беглецов в густых зарослях и вернуть их на судно. Шкипер и помощник решили утопить свое горе в холодном чае. А так как этот чай был разлит в бутылки из-под виски,

то Берти и в голову не пришло, что они поглощают столь невинный напиток. Он видел только, что они очень быстро упились до положения риз и стали ожесточенно спорить о том, как сообщить о взорванном туземце — как об утопленнике или умершем от дизентерии. Затем оба захрапели, а Берти, видя, что, кроме него на борту не осталось ни одного белого в трезвом состоянии, до самой зари неусыпно нес вахту, ежеминутно ожидая нападения с берега или бунта команды.

Еще три дня простояла «Арла» у берегов Малаиты, и еще три томительных ночи Берти провел на вахте, в то время как шкипер и помощник накачивались с вечера холодным чаем и мирно спали до утра, вполне полагаясь на его бдительность. Берти твердо решил, что если он останется жив, то обязательно сообщит капитану Малу об их пьянстве.

Наконец «Арла» бросила якорь у плантации Реминдж на Гвадалканаре. Со вздохом облегчения сошел Берти на берег и крепко пожал руку управляющему. У мистера Гаривела все было готово к приему гостя.

— Вы только не беспокойтесь, пожалуйста, если заметите, что мои подчиненные настроены невесело,— шепнул по секрету мистер Гаривел, отводя Берти в сторону.— Ходят слухи, что у нас готовится бунт, и нельзя не признать, что кое-какие основания к тому есть, но лично я уверен, что все это сплошной вздор.

— И-и... много туземцев у вас на плантации?— спросил Берти упавшим голосом.

— Сейчас человек четыреста,— с готовностью сообщил мистер Гаривел,— но нас-то ведь трое, да еще вы, конечно, да шкипер «Арлы» с помощником — мы легко с ними управимся.

В эту минуту подошел некто Мак-Тэвиш, кладовщик на плантации, и, еле поздоровавшись с Берти, взволнованно обратился к мистеру Гаривелу с просьбой немедленно его уволить.

— У меня семья, дети, мистер Гаривел! Я не имею права рисковать жизнью! Беда на носу, это и слепому видно. Черные того и гляди взбунтуются, и здесь повторятся все ужасы Хохоно!

— А что это за ужасы Хохоно?— поинтересовался Берти, когда кладовщик после долгих уговоров согласился остаться еще до конца месяца.

— Это он о плантации Хохоно на острове Изабель,— отвечал управляющий.— Там дикари перебили пятерых белых на берегу, захватили шхуну, зарезали капитана и помощника и все скопом сбежали на Малаиту. Я всегда говорил, что тамошнее начальство слишком беспечно. Нас-то они не застанут врасплох!.. Пожалуйста сюда, на веранду, мистер Аркрайт. Посмотрите, какой вид на окрестности!

Но Берти было не до видов. Он придумывал, как бы ему поскорее добраться до Тулаги, под крылышко резидента. И пока он был занят размышлениями на эту тему, за спиной у него вдруг грянул выстрел. В тот же миг мистер Гаривел стремительно втащил его в дом, чуть не вывернув ему при этом руку.

— Ну, дружище, вам повезло. Капельку бы левее—и...—говорил управляющий, ощупывая Берти и постепенно убеждаясь, что тот цел и невредим.— Простите; ради бога, все по моей вине, но кто бы мог подумать—среди бела дня...

Берти побледнел.

— Вот так же убили прежнего управляющего,—снисходительно заметил Мак-Тэвиш.— Хороший был парень, жалко! Всю веранду тогда мозгами забрызгало. Вы обратили внимание—вон там темное пятнышко, во-он, между крыльцом и дверью.

Берти пришел в такое расстройство, что коктейль, приготовленный и поднесенный ему мистером Гаривелом, оказался для него как нельзя более кстати. Но не успел он поднести стакан к губам, как вошел человек в бриджах и крагах.

— Что там еще стряслось?—спросил управляющий, взглянув на вошедшего.— Река, что ли, опять разлилась?

— Какая, к черту, река—дикари. В десяти шагах отсюда вылезли из тростника и пальнули по мне. Хорошо еще, что у них была снайдеровская винтовка, а не винчестер, да и стреляли с бедра... Но хотел бы я знать, откуда у них этот снайдер?.. Ах, простите, мистер Аркрайт. Рад вас приветствовать.

— Мистер Браун, мой помощник,—представил его мистер Гаривел.— А теперь давайте выпьем.

— Но где они достали оружие?—допытывался мистер Браун.— Говорил я вам, что нельзя хранить ружья в доме.

— Но они же никуда не делись,— уже с раздражением возразил мистер Гаривел.

Мистер Браун недоверчиво усмехнулся.

— Пойдем посмотрим!— потребовал управляющий.

Берти тоже отправился в контору вместе с остальными. Войдя туда, мистер Гаривел торжествующе указал на большой ящик, стоявший в темном пыльном углу.

— Прекрасно, но откуда же тогда у негодеев ружья?— в который раз повторил мистер Браун.

Но тут Мак-Тэвиш потрогал ящик и, ко всеобщему изумлению, без труда приподнял его. Управляющий бросился к ящику и сорвал крышку— ящик был пуст. Молча и со страхом они посмотрели друг на друга. Гаривел устало опустил голову. Мак-Тэвиш выругался:

— Черт побери! Я всегда говорил, что слугам нельзя доверять.

— Да, положение серьезное,— признался Гаривел.— Ну, ничего, как-нибудь выкрутимся. Нужно задать им острастку, вот и все. Джентльмены, захватите с собой к обеду винтовки, а вы, мистер Браун, пожалуйста, приготовьте штук сорок— пятьдесят динамитных шашек. Шнуры сделайте покороче. Мы им покажем, канальям! А сейчас, джентльмены, прошу к столу.

Берти терпеть не мог риса с пряностями по-индейски, поэтому он, опережая остальных, сразу приступил к заманчивому на вид омлету. Он успел уже разделаться со своей порцией, когда Гаривел тоже потянулся за омлетом. Но, взяв кусочек в рот, управляющий тут же с проклятиями его выплюнул.

— Это уже второй раз,— зловеще процедил Мак-Тэвиш.

Гаривел все еще харкал и плевался.

— Что второй раз?— дрожащим голосом спросил Берти.

— Яд,— последовал ответ.— Этому повару не миновать виселицы!

— Вот так же отправился на тот свет счетовод с мыса Марш,— заговорил Браун.— Он умер в ужасных мучениях. Люди с «Джесси» рассказывали, что за три мили слышно было, как он кричал.

— В кандалы закую мерзавца,— прошипел Гаривел.— Хорошо еще, что мы вовремя заметили.

Берти сидел белый, как полотно, не шевелясь и не дыша. Он попытался что-то сказать, но только слабый хрип вылетел из его горла. Все с тревогой посмотрели на него.

— Неужели вы?..— испуганно воскликнул Мак-Тэвиш.

— Да, да, я съел его! Много! Целую тарелку!— возопил Берти, внезапно обретая дыхание, как пловец, вынырнувший на поверхность.

Наступило ужасное молчание. В глазах сотрапезников Берти прочитал свой приговор.

— Может, это еще и не яд,— мрачно заметил Гаривел.

— Спросим повара,— посоветовал Браун.

Весело улыбаясь, в комнату вошел повар, молодой туземец, с гвоздем в носу и продырявленными ушами.

— Слушай ты, Ви-Ви! Что это такое?— прорычал Гаривел, угрожающе ткнув пальцем в яичницу.

Такой вопрос, естественно, озадачил и испугал Ви-Ви.

— Хороший еда, можно кушать,— пробормотал он извиняющимся тоном.

— Пускай сам попробует,— предложил Мак-Тэвиш.— Это лучший способ узнать правду.

Гаривел схватил ложку омлета и подскочил к повару. Тот в страхе бросился вон из комнаты.

— Все ясно,— торжественно объявил Браун.— Не станет есть, хоть ты его режь.

— Мистер Браун, прошу вас надеть на него кандалы!— приказал Гаривел и затем ободряюще обратился к Берти:— Не беспокойтесь, дружище, резидент разберет это дело, и, если вы умрете, негодяй будет повешен.

— Вряд ли правительство решится на это,— возразил Мак-Тэвиш.

— Но, господа, господа,— чуть не плача закричал Берти,— вы забываете обо мне!

Гаривел с прискорбием развел руками.

— К сожалению, дорогой мой, это туземный яд и противоядие пока еще не известно. Соберитесь с духом, и если...

Два резких винтовочных выстрела прервали его. Вошел Браун, перезарядил винтовку и сел к столу.

— Повар умер,— сообщил он.— Внезапный приступ лихорадки.

— Мы тут говорили, что против местных ядов нет противоядия.

— Кроме джина,— заметил Браун.

Назвав себя безмозглым идиотом, Гаривел бросился за джином.

— Только не разбавляйте,— предупредил он, и Берти, хватив разом чуть не стакан неразбавленного спирта, поперхнулся, задохся и так раскашлялся, что на глазах у него выступили слезы.

Гаривел пощупал у него пульс и смерил температуру, он всячески ухаживал за Берти, приговаривая, что, может, еще оmlет и не был отравлен. Браун и Мак-Тэвиш тоже высказали сомнение на этот счет, но Берти уловил в их тоне неискреннюю нотку. Есть ему уже ничего не хотелось, и он, тайком от остальных, щупал под столом свой пульс. Пульс все учащался, в этом не было сомнений, Берти только не сообразил, что это от выпитого им джина. Мак-Тэвиш взял винтовку и вышел на веранду посмотреть, что делается вокруг дома.

— Они собираются около кухни,— доложил он, вернувшись.— И все со снайдерами. Я предлагаю подкрасться с другой стороны и ударить им во фланг. Нападение — лучший способ защиты, так? Вы пойдете со мной, Браун?

Гаривел как ни в чем не бывало продолжал есть, а Берти с трепетом обнаружил, что пульс у него участился еще на пять ударов. Тем не менее и он невольно вскочил, когда началась стрельба. Сквозь частую трескотню снайдеров слышались гулкие выстрелы винчестеров Брауна и Мак-Тэвиша. Все это сопровождалось демоническими воплями и криками.

— Наши обратили их в бегство,— заметил Гаривел, когда крики и выстрелы стали удаляться.

Браун и Мак-Тэвиш вернулись к столу, но последний тут же снова отправился на разведку.

— Они достали динамит,— сообщил он по возвращении.

— Что же, пустим в ход динамит и мы,— предложил Гаривел.

Засунув в карманы по пять, шесть штук динамитных шашек, с зажженными сигарами во рту, они устремились

к выходу. И вдруг!.. Позже они обвиняли Мак-Тэвиша в неосторожности, и тот признал, что заряд, пожалуй, и правда был великоват. Так или иначе, страшный взрыв потряс стены, дом одним углом поднялся на воздух, потом снова сел на свое основание. Со стола на пол полетела посуда, стенные часы с восьми-дневным заводом остановились. Взывая о мести, вся троица кинулась в темноту, и началась бомбардировка.

Когда они вернулись в столовую, Берти и след простыл. Дотащившись до конторы и забаррикадировав дверь, он почил на полу, переживая в пьяных кошмарах сотни всевозможных смертей, пока вокруг него кипел бой. Наутро, разбитый, с отчаянной головной болью от джина, он выполз на воздух и с изумлением обнаружил, что солнце по-прежнему сияет на небе и бог, очевидно, правит миром, ибо гостеприимные хозяева Берти разгуливали по плантации живые и невредимые.

Гаривел уговаривал его погостить еще, но Берти был непоколебим и отплыл на «Арле» к Тулаги, где до прибытия парохода не покидал дома резидента. На пароходе в Сидней опять были путешествующие дамы, и опять они смотрели на Берти как на героя, а капитана Малу не замечали. Но по прибытии в Сидней капитан Малу отправил на острова не один, а два ящика первосортного шотландского виски, ибо никак не мог решить, кто — шкипер Гансен или мистер Гаривел — лучше показал Берти Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на страшных Соломоновых островах».



Кулау-прокаженный

О того что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули, — его сестру семь лет как усади на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не

хотел. Это была воля белых людей, которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смиренные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. Слуги господ бога и слуги господ рома действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал, Он поднял руку и скрюченными, узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий венок из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала култышка — остаток сгнившей руки. Их было тридцать человек, мужчин и женщин, — тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными хриплыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду, — страшная карикатура на человека. Пальцы — у кого они еще сохранились — напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиота-

ми, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они кривлялись и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доносилось бление диких коз, было его царством. С трех сторон поднимались мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропической зелени и чернеющие входами в пещеры — горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там, вдалеке, виднелись вершины более низких гор и хребтов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу у входа в долину Калалау можно было подойти на лодке, но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины, в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обладать большой смелостью и к тому же знать еле видные глазу козы тропы. Казалось невероятным, что жалкие, беспомощные калеки, составлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

— Братья,— начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный, звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзвуки этого пронзительного вопля, перекатившись между скалистыми стенами, замрут вдали, в неподвижном ночном воздухе.

— Братья, не удивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господ бога и господ рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь говорят нам, что мы можем работать на земле — на их земле, и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

— А кто принес нам эту болезнь, Кулау? — спросил сухопарый, жилистый Килолиана, который лицом так напоминал смеющегося фавна, что, казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килолиана смелее всех карабкался по горам и знал все козы тропинки, он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

— Это правильный вопрос, — ответил Кулау. — Оттого что мы не хотели работать на их сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы боеем и за которую нас хотят заточить на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы бывали и на других островах, кто где: на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауаи. Мы здесь родились, здесь жили. И здесь мы умрем, если... если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокаи. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадутся солдаты. Пусть трусливые души спустятся к ним. Их живо отправят на Молокаи. А мы, мы останемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа, двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау, один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот какой был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затравленная крыса, человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели под голыми надбровными дугами.

— Мы не затеваем раздоров,— начал он.— Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое — значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев.— Он поднял свои култышки, чтобы все могли их увидеть.— Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как в былые дни — указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господ бога и слуги господ рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями,— сказал Кулау.— Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

Из пещеры в скале принесли калабаши и пустили их вкруговую. Они были наполнены крепчайшей настойкой из корней растения ти; и когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны своей гитары, запела любовную песню дикарки — песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним на циновке плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь и желания. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калабаши, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоненькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на

скрюченных руках, поднимавшихся и падавших в пляске, болезнь уже оставила свой разрушительный след. А оба идиота — страшная, отвратительная пародия на человека — плясали поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калабаши, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым в залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

— Это солдаты,— сказал Кулау.— Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться — и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расщелинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось отеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсинам и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайя, отягченные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди громадных горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что

они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки — люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел искалеченной рукой по стволу винтовки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Ниихау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер, дувший сбоку, и учитывал возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до начала острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

— Что вам нужно?

— Нам нужен Кулау-прокаженный,— ответил начальник отряда туземной полиции, голубоглазый американец.

— Уходите обратно,— сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф,— тот, кто не дал ему жить на Ниихау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

— Кто ты?— спросил шериф.

— Я Кулау-прокаженный,— слышалось в ответ.

— Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

— Выходи!— скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посовещался с полицейскими, и Кулау понял, что они решили взять его штурмом.

— Кулау!— крикнул шериф.— Кулау, я иду к тебе.

— Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

— Хорошо, хорошо, Кулау,— сказал шериф примирительным тоном.— Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

— Право же,— настаивал шериф,— я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

— Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму,— прозвучал ответ.— И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

— Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до меня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решился.

— Кулау!— крикнул он.

Заросли молчали.

— Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ему ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и наконец достиг половины пути.

— Стой!— скомандовал Кулау из зарослей.— Еще шаг, и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

— Кулау, ты не убьешь меня. Я знаю, что не убьешь.

Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение. Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись,— но тут смерть настигла его. Секунда— и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумие. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прорезавших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпи-

лись остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и, спустившись вниз, в долину, снова превратились в темные точки.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться по противоположному склону долины. Дикие козы разбегались от них, а они лезли все выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

— Нет, здесь им не пройти,— сказал Килолиана.

— А козы?— спросил Кулау.

— Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.

— Они смелые,— сказал Кулау.— Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из лиан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх—и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

— Больше нас не будут тревожить,— сказал он.

— У них есть пушки,— возразил Кулау.— Солдаты еще не сказали своего слова.

Разморенные жарой, прокаженные спали в пещерах. Кулау тоже дремал у своего логовища, держа на коленях начищенную, заряженную винтовку. Девушка с искалеченными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскочил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разодрало на части. Этот невыносимый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на полосы ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. И вот снаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем. Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по возмозшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал орудийной стрельбы и даже не мог себе представить, как это страшно.

— Раз,— сказал Капалеи, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряды с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближним хребтом. Капалеи считал. Прокаженные высыпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая лежала на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чащу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочились по земле, из ран хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил, как собачонка. Все остальные, кроме Капалеи, попрятались в пещеры.

— Семнадцать,— сказал Капалеи и тут же добавил: — Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные высыпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого вонючего дыма. На земле лежали

четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссякли слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводившей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменили ему, и он скорчился и затих.

— Его нужно убить,—сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который сидел там же, где и раньше.

— Двадцать два,—ответил Капалеи.—Да, лучше убить его. Двадцать три... двадцать четыре.

Увидев направленное на него дуло, идиот громко взвизгнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

— Это не легко,—сказал он.

— Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь,—сказал Капалеи.—Дай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.

Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрытые фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил, так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хау посыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но орудийный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, припадал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их, но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним — Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он — один, да еще больной,

калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. Во всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капалеи сказал правду. Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом,— вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды огнем горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли, и хотя они залегли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи.

Это было настоящее побоище, и учинил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Снимая их выстрелами одного за другим, Кулау вдруг почуял запах горелого мяса. Он огляделся по сторонам, потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он слышал запах, а боли не чувствовал.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться за выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и решили и под палящими лучами послепоуденного солнца опять полезли вверх по тропе. И снова им не

удалось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, появился один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Килолиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голода, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжелых условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и циновками. Остальных он постарался утешить и подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад, в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно щелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокаи—тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил Кулау.

— Мне нужно тебя, если ты — Кулау-прокаженный, — раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем, — он лежал и дивился необычайному упорству этих хаоле — белых людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это стоит им жизни. Он почувствовал восхищение этой их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей

белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему стало понятно, как ничтожная горсть посланцев господ бога и господ рома сумела поработить его землю. Это случилось потому...

— Ну, что же? Пойдешь ты со мной? — Это был голос невидимого человека, державшего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет напролом к своей цели.

— Давай поговорим, — сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молодой капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом, по знаку Кулау, остановился и сел шагах в пяти от него.

— Ты храбрый, — сказал Кулау задумчиво. — Я могу убить тебя, как муху.

— Нет, не можешь, — ответил тот.

— Почему?

— Потому что ты — человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе он был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он. — Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались нам. А теперь твоя очередь, — я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

— Я свободный человек, — заявил он. — Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

— Значит, твои люди умнее тебя, — сказал молодой капитан. — Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем своем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще большую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытянув костлявую руку с когтями гарпии, оскалив зубы и трясая головой, прокляла его. Один за другим прокаженные перебирались через ска-

листую грядку и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

— Теперь ты можешь идти,— сказал Кулау капитану.— Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, выпущенная Кулау, пробила его насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега, и когда он ушел выше, в неприступные скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козьим тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загонщиков и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку, и они уносили своих раненых по горным тропинкам к морю. Случалось, что солдаты тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромая, ушел от них по краю головокружительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его... на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал. Стал накрапывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не мог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза, слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь, он заполз в чащу умирать. В полусознании, в бреду он возвращался мыслью к дням своей юности на

Ниихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по корралю, и подручные конюхи разбегаются в стороны и перемахивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А в загоне, где клеймили скот, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось. Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспальными руками, он крепко прижал ее к груди.



Прощай, Джек!

С транное место — Гавайи. В тамошнем обществе все, как говорится, шиворот-навыворот. Не то чтобы случалось что-нибудь неподобающее, нет. Скорее наоборот. Все даже слишком правильно. И тем не менее что-то в нем не так. Самым изысканным обществом считается миссионерский кружок. Любого неприятно удивит тот факт, что на Гавайях незаметные, готовые как будто в любую минуту принять мученический венец служители церкви важно восседают на почетном месте за столом у представителей денежной аристократии. Скромные выходцы из Новой Англии, которые еще в тридцатых годах минувшего столетия покинули свою родину, спешили сюда с возвышенной целью — принести канакам свет истинной веры

и научить их почитать бога единого, всеправедного и вездесущего. И так усердно обращали они канаков и приобщали их к благам цивилизации, что ко второму или третьему поколению почти все туземцы вымерли. Евангельские семена упали на добрую почву. Что до миссионеров, то их сыновья и внуки тоже собрали неплохой урожай в виде полноправного владения самими островами: землей, бухтами, поселениями, сахарными плантациями. Проповедники, явившиеся сюда, чтобы дать дикарям хлеб насущный, недурно покутили на языческом пиру.

Я вовсе не собирался рассказывать о странных вещах, что творятся на Гавайях. Но дело в том, что только один человек может толковать о здешних событиях, не приплетая к разговору миссионеров: этот человек — Джек Керсдейл, тот самый, о котором я и хочу рассказать. Так вот, сам он тоже из миссионерского рода. Правда, со стороны бабки. А дед его был старый Бенджамен Керсдейл из Штатов, который начал сколачивать в молодости миллион, торгуя дешевым виски и джинном. Вот вам еще одна странная штука. В былые времена миссионеры и торговцы считались заклятыми врагами. Интересы-то их сталкивались. А нынче их потомки переженились, поделили остров и отлично ладят друг с другом.

Жизнь на Гавайях, что песня! Об этом здорово сказал Стоддарт¹ в своих «Гавайях»:

Самой судьбы мелодии прелестной
Тут каждый островок — строфа.
И жизнь как песня!

Как он прав! Кожа здесь у людей золотистая. Туземки — юноны, спелые, как солнце, а мужчины — бронзовые аполлоны. Нацепят украшения, венки из цветов — и ну петь да плясать. Да и белые, которые недолюбливают чопорную миссионерскую компанию, тоже поддаются

¹ Стоддарт Чарлз Уоррен (1843—1909) — американский поэт и писатель, автор ряда книг о Гавайях и Таити. Стоддарт после 1903 года постоянно жил в Калифорнии, как и известный английский писатель Р. А. Стивенсон (1850—1894). Стоддарт пытался выступать в защиту прав коренного населения Океании от посягательств колонизаторов.

расслабляющему влиянию солнечного климата и, как бы ни были заняты, тоже танцуют, поют и втыкают цветы в волосы. Джек Керсдейл из таких ребят. А надо сказать, самый деловой человек из тех, кого я знаю. Сколько у него миллионов,—не сочтешь! Сахарный король, владелец кофейных плантаций, первым начал добывать каучук, держит несколько скотоводческих ранчо, непременный участник чуть ли не всех предприятий, что замышляют тут, на островах. И в то же время — человек света, член клуба, яхтсмен, холостяк, к тому же такой красавец, какие не снились мамашам, имеющим дочек на выданье. Между прочим, он прошел курс в Иейле¹, так что голова у него была набита всякими цифрами и учеными сведениями о Гавайских островах больше, чем у любого здешнего жителя, каких я знаю. И работать умел что надо, и песни пел, и танцевал, и цветы в волосы втыкал, как заправский бездельник.

Характер у Джека был упорный: он дважды дрался на дуэли — оба раза по политическим мотивам, — будучи еще зеленым юнцом, который делал первые шажки в политике. Он сыграл самую достойную, пожалуй, и мужественную роль во время последней революции, когда скинули местную династию, а ведь ему тогда было едва ли больше шестнадцати. Он далеко не трус — я говорю об этом для того, чтобы вы лучше поняли случившееся потом. Довелось мне раз видеть, как он объезжал на ранчо в Халеакала одного четырехлетнего жеребца, к которому два года не могли подступить лучшие ковбои Фон Темпского. И еще об одном происшествии расскажу. Оно случилось в Конне, внизу, на побережье, вернее — наверху, потому что тамошние жители, видите ли, считают ниже своего достоинства селиться меньше чем на тысячефутовой высоте. Так вот, мы собрались на веранде у доктора Гудхью. Я болтал с Дотти Фэрчайлд. И вдруг со стропил прямо к ней на прическу упала огромная сороконожка — мы потом измерили: семь дюймов! Признаюсь, я остолбенел от ужаса. Рассудок не повиновался мне. Я не мог шевельнуть пальцем. Только представьте: в каком-нибудь шаге от вас в волосах собеседницы извивается этакая отвратительная ядовитая гадина. Каждую секунду соро-

¹ Иейл — один из старейших университетов в США.

коножка могла скатиться на ее оголенные плечи — ведь мы только что поднялись из-за стола.

— В чем дело? — удивилась Дотти, поднимая руку к волосам.

— Не двигайтесь! — закричал я.

— Что случилось? — испуганно спрашивала она, видя, как дергаются у меня губы и глаза расширились от ужаса.

Мое восклицание привлекло внимание Керсдейла. Он посмотрел в нашу сторону, сразу все понял и быстро, но без лихорадочной поспешности подошел к нам.

— Не двигайтесь, Дотти, прошу вас! — сказал он спокойно.

Он не колебался ни секунды и действовал хладнокровно, расторопно.

— Позвольте, — проговорил он.

Он поднял ей на плечи шарф и одной рукой плотно держал концы, чтобы сороконожка не попала Дотти за корсаж. Другую руку, правую, он протянул к ее волосам, схватил омерзительную тварь насколько возможно ближе к голове и, крепко держа между большим и указательным пальцами, вытащил ее прочь. Не часто увидишь такое. Меня мороз по коже продирает. Сороконожка — семь дюймов шевелящихся конечностей — билась в воздухе, изгибалась, скручивалась, обвивалась вокруг пальцев, царапала Джеку кожу, стараясь вырваться. Я видел, как эта тварь даже укусила его, хотя, сбросив ее на землю и раздавив ногой, Джек принялся уверять дам, что дело обошлось без укусов. Но пять минут спустя он уже был в кабинете у доктора Гудхью, где тот сделал ему насечку и инъекцию перманганата. На другой день рука у Керсдейла вздулась, как пивной бочонок, и прошло три недели, прежде чем опухоль спала.

Все это не имеет в общем-то прямого отношения к моему рассказу, я лишь хотел показать, что Джек Керсдейл был кто угодно, но только не трус. Он являл лучший образец мужской выдержки. Никогда не выказывал боязни. Улыбка не сходила с его губ. Он запустил руку в волосы Дотти Фэрчайлд так беспечно, как будто в бочонок с соленым миндалем. И все же мне привелось наблюдать, как этот человек испытал такой дикий страх, который в тысячу раз сильнее того, что охватил меня, когда я увидел, как на голове Дотти Фэрчайлд шевелит-

ся ядовитая сороконожка, грозя вот-вот упасть на лицо и на грудь.

В ту пору я интересовался различными случаями проказы, а в этой области Керсдейл обладал поистине энциклопедическими знаниями — как, впрочем, и в любой другой, касающейся островов. Проказа была, что называется, его коньком. Он слыл ревностным защитником колонии на Молокаи, куда помещали всех заболевших. Среди туземцев ходили разговоры, раздуваемые всякими демагогами, насчет жестокостей на Молокаи, что, дескать, людей не только насильно отрывают от родных и друзей, но и принуждают жить в заключении до самой смерти. Попавший туда не мог будто бы надеяться ни на смягчение этого наказания, ни на отсрочку приговора. На воротах в колонию словно было написано: «Оставь надежду...»

— А я вам заявляю, что они там вполне счастливы,— настаивал Керсдейл.— Им куда лучше живется, чем их родственникам и друзьям, которые здоровы. Вся эта болтовня об ужасах на Молокаи — вздор! Побывайте в какой-нибудь больнице или в трущобах любого большого города, вы увидите вещи в тысячу раз страшнее. Живые мертвецы! Существа, которые когда-то были людьми! Какая глупость! Посмотрели бы вы, какие конные состязания устраивают эти живые мертвецы четвертого июля! У некоторых из них есть собственные лодки. Один имеет даже катерок. Им совсем нечего делать, кроме как весело проводить время. Еда, кров, одежда, медицинское обслуживание — все к их услугам. Они сами себе хозяева. И климат там гораздо лучше, чем в Гонолулу, и местность восхитительная. Я и сам не возражал бы насовсем поселиться там. Чудесное местечко!

Так Керсдейл представлял веселящегося прокаженного. Сам он не боялся проказы. Он утверждал, что для него или любого другого белого опасность заразиться проказой ничтожна, какой-нибудь один случай из миллиона, хотя признавался впоследствии, что его однокашник, Альфред Стартер, как-то умудрился заболеть, был отправлен на Молокаи и там умер.

— Дело в том, что прежде не умели точно ставить диагноз,— объяснил Керсдейл.— Какие-нибудь неизвестные симптомы или отклонение от нормы — и человека

упекали на Молокаи. В результате туда были отправлены десятки таких же прокаженных, как мы с вами. Теперь ошибок не случается. Метод, которым пользуется Бюро здравоохранения, абсолютно надежен. Самое интересное: когда этот метод открыли, подвергли повторному исследованию всех, кто был на Молокаи, и обнаружили, что кое-кто совершенно здоров. Вы думаете, они были рады выбраться оттуда? Как бы не так! Покидая колонию, они рыдали так, как не рыдали, уезжая из Гонолулу. Иные наотрез отказались вернуться, их пришлось увезти силой. Один даже женился на женщине в последней стадии болезни и писал душераздирающие письма в Бюро здравоохранения, протестуя против высылки его из колонии на том основании, что никто не сможет так ухаживать за его старой больной женой, как он сам.

— И что это за метод? — спрашивал я.

— Бактериологический метод. Тут уж ошибка невозможна. Первым его применил здесь доктор Герви, наш лучший специалист. Он прямо кудесник. Знает о проказе больше чем кто бы то ни было, и если когда-нибудь откроют средство от проказы, то это сделает он. А самый метод очень прост: удалось выделить и изучить *bacillus leproae*. Теперь эти бациллы узнают безошибочно.

Человека, у которого подозревают проказу, приглашают к врачу, срезают крохотный кусочек кожи и подвергают его бактериологическому исследованию. Видимых признаков нет, а тем не менее могут найти кучу этих самых бацилл.

— В таком случае и у нас с вами может быть куча бацилл? — спросил я.

Керсдейл пожал плечами и засмеялся.

— Разумеется! Инкубационный период длится семь лет. Если у вас есть какие-нибудь сомнения на этот счет, отправляйтесь к доктору Герви. Он срежет у вас кусочек кожи и мигом даст ответ.

Позже Джек Керсдейл познакомил меня с доктором Герви, который немедленно всучил мне стопку разных отчетов и брошюр по этому вопросу, выпущенных Бюро здравоохранения, и повез в Калихи, на приемный пункт, где подвергались исследованию подозреваемые, а тех, у кого обнаруживали проказу, задерживали для высылки на Молокаи. Отправляют туда приблизительно раз в

месяц, и тогда, попрощавшись с близкими, больные садятся на крошечный пароходик «Ноо», и их везут в колонию.

Однажды около полудня, когда я писал в клубе письма, ко мне подошел Джек Керсдейл.

— Вы-то мне и нужны! — сказал он вместо приветствия. — Я хочу показать вам самое грустное зрелище на Гавайях: отправку рыдающих прокаженных на Молокаи. Посадка начнется через несколько минут. Позвольте, однако, предупредить: не давайте воли своим чувствам. Горе их, конечно, безутешно, но, поверьте, они убивались бы сильнее, если бы Бюро здравоохранения вздумало через год вернуть их обратно. У нас как раз есть время пропустить стаканчик виски. Коляска ждет у подъезда. Мы за пять минут доберемся до пристани.

Мы отправились на пристань. Человек сорок несчастных сгрудились там на отгороженном месте со своими тюками, одеялами и прочей кладью. «Ноо» только что прибыл и подходил к лихтеру, что стоял у пристани. За посадкой наблюдал самолично мистер Маквей, управляющий колонией; меня представили ему, а также доктору Джорджесу из Бюро здравоохранения, которого я уже видел раньше в Калихи. Прокаженные и в самом деле являли собой весьма мрачное зрелище. Лица у большинства были так обезображены, что не берусь описать. Среди них попадались, однако, люди вполне приятной внешности, без явных признаков беспощадной болезни. Особенно я запомнил белую девочку, лет двенадцати, не больше, с голубыми глазами и золотистыми кудряшками. Но одна щечка у нее была чуть раздута. На мое замечание о том, насколько ей, бедняжке, тяжело, наверное, одной среди темнокожих больных, доктор Джорджес ответил:

— Не совсем так. По-моему, это для нее самый счастливый день в жизни. Дело в том, что ее привезли из Кауаи, где она жила с отцом — страшный человек! И теперь, заболев, она будет жить вместе с матерью в колонии. Ту отправили еще три года назад... Очень тяжелый случай.

— И вообще по внешности судить никак нельзя, — пояснил Маквей. — Видите того высокого парня, который так хорошо выглядит, словно совсем здоров? Так вот, я случайно узнал, что у него открытая язва на ноге и другая у лопатки. И у остальных тоже что-

нибудь... Посмотрите на девушку, которая курит сигарету. Обратите внимание на ее руку. Видите, как скрючены пальцы? Анестезийная форма проказы. Поражает нервные узлы. Можно отрубить ей пальцы тупым ножом и потереть о терку для мускатного ореха, и она ровным счетом ничего не почувствует.

— Да, но вот, например, та красивая женщина. Она-то уж наверняка здорова,— упорствовал я.— Такая великолепная и пышная.

— С ней печальная история! — бросил Маквей через плечо, поворачиваясь, чтобы прогуляться с Керсдейлом по пристани.

Да, она была красива — чистокровная полинезийка. Даже из моего скудного знакомства с типами людей той расы я мог заключить, что она отпрыск старинного царского рода. Я дал бы ей года двадцать три — двадцать четыре, не больше. Сложена она была великолепно, и признаки полноты, свойственной женщинам ее расы, были едва заметны.

— Это было ударом для всех нас,— прервал молчание доктор Джорджес.— Она сама пришла на обследование. Никто даже не подозревал. Как она заразилась — ума не приложу. Право же, мы чуть не плакали. Мы, разумеется, постарались, чтобы дело не попало в газеты. Что с ней случилось, никто не знает, кроме нас да ее семьи. Спросите у любого в Гонолулу, и он скажет, что она скорее всего в Европе. Она сама просила, чтобы мы не распространялись. Бедняжка, она такая гордая.

— Но кто она? — спросил я.— По тому, как вы о ней говорите, она должна быть заметной фигурой.

— Знаете такую — Люси Мокунуи?

— Люси Мокунуи? — повторил я; в памяти у меня зашевелились какие-то давние впечатления, но я покачал головой.— Кажется, что я где-то слышал это имя, но, право, оно мне ничего не говорит.

— Никогда не слышали о Люси Мокунуи? Об этом гавайском соловье? Ах, простите, вы же малахини, новичок в здешних местах, можете и не знать. Люси Мокунуи была любимицей всего Гонолулу, да что там — всего острова.

— Вы сказали *была*... — прервал я доктора.

— Я не оговорился, увы! Теперь она, считайте, умерла.— Он с базнадежным сожалением пожал плеча-

ми.— В разное время из-за нее потеряли голову человек десять хаолес— ах, простите!— человек десять белых. Я уж не говорю о людях с улицы. Те десять— все занимали видное положение.

Она могла бы выйти замуж за сына Верховного судьи, если бы захотела. Так вы считаете ее красивой? Да, но надо услышать, как она поет! Самая талантливая певица-туземка на Гавайских островах. Голос у нее— чистое серебро, нежный, как солнечный луч. Мы обожали ее. Она гастролировала в Америке— сначала с королевским гавайским оркестром, потом дважды ездила одна, давала концерты.

— Вот оно что!— воскликнул я.— Да, да припоминаю. Я слышал ее года два назад в Бостонской филармонии. Так это она! Теперь-то я узнаю ее.

Безотчетная грусть внезапно охватила меня. Жизнь в лучшем случае— бессмысленная и тщетная штука. Как-ких-нибудь два года, и вот эта великолепная женщина во всем величии своего успеха вдруг оказывается здесь, в толпе прокаженных, ожидающих отправки на Молокай. Невольно пришли на ум строки из Хенли:

Старый несчастный бродяга поведал о старом
несчастье,
Жизнь, говорит,— ошибка, ошибка
и позор.

Я содрогнулся при мысли о будущем. Если на долю Люси Мокунуи выпал такой тяжкий жребий, то кто знает, что ожидает меня... или любого из нас? Я всегда отдавал себе отчет в том, что мы смертны, но жить среди живых мертвецов, умереть и не быть мертвым, стать одним из тех обреченных существ, которые некогда были мужчинами и женщинами, да, да, и женщинами— такими, как Люси Мокунуи, это воплощение полинезийского обаяния, талантливая актриса, божество... Наверное, я выдал в ту минуту свое крайнее смятение, ибо доктор Джорджес поспешил уверить меня, что им там, в колонии, живется совсем не плохо.

Это было непостижимо, чудовищно. Я не мог заставить себя смотреть на нее. Немного поодаль, за веревками, где прохаживался полисмен, стояли родственники и друзья отъезжающих. Подойти поближе им не позволяли. Не было ни объятий, ни прощальных поцелуев. Они

могли лишь переговариваться друг с другом — последние пожелания, последние слова любви, последние, многократно повторяемые напутствия. Те, что стояли за веревками, смотрели с каким-то отчаянным, напряженным до ужаса вниманием. Ведь в последний раз видели они любимые лица, лица живых мертвецов, которых погребальное судно увезет сейчас на молокаиское кладбище.

Доктор Джорджес подал знак, и несчастные зашевелились, поднялись на ноги и, сгибаясь под тяжестью клади, медленно побрели через лихтер к сходням. Скорбное похоронное шествие! Среди провожающих, сгрудившихся за веревками, тут же слышались рыдания. Кровь стыла в жилах, сердце разрывалось. Я никогда не видел такого горя, и, надеюсь, не увижу больше. Керсдейл и Маквей все еще находились на другом краю пристани, занятые каким-то серьезным разговором — наверное, о политике, потому что оба они в ту пору крайне увлекались этой странной игрой. Когда Люси Мокунуи проходила мимо, я снова украдкой посмотрел на нее. Она и в самом деле была прекрасна! Прекрасна даже по нашим представлениям — один из тех редчайших цветков, что расцветают лишь раз в поколение. Подумать только, что такая женщина обречена прозябать в колонии для прокаженных!

Она шла, точно королева: вот пересекла лихтер, поднялась по сходням, прошла палубой на корму, где у поручней столпились прокаженные — они плакали и махали остающимся на берегу.

Отдали концы, и «Ноо» стал медленно отваливать от пристани. Крики и плач усилились. Какое безнадежное, горестное зрелище! Я мысленно давал себе слово, что никогда впредь не окажусь свидетелем отплытия «Ноо», в эту минуту подошли Маквей и Керсдейл. Глаза у Джека блестели, и губы не могли скрыть довольной улыбки. Очевидно, разговор о политике закончился к обоюдному согласию. Веребочное ограждение сняли, и причитающие родственники кинулись к самому краю причала, окружив нас плотной толпой.

— Это ее мать, — шепнул мне доктор Джорджес, показывая на стоявшую рядом старушку, которая горестно покачивалась из стороны в сторону, не отрывая от палубы невидящих, полных слез глаз. Я заметил, что

Люси Мокунуи тоже плачет. Но вот она утерла слезы и пристально посмотрела на Керсдейла. Потом протянула обе руки — тем восхитительным чувственным движением, которым некогда словно обнимала аудиторию Ольга Нетерсоль, и воскликнула:

— Прощай, Джек! Прощай, дорогой!

Он услышал ее и обернулся. Я никогда не видел, чтобы человек так испугался. Керсдейл зашатался, побелел и как-то обмяк, словно из него вынули душу. Вскинув руки, он простонал: «Боже мой!» Но тут же громадным усилием воли взял себя в руки.

— Прощай, Люси! Прощай! — отозвался он.

Он стоял и махал ей до тех пор, пока «Ноо» не вышел из гавани и лица стоявших у кормовых поручней не слились в сплошную полосу.

— Я полагал, что вы знаете, — сказал Маквей, удивленно глядя на Керсдейла. — Уж кому-кому, а вам... Я решил, что поэтому вы и пришли сюда.

— Теперь я знаю, — медленно проговорил Керсдейл. — Где коляска?

И быстро, чуть не бегом, зашагал с пристани. Я едва поспевал за ним.

— К доктору Герви, — крикнул он кучеру, — да побыстрее!

Тяжело, еле переводя дух, он опустился на сиденье. Бледность разлилась у него по лицу, губы были крепко сжаты, на лбу и на верхней губе выступил пот. Сильнейшая боль, казалось, мучает его.

— Поскорее, Мартин, ради бога! — вырвалось у него. — Что они у тебя плетутся? Подхлестни-ка их, слышишь? Подхлестни как следует.

— Мы загоним лошадей, сэр, — возразил кучер.

— Пускай! Гони всюю! Плачу и за лошадей и штраф полиции. А ну, быстрее, быстрее!

— Как же я не знал? Ничего не знал... — бормотал он, откидываясь на подушки и дрожащей рукой отирая пот с лица.

Коляска неслась с бешеной скоростью, подпрыгивая и кренясь на поворотах. Разговаривать было невозможно. Да и о чем говорить? Но я слышал, как Джек повторял снова и снова: «Как же я не знал!.. Как же я не знал!..»



«Алоха Оэ»

Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу. Большой пароход стоял под парами, готовый к отплытию. Не менее тысячи человек толпилось на его палубах, пять тысяч стояло на пристани. По высоким сходням вверх и вниз проходили туземные принцы и принцессы, сахарные короли, видные чиновники Гавайев. А за толпой, собравшейся на берегу, длинными рядами выстроились под охраной туземной полиции экипажи и автомобили местной аристократии.

На набережной гавайский королевский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он смолк, ту же рыдающую мелодию подхватил струнный оркестр туземцев на пароходе, и высокий голос певицы птицей взлетел над звуками инструментов, над многоголосым гамом вокруг. Словно звонкие переливы серебряной свирели, своеобразные и неповторимые, влились вдруг в многозвучную симфонию прощания.

На нижней палубе вдоль поручней стояли в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица говорили о трех годах военной службы, проведенных под знойным солнцем тропиков. Однако это не их провожали сегодня так торжественно, и не капитана в белом кителе, стоявшего на мостике и безучастно, как далекие звезды, взиравшего с высоты на суматоху внизу, и не молодых офицеров на корме, возвращавшихся на родину с Филиппинских островов вместе со своими измученными тропической жарой, бледными женами. На верхней палубе, у самого трапа, стояла группа сенаторов Соединенных Штатов — человек двадцать — с женами и дочерьми. Они приезжали сюда развлечься. И целый месяц их угощали обедами и поили вином, пичкали статистикой, таскали по горам и долам, на вершины вулканов и в залитые лавой долины, чтобы показать все красоты и природные богатства Гавайев.

За этой-то веселящейся компанией и прибыл в гавань большой пароход, и с нею прощался сегодня Гонолулу.

Сенаторы были увешаны гирляндами; они просто утопали в цветах. На бычьей шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась добрая дюжи-

на венков и гирлянд. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. Цветы раздражали сенатора невыносимо, а на толпу, кишевшую на пристани, он смотрел оком человека, для которого существуют только цифры, человека, слепого к красоте. Он видел в этих людях лишь рабочую силу, а за ней фабрики, железные дороги, плантации, все то, что она создавала и что олицетворяла собой для него. Он видел богатства этой страны, думал о том, как их использовать, и, занятый этими размышлениями о материальных благах и могуществе, не обращал никакого внимания на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изящном летнем костюме и соломенной шляпе. Юноша не отрывал жадных глаз от ее лица и, казалось, видел только ее одну. Если бы сенатор Джереми внимательно присмотрелся к дочери, он понял бы, что пятнадцатилетняя девочка, которую он привез с собой на Гавайские острова, за этот месяц превратилась в женщину.

В климате Гавайев все зреет быстро, а созреванию Дороти Сэмбрук к тому же особенно благоприятствовали окружающие условия. Тоненькой бледной девочкой с голубыми глазами, немного утомленной вечным сидением за книгами и попытками хоть что-нибудь понять в загадках жизни,— такой приехала сюда Дороти месяц назад. А сейчас в глазах ее был жаркий свет, щеки позолочены солнцем, в линиях тела уже чувствовалась легкая, едва намечавшаяся округлость. За этот месяц Дороти совсем забросила книги, ибо читать книги жизни было куда интереснее. Она ездила верхом, взбиралась на вулканы, училась плавать на волнах прибоя. Тропики проникли ей в кровь, она упивалась ярким солнцем, теплом, пышными красками. И весь этот месяц она провела в обществе Стивена Найта, настоящего мужчины, спортсмена, отважного пловца, бронзового морского бога, который укрощал бешеные волны и на их хребтах мчался к берегу.

Дороти Сэмбрук не замечала перемены, которая произошла в ней. Она оставалась наивной молоденькой девушкой, и ее удивляло и смущало поведение Стива в этот час расставания.

До сих пор она видела в нем просто доброго товарища, и весь месяц он и был ей только товарищем,

но сейчас, прощаясь с ней, вел себя как-то странно. Говорил взволнованно, бессвязно, вдруг умолкал, начинал снова. По временам он словно не слышал, что говорит она, или отвечал не так, как обычно. А взгляд его приводил Дороти в смятение. Она раньше и не замечала, что у него такие горящие глаза; она не смела смотреть в них и то и дело опускала ресницы. Но выражение их и пугало и в то же время притягивало ее, и она снова и снова заглядывала в эти глаза, чтобы увидеть то пламенное, властное, тоскующее, чего она еще не видела никогда ни в чьих глазах. Она сама испытывала какое-то странное волнение и тревогу.

На пароходе оглушительно завыл гудок, и увенчанная цветами толпа хлынула ближе. Дороти Сэмбрук сделала недовольную гримасу и заткнула пальцами уши, чтобы не слышать пронзительного воя,— и в этот миг она снова перехватила жадный и требовательный взгляд Стива. Он смотрел на ее уши, нежно розовеющие и прозрачные в косых лучах закатного солнца.

Удивленная и словно завороченная странным выражением его глаз, Дороти смотрела на него не отрываясь. И Стив понял, что выдал себя; он густо покраснел и что-то невнятно пробормотал. Он был явно смущен, и Дороти была смущена не меньше его. Вокруг них суетилась пароходная прислуга, торопя провожающих сойти на берег. Стив протянул руку. И в тот миг, когда Дороти ощутилажатие его пальцев, тысячу раз сжимавших ее руку, когда они вдвоем карабкались по крутым склонам или неслись на доске по волнам,— она услышала и по-новому поняла слова песни, которая, подобно рыданию, рвалась из серебряного горла гавайской певицы:

Ka halia ko aloha Kai hiki mai,
Ke hone ae nei i Ku'u manawa,
O oe no Ka'u aloha
A loko e hana nei.

Этой песне учил ее Стив, она знала и мелодию и слова и до сих пор думала, что понимает их. Но только сейчас, когда в последний раз пальцы Стива крепко сжали ее руку и она ощутила теплоту его ладони, ей открылся истинный смысл этих слов. Она едва заметила, как ушел Стив, и не могла отыскать его в толпе на сходнях, потому

что в эти минуты она уже блуждала в лабиринтах памяти, вновь переживая минувшие четыре недели—все события этих дней, представшие перед ней сейчас в новом свете.

Когда месяц назад компания сенаторов прибыла в Гонолулу, их встретили члены комиссии, которой было поручено развлекать гостей, и среди них был и Стив. Он первый показал им в Ваикики-Бич, как плавают по бурным волнам во время прибоя. Выплыв в море верхом на узкой доске, с веслом в руках, он помчался так быстро, что скоро только пятнышком замелькал и исчез вдаль. Потом неожиданно возник снова, встав из бурлящей белой пены, как морской бог,—сначала показали плечи и грудь, потом бедра, руки; и вот он уже стоял во весь рост на пенистом гребне могучего вала длиной с милю, и только ноги его были зарыты в летящую пену. Он мчался со скоростью экспресса и спокойно вышел на берег на глазах у пораженных зрителей. Таким Дороти впервые увидела Стива. Он был самый молодой член комиссии—двадцатилетний юноша. Он не выступал с речами, не блистал на торжественных приемах. В увеселительную программу для гостей он вносил свою долю, плавая на бурных волнах в Ваикики, гоняя диких быков по склонам Мауна Кеа, объезжая лошадей на ранчо Халеакала.

Дороти не интересовали бесконечные статистические обзоры и ораторские выступления остальных членов комиссии, на Стива они тоже нагоняли тоску,—и оба потихоньку удирали вдвоем. Так они сбежали и с пикника в Хамакуа и от Эба Луиссона, кофейного плантатора, который в течение двух убийственно скучных часов занимал гостей разговором о кофе, о кофе и только о кофе. И как раз в тот день, когда они ехали верхом среди древовидных папоротников, Стив перевел ей слова песни «Алоха Оэ», которой провожали гостей сенаторов в каждой деревне, на каждом ранчо, на каждой плантации.

Они со Стивом с первого же дня очень много времени проводили вместе. Он был ее неизменным спутником на всех прогулках. Она совсем завладела им, пока ее отец собирал нужные ему сведения о Гавайских островах. Дороти была кротка и не тиранила своего нового приятеля, но он был у нее в полном подчинении,

и лишь во время катания на лодке, или поездок верхом, или плавания в приборь власть переходила к нему, а ей оставалось слушаться.

И вот теперь, когда уже был поднят якорь и громадный пароход стал медленно отваливать от пристани, Дороти, слушая прощальную мелодию «Алоха Оэ», поняла, что Стив был для нее не только веселым товарищем.

Пять тысяч голосов пели сейчас «Алоха Оэ»:

В разлуке любовь моя будет с тобою
Всегда, до новой встречи.

И в то же мгновение, вслед за открытием, что она любит и любима, пришла мысль, что их со Стивом разлучают, отрывают друг от друга. Когда еще они встретятся снова? И встретятся ли? Слова песни о новой встрече она услышала впервые от него, Стива,—она вспомнила, как он пел их ей, повторяя много раз подряд, под деревом хау в Ваикики. Не было ли это предсказанием? А она восторгалась его пением, твердила ему, что он поет так выразительно... Вспомнив это, Дороти рассмеялась громко, истерически. «Выразительно!» Еще бы, когда человек душу изливает в песне! Теперь она знала это, но слишком поздно. Почему он ей ничего не сказал?

Вдруг она вспомнила, что в ее возрасте девушки еще не выходят замуж. Но тотчас сказала себе: «А на Гавайях выходят». На Гавайях, где кожа у всех золотиста и женщины под поцелуями солнца созревают рано, созрела и она—за один месяц.

Тщетно вглядывалась Дороти в толпу на берегу. Куда девался Стив? Она готова была отдать все на свете, чтобы увидеть его еще хоть на миг, она почти желала, чтобы какая-нибудь смертельная болезнь поразила капитана, одиноко стоявшего на мостике,—ведь тогда пароход не уйдет! В первый раз в жизни она посмотрела на отца внимательно, пылливо—и с внезапно проснувшимся страхом прочла в этом лице упрямство и жесткую волю. Противиться этой воле очень страшно! И разве она может победить в такой борьбе?..

Но почему, почему Стив молчал до сих пор? А сейчас уже поздно... Почему он не сказал ей ничего тогда, под деревом хау в Ваикики?

Тут ее осенила догадка — и сердце у нее упало. Да, да, теперь понятно, почему молчал Стив! Что-то такое она слышала недавно... А, это было у миссис Стертон, в тот день, когда дамы миссионерского кружка пригласили на чашку чая жен и дочерей сенаторов... Та высокая блондинка, миссис Ходжкинс, задала вопрос... Дороти отчетливо вспомнила все: обширную веранду, тропические цветы, бесшумно сновавших вокруг слуг-азиатов, жужжание женских голосов и вопрос миссис Ходжкинс, сидевшей неподалеку в группе других дам. Миссис Ходжкинс недавно вернулась на остров с континента, где она провела много лет, и, видимо, расспрашивала о старых знакомых, подругах ее юности.

— А как поживает Сюзи Мэйдуэлл? — осведомилась она.

— О, мы с ней больше не встречаемся! Она вышла за Вилли Кьюпеля, — ответила одна из местных жительниц.

А жена сенатора Беренда со смехом спросила, почему же замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее приятельниц.

— Ее муж — хапа-хаоле, человек смешанной крови, — был ответ. — А мы, американцы на островах, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив проверить свою догадку.

— Папа! Если Стив приедет когда-нибудь в Штаты, ему можно будет бывать у нас?

— Стив? Какой Стив?

— Ну, Стивен Найт. Ты же его знаешь, ты прощался с ним только что, пять минут назад! Если ему случится когда-нибудь попасть в Штаты, можно будет пригласить его к нам?

— Конечно, нет! — коротко отрезал Джереми Сэмбрук. — Этот Стивен Найт — хапа-хаоле. Ты знаешь, что это значит?

— О-ох! — чуть слышно вздохнула Дороти, чувствуя, как немое отчаяние закрадывается ей в душу.

Стив — не хапа-хаоле, в этом Дороти была уверена. Она не знала, что к его крови примешалась капля крови, полной жара тропического солнца, а значит, о браке с ним нечего было и думать. Станный мир! Ведь преподобный Клегхорн женился же на темнокожей принцессе из рода Камехамеха, — и все-таки люди счита-

ли за честь знакомство с ним, и в его доме бывали женщины высшего света из ультрафешенебельного миссионерского кружка! А вот Стив... То, что он учил ее плавать или вел ее за руку в опасных местах, когда они поднимались на кратер Килауэа, никому не казалось предосудительным. Он мог обедать с нею и ее отцом, танцевать с нею, быть членом увеселительной комиссии, но жениться на Дороти он не мог, потому что в жилах его струилось тропическое солнце.

А ведь это совсем не было заметно! Кто не знал, тому это и в голову не могло прийти! Стив был так красив... Образ его запечатлелся в ее памяти, и она с бессознательным удовольствием вспоминала великолепное гибкое тело, могучие плечи, надежную силу этих рук, что так легко подсаживали ее в седло, несли по гремящим волнам или поднимали ее, уцепившуюся за конец альпенштока, на крутую вершину горы, которую называют «храмом солнца»! И еще что-то другое, таинственное и неуловимое, вспоминалось Дороти, что-то такое, в чем она и сейчас еще очень смутно отдавала себе отчет: ощущение близости мужчины, настоящего мужчины, какое она испытывала, когда Стив бывал с нею.

Она вдруг очнулась с чувством острого стыда за эти мысли. Кровь прилила к ее щекам, окрасила их ярким румянцем, но тотчас отхлынула: Дороти побледнела, вспомнив, что больше никогда не увидит любимого.

Пароход уже отвалил, и палубы его поравнялись с концом набережной.

— Вон там стоит Стив,—сказал сенатор дочери.—Помашки ему на прощание, Дороти!

Стив не сводил с нее глаз и увидел в ее лице то новое, чего не видел раньше. Он просиял, и Дороти поняла, что он теперь *знает*. А в воздухе трепетала песня:

Люблю—и любовь моя будет с тобой,
Всегда, до новой встречи.

Слова были не нужны, они и без слов все сказали друг другу. Вокруг Дороти пассажиры снимали с себя венки и бросали их друзьям, стоявшим на пристани. Стив протянул руки, глаза его молили. Она стала снимать через голову свою гирлянду, но цветы зацепились за нитку восточного жемчуга, которую надел ей сегодня на

шею старик Мервин, сахарный король, когда вез ее и отца на пристань.

Она дергала жемчуг, цеплявшийся за цветы. А пароход двигался и двигался вперед. Стив был теперь как раз под палубой, где она стояла, медлить было нельзя—еще минута, и он останется позади!

Дороти всхлипнула, и Джереми Сэмбрук испытующе посмотрел на нее.

— Дороти!—крикнул он резко.

Она решительно рванула ожерелье—и вместе с цветами дождь жемчужин посыпался на голову ожидавшего возлюбленного.

Она смотрела на него, пока слезы не застлали перед ней все, потом спрятала лицо на плече отца. А сенатор, забыв о статистике, с удивлением спрашивал себя: почему это маленькие девочки так спешат стать взрослыми?

Толпа на пристани все пела, мелодия, отдаваясь, таяла в воздухе, но по-прежнему была в ней любовная нега и слова сжигали сердце, как кислота, ибо в них была ложь.

Aloha oe, Aloha oe, e ke onaono no ho ika lipo...

В последний раз приди в мои объятия!

Любовь моя с тобой всегда, до новой встречи.



Шутники с Нью-Гиббона

I

Сказать по правде, я даже боюсь везти вас на Нью-Гиббон,—сказал Дэвид Гриф.—Ведь пока вы и англичане не уехали с острова и не развязали мне рук, я ничего не мог добиться и топтался на месте.

Валленштейн, германский резидент из Бугенвиля, налил себе щедрую порцию шотландского виски с содовой и улыбнулся.

— Мистер Гриф, мы преклоняемся перед вами,—сказал он на отличном английском языке.—Вы совершили чудо на этом проклятом острове. И мы больше не станем вмешиваться в ваши дела. Это действительно остров дьяволов, а старый Кохо—самый главный дьявол. Сколько мы ни пытались договориться с ним, все

напрасно. Он страшный лжец и далеко не дурак. Прямо-таки чернокожий Наполеон или Талейран, но только Талейран — людоед, охотник за головами. Помнится, лет шесть тому назад я прибыл сюда с английским крейсером. Негры тут же попрятались в зарослях, но некоторым не удалось скрыться. Среди них была последняя жена Кохо. Ее подвесили за руку, и она двое суток коптилась на солнце. Мы сняли ее, но она все равно умерла. А потом в реке нашли еще трех женщин, погруженных по самую шею в холодную проточную воду. У них были перебиты все кости. Очевидно, при таком способе приготовления они должны стать вкуснее. Когда мы вытащили этих несчастных, они еще дышали. Удивительно живучий народ! Самая старшая из них протянула потом, кажется, дней десять... Да, вот вам примерное «меню» Кохо. Настоящий дикий зверь. И как вам удалось усмирить его, остается для нас загадкой.

— Я бы не сказал, что мы его усмирили,—ответил Гриф,—хоть иногда он приходит на плантацию и чуть ли не ест из рук.

— Да; но все-таки вы добились куда большего, чем мы со всеми нашими крейсерами. Ни немцы, ни англичане его и в глаза не видели. Вы были первый...

— Нет, не я,—возразил Гриф,—первым был Мак-Тэвиш.

— Ах да, я помню его. Такой маленький, сухощавый шотландец. Его еще называли «Миротворец».

Гриф кивнул.

— Я слышал, что жалованье, которое он получает у вас, больше, чем мое или английского резидента?

— Боюсь, что так. И поверьте—только не обижайтесь, пожалуйста,—он стоит этих денег. Мак-Тэвиш всегда там, где пахнет резней. Он просто маг и волшебник. Без него мне никогда бы не обосноваться на Нью-Гиббоне. Сейчас он на Малаите расширяет плантацию.

— Первую?

— Да. На всей Малаите нет даже фактории. До сих пор вербовщики обтягивают свои лодки колючей проволокой. И вот теперь там разбита плантация. Ну что же, через полчаса мы будем на месте.—Гриф протянул гостю бинокль.—Вон там, слева от бунгало, вы видите навесы для лодок. Сзади—бараки. А справа—навесы для коп-

ры. Мы уже высушиваем немало копры. Старый Кохо настолько цивилизовался, что заставляет своих людей собирать для нас кокосовые орехи. А вон и устье реки, в которой мы нашли трех искалеченных женщин.

«Уондер» под всеми парусами шел прямо к месту якорной стоянки. Судно, подгоняемое легким бризом, лениво покачивалось на стеклянной поверхности моря, подернутого легкой рябью. Заканчивался сезон дождей, воздух был тяжелый и насыщенный влагой, по небу неслись бесформенные массы причудливых облаков. Они заволакивали остров серой пеленой, сквозь которую мрачно проступали извилистые очертания берегов и горные вершины. Один мыс обжигали горячие лучи солнца, а другой, в какой-нибудь миле поодаль, заливали потоки дождя.

Нью-Гиббон — сырой, богатый и дикий остров — расположен в пятидесяти милях от Шуазеля. Географически он входит в группу Соломоновых островов, а политически лежит как раз на границе между английской и немецкой сферами влияния и поэтому находится под объединенным контролем резидентов Англии и Германии. Однако контроль этот существовал только на бумаге, в решениях, вынесенных колониальными ведомствами обеих стран. Фактически никакого контроля не было и в помине. Ловцы трепангов и близко не подходили к Нью-Гиббону. Торговцы сандаловым деревом, умудренные горьким опытом, тоже перестали навещать его. Вербовщикам не удалось завербовать здесь ни одного туземца для работы на плантациях, а после того, как на шхуне «Дорсет» был вырезан весь экипаж, они вообще не наезжали сюда.

Позднее одна немецкая компания попыталась разбить на Нью-Гиббоне плантацию кокосовых пальм; но когда несколько управляющих и много рабочих сложили здесь головы, плантация была заброшена. Немецким и английским крейсерам так и не удалось заставить чернокожих обитателей Нью-Гиббона внять голосу рассудка. Четырежды миссионеры начинали мирное наступление на остров и каждый раз спасались бегством, бросив тех, кто погиб от ножа и болезней.

Снова прибывали крейсера, снова туземцев усмиряли, но усмирить никак не могли. Они прятались в зарослях кустарника и дружно смеялись под вой снаря-

дов. Когда военные корабли уходили, они снова строили свои травяные хижины, сожженные белыми, и снова складывали печи стародадедовским способом.

Нью-Гиббон—большой остров: миль полтора ста в длину и семьдесят пять в ширину. Наветренный скалистый берег почти недоступен для судов: ни бухты, ни удобной якорной стоянки. Населяли его десятки племен, которые постоянно враждовали между собой, по крайней мере до тех пор, пока не появился Кохо. Силой оружия и хитрой политикой он, подобно Камехамеха, объединил большинство племен в этакую конфедерацию. Кохо запрещал своим подданным устанавливать какие бы то ни было связи с белыми и был совершенно прав, поскольку европейская цивилизация не сулила для его народа ничего хорошего. После ухода последнего крейсера он был безраздельным хозяином острова, но вот сюда прибыли Дэвид Гриф и Мак-Тэвиш-Миротворец; они высадились на пустынном берегу, где когда-то стояли немецкое бунгало, бараки и дома английских миссионеров.

Война следовала за войной, короткое перемирие—и снова война. Маленький, сухощавый шотландец умел не только установить мир, но и учинить резню. Ему мало было одного побережья; он привез с Малаиты бушменов и прошел по кабаньим тропам в глубину джунглей. Он сжигал деревни до тех пор, пока Кохо не надоело отстраивать их заново, а когда Мак-Тэвиш захватил в плен старшего сына Кохо, вождю ничего не оставалось, как начать переговоры. Во время этих переговоров Мак-Тэвиш установил весьма своеобразный обменный курс на головы: за одного белого он обещал убивать десять соплеменников Кохо. После того как Кохо убедился, что шотландец—человек слова, на острове впервые воцарился прочный мир.

А Мак-Тэвиш тем временем выстроил бунгало и бараки, расчистил по побережью джунгли и разбил плантацию. Потом он отправился на атолл Тасмана, где бушевала чума; знахари утверждали, что зараза исходит от плантации Грифа. Через год его снова призвали на Нью-Гиббон, чтобы усмирить туземцев, и, уплатив штраф в размере двухсот тысяч кокосовых орехов, старый вождь решил, что гораздо выгоднее поддержи-

вать мир и продавать кокосовые орехи, чем отдавать их даром. К тому же он утратил воинственный пыл юности, состарился и охромел на одну ногу: пуля из винтовки Ли-Энфилда продырявила ему икру.

— Я

II

знал одного малого на Гавайях,—сказал Гриф,—управляющего сахарной плантацией; так вот он обходился в таких случаях молотком и десятипенсовым гвоздем.

Они сидели на широкой веранде бунгало и наблюдали, как Уорс, здешний управляющий, врачует больных. Это были рабочие из Нью-Джорджии, всего человек двенадцать, и последним в очереди стоял парень, которому надо было вырвать зуб. Первая попытка была неудачной. Уорс одной рукой вытирал пот со лба, а в другой держал щипцы и помахивал ими в воздухе.

— И верно, сломал немало челюстей,—мрачно пробурчал Уорс.

Гриф покачал головой. Валленштейн улыбнулся и приподнял брови.

— Во всяком случае, он об этом не рассказывал,—ответил Гриф.—Больше того, он уверял меня, что у него всегда получается с первого раза.

— Я видел, как это проделывают, когда плавал вторым помощником на одном английском судне,—вставил капитан Уорд.—Наш старик пользовался колотушкой, которой конопатят судно, и стальной свайкой. Он тоже выбивал зуб с первого удара.

— По мне лучше щипцы,—пробурчал Уорс, засовывая их в рот чернокожего.

Он начал тащить, но больной взвыл и едва не соскочил со стула.

— Да помогите же кто-нибудь, наконец,—взмолился управляющий,—держите его крепче!

Гриф и Валленштейн схватили беднягу с двух сторон и прижали к спинке стула. Однако тот яростно отбивался и все сильнее стискивал щипцы зубами. Все четверо раскачивались из стороны в сторону. От жары и напряжения пот лил с них градом. Пот лил и с пациента, но не

от жары, а от страшной боли. Вот опрокинулся стул, на котором он сидел. Уорс умолял своих помощников приналечь еще немножко, приналег сам и, сдавив щипцы так, что зуб хрустнул, изо всех сил дернул...

Из-за возни никто не заметил, как какой-то туземец небольшого роста, прихрамывая, поднялся по ступенькам веранды, остановился на пороге и стал с интересом смотреть на происходящее. Кохо был очень консервативен. Его отец, дед и прадед не носили одежды, Кохо тоже предпочитал ходить голым и обходился даже без набедренной повязки. Многочисленные дырки в носу, губах и ушах свидетельствовали о том, что когда-то Кохо обурежала страсть к украшениям. Мочки его ушей были разорваны, и величину бывших отверстий можно было легко определить по длинным полоскам иссохшего мяса, свисающим до самых плеч. Теперь он заботился только об удобствах и одну из шести дырок в правом ухе приспособил под короткую глиняную трубку. На нем был широкий дешевый пояс из искусственной кожи, а за поясом блестело лезвие длинного ножа. На поясе висела бамбуковая коробка с бетелем. В руке он держал короткоствольную крупнокалиберную винтовку системы Снайдер. Он был невообразимо грязен, весь в шрамах, и самый ужасный шрам оставила на левой ноге пуля винтовки Ли-Энфилда, вырвав у него половину икры. Впалый рот говорил о том, как мало зубов осталось у Кохо. Лицо его сморщилось, тело высохло, и лишь маленькие черные глаза ярко блестели, и в них было столько беспокойства и затаенной тоски, что они были больше похожи на обезьяньи глаза, чем на человеческие.

Он смотрел и усмехался, как маленькая злая обезьянка. Нет ничего удивительного в том, что он испытывал удовольствие при виде страданий пациента, ибо мир, в котором он жил, был миром страданий. Ему не раз причиняли боль, и еще чаще он причинял ее другим. Когда больной зуб был наконец вырван и щипцы, проскрежестав по другим зубам, вытащили его наружу, глаза старого Кохо радостно сверкнули. Он с восторгом смотрел на беднягу, который упал на пол и отчаянно вопил, сжимая руками голову.

— Как бы он не потерял сознание,—сказал Гриф, склоняясь над негром.—Капитан Уорд, дайте ему, пожалуйста, выпить. И вам самому надо выпить, Уорс, вы дрожите, как осиновый лист.

— Пожалуй, и я выпью глоток,—сказал Валленштейн, вытирая со лба пот. Вдруг он увидел на полу тень Кохо, а потом и самого вождя.—Хэлло! Это кто такой?

— Здравствуй, Кохо!—сердечно приветствовал его Гриф, но здороваться за руку не стал.

Когда Кохо родился, колдуны запретили ему прикасаться к белому человеку, и это стало табу.

Уорс и капитан «Уондера» Уорд тоже поздоровались с Кохо, но Уорс нахмурился, когда увидел в руках Кохо снайдер, ибо строго-настрого запретил бушменам приносить на плантацию огнестрельное оружие. Это тоже было табу. Управляющий хлопнул в ладоши, и тотчас же прибежал мальчик-слуга, завербованный в Сан-Кристобале. По знаку Уорса он отобрал у Кохо винтовку и унес ее внутрь бунгало.

— Кохо,—сказал Гриф, представляя немецкого резидента,—это большой хозяин из Бугенвиля, да-да, очень большой хозяин.

Кохо, очевидно, припомнил визиты немецких крейсеров и усмехнулся, а в глазах у него вспыхнул недобрый огонек.

— Не здоровайтесь с ним за руку, Валленштейн,—предупредил Гриф.—Это табу, понимаете?—Потом он сказал Кохо:—Честное слово, ты стал очень уж жирный. Не хочешь ли жениться на новой Марии? А?

— Мой очень старый,—ответил Кохо, устало качая головой.—Мой не любит Мария. Мой не любит как-кай (пищу). Скоро мой совсем умрет.—Он выразительно посмотрел на Уорса, который допивал стакан, запрокинув назад голову.—Мой любит ром.

Гриф покачал головой.

— Для черных парней это табу.

— Тот черный парень — это не табу,—возразил Кохо, кивая на рабочего, который все еще стонал:

— Он больной,—объяснил Гриф.

— Мой тоже больной.

— Ты большой вун, — рассмеялся Гриф. — Ром — табу. Всегда — табу. Кохо, у нас будет большой разговор с этим большим хозяином из Бугенвила.

Гриф, Валленштейн и старый вождь уселись на веранде и заговорили о государственных делах. Старого вождя хвалили за то, что он ведет себя спокойно, а Кохо жаловался на свою дряхлость и немощь и клялся, что теперь между ними будет вечный мир. Потом обсуждался вопрос о создании немецкой плантации в двадцати милях отсюда по побережью. Землю под плантацию, разумеется, нужно было купить у Кохо, заплатив ему табаком, ножами, бусами, трубками, топорами, зубами морской свинки и раковинами, которые заменяют туземцам деньги. Платить можно было чем угодно, но только не ромом. Пока они совещались, Кохо то и дело поглядывал в окно и видел, как Уорс приготавливал какие-то лекарства, а бутылки ставил в аптечный шкаф. Закончив работу, Уорс налил себе стакан шотландского виски. Кохо прекрасно запомнил бутылку. Когда совещание кончилось, он битый час проторчал в комнате, но ему так и не представился подходящий момент: его ни на минуту не оставляли одного. Когда Гриф и Уорс снова заговорили о делах, Кохо понял, что сегодня у него ничего не выйдет.

— Мой пойдет на шхуна, — объявил он и, прихрамывая, вышел из бунгало.

— Как низко пали великие мира сего! — засмеялся Гриф. — Даже не верится, что когда-то этот Кохо был самым страшным и кровожадным дикарем на Соломоновых островах и открыто выступал против двух самых сильных держав в мире. А теперь он идет на шхуну, чтобы выклянчить у Дэнби немного виски.



III

Дэнби ведал приемом и выдачей грузов на шхуне «Уондер». Он сыграл очень злую шутку над туземцем, но шутка эта оказалась последней в его жизни.

Он сидел в кают-компании и проверял список товаров, которые вельботы уже выгрузили на берег. В это

время по трапу поднялся Кохо, вошел в кают-компанию и уселся за стол прямо напротив Дэнби.

— Мой скоро совсем умрет,—пожаловался старый вождь. Земные радости больше не волновали его.—Мой не любит никакие Мэри, не любит кай-кай. Мой очень болен. Мой скоро конец.—Кохо сокрушенно умолк. Лицо его выражало крайнюю тревогу. Он осторожно похлопал себя по животу, давая понять, что испытывает острую боль.—Живот совсем плохо.—Он снова замолчал, как бы ожидая, что Дэнби посочувствует ему. Наконец последовал долгий тягостный вздох:—Мой любит ром.

Дэнби безжалостно рассмеялся. Старый вождь не раз пытался выпросить у него хоть немного виски, но Гриф и Мак-Тэвиш наложили строжайшее табу на алкоголь и не разрешали давать туземцам ни капли спиртного.

Вся беда в том, что Кохо уже отведал возбуждающих напитков. В юности, когда он вырезал экипаж шхуны «Дорсет», ему довелось вкусить всю сладость опьянения; к сожалению, он пил не один, и корабельные запасы скоро иссякли. В следующий раз Кохо оказался предусмотрительней: когда он уничтожил со своими нагими воинами немецкую плантацию, то сразу же забрал все спиртные напитки себе. Получилась великолепная смесь, состоящая из множества возбуждающих компонентов, начиная от хинного пива и кончая абсентом и абрикосовым бренди. Эту смесь он пил много месяцев, выпил всю, но жажда осталась, осталась на всю жизнь. Как и все дикари, он был предрасположен к алкоголю, и его организм настойчиво требовал выпивки. Когда он выпивал, в горле появлялось восхитительное жжение и по всем жилам разливалось тепло; его обволакивала какая-то блаженная греза, а сердце наполнялось радостью и ликованием. Он был уже стар и немощен, женщины и пиршества больше не доставляли ему удовольствия, остыла бывая ненависть к врагам, сжигавшая его сердце, и теперь ему все больше и больше был нужен всемогущий огонь из бутылки, из всевозможных бутылок,—он хорошо их запомнил. Бывало, он часами сидел на солнце, грустно вспоминая ту великую оргию, которую он устроил после уничтожения немецкой плантации.

Дэнби посочувствовал старому вождю, расспросил о симптомах его болезни, а потом предложил слабительное, какие-то пилюли, капсулы и прочие совершенно безвредные лекарства из аптечного шкафа. Однако Кохо решительно отказался от них. Вырезав экипаж шхуны «Дорсет», он по неосторожности разжевал капсулу с хиной, а двое его воинов проглотили какой-то белый порошок и вскоре умерли в страшных мучениях. Нет, Кохо не доверял лекарствам. Зато он любил жидкости в бутылках: их пламенно-холодная струя возвращала молодость, согревала душу и навевала сладкие мечты. Неудивительно, что белые так высоко ценили эти напитки и не хотели продавать их.

— Ром очень хорошо,—повторял он монотонно, жалобно и по-старчески терпеливо.

Вот тогда-то Дэнби и совершил роковую ошибку, зло подшутив над Кохо. Он подошел к аптечке, которая была у Кохо за спиной, отпер ее и достал четырехунциевую бутылку с этикеткой «Горчицная эссенция». Он сделал вид, что вынул пробку и хлебнул из бутылки. В зеркале, висящем на переборке, он видел Кохо, который сидел вполоборота и явно наблюдал за ним. Дэнби причмокнул губами и, выразительно крикнув, поставил бутылку на место. Он не стал запирать аптечку и вернулся на свое место; посидев немного, он встал, вышел на палубу, остановился возле трапа и прислушался. Через несколько секунд тишину разорвал хриплый надрывный кашель. Дэнби усмехнулся и вернулся в каюту. Бутылка стояла на прежнем месте, а старый вождь сидел в прежней позе. Дэнби поразился его железному самообладанию. Его рот, губы, язык и горло жгло, конечно, огнем, он задыхался и едва подавлял кашель, а из глаз невольно текли слезы и крупными каплями катились по щекам. Любой другой на его месте давился бы от кашля целых полчаса.

Но лицо старого Кохо было мрачно и непроницаемо. Он понял, что над ним сыграли злую шутку, и глаза его вспыхнули такой неистовой ненавистью и злобой, что у Дэнби мороз пробежал по коже. Кохо поднялся и гордо сказал:

— Мой пойдет домой. Пусть мой дадут лодку.



Когда Гриф и Уорс отправились на плантацию, Валленштейн расположился в гостиной, чтобы почистить свой автоматический пистолет. Разобрав его, он смазывал части ружейным маслом и протирал их старыми тряпками. На столе возле него стояла неизменная бутылка шотландского виски и множество бутылок с содовой водой. Случайно здесь оказалась еще одна бутылка, неполная, тоже с этикеткой шотландского виски, однако в ней была налита жидкая мазь для лошадей; ее приготовил Уорс и забыл убрать.

Валленштейн посмотрел в окно и увидел идущего по дорожке Кохо. Старик шел очень быстро, но когда он приблизился к веранде и вошел в комнату, походка его была медленной и величественной. Он уселся и стал наблюдать за чисткой оружия. Хотя его рот, губы и язык были сожжены, он и виду не подал, что ему больно. Минут через пять он сказал:

— Ром хорошо. Мой любит ром.

Валленштейн ухмыльнулся и покачал головой, а потом словно бес надоумил его сыграть над туземцем весьма злую шутку, которая, к сожалению, тоже оказалась последней в его жизни. На эту мысль, собственно, его натолкнуло сходство между обеими бутылками с этикеткой шотландского виски. Валленштейн положил на стол части пистолета и налил себе солидную порцию виски с содовой. Он стоял как раз между Кохо и столом и незаметно поменял бутылки местами; потом он осушил свой стакан и, сделав вид, что ищет что-то, вышел из комнаты. Вскоре он услышал, что старик отчаянно кашляет и плюется; Валленштейн вернулся в комнату, но Кохо сидел на прежнем месте как ни в чем не бывало. Правда, жидкости в бутылке поубавилось, и поверхность ее еще слегка колебалась.

Кохо встал и хлопнул в ладоши. Появился мальчик-слуга, Кохо знаком потребовал свою винтовку. Тот принес винтовку и, как было принято на плантации, пошел по дорожке впереди Кохо. Он передал старику-вождю оружие лишь после того, как они вышли за

ворота. Валленштейн, посмеиваясь, смотрел вслед Кохо, который ковылял по берегу к реке.

Едва Валленштейн успел собрать пистолет, как услышал отдаленный выстрел. Он почему-то тотчас подумал о Кохо, но потом отогнал эту мысль. Ведь Уорс и Гриф взяли с собой дробовики, и кто-нибудь из них, наверное, бил диких голубей. Валленштейн удобно развалился в кресле, закрутил, ухмыляясь, свои желтые усы и задремал. Его разбудил взволнованный крик Уорса:

— Звоните в большой колокол! Звоните что есть силы! Звоните всюду!

Валленштейн выбежал на веранду как раз в тот момент, когда управляющий верхом на лошади перемахнул через низкую ограду и поскакал вдоль берега за Грифом, который мчался, как сумасшедший, далеко впереди. Громкий треск огня и клубы дыма, пробивающиеся сквозь чащу кокосовых деревьев, объяснили все. Кохо поджег бараки и навесы для лодок. Когда немецкий резидент побежал по берегу, он услышал бешеный звон большого колокола и видел, как от шхуны быстро отваливают вельботы.

Бараки и навесы для лодок, крытые сухой травой, были охвачены ярким пламенем. Из кухни появился Гриф: он волочил за ногу голый труп чернокожего мальчика. Труп был без головы.

— Там кухарка!—сказал Гриф.—Тоже без головы. Но она слишком тяжелая. А мне надо было скорее сматываться.

— Во всем виноват я, я один,—грустно повторял Валленштейн.—Это дело рук Кохо. Я дал ему выпить лошадиной мази вместо виски.

— Он, наверное, скрылся в кустах,—сказал Уорс, вскакивая на лошадь.—Оливер сейчас на берегу реки. Надеюсь, он не попадет в лапы Кохо.

Управляющий пустил лошадь галопом и исчез за деревьями. Через несколько минут, когда пылающие, как костер, бараки рухнули, они слышали, что Уорс зовет их. Они нашли его на берегу. Уорс, очень бледный, все еще сидел на лошади и пристально смотрел на что-то лежащее на земле. Это был труп Оливера, молодого помощника управляющего; его с трудом опознали, ибо

головы у него не было. Вокруг, еле переводя дух, сгрудились сбежавшиеся со всей плантации чернокожие рабочие; Гриф велел им соорудить носилки для покойника.

Валленштейн горевал и каялся, как истый немец. Слезы катились у него из глаз, а когда он перестал плакать, то разразился проклятиями. Его ярость не имела границ; он схватил дробовик Уорса, и на губах у него выступила пена.

— Перестаньте, Валленштейн!—твердо сказал Гриф.—Успокойтесь! Не валяйте дурака!

— Неужели вы дадите ему удрать?—взревел немец.

— Он уже удрал. Заросли начинаются сразу же за рекой. Вы же видите, где он перебрался через реку. Он уходит от нас по кабаньим тропам. Преследовать его—все равно что искать иголку в стоге сена, и мы наверняка нарвемся на его молодчиков. Кроме того, в джунглях легко попасть в западню; знаете ли, всякие там волчьи ямы, отравленные колючки и прочие сюрпризы дикарей. Один Мак-Тэвиш со своими бушменами рискует заходить в джунгли, да и то в прошлый раз погибло трое ребят из его отряда. Идемте домой. Вечером мы услышим и треск раковин, и бой военных барабанов, и всю эту адскую музыку. На нас напасть они не рискнут, но все же, мистер Уорс, пусть люди ни на шаг не отходят от дома. Пошли!

Когда они возвращались по тропинке домой, навстречу им попался один из рабочих, который громко хныкал.

— Заткнись!—рявкнул на него Уорс.—Какого черта ты орешь?

— Кохо кончил два корова,—ответил рабочий, выразительно проводя указательным пальцем по шее.

— Он зарезал коров,—сказал Гриф своим спутникам.—Значит, Уорс, вам пока что придется обходиться без молока. А через несколько дней я пришлю вам пару коров с Уги.

Валленштейн не мог успокоиться до тех пор, пока Дэнби, сойдя на берег, не признался, что напоил старого вождя горчичной эссенцией. Услышав это, немецкий резидент даже повеселел, хотя он еще яростнее крутил

усы и проклинал Соломоновы острова на четырех языках.

На следующее утро с топамачты «Уондера» можно было наблюдать, как над лесными зарослями вьются сигнальные дымы. Черные клубящиеся столбы поднимались ввысь и передавали от мыса к мысу и дальше, в самую чащу джунглей, тревожную весть. В этих переговорах принимали участие далекие селения, расположенные в глубине острова, на вершинах гор, куда не заходили даже отряды Мак-Тэвиша. Из-за реки непрерывно доносился сумасшедший треск раковин, и на десятки миль вокруг воздух содрогался от глухого рокота огромных военных барабанов, которые туземцы выжигают и выдалбливают из толстых стволов орудиями из камня и морских раковин.

— Пока вы здесь, вам ничего не грозит,—сказал Гриф своему управляющему.—Мне надо съездить в Гувуту. Они не решатся выйти из джунглей и напасть на открытом месте. Держите рабочие команды поближе к дому. Прекратите расчистку леса, пока не кончится вся эта заваруха. Они перебьют всех рабочих, которых вы пошлете в лес. И что бы ни случилось, не вздумайте преследовать Кохо в джунглях. Ясно? Иначе попадете к нему в лапы. Ждите Мак-Тэвиша. Я пришлю его с отрядом малаитских бушменов. Только Мак-Тэвиш сможет проникнуть в джунгли. До моего возвращения с вами останется Дэнби. Вы не возражаете, мистер Дэнби? Я пришлю Мак-Тэвиша на «Ванде»; на ней вы и вернетесь и скоро снова будете на «Уондере». В этот рейс капитан Уорд как-нибудь управится без вас.

— Я как раз хотел просить вас об этом,—сказал Дэнби.—Я никак не думал, что из-за моей шутки заварится такая каша. И как тут ни крути, во всем виноват я.

— И я тоже,—вставил Валленштейн.

— Но начал я,—настаивал Дэнби.

— Может быть, вы и начали, но я продолжил.

— А Кохо закончил,—сказал Гриф.

— Во всяком случае, я тоже останусь здесь,—решил немец.

— Я думал, вы поедете со мной в Гувуту,—возразил Гриф.

— И я так думал, но долг велит мне остаться здесь, а потом ведь как-никак я сам сваял дурака. Я останусь и помогу вам навести здесь порядок.



V

Из Гувуту на Малаиту уходил вербовочный кеч, и Гриф немедленно послал Мак-Тэвишу самые подробные инструкции. Капитан Уорд отправился с «Уондером» на острова Санта-Крус, а Гриф, получив у английского резидента вельбот и команду чернокожих заключенных, пересек пролив и высадился в Гвадалканаре, чтобы осмотреть пастбища за Пендуфрином.

Через три недели, со свежим ветром и под всеми парусами, Гриф лихо прошел меж коралловых рифов и всколыхнул неподвижную поверхность бухты Гувуту. Бухта была пуста, и лишь у самого берега стоял небольшой кеч. Гриф узнал «Ванду». Она, очевидно, пришла сюда проливом Тулаги и только что стала на якорь; чернокожий экипаж еще убирал паруса. Гриф подошел к «Ванде», и сам Мак-Тэвиш подал ему руку, помогая перебраться на кеч.

— В чем дело?—спросил Гриф.—Вы еще не уехали? Мак-Тэвиш кивнул головой.

— Уехали. И уже приехали. На судне все в порядке.

— А на Нью-Гиббоне?

— Все на месте, если не считать некоторых мелких деталей ландшафта, которые вдруг куда-то исчезли.

Такой же маленький, как Кохо, и такой же сухощавый, с лицом цвета красного дерева, Мак-Тэвиш смотрел на Грифа маленькими бесстрастными голубыми глазами, которые были больше похожи на высверленные отверстия, чем на человеческие глаза. Это был не человек, а холодное пламя. Болезни, зной и стужа были ему нипочем, он не знал, что такое восторг или отчаяние, не ведал страха, не испытывал никаких чувств; жестокий и резкий, он был беспощаден, как змея. И теперь, глядя на кислую физиономию Мак-Тэвиша, Гриф сразу понял, что тот привез дурные вести.

— Выкладывайте все!—сказал Гриф.—Что там случилось?

— То, что случилось, достойно самого сурового осуждения,—ответил Мак-Тэвиш.—Надо совсем потерять совесть, чтобы так шутить над язычниками-неграми. А кроме того, это обходится слишком дорого. Пойдемте вниз, мистер Гриф. О таких вещах лучше говорить за стаканом виски. Прошу вас.

— Ну, как вы там все уладили?—спросил Гриф, едва они вошли в каюту.

Маленький шотландец покачал головой.

— А там нечего было улаживать. Ведь все зависит от точки зрения. И с моей точки зрения, там было все устроено, понимаете, абсолютно все, еще до моего приезда.

— Но плантация? Что с плантацией?

— Нет никакой плантации. Весь наш многолетний труд пропал даром. Мы вернулись к тому, с чего начали, с чего начинали и миссионеры и немцы и с чем они ушли отсюда. От поселения не осталось камня на камне. Дома превратились в пепел. Деревья срублены все до единого, а кабаны перерыли ямс и сладкий картофель. А ребята из Нью-Джорджии!.. Сто дюжих парней! Ведь какие были работяги... И обошлись вам в кругленькую сумму... Все погибли... и некому даже рассказать о том, что произошло.

Он замолчал и полез в большой рундук под трапом.

— А Уорс? А Дэнби? Валленштейн? Что с ними?

— Я же сказал вам. Вот, посмотрите!

Мак-Тэвиш вытащил мешок и вытряхнул его содержимое на пол. Содрогнувшись, Дэвид Гриф с ужасом смотрел на головы тех троих, кого он оставил на Нью-Гиббоне. Желтые усы Валленштейна уже не закручивались лихо вверх, а свисали на верхнюю губу.

— Я не знаю, как это произошло,—мрачно сказал шотландец.—Но предполагаю, что они полезли за старым чертом в джунгли.

— А где Кохо?—спросил Гриф.

— Опять в джунглях и пьян, как лорд. Потому-то мне и удалось добыть эти головы. Он так накачался, что не держался на ногах. Когда я нагрнулся в деревню, его едва успели унести. Я буду вам очень обязан, если вы избавите меня от этого.—Мак-Тэвиш замолчал и, вздохнув, кивнул на головы.—Вероятно, их надо похоронить, как полагаётся, зарыть в землю! Но, насколько я

понимаю, это очень любопытные экземпляры. Любой музей заплатит вам по сотне фунтов за каждую голову. Выпейте еще. Вы немного бледны... А теперь, если говорить серьезно, позвольте дать вам один совет: не допускайте никаких проделок и шуток над дикарями. Это — дорогое удовольствие и, кроме беды, ни к чему не приведет.



Ночь на Гобото

I

а Гобото собираются торговцы, прибывающие сюда на своих шхунах, и плантаторы с диких и далеких берегов, и все надевают здесь башмаки, облачаются в белые полотняные брюки и прочие атрибуты цивилизации. На Гобото приходит почта, оплачиваются счета, и здесь почти всегда можно получить газету не более чем пятидневной давности, ибо этот крохотный островок, опоясанный коралловыми рифами и имеющий удобную якорную стоянку, стал, по существу, главным портом и своего рода распределительным центром всего архипелага.

Гобото живет в мрачной, душливой и зловещей атмосфере, и, хоть это совсем маленький островок, здесь зафиксировано больше случаев острого алкоголизма, чем в любой другой точке земли. На Гувуту (Соломоновы острова) говорят, что там пьют даже в промежутках между выпивками. На Гобото этого не оспаривают. Но, между прочим, замечают, что в истории Гобото о таких промежутках ничего не известно. И еще приводят некоторые статистические данные об импорте, из которых явствует, что Гобото потребляет гораздо больше спиртных напитков на душу населения, чем Гувуту. Гувуту объясняет это тем, что Гобото ведет более крупные дела и там больше приезжих. Гобото возражает на это, что по численности населения он уступает Гувуту, но зато приезжающие сюда больше страдают от жажды. Спору этому конца не видно, и прежде всего потому, что спорщики слишком быстро сходят в могилу, так ни до чего и не договорившись.

Гобото невелик. Остров имеет лишь четверть мили в поперечнике, и на этой четверти мили расположились адмиралтейские навесы для угля (несколько тонн угля лежат тут вот уже двадцать лет), бараки для горстки чернокожих рабочих, большой магазин и склад, крытые железом, и бунгало, в котором живут управляющий и два его помощника. Эти трое и составляют белое население острова. Одного из трех всегда трясет лихорадка. Работать на Гобото нелегко. Как и все Компании, обосновавшиеся на островах, здешняя Компания взяла за правило обильно угощать своих клиентов, и обязанность угощать ложится на управляющего и его помощников. Круглый год торговцы и вербовщики, прибывающие сюда из далеких и предельно «сухих» рейсов, и плантаторы со столь же далеких и «сухих» берегов высаживаются на Гобото, мучимые великой и неутолимой жаждой. Гобото—это Мекка кутил, и, упившись до бесчувствия, приезжие возвращаются на свои шхуны и плантации, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Иным, менее выносливым, нужна по крайней мере шестимесячная передышка, прежде чем они в состоянии вновь посетить Гобото. Но управляющему и его помощникам такой передышки не полагается. Они привязаны к своему месту; день за днем, неделя за неделей с муссоном или юго-восточным пассатом приходят шхуны, груженные копррой, «растительной слоновой костью», перламутром, морскими черепахами и жаждой.

Работать на Гобото очень тяжело. Поэтому служащим здесь платят вдвое больше, чем на других факториях, и именно поэтому Компания отбирает для работы на Гобото самых смелых и неустрашимых людей. Мало кто может протянуть здесь хотя бы год; либо его чуть живого увозят обратно в Австралию, либо его останки зарывают в песок на противоположной, подветренной стороне острова.

Джонни Бэссет, почти легендарный герой Гобото, побил все рекорды. Джонни получал деньги, которые ему присылали с родины; обладая совершенно удивительным здоровьем, он протянул целых семь лет. Выполняя его предсмертную волю, помощники заспиртовали его в бочке с ромом (купленной на их собственные сбережения) и отправили бочку к его родным в Англию.

И тем не менее на Гобото старались быть джентльменами. Пусть у них есть кое-какие грешки на совести, но все же они джентльмены и всегда были таковыми. Вот почему на Гобото существовал великий неписанный закон, согласно которому человек, сходя на берег, должен надевать брюки и башмаки. Короткие штаны, лава-лава и голые ноги были просто неприличны. Когда капитан Йенсен, самый отчаянный из всех вербовщиков, хоть и происходил из почтенной нью-йоркской семьи, решил сойти на берег в набедренной повязке, нижней рубашке, с двумя пистолетами и ножом за поясом, ему предложили одеться. Это произошло еще во времена Джонни Бэссета, человека весьма щепетильного в вопросах этикета. Стоя на корме своего вельбота, капитан Йенсен громогласно утверждал, что у него на шхуне штанов нет; при этом он подтвердил свое намерение сойти на берег. Потом его заботливо лечили на Гобото от пулевого ранения в плечо и даже принесли извинения за причиненное беспокойство, так как на его шхуне штанов действительно не оказалось. Наконец, когда капитан Йенсен поднялся с постели, Джонни Бэссет очень вежливо, но твердо помог гостю облачиться в брюки из своего собственного гардероба. Это был великий прецедент, и в последующие годы этикет никогда не нарушался. Отныне белый человек и брюки были неотделимы друг от друга. Только чернокожие бегали голыми. Брюки стали символом касты.



II

тот вечер был бы таким же, как и все остальные вечера, если бы не одно происшествие. Их было семеро; целый день они тянули шотландское виски с умопомрачительными коктейлями, и хоть глаза у них блестели, они еще твердо держались на ногах; потом все семеро сели обедать. На них были куртки, брюки и башмаки. Тут были: Джерри Мак-Мёртрей, управляющий; Эдди Литл и Джек Эндрюс, помощники; капитан Стейплер с вербовочного кеча «Мери»; Дарби Шрайлтон, плантатор с Тито-Ито; Питер Джи, наполовину англичанин, наполовину китаец,

скупавший жемчуг на островах от Цейлона до Паумоту, и, наконец, Альфред Дикон, который прибыл сюда с последним пароходом. Сначала чернокожий слуга принес вино для тех, кто хотел вина, но вскоре они снова перешли на шотландское виски с содовой и обильно смачивали каждый кусок, прежде чем отправить его в свои затвердевшие, сожженные спиртом желудки.

Когда они пили кофе, послышался грохот якорной цепи, скользящей по клюзу: прибыло какое-то судно.

— Это Дэвид Гриф,—заметил Питер Джи.

— Откуда вы знаете?—грубо спросил Дикон и, не желая согласиться с метисом, заявил:—Все вы такие, чуть что, норовите пустить новичку пыль в глаза. Я сам немало поплавал на своем веку и считаю пустым бахвальством, когда мне говорят название судна, едва заведя парус, или называют по имени капитана, лишь услышав, как гремит якорная цепь его судна; это... это совершеннейшая ерунда.

Питер Джи зажигал в это время сигарету и промолчал.

— Я знал чернокожих, которые проделывают совершенно удивительные вещи,—тактично вставил Мак-Мёртрей.

Поведение Дикона раздражало и управляющего и остальных свидетелей этой сцены. С той минуты, как Питер Джи прибыл сюда, Дикон все время старался как-нибудь задеть его. Он придирался к каждому его слову и вообще был очень груб.

— Может быть, это потому, что у Питера есть примесь китайской крови?—предположил Эндрюс.—Дикон—австралиец, а ведь известно, какие они сумасброды, когда речь идет о цвете кожи.

— Думаю, что вы правы,—согласился Мак-Мёртрей.—Но мы не допустим, чтобы так оскорбляли человека, особенно такого, как Питер Джи, который белее многих белых.

И управляющий был прав. Питер Джи, этот евразиец, был редким человеком, добрым и умным. Хладнокровие и честность его китайских предков уравнивали безрассудство и распущенность его отца-англичанина. Кроме того, он был образованнее, чем любой из присутствующих, говорил на хорошем английском языке, равно как и на нескольких других языках, и больше

соответствовал их идеалу джентльмена, чем они сами. Наконец, он был добрая душа. Он ненавидел насилие, хотя в свое время ему приходилось убивать людей, ненавидел драки и избегал их, как чумы.

Капитан Стейплер поддержал Мак-Мёртрея.

— Помню, когда я перешел на другую шхуну и прибыл на ней в Альтман, чернокожие сразу же узнали, что это я. Меня там не ждали, тем более на другом судне. Они сказали торговому агенту, что шхуну веду я. Тот взял бинокль и заявил, что они ошибаются. Но они не ошиблись. Потом они сказали, что узнали меня по тому, как я управлял шхуной.

Дикон словно не слышал Стейплера и продолжал приставать к скупщику жемчуга.

— Каким образом вы могли узнать по грохоту цепи, что подошел именно этот... как его там зовут?..—вызывающе спросил он.

— Тут очень много всего, что позволяет прийти к этому выводу,—ответил Питер Джи.—Не знаю даже, как вам это объяснить. Об этом можно написать целую книгу.

— Так я и думал,—ухмыльнулся Дикон.—Ничего нет проще, как дать объяснение, которое ничего не объясняет.

— Кто хочет партию в бридж?—прервал его Эдди Литл, помощник управляющего; он выжидательно смотрел на присутствующих и уже начал тасовать карты.—Питер, вы будете играть, не правда ли?

— Если он сядет сейчас за бридж, значит, он просто болтун,—отрезал Дикон.—В конце концов мне надоел весь этот вздор. Мистер Джи, вы весьма обяжете меня и поддержите свою репутацию честного человека, если объясните, каким образом вы узнали, чей корабль отдал сейчас якорь. А потом мы сыграем с вами в пикет.

— Я предпочел бы бридж,—ответил Питер.—Что же касается вашего вопроса, то дело, в общем, обстоит так: по звуку якорной цепи я определяю, что это небольшое судно, без прямых парусов. Не было слышно ни гудка, ни сирены—опять-таки небольшое судно. Оно подошло чуть не к самому берегу. Еще одно указание на то, что это небольшое судно, ибо пароходы и большие парусники отдают якорь, не доходя до мели. Далее, вход в бухту очень извилист, и ни один капитан на всем

архипелаге, будь он с вербовочного или торгового судна, не отважится войти в бухту после наступления темноты. И тем более, если он нездешний. Правда, есть два исключения. Одно из них — Маргонвилл, но его казнили по приговору верховного суда на Фиджи. Остается Дэвид Гриф. Он заходит в бухту днем и ночью, в любую погоду. Все это знают. Если бы Гриф был сейчас где-нибудь далеко, мы могли бы предположить, что это какой-нибудь отчаянный молодой шкипер. Но, во-первых, о таком шкипере нам ничего не известно. Но, во-вторых, Гриф плавает сейчас в этих водах на «Гунге» и скоро отправится на Каро-Каро. Позавчера я был на «Гунге» в проливе Сэндфлай и разговаривал с ним. Он привез на новую факторию торгового агента. Гриф сказал, что сначала он зайдет в Бабо, а потом прибудет на Гобото. Ему давно пора быть здесь. Я слышал, как отдали якорь. Кому же еще быть, как не Дэвиду Грифу? Командует «Гунгой» капитан Доновен, и я знаю, что он не подойдет к Гобото в темноте, когда на судне нет хозяина. Вот увидите, не пройдет и нескольких минут, как в дверях появится Дэвид Гриф и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками». Держу пари на пятьдесят фунтов, что сейчас войдет именно он и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками».

На миг Дикон был сокрушен. От гнева кровь бросилась ему в лицо.

— Отлично! Он ответил вам.—Мак-Мёртрей добродушно рассмеялся.—И я сам поддерживаю пари на пару соверенов.

— Кто хочет сыграть в бридж?—нетерпеливо крикнул Эдди Литл.—Питер, идите сюда!

— Вы играйте в бридж, а мы перекинемся в пикет,—заявил Дикон.

— Я предпочитаю бридж,—мягко возразил Питер Джи.

— Вы не играете в пикет?

Скупщик жемчуга кивнул.

— Тогда начнем! И, может быть, я докажу вам, что в пикете смыслу больше, чем в якорях.

— Но позвольте...—начал было Мак-Мёртрей.

— Вы можете играть в бридж,—перебил его Дикон,—а мы предпочитаем пикет.

Питер Джи сел за игру очень неохотно; он словно чувствовал, что она могла плохо кончиться.

— Только один роббер,—сказал он, снимая колоду перед сдачей.

— По сколько будем играть?—спросил Дикон.

Питер Джи пожал плечами.

— По сколько хотите.

— Сто на кон—пять фунтов партия?

Питер Джи согласился.

— При недоборе больше чем наполовину, конечно, десять фунтов?

— Хорошо,—сказал Питер Джи.

Четверо сели за другой стол играть в бридж. Капитан Стейплер в карты не играл и время от времени наполнял шотландским виски высокие стаканы, что стояли справа у каждого игрока. Мак-Мёртрей, плохо скрывая беспокойство, следил за тем, как шла игра в пикет. На его товарищей англичан тоже весьма неприятно действовало поведение австралийца, и они опасались какой-нибудь выходки с его стороны. Всем было ясно, что он ненавидит Питера Джи и в любой момент может затеять ссору.

— Надеюсь, что Питер проиграет,—тихо сказал Мак-Мёртрей.

— Едва ли, разве если карта совсем не пойдет,—ответил Эндрюс.—В пикет он играет, как бог. Знаю по собственному опыту.

Питеру Джи явно везло, потому что Дикон все время бранился, то и дело наливая себе виски. Он проиграл первую партию и, судя по его отрывистым замечаниям, проигрывал вторую, когда дверь открылась и в комнату вошел Дэвид Гриф.

— В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками,—сказал он и пожал руку управляющему.—Здорово, Мак! Понимаешь, мой шкипер сидит в вельботе. У него есть шелковая рубашка, галстук и теннисные туфли, одним словом, все как полагается, но он просит прислать ему пару брюк. Мои ему слишком малы, но ваши будут впору. Здорово. Эдди! Ну как твоя нгарингари? Джек, ты здоров? Просто чудеса! Никого не трясет лихорадка, и никто не пьян! — Гриф вздохнул. — Наверно, еще слишком рано. Здорово, Питер! Знаешь, через час, после того как ты ушел в море,

налетел шквал. Он захватил вас? Нам пришлось бросить второй якорь.—Пока Грифа знакомили с Диконом, Мак-Мёртрей велел мальчику-слуге отнести брюки, и, когда капитан Доновен вошел в комнату, он имел такой вид, какой и должен иметь белый человек — по крайней мере на Гобото.

Дикон проиграл вторую партию. Об этом возвестил новый взрыв брани. Питер Джи молча закурил сигарету.

— Что? Вы выиграли и хотите бросить игру?—сви-репо спросил Дикон.

Гриф вопросительно поднял брови и взглянул на Мак-Мёртрея, который сердито нахмурился в ответ.

— Роббер окончен,—ответил Питер Джи.

— Роббер состоит из трех партий. Мне сдавать. Начали!

Питер Джи уступил, и третья партия началась.

— Щенок, ему нужна плетка,—прошептал Мак-Мёртрей Грифу.— А ну, ребята, кончай игру! Я присмотрю за этим малым. Если он зайдет слишком далеко, я выкину его вон, и плевать я хотел на инструкции.

— Кто это?—спросил Гриф.

— Прибыл с последним пароходом. Компания распорядилась встретить его как можно лучше. Он хочет вложить деньги в плантацию. Компания предоставила ему кредит на десять тысяч фунтов. Он бредит «Австралией только для белых». Думает, что если у него белая кожа, а папаша был когда-то генеральным прокурором Британского содружества, значит, он может хамить. Вот и пристаёт к Питеру, а ведь вы знаете, что Питер — самый миролюбивый человек в мире. К черту Компанию! Я не обязан нянчить ее молокососов с банковскими билетами. Налейте себе, Гриф. Это негодяй, отъявленный негодяй.

— Может быть, он еще слишком молод?—заметил Гриф.

— Он просто не умеет пить.—Управляющий весь кипел гневом.—Если он поднимет на Питера руку, я его так отделаю, что век не забудет, паршивец этакий!

Питер Джи опустил доску, на которой записывал очки, и откинулся на спинку стула. Он выиграл третью партию. Питер посмотрел на Эдди и сказал:

— Теперь я могу играть с вами в бридж.

— Может быть, продолжим?—проворчал Дикон.

— Нет, я, право же, устал от этой игры,—сказал Питер Джи со свойственным ему спокойствием.

— Давайте сыграем еще партию,—настаивал Дикон.—Еще одну. Это же сущий разбой. Я проиграл пятнадцать фунтов. Либо проиграю вдвое больше, либо каждый останется при своих.

Мак-Мёртрей хотел было вмешаться, но Гриф остановил его взглядом.

— Если действительно в последний раз, то я согласен,—сказал Питер Джи, собирая карты.—Кажется, мне сдавать. Если я правильно понял, ставка—пятнадцать фунтов. Либо вы будете мне должны тридцать фунтов, либо мы в расчете.

— Вот именно! Либо ничья, либо я плачу вам тридцать фунтов.

— Что, попало?—заметил Гриф, пододвигая стул.

Остальные стояли или сидели вокруг стола, а Дикону опять не везло. Было очевидно, что он умеет играть и играет хорошо. К нему просто не шла карта. Но он не умел сохранять хладнокровие, когда проигрывал. Он так и сыпал грубыми, отвратительными ругательствами и все время нападал на невозмутимого Питера Джи. Когда Питер уже закончил игру, у Дикона не было даже пятидесяти очков. Он не произнес ни слова и злобно посмотрел на своего противника.

— Кажется, недобор,—сказал Гриф.

— Значит, проигрыш вдвойне,—заметил Питер Джи.

— Без вас знаю,—огрызнулся Дикон.—Я учил арифметику. И должен вам сорок пять фунтов. Забирайте!

И он грубо швырнул на стол девять пятифунтовых банкнот, что само по себе было оскорблением. Однако Питер Джи оставался невозмутим и даже виду не подал, что его это как-то задевает.

— Дуракам счастье, но скажу вам по чести, что в карты играть вы все-таки не умеете,—продолжал Дикон.—Я показал бы вам, что значит играть в карты.

Питер Джи усмехнулся и, кивая головой, молча сложил деньги.

— Есть одна маленькая игра, которую называют казино,—не знаю, слышали ли вы о ней,—совсем детская игра.

— Я видел, как в нее играют,— мягко ответил Питер Джи.

— Что такое?— рявкнул Дикон.— Уж не хотите ли вы сказать, что умеете в нее играть?

— О нет, ни в коем случае. Боюсь, для меня это слишком сложно.

— Отличнейшая игра казино,— непринужденно вмешался Гриф.— Я очень ее люблю.

Дикон не удостоил его даже взглядом.

— Я сыграю с вами по десять фунтов партия, до тридцати одного,— заявил Дикон.— И докажу вам, как мало вы смыслите в картах. Начнем. Где полная колода?

— Нет, благодарю вас,— ответил Питер Джи.— Меня ждут партнеры, мы будем играть в бридж.

— Да, да, идите к нам,— восторженно воскликнул Эдди Литл.— И давайте начнем.

— Испугались маленького казино!— издевался Дикон.— Может быть, ставка слишком высока? Ну, так будем играть на пенсы и фартинги, если вам угодно.

Поведение австралийца было оскорбительно для всех присутствующих. И Мак-Мёртрей не выдержал:

— Перестаньте, Дикон! Он же сказал, что не хочет играть. Оставьте его в покое.

Дикон свирепо повернулся к хозяину, но, прежде чем он успел разразиться ругательствами, вмешался Гриф.

— Мне бы хотелось сыграть с вами в казино,— сказал он.

— Что вы понимаете в казино?

— Совсем немного, но я с удовольствием поучусь.

— Сегодня я не даю уроков за пенсы.

— Прекрасно!— ответил Гриф.— Я согласен почти на любую ставку... конечно, в разумных пределах.

Дикон решил отделаться от этого назойливого человека одним ударом.

— Мы сыграем по сто фунтов за партию, если вас это устраивает.

Гриф выразил свой полнейший восторг.

— Чудесно! Великолепно! Давайте начнем. Вы мелочь считаете?

Дикон был ошарашен. Он никак не ожидал, что гоботский торговец примет его предложение.

— Так вы мелочь считаете?— повторил Гриф.

Между тем Эндрюс принес новую колоду и выбросил джокера.

— Конечно, нет,—ответил Дикон.— Так играют только пай-мальчики.

— Прекрасно,—согласился Гриф.— Я тоже не люблю играть, как пай-мальчики.

— Значит, не любите? Ну что ж, тогда я вам предложу одну вещь: будем играть по пятьсот фунтов партия.

И Дикон снова был ошарашен.

— Согласен,—сказал Гриф, начиная тасовать карты.— Сначала идет вся масть и пики, потом большое и малое казино и, наконец, тузы, по старшинству, как в бридже. Согласны?

— Да я вижу, вы здесь ребята не промах,—засмеялся Дикон, но смех его звучал неестественно.— Откуда я знаю, есть ли у вас деньги?

— А откуда я знаю, что они есть у вас? Мак, какой кредит может мне предоставить Компания?

— Такой, какой вам нужно.

— Вы лично гарантируете это?—спросил Дикон.

— Ну, конечно, гарантирую. И будьте спокойны, Компания учтет его вексель на гораздо большую сумму, чем ваш чек.

— Снимите,—сказал Гриф, кладя колоду карт перед Диконом на стол.

Недоверчиво глядя на лица присутствующих, Дикон нерешительно начал снимать. Помощники управляющего и капитаны ободряюще кивнули.

— Я никого из вас не знаю,—жаловался Дикон.— Как я могу быть уверен? Вексель—это еще не деньги.

Тогда Питер Джи достал из кармана бумажник и, попросив у Мак-Мёртрея авторучку, стал писать.

— Я еще ничего не купил,—сказал он,—значит, вся сумма лежит на моем счете. Гриф, я переведу ее на ваше имя. Здесь пятнадцать тысяч. Вот посмотрите.

Дикон перехватил чек, когда его передавали через стол, медленно прочитал и посмотрел на Мак-Мёртрея.

— Чек надежный?

— Вполне. Такой же надежный, как ваш. И вообще бумаги Компании всегда надежны.

Дикон снял колоду и тщательно перетасовал карты. Первым сдавал он. Но ему по-прежнему не везло, и он проиграл первую партию.

— Сыграем еще,—сказал он.—Мы не договорились, сколько партий будем играть, и вы не можете бросить игру, когда я проигрываю. Будем держать.

Гриф стасовал карты и протянул колоду Дикону, чтобы тот снял.

— Давайте играть на тысячу,—сказал Дикон, проиграв вторую партию. И когда ставка в тысячу фунтов была проиграна так же, как перед этим две по пятьсот, он предложил играть на две тысячи.

— Ведь это прогрессия,—предостерегающе заявил Мак-Мёртрей и тут же встретил ненавидящий взгляд Дикона. Однако управляющий был настойчив.—Вы умный человек и не соглашайтесь на удвоение ставок.

— Кто здесь играет, вы или он?—злобно выкрикнул Дикон; потом, обращаясь к Грифу, сказал:—Я проиграл две тысячи. Будете играть на две тысячи?

Гриф кивнул в знак согласия, началась четвертая партия, и Дикон выиграл. Каждый понимал, что, постоянно удваивая ставки, он вел нечестную игру. Хотя Дикон проиграл три партии из четырех, он не потерял ни пенса. Прибегая к этой детской уловке и удваивая ставки при каждом проигрыше, он рано или поздно должен был полностью отыгаться при первом же выигрыше.

Было видно, что он не прочь прекратить игру, но Гриф снова протянул ему колоду.

— Как?—закричал Дикон.—Вы еще хотите?

— Я же ничего не выиграл,—капризно, словно оправдываясь, пробормотал Гриф, начиная сдавать.—Играем, как сначала, по пятьсот фунтов?

До Дикона, очевидно, дошло, что он ведет себя недостойно, и он ответил:

— Нет, продолжим по тысяче. И потом игра до тридцати одного тянется очень долго. Почему бы нам не сыграть до двадцати одного, если для вас это не слишком быстро?

— Это будет чудесная быстрая игра,—согласился Гриф.

Дикон играл в прежней манере. Он проиграл две партии, удвоил ставку и опять вернул проигранное. Но

Гриф был терпелив, хотя та же самая история повторилась на протяжении часа несколько раз. Наконец произошло то, чего он так долго ждал: Дикон проиграл подряд несколько партий. Он удвоил ставку до четырех тысяч, потом до восьми—и проиграл опять, тогда он предложил удвоить ставку до шестнадцати тысяч.

Гриф отрицательно покачал головой.

— Вы же не можете играть на такую сумму. Компания предоставила вам кредит только на десять тысяч.

— Значит, вы не дадите мне отыграться?—хрипло спросил Дикон.—Отобрали у меня восемь тысяч фунтов и бросаете карты? Надо дерзать!

Гриф, улыбаясь, покачал головой.

— Но это же грабеж, настоящий грабеж!—кричал Дикон.—Вы забрали мои деньги и не даете мне отыграться.

— Нет, вы ошибаетесь. Можете играть. У вас осталось еще две тысячи фунтов.

— Хорошо, мы сыграем на них,—прервал его Дикон.—Снимите.

Игра шла в полной тишине, которую прерывали лишь гневные выкрики и ругательства Дикона. Зрители молчаливо потягивали виски и снова наполняли стаканы.

Гриф не обращал внимания на своего беснующегося противника и играл очень сосредоточенно. В колоде было пятьдесят две карты, которые надо помнить, и он их помнил. Партия после последней сдачи была почти сыграна; Гриф бросил карты.

— Я кончил,—сказал он.—У меня двадцать семь.

— А если вы ошиблись?—угрожающе сказал Дикон; его лицо побледнело и вытянулось.

— Тогда я проиграл. Считайте.

Гриф пододвинул ему свои взятки, и Дикон начал пересчитывать их дрожащими пальцами. Потом он отодвинулся от стола, осушил стакан виски и огляделся: все смотрели на него с неприязнью.

— Кажется, со следующим пароходом мне надо ехать в Сидней,—сказал он, и впервые за весь день голос его прозвучал спокойно, без раздражения.

Впоследствии Гриф рассказывал:

— Если бы он начал хныкать или поднял гвалт, я бы ни за что не дал ему этого последнего шанса, но он вел

себя, как подобает мужчине, и я не мог отказать ему в этом.

Дикон взглянул на часы, сделал вид, что зевает, и начал подниматься.

— Подождите,—сказал Гриф.—Может быть, вы еще хотите отыгаться?

Дикон опустил на стул, хотел что-то сказать, но не мог, он только облизал пересохшие губы и кивнул головой.

— Утром капитан Доновен уходит на «Гунге» на Каро-Каро,—начал Гриф таким тоном, словно говорил о чем-то совершенно не относящемся к делу.—Каро-Каро—это песчаная отмель посреди моря, на которой стоит несколько тысяч кокосовых пальм. Еще там растет панданус, но ни сладкий картофель, ни таро развести не удастся. На острове живут около восьмисот туземцев, король и два премьер-министра, причем только эти трое носят кое-какую одежду. Это забытая богом дыра, и раз в год я посылаю туда с Гобото шхуну. Питьевая вода там, правда, солоновата на вкус, но старый Том Батлер пьет ее вот уже двенадцать лет и держится. Он там единственный белый. У него есть шляпка и пятеро гребцов с островов Санта-Крус, которые—дай им только волю—немедленно бы сбежали или прикончили Тома. Потому-то их и послали на Каро-Каро. Оттуда не сбежишь. Ему посылают с плантаций самых буйных. Там нет миссионеров. Двух учителей туземцы с Самоа забили насмерть палками, едва они сошли на берег.

Вы, конечно, удивлены, зачем я все это рассказываю. Наберитесь терпения. Так вот, завтра утром капитан Доновен отправится в свой ежегодный рейс на Каро-Каро. Том Батлер стар, ему уже трудно вести дела. Я предлагал ему вернуться в Австралию, но он не соглашается, говорит, что хочет умереть на Каро-Каро; так оно и будет через год-два. Старый чудак! Но теперь туда пора послать кого-нибудь помоложе, чтобы он заменил там Батлера. Как вам нравится эта работа? Вам пришлось бы пробыть там два года.

Подождите! Я еще не кончил.

Сегодня вы много говорили о том, что надо дерзать. А что дерзновенного в том, чтобы просаживать деньги, которые не стоили тебе ни капли пота? Проигранные вами десять тысяч достались вам от отца или какого-



нибудь родственника, которому, наверно, пришлось немало попотеть, прежде чем он их заработал. Но если вы пробудете два года на Каро-Каро в качестве агента, это уже кое-что значит. Я ставлю десять тысяч фунтов, которые выиграл у вас, против вашего обязательства провести два года на Каро-Каро. Если вы проиграете, то поступаете ко мне на службу и завтра утром отправляетесь на остров. Вот это можно назвать настоящим дерзанием. Будете играть?

Дикон не мог выговорить ни слова. У него словно застрял комок в горле, и, беря карты, он только кивнул головой.

— Одну минуту,—сказал Гриф.—Я даже пойду вам навстречу. Если вы проиграете, то два года вашей жизни принадлежат мне—безо всякого жалованья, разумеется. И тем не менее я заплачу вам жалованье. Если вы будете хорошо работать, будете выполнять все правила и инструкции, то за два года заработаете у меня десять тысяч фунтов, по пять тысяч в год. Деньги будут депонированы на счет Компании и по истечении срока выплачены вам с процентами. Вас это устраивает?

— Даже больше, чем устраивает,—с трудом выдавил из себя Дикон.—Но вы же идете на явный убыток. Агент получает каких-нибудь десять—пятнадцать фунтов в месяц.

— Отнесем это за счет дерзания,—сказал Гриф, как бы давая понять, что говорить тут не о чем.—Но прежде чем начать, я набросаю для вас несколько жизненных правил. Вы будете их повторять вслух каждое утро в течение двух лет—если, конечно, проиграете. Они пойдут вам на пользу. Я уверен, что, когда вы их повторите на Каро-Каро семьсот тридцать раз, они навсегда врежутся в вашу память. Мак, дайте мне, пожалуйста, вашу ручку. Итак...

Несколько минут он что-то быстро писал, а потом начал читать вслух:

«Я должен раз и навсегда запомнить, что каждый человек достоин уважения, если только он не считает себя лучше других».

«Как бы я ни был пьян, я должен оставаться джентльменом. Джентльмен—это человек, который всегда вежлив. Примечание: лучше не напиваться пьяным».

«Играя с мужчинами в мужскую игру, я должен вести себя, как мужчина».

«Крепкое словцо, вовремя и к месту сказанное, облегчает душу. Частая ругань лишает ругательство смысла. Примечание: ругань не сделает карты хорошими, а ветер — попутным».

«Мужчине не разрешается забывать, что он мужчина. Такое разрешение не купишь даже за десять тысяч фунтов».

Когда Гриф начал читать, Дикон побледнел от гнева. Потом шея и лицо его стали медленно багроветь, и он сидел красный как рак.

— Вот и все,— сказал Гриф, складывая бумагу и бросая ее на середину стола.— Ну как, вы все еще хотите играть?

— Так мне и надо,— отрывисто пробормотал Дикон.— Я осел. Мистер Джи, независимо от того, выиграю я или проиграю, мне хотелось бы извиниться перед вами. Может быть, всему виной виски, я не знаю, но я осел, грубиян и хам.

Он протянул Питеру Джи руку, и тот радостно пожал ее.

— Послушайте, Гриф,— воскликнул Джи,— он, право же, парень что надо. Давай кончим это дело, выпьем на прощание и все забудем.

Гриф хотел было что-то возразить, но Дикон крикнул:

— Нет, я этого не допущу. Играть — так играть до конца. И если суждено Каро-Каро, пусть будет Каро-Каро. И хватит об этом.

— Правильно,— сказал Гриф, начиная тасовать колоду.— И если он сделан из крепкого материала, Каро-Каро ему не повредит.

Игра была острая и упорная. Трижды они набирали равное количество взяток и не могли выйти на «мастях». Перед лятой и последней сдачей Дикону не хватало до выигрыша трех очков, а Грифу — четырех. Дикон мог выиграть на одних «мастях», и он играл на «мастях». Он больше не ворчал и не ругался и, надо сказать, играл отлично. Неожиданно он сбросил два черных туза и туза червей.

— Думаю, что вы можете назвать четыре мои карты? — сказал он, когда колода кончилась и он взял оставшиеся карты.

Гриф кивнул.

— Тогда назовите их.

— Валет пик, двойка пик, тройка червей и туз бубен.

Ни один мускул не дрогнул на лицах зрителей, которые стояли за Диконом и видели его карты. Гриф назвал карты правильно.

— Кажется, вы играете в казино лучше меня, — признал Дикон. — Я могу назвать только три ваших карты; у вас валет, туз и большое казино.

— Неверно. В колоде не пять тузов, а четыре. Вы сбросили трех, а четвертый у вас на руках.

— Клянусь Юпитером, вы правы. Я и правда трех сбросил. И все-таки я наберу на одних «мастях»... Это — все, что мне нужно.

— Я отдам вам малое казино... — Гриф замолчал, прикидывая взятки. — Да и туза тоже, а потом сыграю на «мастях» и кончу с большим казино. Играйте!

— «Мастей» больше нет, и я выиграл! — возликовал Дикон, когда взял последнюю взятку. — Я кончаю с малым казино и четырьмя тузами. На пиках и большом казино вы набираете только двадцать.

Гриф покачал головой.

— Боюсь, что вы ошибаетесь.

— Не может быть, — уверенно заявил Дикон. — Я считал каждую карту, какую сбрасывал. Это единственное, за что я спокоен. У меня двадцать шесть, и у вас двадцать шесть.

— Пересчитайте, — сказал Гриф.

Дрожащими пальцами, медленно и тщательно Дикон пересчитывал взятки. У него было двадцать пять. Он протянул руку к углу стола, взял написанные Грифом правила, сложил их и сунул в карман. Потом он допил свой стакан и встал. Капитан Доновен посмотрел на часы, зевнул и тоже поднялся.

— Вы на шкуну, капитан? — спросил Дикон.

— Да. В котором часу прислать за вами вельбот?

— Я иду сейчас с вами. По дороге захватим с «Билли» мой багаж. Утром я ходил на нем в Бабо.

Все пожелали Дикону удачи на Каро-Каро, и он с каждым попрощался за руку.

— А Том Батлер играет в карты?—спросил он Грифа.

— В солитер,—ответил тот.

— Тогда я научу его двойному солитеру.

Дикон повернулся к двери, где его ждал капитан Доновен, и со вздохом добавил:

— Думаю, он тоже обдерет меня, если играет, как вы, почтенные островитяне.



Жемчуг Парлея

I

Канак рулевой повернул штурвал, «Малахини» послушно стала носом к ветру и выпрямилась. Передние паруса вяло повисли; раздалось дробное пощелкивание концов троса о парус и скрип поспешно выбираемых талей; ветер снова наполнил паруса, шхуна накренилась и легла на другой галс. Хотя было еще раннее утро и дул свежий бриз, пятеро белых, расположившихся на юте, были одеты очень легко: Дэвид Гриф и его гость, англичанин Грегори Малхолл,—в пижамах и китайских туфлях на босу ногу, капитан и его помощник—в нижних рубашках и парусиновых штанах, а второй помощник капитана все еще держал рубашку в руках, не имея ни малейшего желания надеть ее. Пот выступил у него на лбу, и он жадно подставлял обнаженную грудь ветру, не приносявшему прохлады.

— Экая духота, и ветер не помогает,—с досадой сказал он.

— Что там делается на западе, хотел бы я знать,—проворчал Гриф.

— Это ненадолго,—отозвался голландец Герман, помощник капитана.—Ветер и ночью все менялся: то так повернет, то этак.

— Что-то будет! Что-то будет!—мрачно произнес капитан Уорфилд, обеими руками разделяя надвое свою густую бороду и подставляя подбородок ветру в напрас-

ной надежде освежиться.— Вот уже две недели погода какая-то шалая. Порядочного пассата три недели не было. Ничего понять нельзя. Вчера на закате барометр стал колебаться — и сейчас еще пляшет. Люди сведущие говорят, что это ровно ничего не значит. А только не нравится мне это! Действует на нервы, знаете. Вот так он плясал и в тот раз, когда пошел ко дну «Ланкастер». Я тогда был мальчишкой, но отлично помню. Новенькое судно, четырехмачтовое, и обшивка стальная, а затонуло в первый же рейс. Капитан не перенес удара. Он сорок лет плывал на судах Компании, а после этого и года не протянул — истаял как свеча.

Несмотря на ветер и на ранний час, все задыхались от жары. Ветер только дразнил, не принося прохлады. Не будь он так насыщен влагой, можно было бы подумать, что он дует из Сахары. Не было ни пасмурно, ни туманно — ни намек на туман, и, однако, даль казалась расплывчатой, неясной. На небе не видно было облаков, но его заволокла густая мгла, и лучи солнца не могли пробиться сквозь нее,

— Приготовиться к повороту! — спокойно и внушительно распорядился капитан Уорфилд.

Темнокожие матросы канак в одних коротких штанах стали к шкотам; все их движения были плавны, но быстры.

— Руль на ветер! На борт!

Рулевой мгновенно перебрал ручки штурвала, и «Малахини» изящным, стремительным движением переменила галс.

— Да она просто чудо! — воскликнул Малхолл. — Не знал я, что в Южных морях купцы ходят на яхтах.

— Она была построена в Глостере как рыбацье судно, — пояснил Гриф, — а у глостерских судов и корпус, и оснастка, и ход такой, что никакой яхте не уступят.

— А ведь устье лагуны перед вами, почему же вы не входите? — критически заметил англичанин.

— Попробуйте, капитан Уорфилд, — предложил Гриф. — Покажите гостю, что значит входить в лагуну при сильном отливе.

— Круче к ветру! — отдал команду капитан.

— Есть круче к ветру! — повторил канак, слегка поворачивая штурвал.

«Малахини» направилась к узкому проходу в лагуну длинного и узкого атолла своеобразной овальной формы. Казалось, он возник из трех атоллов, которые некогда сомкнулись и срослись в один. На песчаном кольце атолла местами росли кокосовые пальмы, но там, где песчаный берег был слишком низок, пальмы не росли, и в просветах сверкала лагуна; вода в ней была как зеркало, едва подернутое рябью. Эта неправильной формы лагуна простиралась на много квадратных миль, и в часы отлива воды ее рвали в открытое море через единственный узкий проток. Так узок был проток и так силен напор устремлявшейся в него воды, что казалось — это не просто вход в лагуну, а стремнина бурной реки. Вода кипела, кружила, бурлила и рвалась вон из пролива крутыми, зубчатыми, увенчанными белой пеной валами. Удар за ударом наносили «Малахини» эти вздымавшиеся ей навстречу валы, и каждый удар, точно стальным клином, сбивал ее с курса, отбрасывая в сторону. Она уже вошла в проход — и тут оказалась так прижатой к коралловому берегу, что пришлось сделать поворот. На новом галсе шхуна стала бортом к течению, и оно стремительно понесло ее в открытое море.

— Ну, теперь пора пустить в ход ваш новый дорогой мотор, — с добродушной насмешкой сказал Уорфилду Гриф.

Все знали, что этот мотор — слабость капитана Уорфилда. Капитан до тех пор преследовал Грифа мольбами и уговорами, пока тот не дал согласия на покупку.

— Он еще оправдывает себя, — возразил капитан. — Вот увидите. Он надежнее всякой страховки, а ведь сами знаете — судно, плавающее на Паумоту, и страховать никто не берется.

Гриф указал назад, на маленький тендер, который тоже пробивался, борясь с течением, ко входу в лагуну.

— Держу пари на пять франков, что «Нухива» нас обгонит.

— Конечно, — согласился Уорфилд. — У нее относительно очень сильный мотор. Мы рядом с ней — прямо океанский пароход, а у нас всего сорок лошадиных сил. У нее же — десять, и она летит, как птица. Она проскочила бы в самый ад, но такого течения и ей не одолеть. Сейчас его скорость верных десять узлов!

И со скоростью десяти узлов, швыряя и кидая «Малахини» то на один борт, то на другой, течение вынесло ее в открытое море.

— Через полчаса отлив кончится, тогда войдем,—сердито сказал капитан Уорфилд и прибавил, словно объясняя, чем недоволен:—Парлей не имел никакого права давать атолла свое имя. На всех английских картах, да и на французских тоже, этот атолл обозначен как Хикихохо. Его открыл Бугенвиль и оставил ему туземное название.

— Не все ли равно, как он называется?—сказал второй помощник, все еще медля надевать рубашку.—Главное—он перед нами, а на нем старик Парлей со своим жемчугом.

— А кто видел этот жемчуг?—спросил Герман, глядя то на одного, то на другого.

— О нем все знают,—ответил второй помощник и обернулся к рулевому:—Таи-Хотаури, расскажи-ка нам про жемчуг старика Парлея.

Польщенный канак, немного сконфуженный общим вниманием, перехватил ручки штурвала.

— Мой брат нырял для Парлея три, нет, четыре месяца. Он много рассказывал про жемчуг. Хикихохо—место хорошее, тут много жемчуга.

— А перекупщики, как ни добивались, не получили у старика ни единой жемчужины,—вставил капитан.

— Говорят, когда он отправился на Таити встречать Арманду, он вез для нее полную шляпу жемчуга,—продолжал второй помощник.—Это было пятнадцать лет назад, с тех пор у него немало прибавилось. Он и перламутр собирал. Все видели его склады раковин—сотни тонн. Говорят, из лагуны взято все дочиста. Может быть, поэтому он и объявил аукцион.

— Если он действительно задумал продавать, это будет самая большая годовая распродажа жемчуга на Паумоту,—сказал Гриф.

— Ничего не понимаю!—не выдержал Малхолл, как и все, измученный влажным, удушливым зноем.—В чем дело? Кто такой этот старик? И что у него за жемчуг? Почему вы говорите загадками?

— Старик Парлей—хозяин Хикихохо,—ответил второй помощник капитана.—У него огромное состояние в жемчуге, он собирал его долгие годы, а недавно

объявил, что хочет распродать весь свой запас; на завтра назначен аукцион. Видите, сколько мачт торчит над лагуной?

— По-моему, восемь,— подсчитал Герман.

— Что делать восьми шхунам в такой богом забытой дыре? — продолжал второй помощник. — Тут и для одной шхуны не наберется за весь год полного груза копры. Это они на аукцион явились, как и мы. Вот и «Нухива» поэтому за нами гонится, хотя какой уж она покупатель! На ней плавает Нарий Эринг, он и владелец и шкипер. Он сын английского еврея и туземки, и у него только и есть за душой, что нахальство, долги да неоплаченные счета за виски. По этой части он гений. Он столько должен, что в Папеэте все торговцы до единого заинтересованы в его благополучии. Они в лепешку расшибутся, чтобы дать ему заработать. У них другого выхода нет, а ему это на руку. Вот я никому ничего не должен, а что толку? Если я заболею и свалюсь вон тут на берегу, никто и пальцем не шевельнет: пусть и подохну, они не в убытке. Другое дело Нарий Эринг, для него они на все готовы. Если он свалится больной, для него ничего не пожалеют. Слишком много денег в него вложено, чтоб оставить его на произвол судьбы. Его возьмут в дом и будут ходить за ним, как за родным братом. Нет, знаете, честно платить по счетам совсем не так выгодно, как говорят!

— При чем тут этот Нарий? — нетерпеливо сказал англичанин и, обращаясь к Грифу, попросил: — Объясните мне все по порядку. Что это за басни о жемчуге?

— Если что забуду, подскажите,— предупредил Гриф остальных и начал рассказывать: — Старик Парлей — большой чудака. Я с ним давно знаком и думаю, что он немного не в своем уме. Так вот, слушайте. Парлей чистокровный француз, даже парижанин, это он мне сам сказал, у него и выговор настоящий парижский. Приехал он сюда давным-давно, занялся торговлей и всякими делами и таким образом попал на Хикихохо. Приехал торговать, когда здесь процветала меновая торговля. На Хикихохо было около сотни жителей, нищих туземцев. Он женился на их королеве по туземному обряду. И когда королева умерла, все ее владения перешли к нему. Потом разразилась эпидемия кори, после которой уцелело не больше десятка туземцев.

Парлей, как король, кормил их, а они на него работали. Надо вам сказать, что незадолго до смерти королева родила дочь Арманду. Когда девочке исполнилось три года, Парлей отослал ее в монастырь в Папее, а семи или восемью лет отправил во Францию. Можете догадаться, что из этого вышло. Единственной дочери короля и капиталиста с островов Паумоту подобало воспитываться лишь в самом лучшем, самом аристократическом монастыре. Вы ведь знаете, в доброй старой Франции не существует расовых барьеров. Арманду воспитывали как принцессу, да она и чувствовала себя принцессой. Притом она считала себя настоящей белой и даже не подозревала, что с ее происхождением что-то неладно.

И вот разыгралась трагедия. Старик Парлей всегда был со странностями, к тому же он слишком долго жил на Хикихохо неограниченным владыкой — и под конец вообразил, будто он и в самом деле король, а его дочь — принцесса. Когда Арманде исполнилось восемнадцать лет, он выписал ее к себе. Денег у него было хоть пруд пруди, как говорится. Он построил огромный дом на Хикихохо, а в Папее — богатый бунгало. Арманда должна была приехать почтовым пароходом, шедшим из Новой Зеландии, и старик на своей шхуне отправился встречать ее в Папее. Возможно, все обошлось бы благополучно, назло всем спесивым индюшкам и тупым ослам, задающим тон в Папее, но тут вмешался ураган. Это ведь было, кажется, в тот год, когда затопило Ману-Хуи, верно? Там еще утонуло больше тысячи жителей?

Все подтвердили, а капитан Уорфилд прибавил:

— Я плывал тогда на «Сороке». Нас выбросило на сушу — шхуну со всей командой и с коком. Занесло за четверть мили от берега в кокосовую рощу, у входа в Таохайскую бухту. А считается, что это безопасная гавань.

— Так вот, — продолжал Гриф. — Этим самым ураганом подхватило и шхуну Парлея, и он явился в Папее со всем своим жемчугом ровно на три недели позже, чем следовало. Его шхуну тоже выбросило на берег, и ему пришлось подвести под нее катки и проложить полозья, ее волокли посуху добрых полмили, прежде чем снова спустить на воду.

А тем временем Арманда ждала его в Папезте. Никто из местных жителей ни разу ее не навестил. Она сама, по французскому обычаю, явилась с визитом к губернатору и к портовому врачу. Они приняли ее, но их жен, конечно, не оказалось дома, и визита они ей не отдали. Ведь она была отверженная, она стояла вне общества, хотя и не подозревала об этом,— и вот столь деликатным образом ей дали это понять. Был тут еще некий беспутный молодой лейтенант с французского крейсера. Она покорила его сердце, но головы он не потерял. Можете себе представить, каким ударом было все это для молодой девушки, образованной, красивой, воспитанной, как подлинная аристократка, избалованной всем, что только можно было достать тогда за деньги во Франции. Нетрудно угадать конец.— Гриф пожал плечами.— В бунгало Парлея был слуга японец. Он видел это. Он рассказывал потом, что она проделала все, как настоящий самурай. Действовала не сгоряча, не в безумной жажде смерти,— взяла стилет, аккуратно приложила острие к груди и обеими руками неторопливо и уверенно вонзила его себе прямо в сердце.

И после этого приехал старик Парлей со своим жемчугом. Говорят, у него была жемчужина, которая стоила шестьдесят тысяч франков. Ее видел Питер Джи, он говорил мне, что сам давал за нее эти деньги. Старик совсем было сошел с ума. Два дня его держали в Колониальном клубе в смиренной рубашке...

— Дядя его жены, старик туземец, разрезал рубашку и освободил его,— прибавил второй помощник.

— И тогда Парлей начал буйствовать,— продолжал Гриф.— Всадил три пули в подлеца лейтенанта...

— Так что тот три месяца провалялся в судовом лазарете,— вставил капитан Уорфилд.

— Запустил бокалом вина в физиономию губернатору; дрался на дуэли с портовым врачом; избил слуг туземцев; устроил разгром в лазарете, сломал санитару два ребра и ключицу и удрал. Кинулся напрямик на свою шхуну, держа в каждой руке по револьверу и крича, что пусть, мол, начальник полиции со всеми своими жандармами попробует его арестовать,— и ушел на Хикихохо. Говорят, с тех пор он ни разу не покидал острова.

Второй помощник кивнул.

— Это было пятнадцать лет назад, и он с тех пор ни разу с места не двинулся.

— И собрал еще немало жемчуга,— сказал капитан.— Сумасшедший, просто сумасшедший. Меня от одной мысли о нем дрожь пробирает. Настоящий колдун.

— Кто-кто?— не понял Малхолл.

— Хозяин погоды. По крайней мере все туземцы в этом уверены. Вот спросите Таи-Хотаури. Эй, Таи-Хотаури! Как по-твоему, что старик Парлей делает с погодой?

— То, что делает дьявол,— был ответ.— Я знаю. Захочет бурю— накличет бурю. Захочет— совсем ветра не будет.

— Да, настоящий колдун,— сказал Малхолл.

— Этот жемчуг приносит несчастье,— вдруг объявил Таи-Хотаури, зловеще качая головой.— Парлей говорит— продаю. Приходит много шхун. Тогда Парлей сделает большой ураган, и всем будет конец. Увидите. Все здесь так говорят.

— Теперь самая пора ураганов,— невесело усмехнулся капитан Уорфилд.— Туземцы не так уж далеки от истины. Вот и сейчас что-то надвигается. Я бы предпочел, чтоб «Малахини» была за тысячу миль отсюда.

— Конечно, Парлей немного помешан,— закончил Гриф.— Я старался его понять. У него в голове все перепуталось. Восемнадцать лет вся жизнь для него была в одной Арманде. И теперь ему часто кажется, что она жива, но до сих пор не вернулась из Франции. Между прочим, ему еще и поэтому не хотелось расставаться со своим жемчугом. И он ненавидит белых. Он никогда не забывает, что они убили его дочь, хотя почти всегда забывает, что ее уже нет в живых... Вот те и на! Где же ваш ветер?

Паруса бессильно повисли у них над головой, и капитан Уорфилд с досадой выругался сквозь зубы. Жара и прежде была невыносимая, а теперь, когда ветер стих, стало совсем невтерпёж. По лицам людей струился пот, и то один, то другой, тяжело переводя дыхание, жадно ловил ртом воздух.

— Вот он, ветер.— И капитан на восемь румбов изменил направление.— Гика-шкоты перенести! Живо!

Канаки бросились выполнять команду капитана, и целых пять минут шхуна, преодолевая течение, шла прямо ко входу в узкий пролив. Ветер снова упал, потом подул в прежнем направлении, и пришлось опять ставить паруса по-старому.

— А вот и «Нухива»,— сказал Гриф.— Они пустили в ход мотор. Смотрите, как несется!

— Все готово? — спросил капитан у механика, португальца-метиса, который высунулся из маленького люка перед самой рубкой и утирал потное лицо комком промасленной пакли.

— Готово,— ответил механик.

— Ну, пускайте.

Механик скрылся в своей берлоге, и тотчас послышалось фыркание и шипение глушителя. Но шхуне не удалось удержать первенства. Пока она продвигалась на два фута, маленький тендер успевал пройти три; он быстро настиг ее, а затем и обогнал. На палубе его были одни туземцы. Человек, управлявший тендером, насмешливо помахал рукой тем, кто был на «Малахини».

— Это и есть Нарий Эринг,— сказал Гриф Малхоллу.— Высокий у штурвала—видели? Самый отъявленный негодяй на всех островах Паумоту.

Пять минут спустя канаки—матросы «Малахини» подняли радостный крик, и все взгляды обратились на «Нухиву». Там что-то случилось с мотором, и теперь «Малахини» обходила ее. Канаки карабкались на ванты и осыпали насмешками остающихся позади соперников; тендер круто накренился под ветер, и течение сносило его назад в открытое море.

— Вот у нас мотор так мотор! — одобрительно сказал Гриф, когда перед ними раскрылась лагуна и «Малахини» переменяла курс, готовясь стать на якорь.

Капитан Уорфилд, хотя и очень довольный, только буркнул в ответ:

— Будьте покойны, он окупится.

«Малахини» прошла в самую середину небольшой флотилии и наконец выбрала свободное место для стоянки.

— Вот и Айзекс на «Долли»,— заметил Гриф и приветственно помахал рукой.— И Питер Джи на «Роберте». Когда объявлена такая распродажа жемчуга, разве он останется в стороне! А вот и Франчини на

«Кактусе». Все скупщики собрались. Можете не сомневаться, старик Парлей возьмет хорошую цену.

— А они все еще не исправили мотор,— с торжеством сказал капитан Уорфилд.

Он смотрел туда, где за редкими стволами кокосовых пальм, окаймлявших лагуну, виднелись паруса «Нухивы».



II

Дом у Парлея был большой, двухэтажный, из калифорнийского леса и крыт оцинкованным железом. Он был несоразмерно велик для тонкого кольца атолла и торчал над узкой полоской песка, точно огромный нарост. Едва «Малахини» стала на якорь, прибывшие, как полагается, отправились на берег с визитом. Капитаны и скупщики с остальных судов уже собрались в большой комнате, где можно было осмотреть жемчуг, назначенный на завтра к продаже. Темнокожие слуги, они же родня хозяина — последние жители Хикихохо,— разносили виски и абсент. И среди этого своеобразного сборища, покашливая и посмеиваясь, расхаживал сам Парлей — жалкая развалина, в которой нельзя было узнать когда-то рослого и сильного человека. Глаза его ушли глубоко в орбиты и лихорадочно блестели, щеки ввалились. Он неровно, местами, оплешивел, усы и эспаньолка у него были тоже какие-то клочковатые.

— О господи! — пробормотал Малхолл. — Прямо долговязый Наполеон Третий! Но какой облезлый, высохший! Кожа да кости. До чего жалок! Неудивительно, что он держит голову набок, иначе ему на ногах не устоять.

— Будет шторм, — сказал старик Грифу вместо приговора. — Вы, видно, очень уж равнодушны к жемчугу, если явились сюда сегодня.

— За таким жемчугом не жаль отправиться хоть к чертям в пекло, — со смехом ответил Гриф, оглядывая стол, на котором разложены были жемчужины.

— Кое-кто уже отправился туда, — проскрипел Парлей. — Вот посмотрите! — Он показал на великолепную

жемчужину размером с небольшой грецкий орех, лежавшую отдельно на куске замши.— Мне за нее давали на Таити шестьдесят тысяч франков. А завтра, пожалуй, и больше дадут, если всех не унесет ураган. Так вот, эту жемчужину нашел мой родич, вернее, родич моей жены. Туземец. И притом вор. Он ее припрятал. А она была моя. Его двоюродный брат, который приходился и мне родней—мы тут все в родстве,—убил его, стащил жемчужину и удрал на катере в Ноо-Нау. Я снарядил погоню, но вождь племени Ноо-Нау убил его из-за этой жемчужины еще раньше, чем я туда добрался. Да, тут на столе немало мертвецов. Пейте, капитан. Ваше лицо мне незнакомо. Вы новичок на островах?

— Это капитан Робинсон с «Роберты»,— сказал Гриф, знакомя их.

Тем временем Малхолл обменялся рукопожатием с Питером Джи.

— Я и не думал, что на свете столько жемчуга,— сказал Малхолл.

— Такого количества сразу и я не видывал,— признался Питер Джи.

— Сколько все это может стоить?

— Пятьдесят или шестьдесят тысяч фунтов—для нас, скупщиков. А в Париже...— Он пожал плечами и высоко поднял брови, не решаясь даже назвать сумму.

Малхолл вытер пот, стекавший на глаза. Да и все в комнате обливались потом и тяжело дышали. Льда не было, виски и абсент приходилось глотать теплыми.

— Да, да,— хихикая, твердил Парлей.— Много мертвецов лежит тут на столе. Я знаю свои жемчужины все наперечет. Посмотрите на эти три! Недурно подобраны, а? Их добыл для меня ловец с острова Пасхи— все три в одну неделю. А на следующей неделе сам стал добычей акулы: она отхватила ему руку, и заражение крови его доконало. Или вот эта, она крупная, но неправильной формы,— много ли в ней толку; хорошо, если мне дадут за нее завтра двадцать франков, а добыли ее на глубине в сто тридцать футов! Ловец был с Раратонга. Вот кто побил все водолазные рекорды. Он нашел ее на глубине в сто тридцать футов. Я видел, как он вынырнул. У него сделалось не то кровоизлияние в легкие, не то судороги—только через два часа он умер. И кричал же он перед смертью! На несколько миль было слышно. Такого

силача туземца я больше не видывал. Человек шесть моих ловцов умерли от судорог. И еще много людей умрет, еще много, много умрет.

— Довольно вам каркать, Парлей,— не стерпел один из капитанов.— Шторма не будет.

— Будь я крепок, как когда-то, живо поднял бы якорь и убрался отсюда,— ответил хозяин старческим фальцетом.— Живо убрался бы, если б был крепок и силен и не потерял еще вкус к вину. Но вы останетесь. Вы все останетесь. Я бы и не советовал, если б думал, что вы послушаетесь. Стервятников от падали не отгонишь. Выпейте еще по стаканчику, мои храбрые моряки. Ну-ну, чем только не рискуют люди ради нескольких соринков, выделенных устрицей! Вот они, красавицы! Аукцион завтра, точно в десять. Старик Парлей распродает свой жемчуг, и стервятники слетаются... А старик Парлей в свое время был крепче их всех и еще не одного из них похоронит.

— Экая скотина! — шепнул второй помощник с «Ма-лахини» Питеру Джи.

— Да хоть и будет шторм, что из этого? — сказал капитан «Долли». — Хикихохо никогда еще не заливало.

— Тем вероятнее, что придет и его черед, — возразил Уорфилд. — Не доверяю я этому Хикихохо.

— Кто теперь каркает? — упрекнул его Гриф.

— Черт! Обидно будет потерять новый мотор, пока он не окупился, — пробурчал капитан Уорфилд.

Парлей с неожиданным проворством метнулся сквозь толпу к барометру, висевшему на стене.

— Взгляните-ка, мои храбрые моряки! — воскликнул он торжествующе.

Тот, кто стоял ближе всех, наклонился к барометру. Лицо его вытянулось.

— Упал на десять, — сказал он только, но на всех лицах отразилась тревога, и казалось, каждый готов сейчас же кинуться к выходу.

— Слушайте! — скомандовал Парлей.

Все смолкли, и издали донесся необычайно сильный шум прибоя: с грохотом и ревом он разбивался о коралловый берег.

— Большую волну развело, — сказал кто-то, и все бросились к окнам.

В просветы между пальмами виден был океан. Мерно и неторопливо, одна за другой, наступали на берег огромные ровные волны. Несколько минут все, кто был в комнате, тихо переговариваясь, смотрели на это необычайное зрелище, и с каждой минутой волны росли и поднимались все выше. Таким неестественным и жутким был этот волнующийся при полном безветрии океан, что люди невольно понизили голос. Все вздрогнули, когда раздалось отрывистое карканье старика Парлея:

— Вы еще успеете выйти в открытое море, храбрые джентльмены. У вас есть шляпки, лагуну можно пройти на буксире.

— Ничего,— сказал Дарлинг, подшкипер с «Кактуса», дюжий молодец лет двадцати пяти.—Шторм идет стороной, к югу. На нас и не дунет.

Все вздохнули с облегчением. Возобновились разговоры, голоса стали громче. Некоторые скупщики даже вернулись к столу и вновь занялись осмотром жемчуга.

— Так, так!—пронзительно выкрикнул Парлей.— Пусть настанет конец света, вы все равно будете торговать.

— Завтра мы непременно купим всё это,—подтвердил Айзекс.

— Да, только заключать сделки придется уже в аду.

Взрыв хохота был ответом старику, и это общее недоверие взбесило его. Вне себя он накинулся на Дарлинга:

— С каких пор таким молокососам стали известны пути шторма? И кем это, интересно знать, составлена карта направления ураганов на Паумоту? В каких книгах вы ее нашли? Я плавал в этих местах, когда самого старшего из вас еще и на свете не было, я знаю, что говорю. Двигаясь к востоку, ураганы описывают такую гигантскую, растянутую дугу, что получается почти прямая линия. А к западу они делают крутой поворот. Вспомните карту. Каким образом в девяносто первом во время урагана затопило Аури и Хиолау? Все дело в дуге, мой мальчик, в дуге! Через час-другой, самое большее через три, поднимется ветер. Вот, слушайте!

Раздался тяжелый, грохочущий удар, мощный толчок потряс коралловое основание атолла. Дом содрогнулся. Темнокожие слуги с бутылками виски и абсента в руках прижались друг к другу, словно искали защиты, и со страхом глядели в окна на громадную волну, которая обрушилась на берег и докатилась до одного из навесов для копры.

Парлей взглянул на барометр, фыркнул и искоса злорадно посмотрел на своих гостей. Капитан тоже подошел к барометру.

— Двадцать девять и семьдесят пять,— сказал он.— Еще на пять упал. О черт! Старик прав, надвигается шторм. Вы как хотите, а я возвращаюсь на «Малахини».

— И все темнеет,— понизив голос чуть не до шепота, произнес Айзекс.

— Черт побери, совсем как на сцене,— сказал Грифу Малхолл, взглянув на часы.— Десять утра, а темно, как в сумерки. Огни гаснут, сейчас начнется трагедия. Где же тихая музыка?

Словно в ответ, раздался грохот. Дом и весь атолл вновь содрогнулись от мощного толчка. В паническом страхе люди бросились к двери. В тусклом свете мертво-бледные, влажные от пота лица казались призрачными. Айзекс дышал тяжело, с хрипом, эта нестерпимая жара давила его.

— К чему такая спешка? — ехидно посмеиваясь, кричал им вдогонку Парлей.— Выпейте напоследок, храбрые джентльмены!

Никто его не слушал. Когда гости дорожкой, выложенной по краям раковинами, направились к берегу, старик высунулся из дверей и окликнул их:

— Не забудьте, джентльмены, завтра с десяти утра старый Парлей распродает свой жемчуг.



III

а берегу поднялась суматоха. Шлюпка за шлюпкой заполнялась спешившими людьми и тотчас отваливала. Тьма сгущалась. Ничто не нарушало тягостного затишья. Всякий раз, как волны извне

обрушивались на берег, узкая полоса песка содрогалась под ногами. У самой воды лениво прогуливался Нарий Эринг. Он смотрел, как торопятся отплыть капитаны и скупщики, и ухмылялся. С ним были трое его матросов-канаков и Тай-Хотаури, рулевой с «Малахини».

— Лезь в шлюпку и берись за весло,— приказал капитан Уорфилд своему рулевому.

Тай-Хотаури с развязным видом подошел к капитану, а Нарий Эринг и его канаки остановились поодаль и смотрели на них.

— Я на тебя больше не работаю, шкипер! — громко и с вызовом сказал Тай-Хотаури. Но выражение его лица противоречило словам, так как он усиленно подмигивал Уорфилду. — Гони меня, шкипер,— хрипло прошептал он и снова многозначительно подмигнул.

Капитан Уорфилд понял намек и постарался сыграть свою роль как можно лучше. Он поднял кулак и возвысил голос:

— Пошел в шлюпку, или я из тебя дух вышибу! — загремел он.

Канак отступил и угрожающе пригнулся; Гриф стал между ними, стараясь успокоить капитана.

— Я иду служить на «Нухиву»,— сказал Тай-Хотаури, отходя к Эрингу и его матросам.

— Вернись сейчас же! — грозно крикнул вслед ему Уорфилд.

— Он ведь свободный человек, шкипер! — громко сказал Нарий Эринг. — Он прежде плавал со мной и ко мне возвращается, только и всего.

— Скорее, нам пора на шхуну,— торопил Гриф. — Смотрите, становится совсем темно.

Капитан Уорфилд сдался; но едва шлюпка отошла от берега, он, стоя на корме, выпрямился во весь рост и кулаком погрозил оставшимся.

— Я вам это припомню, Нарий! — крикнул он. — Никто из шкиперов, кроме вас, не сманивает чужих матросов.

Он сел на свое место.

— Что это у Тай-Хотаури на уме? — негромко; с недоумением сказал он. — Что-то он задумал, только не пойму, что именно.



Как только шлюпка подошла вплотную к «Малахини», через борт навстречу прибывшим перегнулся встревоженный Герман.

— Барометр летит вниз,— сообщил он.— Надо ждать урагана. Я распорядился отдать второй якорь с правого борта.

— Приготовьте и большой тоже,—приказал Уорфилд, возвращаясь к своим капитанским обязанностям.— А вы, кто-нибудь, поднимите шлюпку на палубу. Поставить ее вверх дном и принайтовать как следует!

На всех шхунах команда торопливо готовилась к шторму. Судно за судном подбирало грохотавшие якорные цепи, поворачивалось и отдавало второй якорь. Там, где, как на «Малахини», был третий, запасной якорь, готовились отдать и его, когда определится направление ветра.

Мощный рев прибоя все нарастал, хотя лагуна по-прежнему лежала невозмутимо гладкая, как зеркало. На песчаном берегу, где стоял дом Парлея, все было пустынно и безжизненно. У навесов для лодок и для копры, у сараев, где складывали раковины, не видно было ни души.

— Я рад бы сейчас же поднять якоря и убраться отсюда,—сказал Гриф.— В открытом море я бы так и сделал. Но тут мы заперты: цепи атоллов тянутся и с севера и с востока. Пожалуй, надежнее всего остаться на месте. Как по-вашему, Уорфилд?

— Я с вами согласен, хотя лагуна в шторм и не так безопасна, как мельничная запруда. Хотел бы я знать, с какой стороны он налетит. Ого! Один склад Парлея уже готов!

Они увидели, как приподнялся и рухнул сарай, снесенный волною, которая, вскипая пеной, перекатилась через песчаный гребень атолла в лагуну.

— Перехлестывает!—воскликнул Малхолл.— И это—только начало. Вот опять!

Новая волна подбросила остов сарая и отхлынула, оставив его на песке. Третья разбила его и вместе с обломками понеслась по склону вниз, в лагуну.

— Уж скорей бы шторм. Может, хоть прохладнее станет,—проворчал Герман.— Совсем дышать нечем, настоящее пекло! Я изжарился, как в печке.

Ударом ножа он вскрыл кокосовый орех и с жадностью выпил сок. Остальные последовали его примеру, а в это время у них на глазах волной снесло и разбило в щепы еще один сарай Парлея, служивший складом раковин. Барометр упал еще ниже и показывал 29,50.

— Видно, мы оказались чуть не в самом центре низкого давления,—весело сказал Гриф.— Я еще ни разу не бывал в сердце урагана. Это и вам будет любопытно, Малхолл. Судя по тому, как быстро падает барометр, переделка нам предстоит нешуточная.

Капитан Уорфилд охнул, и все обернулись к нему. Он смотрел в бинокль на юго-восток, в дальний конец лагуны.

— Вот оно! — негромко сказал он.

Видно было и без бинокля. Странная, ровная пелена тумана стремительно надвигалась на них, скользя по лагуне. Приближаясь, она низко пригибала растущие вдоль атолла кокосовые пальмы, несла тучу сорванных листьев. Вместе с ветром скользила по лагуне сплошная полоса потемневшей, взбаламученной воды. Впереди, точно застрельщики, мелькали такие же темные клочки, исхлестанные ветром. За этой темной полосой двигалась другая, зеркально гладкая и спокойная, шириною в четверть мили. Следом шла новая темная, взвихренная ветром полоса, а дальше вся лагуна белела пеной, кипела и бурлила.

— Что это за гладкая полоса? — спросил Малхолл.

— Штиль,—ответил Уорфилд.

— Но он движется с той же скоростью, что и ветер,—возразил Малхолл.

— А как же иначе? Если ветер нагонит его, так и штиля никакого не будет. Это двойной шквал. Когда-то я попал в такой на Савайи. Вот это был двойной! Бац! Он обрушился на нас, потом вдруг тишина, и потом снова ударило. Внимание! Сейчас нам достанется. Смотрите на «Роберту»!

«Роберту», стоявшую ближе всех бортом к ветру на ослабших якорных цепях, подхватило, как соломинку, и понесло, но цепи тотчас натянулись — и она, резко рванувшись, стала носом к ветру. Шхуна за шхуной, в

том числе и «Малахини», срывались с места, подхваченные налетевшим шквалом, и разом останавливались на туго натянутых цепях. Когда якоря остановили «Малахини», толчок был так силен, что Малхолл и несколько канаков не удержались на ногах.

И вдруг ветра как не бывало. Летящая полоса штiglia захватила их. Гриф чиркнул спичкой, и ничем не защищенный огонек спокойно, не мигая, разгорелся в недвижимом воздухе. Было темно и хмуро, как в сумерки. Затянутое тучами небо, казалось, с каждым часом нависавшее все ниже, теперь словно прильнуло вплотную к океану.

Но вот на «Роберту» обрушился второй удар урагана, и она, а затем и остальные шхуны, одна за другой, вновь рванулись на якорях. Океан яростно кипел, весь в белой пене, в мелких и острых, сыплющих брызгами волнах. Палуба «Малахини» непрерывно дрожала под ногами. Туго натянутые фалы отбивали на мачтах барабанную дробь, и все снасти сотрясались, точно под неистовыми ударами чьей-то могучей руки. Стоя против ветра, невозможно было дышать. Малхолл, который в поисках убежища вместе с другими скорчился за рубкой, убедился в этом, нечаянно оказавшись лицом к ветру: легкие его мгновенно переполнились воздухом, и он чуть не задохся прежде, чем успел отвернуться и перевести дыхание.

— Невероятно! — с трудом произнес он, но его никто не слышал.

Герман и несколько канаков ползком, на четвереньках пробирались на бак, чтобы отдать третий якорь. Гриф тронул капитана Уорфилда за плечо и показал на «Роберту». Она надвигалась на них, волоча якоря. Уорфилд закричал в самое ухо Грифу:

— Мы тоже тащим якоря!

Гриф кинулся к штурвалу и, быстро положив руль на борт, заставил «Малахини» взять влево. Третий якорь удержался, и «Роберту» пронесло мимо, кормой вперед, на расстоянии каких-нибудь двенадцати ярдов. Гриф и его спутники помахали Питеру Джи и капитану Робинсону, которые вместе с матросами хлопотали на носу «Роберты».

— Питер решил расклепать цепи! — закричал Гриф. — Пробует выйти из лагуны! Ничего другого не остается, якоря ползут!

— А мы держимся! — крикнул в ответ Уорфилд. — Смотрите, «Кактус» налетел на «Мизи». Теперь им крышка!

До сих пор «Мизи» держалась, но «Кактус», налетев на нее всей тяжестью, сорвал ее с места, и теперь обе шхуны, сцепившись снастями, скользили по вспененным волнам. Видно было, как их команды рубят снасти, стараясь разъединить суда. «Роберта», освободившись от якорей и поставив кливер, направлялась к выходу в северо-западном конце лагуны. Ей удалось пройти его, и с «Малахини» видели, как она вышла в открытое море. Но «Мизи» и «Кактус» так и не сумели расцепиться, и их выбросило на берег в полумиле от выхода из атолла.

Ветер неуклонно крепчал, и казалось, этому не будет конца. Чтоб выдержать его напор, приходилось напрягать все силы, и тот, кто вынужден был ползти по палубе против ветра, в несколько минут доходил до полнейшего изнеможения. Герман и канаки упрямо делали свое дело — крепили все, что только возможно было закрепить. Ветер рвал с плеч легкие рубашки и раздирал их в клочья. Люди двигались так медленно, словно тела их весили много тонн; при этом они постоянно искали какой-нибудь опоры и не выпускали ее, не ухватившись сначала за что-нибудь другой рукой. Свободные концы тросов торчали горизонтально, и ветер, измочалив их, отрывал по клочку и уносил прочь.

Малхолл тронул за плечо тех, кто был рядом, и указал на берег. Крытые травой навесы исчезли, а дом Парлея шатался, как пьяный. Ветер дул вдоль атолла, и поэтому дом был защищен вереницей кокосовых пальм, тянувшейся на несколько миль. Но громадные валы, переклевывая через атолл, снова и снова с бешенством ударяли в стены, подтачивая и дробя фундамент. Дом уже накренился и сползал по песчаному склону; он был обречен. Там и тут люди взбирались на кокосовые пальмы и привязывали себя к дереву. Пальмы не раскачивались на ветру, но, согнувшись под его напором, уже не разгибались, а только дрожали, как натянутая струна. Под ними на песке вскипала белая пена.

Вдоль лагуны перекачивались теперь такие же громадные валы, как и в открытом море. Им было где разгуляться на протяжении десяти миль от наветренно-

го края атолла до места стоянки судов, и все шхуны то глубоко ныряли, накрытые волной, то поднимались чуть ли не отвесно на ее гребне. «Малахини» стала зарываться носом до самого полубака, а в иные минуты палубу до поручней заливало водой.

— Пора пустить ваш мотор! — во все горло закричал Гриф, и капитан Уорфилд, ползком добравшись до механика, стал громко и решительно отдавать приказания.

Мотор заработал на полный ход вперед, и «Малахини» начала держаться получше. Правда, она по-прежнему зарывалась носом, но уже не так яростно рвалась с якорей. Однако и теперь цепи были натянуты до отказа. С помощью мотора в сорок лошадиных сил удалось лишь немного ослабить их натяжение.

А ветер все крепчал. Маленькой «Нухиве», стоявшей на якоре рядом с «Малахини», ближе к берегу, приходилось совсем плохо; притом ее мотор до сих пор не исправили, и капитана не было на борту. Она так часто и так глубоко зарывалась носом, что всякий раз, как ее захлестывало волной, на «Малахини» теряли надежду вновь ее увидеть. В три часа дня «Нухиву» накрыло волной; не успела вода схлынуть с палубы, как вдогонку обрушился новый вал, и на этот раз «Нухива» уже не вынырнула.

Малхолл вопросительно взглянул на Грифа.

— Проломил люки! — прокричал тот в ответ.

Капитан Уорфилд показал на «Унифрид» — маленькую шхуну, которая металась и ныряла по другую сторону от «Малахини», — и что-то закричал в самое ухо Грифу. Но до того доносились только смутные обрывки слов, остальное исчезало в реве урагана.

— Дрянная посудина... Якоря держат... Но как сама не рассыплется!.. Стара, как Ноев ковчег.

Часом позже Герман снова показал на «Унифрид». Резкие рывки, сотрясавшие шхуну всякий раз, когда якорные цепи удерживали ее на месте, просто-напросто разнесли ее на куски; вся носовая часть вместе с фок-мачтой и битенгом исчезла. Шхуна повернулась бортом к волне, скатилась в провал между двумя валами, постепенно погружаясь передней частью в воду, — и так, почти опрокинутую, ее погнало ветром к берегу.

Теперь осталось только пять шхун, из них с мотором одна лишь «Малахини». Две из оставшихся; опасаясь, как бы и их не постигла участь «Нухивы» или «Унифрид», последовали примеру «Роберты»: расклепали якорные цепи и понеслись к выходу из лагуны. Первой шла «Долли», но у нее сорвало кливер, и она разбилась на подветренном берегу атолла, неподалеку от «Мизи» и «Кактуса». Это не остановило «Мону», она тоже снялась с якорей и тоже разбилась, не достигнув устья лагуны.

— А хорош у нас мотор!— во все горло крикнул капитан Уорфилд Грифу.

Владелец шхуны крепко пожал ему руку.

— Мотор себя окупит!— закричал он в ответ.— Ветер заходит к югу, теперь нам станет легче!

Ветер по-прежнему дул со все нарастающей силой, но при этом постепенно менял направление, поворачивая к югу и юго-западу, так что наконец три оставшиеся шхуны стали под прямым углом к берегу. Ураган подхватил то, что осталось от дома Парлея, и швырнул в лагуну; обломки понесло на уцелевшие суда. Миновав «Малахини», вся эта груда рухнула на «Папару», стоявшую в четверти мили позади нее. Команда кинулась на бак и в четверть часа отчаянными усилиями свалила остатки дома за борт, но при этом «Папара» потеряла фок-мачту и бушприт.

Левее «Малахини» и ближе к берегу стояла «Тахаа», стройная, точно яхта, но с несоразмерно тяжелым рангоутом. Ее якоря еще держались, но капитан, видя, что ветер не ослабевает, приказал рубить мачты.

— С таким мотором нас можно поздравить!— крикнул Гриф своему шкиперу.— Нам, пожалуй, не придется рубить мачты.

Капитан Уорфилд с сомнением покачал головой.

Как только ветер переменился, улеглось и волнение в лагуне, зато теперь шхуну бросали то вверх, то вниз перелестывающие через атолл валы океана. На берегу уцелели далеко не все пальмы. Одни были сломаны чуть не у самой земли, другие вырваны с корнем. На глазах у тех, кто был на борту «Малахини», под напором ветра ствол одной пальмы переломился посередине, и верхушку вместе с тремя людьми, уцепившимися за нее, швырнуло в лагуну. Двое, оставив дерево, поплыли к «Тахаа». Немного позже, перед тем, как совсем стемне-

ло, один из них показался на корме шхуны, прыгнул за борт и поплыл к «Малахини», уверенно и сильно рассекая мелкие, острые, брызжащие пеной волны.

— Это Тай-Хотаури,—вглядевшись, определил Гриф.—Теперь мы узнаем все новости.

Канак, ухватившись за конец каната, вскарабкался на нос и пополз по палубе. Ему дали кое-как укрыться от ветра за рубкой и передохнуть; и потом, отрывочно, больше жестами, чем словами, он стал рассказывать:

— Нарий... разбойник, дьявол!.. хотел украсть жемчуг... убить Парлея... один человек убьет... никто не знает кто... Три канака, Нарий, я... пять бобов в шляпе... Нарий сказал, один боб черный... Нарий проклятый обманщик—все бобы черные... пять черных... в сарае темно... все вытащили черные... Подул большой ветер, надо спастись... все влезли на деревья... Этот жемчуг приносит несчастье, я вам говорил... он приносит несчастье...

— Где Парлей?—крикнул Гриф.

— На дереве... с ним три канака... А Нарий с одним канаком на другом дереве... Мое дерево сломалось и полетело к чертям, а я поплыл на шхуну...

— Где жемчуг?

— На дереве, у Парлея. Может, он еще достанется Нарию...

Одному за другим Гриф прокричал на ухо спутникам то, что рассказал ему Тай-Хотаури. Больше всех возмущился капитан Уорфилд, он даже зубами заскрипел от ярости.

Герман спустился в трюм и вернулся с фонарем, но как только подняли фонарь над рубкой, ветер задул его. Кое-как общими усилиями удалось наконец зажечь нактоузный фонарик.

— Ну и ночь!—закричал Гриф в самое ухо Малхоллу.—И ветер все крепчает!

— А какая скорость?

— Сто миль в час... а то и двести... не знаю... никогда ничего подобного не видел.

Волнение в лагуне тоже усиливалось, так как огромные валы все время перекатывались через атолл. За многие сотни миль ветер гнал воды океана обратно, навстречу отливу, преодолевая его и переполняя лагуну. А как только начался прилив, наступающие на атолл

валы стали еще выше. Луна и ветер точно сговорились опрокинуть на Хикихохо весь Тихий океан.

В очередной раз заглянув в машинное отделение, капитан Уорфилд вернулся растерянный и сообщил, что механик лежит в обмороке.

— Нам нельзя остановить мотор,— прибавил он беспомощно.

— Ладно,— сказал Гриф.— Тащите механика на палубу. Я его сменяю.

Люк, ведущий в машинное отделение, был задрен наглухо, и попасть туда можно было только из каюты, через тесный, узкий проход. В крохотном машинном отделении в нестерпимой жаре и духоте. воняло бензиновым перегаром. Гриф наскоро, опытным глазом, оглядел мотор и все снаряжение. Потом задул керосиновую лампу и начал работать в полной темноте; ему светил лишь кончик сигары,— он курил их одну за другой, всякий раз выходя в каюту, чтобы зажечь новую. Каким он ни был спокойным и уравновешенным, а вскоре и его нервы стали сдавать — так тяжело было оставаться здесь взаперти, вдвоем с механическим чудовищем, которое надрывалось, пыхтело и стонало в этой гулкой тьме. Гриф был обнажен до пояса, перепачкан смазкой и машинным маслом, весь в ссадинах и синяках, потому что качкой его то и дело швыряло и бросало во все стороны; от спёртого, отравленного воздуха кружилась голова; так он работал час за часом, без конца возился с мотором, осыпая его и каждую его часть в отдельности то благословениями, то проклятиями. Зажигание начало пошаливать. Горючее поступало с перебоями. И что хуже всего, начали перегреваться цилиндры. В каюте наскоро посовещались, причем метис-механик просил и умолял на полчаса выключить мотор, чтобы дать ему хоть немного остыть и тем временем наладить подачу воды. А капитан Уорфилд твердил, что выключать ни в коем случае нельзя. Метис клялся, что тогда мотор выйдет из строя и все равно остановится, но уже навсегда. Гриф, весь перепачканный, избитый, исцарапанный, сверкая воспаленными глазами и крича во все горло, выругал обоих и распорядился по-своему. Малхоллу, Герману и второму помощнику велено было оставаться в каюте и дважды и трижды профильтровать бензин. В настиле машинного отделения прорубили

отверстие, и один из канаков стал раз за разом окатывать цилиндры водой из трюма, а Гриф поминутно смазывал все подвижные части.

— Вот не знал, что вы такой специалист по бензину,— с восхищением сказал капитан Уорфилд, когда Гриф вышел в каюту, чтобы глотнуть менее отравленного воздуха.

— Я купаюсь в бензине,— ответил тот, яростно скрипнув зубами.— Я пью его...

Какое еще употребление нашел Гриф для бензина, осталось неизвестным: внезапно «Малахини» круто зарылась носом в волну — и всех, кто находился в каюте, и бензин, который они процеживали, с размаху отбросило на переднюю переборку. Несколько минут никто не мог подняться на ноги, люди катались по палубе то взад, то вперед, их било и колотило о переборки. На шхуну обрушились один за другим три гигантских вала, она вся закрипела, застонала, затряслась под непосильным грузом переполнившей палубу воды. Гриф пополз к мотору, а капитан Уорфилд, улучив минуту, выбрался по трапу на палубу.

Прошло добрых полчаса, прежде чем он вернулся.

— Вельбот снесло,— сообщил он.— И ялик! Все смыло, остались только палуба да люки! Если бы не мотор, тут бы нам и крышка. Действуйте дальше!

К полуночи голова и легкие механика настолько очистились от паров бензина, что он сменил Грифа, и тот наконец мог выйти на палубу и отдышаться. Он присоединился к остальным — они скорчились позади рубки, держась за все, за что только можно было ухватиться, и вдобавок для верности накрепко привязав себя веревками. Все смешалось в этой человеческой каше, потому что и для канаков не было другого укрытия. Некоторые из них по приглашению капитана сунулись было в каюту, но бензиновый угар скоро выгнал их оттуда. «Малахини» то и дело ныряла или ее окатывало волной, и люди вдыхали воздух, полный мельчайших брызг и водяной пыли.

— Тяжеленько приходится, а, Малхолл? — крикнул гостю Гриф в перерыве между двумя валами.

Малхолл, задыхаясь и кашляя, только кивнул в ответ.

Вода, скопившаяся на палубе, не успевала уходить за борт через шпигаты — она перекачивалась по шхуне,

выплескивалась через фальшборт, и тут же «Малахини» черпала другим бортом или порою совсем оседала на корму, задрав нос в небо, и тогда водяная лавина проносилась по всему судну из конца в конец. Потоки воды хлестали по трапам, по палубе рубки, окатывали, били и сталкивали друг с другом укрывшихся здесь людей и водопадом выливались за корму.

Малхолл первый заметил при тусклом свете фонарика темную фигуру и показал на нее Грифу. Это был Нарий Эринг. Он каким-то чудом держался на палубе, скорчившись в три погибели, совершенно голый; на нем был только пояс, и за поясом — обнаженный нож.

Капитан Уорфилд развязал удерживавшие его веревки и перебрался через чужие плечи и спины. Свет фонарика упал на его искаженное гневом лицо. Губы его шевелились, но слова относил ветром. Он не пожелал нагнуться к Эрингу и кричать ему в самое ухо. Он просто указал за борт. Нарий понял. Зубы его блеснули в дерзкой, глумливой усмешке, и он поднялся — рослый, мускулистый, великолепно сложенный.

— Это убийство! — крикнул Малхолл Грифу.

— Собирался же он убить старика Парлея! — закричал в ответ Гриф.

На мгновение вода схлынула с юта, и «Малахини» выпрямилась. Нарий храбро шагнул к борту, но порыв ветра сбил его с ног. Тогда он пополз и скрылся в темноте, но все были уверены, что он прыгнул за борт. «Малахини» снова круто зарылась носом, а когда волна схлынула с кормы, Гриф дотянулся до Малхолла и крикнул тому в ухо:

— Ему это нипочем! Его на Таити зовут Человек-рыба! Переплывет лагуну, вылезет на другом краю атолла, если только от атолла хоть что-нибудь уцелело.

Через пять минут, когда шхуну снова накрыло волной, на палубу рубки, а с нее — на тех, кто укрывался за нею, свалился клубок человеческих тел. Их схватили и держали, пока не схлынула вода, а потом стащили вниз и тогда только разглядели, кто это. На полу, неподвижный, с закрытыми глазами, лежал навзничь старик Парлей. С ним были его родичи канаки. Все трое — голые и в крови. У одного канака рука была сломана и висела, как плеть. У другого была содрана кожа на голове, и зияющая рана сильно кровоточила.

— Дело рук Нария? — спросил Малхолл.

Гриф покачал головой.

— Нет. Их расшибло о палубу и о рубку.

Вдруг все переглянулись, ошеломленные, недоумевающие. Что случилось? Не сразу они поняли, что ветра больше нет. Он прекратился внезапно, будто обрубленный взмахом меча. Шхуна раскачивалась, ныряла в волнах, рвалась с якорей, и только теперь стало слышно, как гремят и лязгают цепи. Впервые люди услышали и плеск воды на палубе. Механик отключил винт и приглушил мотор.

— Мы в мертвой точке циклона, — сказал Гриф. — Сейчас ветер изменит направление. Опять начнется, и еще покрепче. — И, поглядев на барометр, прибавил: — Двадцать девять и тридцать два.

Ему не сразу удалось понизить голос — он столько часов кряду старался перекричать бурю, что теперь, в наступившем затишье, чуть не оглушил окружающих.

— У старика все ребра переломаны, — сказал второй помощник, ощупывая бок Парлея. — Он еще дышит, но дело его плохо.

Парлей застонал, бессильно шевельнул рукой и открыл глаза. Взгляд у него был ясный, осмысленный.

— Мои храбрые джентльмены, — услышали они прерывающийся шепот. — Не забудьте... аукцион... ровно в десять... в аду.

Веки его опустились, нижняя челюсть стала отвисать, но он на мгновение одолел предсмертную судорогу и в последний раз громко, насмешливо хихикнул.

Снова все демоны неба и океана сорвались с цепи. Прежний, уже знакомый рев урагана наполнил уши. «Малахини», подхваченная ветром, совсем легла на борт, с маху описав крутую дугу. Якоря удержали ее; она стала носом к ветру и рывком выпрямилась. Подключили винт, вновь заработал мотор.

— Норд-вест! — крикнул капитан Уорфилд вышедшему на палубу Грифу. — Сразу перескочил на восемь румбов!

— Теперь Эрингу не переплыть лагуну! — заметил Гриф.

— Тем хуже, черт опять принесет его к нам!



ак только центр циклона миновал их, барометр начал подниматься. В то же время ветер быстро слабел. И когда он стал всего лишь обыкновенным сильным штормом, мотор последним судорожным напряжением своих сорока лошадиных сил сорвался с фундамента, подскочил в воздух и тут же рухнул набок. Вода из трюма с шипением окатила его, и все окуталось облаком пара. Механик горестно застонал, но Гриф с нежностью поглядел на эти железные останки и вышел в рубку, комями пакли обтирая руки и грудь, перепачканные машинным маслом.

Солнце уже поднялось высоко, и дул легчайший ветерок, когда Гриф вышел на палубу, зашив рану на голове одного родича Парлея и вправив руку второму. «Малахини» стояла у самого берега. На баке Герман с командой выбирали якоря и приводили в порядок перепутавшиеся цепи. «Папара» и «Тахаа» исчезли, и капитан Уорфилд внимательно осматривал в бинокль дальний берег атолла.

— Ни одной мачты не видать,— сказал он.— Вот что получается, когда плаваешь без мотора. Должно быть, их унесло в открытое море еще до того, как ветер переменился.

На берегу, в том месте, где стоял прежде дом Парлея, не видно было никаких следов жилья. На протяжении трехсот ярдов, там, где океан ворвался в кольцо атолла, не сохранилось не только дерева, но и ни единого пня. Дальше кое-где одиноко стояли уцелевшие пальмы, но большинство было сломлено у самого корня, торчали лишь короткие обрубки. Таи-Хотаури заметил, что на одной из пальм среди листьев что-то шевелится. Шлюпки с «Малахини» смыло ураганом, и Таи-Хотаури бросился в воду и поплыл к берегу, затем вскарабкался на дерево. Оставшиеся на шхуне не спускали с него глаз.

Потом он вернулся, и ему помогли поднять на борт девушку туземку из числа домочадцев Парлея. Но прежде чем подняться самой, она протянула наверх измятую, поломанную корзинку. В корзинке оказался выводок слепых котят—они были уже мертвы, кроме

одного, который слабо попискивал и шатался на неловких, расползающихся лапках.

— Вот те на! — сказал Малхолл. — А это кто?

И все увидели, что берегом идет человек. Его движения были так беспечны и небрежны, словно он просто вышел поутру прогуляться. Капитан Уорфилд скрипнул зубами: это был Нарий Эринг.

— Эй, шкипер! — крикнул Нарий, поравнявшись с «Малахини». — Может, вы пригласите меня к себе и угостите завтраком?

Кровь бросилась в лицо капитану Уорфилду, и даже шея его побагровела. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся словами.

— Я вас... в два счета... — только и сумел он выговорить.



Рожденная в ночи

Вечер был жаркий, какие не часто выдаются даже в Сан-Франциско, и в раскрытые окна старинного клуба Алта-Инью проникал далекий и глухой шум улиц. Разговор зашел о законах против взяточничества, о том, что если его не пресекут, то, по всем признакам, город будет наводнен преступниками. Приводились всевозможные примеры человеческой низости, злобы, нравственной испорченности. Под конец кто-то вспомнил о вчерашнем происшествии, и было произнесено имя О'Брайена, популярного молодого боксера, накануне вечером убитого на ринге. Это имя сразу словно внесло свежую струю в атмосферу комнаты. О'Брайен был целомудренный юноша, идеалист. Он не пил, не курил, не сквернословил и был прекрасен, как молодой бог. Он даже на ринг носил с собой молитвенник. Молитвенник этот нашли в его уборной, в кармане пальто... после его смерти.

Он был воплощением юности, чистой, здоровой, ничем не запятнанной юности, к которой с восторгом зывают люди, когда они уже ее утратили и к ним подкрадывается старость. И в этот вечер мы так усиленно звали к ней, что пришла Мечта и на время

увлекла нас в мир романтики, далеко от этого города, сердито шумевшего за окном. Такое настроение отчасти было навеяно отрывками из Торо¹, которые вздумал прочесть нам Бардуэл. Однако не он, а лысый и обрюзгший Трифден предстал перед нами в этот вечер в роли романтического героя. Слушая его рассказ, мы сперва спрашивали себя, сколько же стаканов виски он поглотил после обеда, но скоро забыли и думать об этом.

— Случилось это в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, мне было тогда тридцать пять лет,— начал Трифден.— Знаю, вы сейчас мысленно подсчитываете... Ну что ж, от правды не уйдешь— мне сорок семь, а на вид можно дать на десять лет больше, и доктора говорят... ну, да к черту всех докторов!

Он поднял высокий бокал к губам и пил медленно, чтобы успокоиться.

— Но я был молод... когда-то. Да, двенадцать лет назад на голове у меня была не лысина, а густая шевелюра, я был крепкий парень, стройный и подтянутый, как спортсмен, и самый долгий день казался мне слишком коротким. Ты же помнишь, Милнер, мы с тобой давно знакомы. Ну, скажи, разве я не был молодцом хоть куда?

Милнер кивнул головой. Он, как и Трифден, был горным инженером и тоже сколотил себе состояние в Клондайке.

— Ты прав, старик,— сказал Милнер.— Никогда не забуду, как ты разделался с лесорубами в тот вечер, когда какой-то корреспондентшишка затеял скандал. В то время Слэвин был в отъезде,— пояснил он нам,— и его управляющий натравил своих людей на Трифдена.

— А полюбуйтеся на меня сейчас,— с горечью сказал Трифден.— Вот что сделала со мной золотая лихорадка. У меня бог знает сколько миллионов, а в душе — пустота и в жилах ни капли горячей красной крови. Я теперь вроде медузы — огромная студенистая масса протоплазмы... Бррр!

¹ Торо Генри (1817—1862) — выдающийся американский писатель, близкий к группе «трансценденталистов», выступал против рабства. Торо — мастер лирической прозы, замечательной своей психологической глубиной, тонким изображением природы, талантливый публицист. Торо был одним из любимых писателей Д. Лондона.

Голос его оборвался, и он для утешения снова отхлебнул из стакана.

— В те дни женщины заглядывались на меня. На улице они оборачивались, чтобы взглянуть еще раз. Странно, что я так и не женился... Все из-за той девушки... О ней-то я и хотел вам рассказать. Я встретил ее за тысячу миль — а то и еще дальше — от всех мест, где живут белые люди. И это она процитировала мне те самые строки Торо, которые только что читал Бардуэл, — о богах, рожденных при свете дня, и богах, рожденных в ночи.

Это было после того, как я обосновался на Голстеде, не подозревая даже, каким золотым дном окажется этот ручей. Я отправился на восток через Скалистые Горы к Большому Невольничьему озеру. На севере Скалистые Горы не просто горный кряж: это рубеж, стена, за которую не проникнешь. В старые времена бродячие охотники изредка переходили эти горы, но большинство таких смельчаков погибало в пути. Именно потому, что это считалось трудным делом, я и взялся за него. Таким переходом мог гордиться любой. Я и сейчас горжусь им больше, чем всем, сделанным мною в жизни.

Я очутился в неведомой стране. Ее огромные просторства еще никем не были исследованы. Здесь никогда не ступала нога белого человека, а индейские племена пребывали почти в таком же первобытном состоянии, как десять тысяч лет назад... Я говорю — почти, так как они уже и тогда изредка вступали в торговые сношения с белыми. Время от времени отдельные группы индейцев переходили горы с этой целью. Но даже Компании Гудзонова залива не удалось добраться до стоянок и прибрать их к рукам.

Теперь о девушке. Я поднимался вверх по ручью, который в Калифорнии считался бы рекой, ручью безымянному и не нанесенному ни на одну карту. Вокруг расстилалась прекрасная долина, то замкнутая высокими стенами каньонов, то открытая. Трава на пастбищах была почти в человеческий рост, луга пестрели цветами, там и сям высились кроны великолепных старых елей. Мои собаки, тащившие весь груз на своих спинах, окончательно выбились из сил, и лапы у них были стерты до крови. Я стал разыскивать какую-нибудь стоянку индейцев, у которых надеялся достать нарты и

нанять погонщиков, чтобы с первым снегом продолжать путь.

Стояла поздняя осень, и меня поражала стойкость здешних цветов. По всей видимости, я находился где-то в субарктической Америке, высоко в Скалистых Горах, а между тем вся земля была покрыта сплошным ковром цветов. Когда-нибудь туда придут белые и засеют эти просторы пшеницей.

Наконец я заметил дымок, услышал лай собак — индейских собак — и дошел до становища. Там было, вероятно, человек пятьсот индейцев, а по количеству навесов для вяления мяса я понял, что осенняя охота была удачной. И здесь-то встретил ее, Люси. Так ее звали. С индейцами я мог объясняться только жестами, пока они не привели меня к большому вигваму — это что-то вроде шатра, открытого с той стороны, где горит костер. Вигвам был весь из золотисто-коричневых лосиных шкур. Внутри царили чистота и порядок, каких я не встречал ни в одном жилище индейцев. Постель была постлана на свежих словых ветках: на них лежала грудa мехов, а сверху — одеяло из лебяжьего пуха, белого лебяжьего пуха. Мне не доводилось видеть ничего подобного этому одеялу! И на нем, скрестив ноги, сидела Люси. Кожа у нее была смуглая, орехового цвета. Я назвал ее девушкой. Нет, это была женщина, смуглая амазонка, царственная в своей пышной зрелости. А глаза у нее были голубые. Да, вот что тогда меня потрясло: ее глаза, темно-голубые — в них как будто смешались синева моря с небесной лазурью — и умные. Более того, в них искрился смех, жаркий, напоенный солнцем, в них было что-то глубоко человеческое и вместе с тем... как бы это объяснить... бесконечно женственное. Что вам еще сказать? В этих голубых глазах я прочел и страстное томление, и печаль, и безмятежность, полную безмятежность, подобную мудрому спокойствию философа.

Неожиданно Трифден прервал свой рассказ.

— Вы, друзья, наверно, думаете, что я хлебнул лишнего. Нет. Это только пятый стакан после обеда. Я совершенно трезв и настроен торжественно. Ведь сейчас со мной говорит моя бывшая благословенная молодость. И не «старый Трифден», как называют меня теперь, а моя молодость утверждает, что это были самые удиви-

тельные глаза, какие я когда-либо видел: такие спокойные и в то же время тоскующие, мудрые и пытливые, старые и молодые, удовлетворенные и ищущие. Нет, друзья, у меня не хватает слов описать их. Когда я расскажу вам о ней, вы все сами поймете...

Не поднимаясь с места, она протянула мне руку. «Незнакомец,— сказала она, — я очень рада вам».

Знаете вы резкий северо-западный говор? Вообразите мои ощущения. Я встретил женщину, белую женщину, но этот говор! Чудесно было здесь, на краю света, встретить белую женщину, но ее говор, ей-богу, причинял боль! Он резал уши, как фальшивая нота. И все же эта женщина обладала поэтической душой. Слушайте—и вы поймете это.

Она сделала знак—и, верите ли, индейцы тотчас вышли. Они беспрекословно повиновались ей, как вождю. Она велела мужчинам соорудить для меня шатер и позаботиться о моих собаках. Индейцы выполнили ее приказания. Они не позволили себе взять из моих вещей даже шнурка от мокасин. Они видели в ней ту, *Которой Следует Повиноваться*. Скажу вам, меня пронизала дрожь при мысли, что здесь, за тысячу миль от ничьей земли, белая женщина повелевает племенем дикарей.

«Незнакомец,— сказала она,— я думаю, вы первый белый человек, проникший в эту долину. Сядьте, поговорим, а потом и поедем. Куда вы держите путь?»

Меня снова покорила ее выговор. Но вы пока забудьте о нем. Уверяю вас, я и сам забыл о нем, сидя там, на лебяжьем одеяле, и слушая эту замечательную женщину, которая словно сошла со страниц Торо или другого поэта.

Я прожил неделю в той долине. Она сама пригласила меня. Обещала дать мне собак, нарты и проводников, которые укажут мне самую удобную дорогу через перевал в пятистах милях от их становища. Ее шатер стоял в стороне от других, на высоком берегу реки, а несколько девушек-индианок стряпали для нее и прислуживали ей. Мы беседовали с ней, беседовали без конца, пока не пошел первый снег и не установился санный путь. И вот что Люси рассказала мне: она родилась на границе, в семье бедных переселенцев, знаете, какая у них жизнь: работа, работа, которой не видно конца.



«Я не замечала красоты мира,— рассказывала она.— У меня не было времени. Я знала, что она рядом, повсюду вокруг нашей хижины, но нужно было печь хлеб, убирать, стирать и делать всякую другую работу. Порой я умирала от желания вырваться на волю, особенно весной, когда пение птиц просто сводило меня с ума. Мне хотелось бежать далеко в высокой траве пастбищ, чтобы ноги мокли от росы, перелезть через изгородь и уйти в лес, далеко-далеко, до самого перевала, чтобы оттуда увидеть все. Хотелось бродить по каньонам, у озер, дружить с выдрами и пятнистыми форелями, тихонько подкравшись; наблюдать за белками, кроликами, за всякими зверьками, посмотреть, чем они заняты, вывести их тайны. Мне казалось, что, будь у меня время, я бы все время лежала в траве среди цветов и могла бы услышать, о чем они шепчутся между собой, рассказывая друг другу то, чего не знаем только мы, люди».

Трифден подождал, пока наполнят его стакан.

— А в другой раз она сказала:

«Меня мучило желание бродить по ночам, как дикие звери, при свете луны, под звездами, бежать обнаженной, чтобы мое белое тело ласкал прохладный бархат мрака, бежать, не оглядываясь. Как-то раз вечером, после тяжелого, очень жаркого дня — в этот день все не ладилось у меня, масло не сбивалось,— я была раздражена, измучена и сказала отцу, как мне хочется иногда бродить ночью. Он испуганно и удивленно посмотрел на меня, дал две пилюли и велел лечь в постель и хорошенько выспаться, тогда я утром буду здорова и весела. С тех пор я больше никому не поверяла свои мечты».

Хозяйство их пришло в полный упадок, семья голодала, и они перебрались в Сиэтл. Там Люси работала на фабрике, где рабочий день долг и работа изнурительная, тяжелая. Спустя год она поступила официанткой в дешевый ресторан, харчевню, как она называла его.

«Я думаю,— сказала мне однажды Люси,— что у меня всегда была потребность в романтике. А какая же романтика в сковородах и корытах, на фабриках и в дешевых ресторанах?»

Когда ей исполнилось восемнадцать лет, она вышла замуж за человека, который собирался открыть ресторан

в Джуно. У него были небольшие сбережения, и ей он казался богачом. Люси не любила его — в разговорах со мной она всегда это подчеркивала, — но она очень устала, и ей надоело тянуть лямку изо дня в день. К тому же Джуно находится на Аляске, и Люси захотелось увидеть этот край чудес. Но мало ей довелось увидеть. Муж ее открыл дешевый ресторан, и очень скоро Люси узнала, для чего он женился на ней: просто чтобы иметь даровую служанку. Скоро ей всем пришлось заправлять и делать всю работу, начиная от обслуживания посетителей и кончая мытьем посуды. Кроме того, она целый день стряпала. Так она прожила четыре года.

Можете себе представить это дикое лесное существо с первобытными инстинктами, жаждущее свободы, заточенное в грязный кабак и принужденное выполнять каторжную работу на протяжении четырех убийственных лет!

«Все было так бессмысленно, — говорила она. — Кому это было нужно? Для чего я родилась? Неужели весь смысл существования в том, чтобы работать, работать и всегда быть усталой? Ложиться спать усталой, вставать усталой: и каждый день как две капли воды похож на другой или еще тяжелее!» От разных святош она слышала разговоры о бессмертии, но сомневалась в том, чтобы ее земная жизнь была залогом бессмертия.

Мечты о другой жизни не переставали волновать ее, хотя они приходили все реже. Она прочла несколько книг — не знаю, какие именно, — вероятно, романы из серии «Библиотека Приморья», но даже они давали пищу ее фантазии.

«Иногда, — рассказывала она, — у меня так кружилась голова от кухонной жары и чада, что казалось, если я не глотну свежего воздуха, то упаду в обморок. Я высовывалась из окна, закрывала глаза, и передо мной вставали самые удивительные картины. Мне представлялось, что я иду по дороге, а кругом — такая тишина, такая чистота: ни пыли, ни грязи. В душистых лугах журчат ручейки, играют ягнята, ветерок разносит запахи цветов, и все залито мягким солнечным светом. Коровы лениво бродят по колено в воде, и девушки купаются в ручье, такие беленькие, стройные. Мне казалось, будто я нахожусь в Аркадии. Я читала про эту страну в какой-то книге. А может быть, — мечтала я, — из-за поворота дороги

выедут вдруг верхом рыцари в сверкающих на солнце доспехах или дама на белой, как снег, лошади. Где-то вдали мне мерещились башни замка. Или вдруг чудилось, что за следующим поворотом я увижу белый, словно сотканный из воздуха, сказочный дворец с фонтанами, цветами и павлинами на лужайке... А когда я открывала глаза, кухонный жар снова ударял мне в лицо, и я слышала голос Джейка, моего мужа: «Почему ты не подаешь бобов? Думаешь, я буду ждать целый день?» Романтика! Пожалуй, я была ближе всего к ней в тот день, когда пьяный повар-армянин поднял скандал и пытался перерезать мне горло кухонным ножом, а я уложила его на месте железной ступкой, которой толкла картофель, но раньше обожгла себе руку о горячую плиту.

Я мечтала о беззаботной, радостной жизни, красивых вещах... однако мне часто приходило в голову, что счастье не суждено мне и мой удел — только стряпня и мытье посуды. В то время в Джуно разгульное было житье. Я видела, как вели себя другие женщины, но их образ жизни не соблазнял меня. Я хотела быть чистой; не знаю, почему, но вот хотелось так. Не все ли равно — умереть за мытьем посуды или так, как умирали эти женщины?»

Трифден на мгновение умолк, словно желая собраться с мыслями.

— Да, вот какую женщину я встретил там: она была вождем племени диких индейцев и владела территорией в несколько тысяч квадратных миль. И случилось это довольно просто, хотя, казалось, ей суждено было жить и умереть среди горшков и сковородок. Мечта ее осуществилась.

«Настал день моего пробуждения,— рассказывала она,— в этот день мне случайно попал в руки клочок газеты со словами, которые я помню до сих пор». И она процитировала мне строки из книги Торо «Вопль человека»:

«Молодые сосны вырастают в маисовом поле из года в год, и это для меня явление отрадное. Мы говорим, что надо цивилизовать индейцев, но это не делает их

лучше. Оставаясь воинственным и независимым, живя уединенной жизнью в лесу, индеец не утратил связи со своими богами, и время от времени ему выпадает счастье редкого и своеобразного общения с природой. Ему близки звезды и чужды наши кабаки. Неугасимый свет его души кажется тусклым, ибо он далек нам. Он подобен бледному, но благодетельному свету звезд, соперничающему с ослепительно ярким, но вредным и недолговечным пламенем свечей.

У жителей островов Товарищества были боги, рожденные при свете дня, но они считались менее древними, чем боги, рожденные в ночи...

Люси процитировала эти строки, все от слова до слова, и они в ее устах звучали торжественно, как догмат веры — правда, языческой, но вобравшей в себя всю живую силу ее мечты.

«Вот и все: остальное было оторвано,— добавила Люси с глубокой печалью в голосе.— Ведь это был только клочок газеты. Торо — мудрый человек. Хотелось бы побольше узнать о нем».

Она помолчала, и, клянусь вам, ее лицо было невыразимо прекрасно и невинно, как лицо святой, когда она сказала через минуту: «Я была бы для него подходящей женой».

Затем она продолжала свой рассказ:

«Как только я прочла эти строки, мне сразу стало понятно то, что творилось со мной. Видно, я рожденная в ночи. Всю жизнь я прожила среди рожденных днем, а сама была рожденной в ночи. Вот почему мне не мила была такая жизнь, эта стряпня и мытье посуды, вот почему мне так хотелось бегать обнаженной при лунном свете. Я поняла, что грязный кабак в Джуно не место для меня. И вот тогда-то я и сказала: «Довольно». Я уложила свою жалкую одежку и вышла. Джейк пытался удержать меня.

— Что это ты задумала? — спросил он.

— Ухожу в лес, туда, где мне место.

— Никуда ты не пойдешь, — говорит он и хватается меня за плечи. — Это у тебя от жары в кухне разум помутился. Выслушай меня прежде, чем натворишь бед.

Но я направила на него револьвер, маленький кольт-44, сказала: «Вот мой ответ», — и ушла».

Трифден осушил свой стакан и потребовал другой.

— Знаете, что сделала эта девушка? Ей было тогда двадцать два года. Она провела всю жизнь на кухне и знала о мире не больше, чем я о четвертом или пятом измерении. Перед ней были открыты все пути, однако она не пошла в кабак. Она пошла прямо на берег, так как на Аляске предпочитают путешествовать водным путем. Как раз в это время индейская пирога отправлялась в Дайю — вы знаете лодки этого типа, выдолбленные из ствола дерева, узкие, глубокие, длиной футов в шестьдесят. Люси заплатила индейцам несколько долларов и села в лодку.

«Романтика? — говорила она мне. — Романтика началась с первой же минуты. В лодке было, кроме меня, три семьи, так что нельзя было пошевелиться. Под ногами вертелись собаки и ребятишки, и всем приходилось грести, чтобы лодка двигалась. А вокруг высились величественные горы, и над ними облака то и дело скрывали солнце. А тишина какая! Дивная тишина! Иногда где-то вдалеке, среди деревьев, мелькал дымок на охотничьей стсянке. Это путешествие напоминало пикник, веселый пикник, и я уже верила, что мои мечты сбудутся, и все время ожидала, что случится что-то необыкновенное. И оно случилось.

А первый привал на острове! А мальчики, бьющие рыбу острогой! А большой олень, которого один из индейцев уложил на месте! Везде вокруг росли цветы, а подальше от берега трава была густая, сочная, в человеческий рост. Несколько девушек вместе со мной взбирались на холмы, собирали ягоды и коренья, кисловатые, но приятные на вкус. В одном месте мы набрали на большого медведя, который ужинал ягодами. Он зарычал и обратился в бегство, испуганный не меньше, чем мы. А жизнь в лагере, дым костра и запах свежей оленины! Это было восхитительно! Наконец-то я была с рожденными в ночи и чувствовала, что мое место здесь, среди них! В эту ночь, ложась спать, я подняла угол шатра и смотрела на звезды, сверкавшие за черными уступами гор, слушала голоса ночи и впервые в жизни чувствовала себя счастливой, зная, что так будет и завтра, и послезавтра, всегда, всегда, ибо я решила не возвращаться. И я не вернулась.

Романтика! Я узнала ее на следующий день. Нам нужно было перебраться через большой морской рукав

шириной не менее чем в двенадцать — пятнадцать миль. И вот, когда мы были на середине его, поднялась буря. Эту ночь я коротала на берегу одна с огромным волкодавом, так как больше никого не осталось в живых».

— Вообразите себе,— сказал, прерывая рассказ, Трифден,— лодка перевернулась и затонула, а все люди погибли, разбившись о скалы. Только Люси, ухватившись за хвост собаки, добралась до берега, избежав скал, и очутилась на крохотной отмели, единственной на протяжении многих миль.

«К счастью, это был материк,— сказала она.— Я пошла вглубь, прямо через леса и горы, куда глаза глядят. Можно было подумать, что я ищу чего-то,— так спокойно я шла. Я ничего не боялась. Ведь я была рожденной в ночи, и огромный лес не мог погубить меня. А на второй день я нашла то, что мне было нужно. Я увидела полуразвалившуюся хижину на маленькой просеке. Она пустовала, должно быть, уже много лет. Крыша провалилась. На койках лежали истлевшие одеяла, а на очаге стояли горшки и сковородки. Но не это было самое интересное. Вы ни за что не угадаете, что я нашла за деревьями. Там оказались скелеты восьми лошадей, когда-то привязанных к дереву. Они, наверное, умерли с голоду, и от них остались только маленькие кучки костей. У каждой лошади на спине была поклажа, а теперь среди костей валялись мешки из крашеного холста, а в этих мешках находились другие, из лосиных шкур, а в них, как вы думаете, что?»

Люси нагнулась и из-под груды еловых веток, служивших ей постелью, вытащила кожаный мешок. Она развязала его, и мне в руки полился поток золота, какого я никогда не видел: здесь был крупный золотой песок, но больше всего самородков, и по цвету видно было, что все это ни разу еще не подвергалось промывке.

«Ты говоришь, что ты горный инженер,— обратилась она ко мне,— и знаешь эту страну. Можешь ты назвать ручей, где добывают золото такого цвета?»

Я не мог. Золото было почти чистым, без всякой примеси серебра, и я сказал об этом Люси.

«Верно,— подтвердила она,— я продаю его по девятнадцати долларов за унцию. За золото из Эльдорадо больше семнадцати не дают, а минукскому цена около

восемнадцать. Я нашла среди костей восемь выюков золота, по сто пятьдесят фунтов в каждом!

— Четверть миллиона долларов! — воскликнул я.

— Именно так выходит и по моему грубому подсчету, — сказала она. — Вот вам и романтика! Работала, как вол, все свои годы, а стоило мне вырваться на волю — и за три дня столько приключений! Что же случилось с людьми, которые добыли все это золото? Я часто думала об этом. Оставив нагруженных и привязанных лошадей, они бесследно исчезли с лица земли. Никто здесь о них не слышал, никому не известна их участь. И я, рожденная в ночи, считаю себя по праву их наследницей».

Трифден помолчал, закуривая сигару.

— Знаете, что сделала эта женщина? Она спрятала все золото и, захватив с собой только тридцать фунтов, отправилась на берег. Здесь она подала сигнал плившей мимо лодке и в ней добралась до фактории Пэта Хили в Дайе. Закупив снаряжение, она перебралась через Чилкутский перевал. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, за восемь лет до открытия золота в Клондайке, когда берега Юкона еще представляли собой мертвую пустыню. Люси боялась индейцев, но она взяла с собой двух молодых скво, перебралась через озера и спустилась вниз по реке к первым стоянкам на нижнем Юконе. Несколько лет она блуждала здесь, а затем добралась до того места, где я встретил ее. Оно ей понравилось, по ее словам, оттого, что она увидела «огромного самца-оленья, стоящего в глубине долины по колена в пурпурных ирисах». Она осталась жить с индейцами, лечила их, завоевала их доверие и постепенно стала править ими. С тех пор она только раз уходила отсюда: с группой молодых индейцев перешла Чилкут, вырыла из тайника спрятанное ею золото и перенесла его сюда.

«И вот я живу здесь, незнакомец, — закончила Люси свой рассказ, — а вот самое ценное из всего, чем я владею».

Она вытащила мешочек из оленьей кожи, который висел у нее на шее, словно медальон, и открыла его. Внутри лежал завернутый в промасленный шелк клочок газеты, пожелтевший от времени, истертый и замусоленный, на котором был напечатан отрывок из Торо.

— И вы счастливы? Довольны?—спросил я.—Имея четверть миллиона долларов, вы могли бы жить, не работая, и в Штатах. Вам здесь, должно быть, очень многого не хватает.

— Не так уж много,—ответила она.—Я не поменялась бы ни с одной женщиной в Штатах. Мое место здесь, среди таких людей, как я. Правда, бывают минуты,—и в ее глазах я увидел голодную тоску, о которой уже говорил вам,—бывают минуты, когда мне страстно хочется, чтобы здесь очутился этот Торо.

— Зачем?—спросил я.

— Чтобы я могла выйти за него замуж. Временами я чувствую себя очень одинокой. Я ведь только женщина, самая обыкновенная женщина. Я слышала про женщин другого сорта, которые, как и я, сбегали из дому и проделывали удивительные вещи, например, становились солдатами или моряками. Но это странные женщины. Они и с виду больше похожи на мужчин, чем на женщин, не знают потребностей, которые есть у настоящих женщин. Они не жаждут любви, не жаждут иметь детей, держать их в объятиях и сажать к себе на колени. А я как раз такая женщина. Судите сами, разве я похожа на мужчину?

Нет, она ничуть не походила на мужчину. Она была красивая, смуглая женщина с здоровым, округлым телом и чудесными темно-голубыми глазами.

— Разве я не женщина?—переспросила она.—Да, такая, как большинство других. И странно: оставаясь во всем рожденной в ночи, я перестаю быть ею, когда дело касается любви. Я думаю, дело в том, что люди всегда любят себе подобных. Так было и со мной—по крайней мере все эти годы.

— Неужели же...—начал я.

— Никогда,—прервала она, и по глазам я понял, что она говорит правду.—У меня был только один муж,—я теперь мысленно называю его «Быком». Он, наверно, и сейчас держит кабак в Джуно. Навестите его, если будете в тех местах, и вы убедитесь, что он заслужил это прозвище.

Я действительно разыскал этого человека два года спустя. Он оказался именно таким, каким описала его Люси. Флегматичный, толстый—настоящий бык. Он

ходил, волоча ноги, между столиками своей харчевни, прислуживая посетителям.

— Вам нужна бы жена в помощь,—сказал я ему.

— У меня она была когда-то,—ответил он.

— Овдовели?

— Да, померла жена. Она всегда твердила, что кухонный чад ее с ума сведет. Так и случилось. В один прекрасный день она пригрозила мне револьвером и удрала с сивашами в пирог. Их настигла буря, и все погибли.

Трифден опять наполнил свой стакан и долго молчал.

— Ну, что же женщина?—напомнил Милнер.—Ты остановился на самом интересном месте. Что дальше?

— А дальше,—продолжал Трифден,—вот что: судя по ее словам, она оставалась дикаркой во всем, но мужем желала иметь человека своей расы. И она очень мило, напрямик объяснила мне, что хочет стать моей женой.

— Незнакомец,—сказала она,—вы мне очень по сердцу. Если вы осенью могли перейти Скалистые Горы и прийти сюда, значит, вам нравится такая жизнь, какую мы ведем. Здесь красивые места, лучше не сыщешь. Почему бы вам не остаться здесь? Я буду хорошей женой.

Она ждала ответа. Должен признаться, соблазн был велик. Я уже почти влюбился в нее. Ведь вы знаете, я так и не женился. И теперь, оглядываясь на прожитую жизнь, могу сказать, что Люси была единственной женщиной, к которой меня влекло. Но вся эта история казалась мне слишком несуразной. И я солгал, как джентльмен: сказал ей, что я уже женат.

— А жена ждет тебя?—спросила она.

— Да,—ответил я.

— И она любит тебя?

— Да.

Тем и кончилось. Люси больше никогда не возвращалась к этому разговору... кроме одного раза, когда ее страсть прорвалась наружу.

— Мне стоит лишь приказать,—сказала она,—и ты не уйдешь отсюда... Да, стоит мне сказать слово—и ты останешься здесь. Но я не произнесу его. Я не хочу тебя, если ты не хочешь меня и тебе не нужна моя любовь.

Она вышла и приказала, чтобы меня снарядили в дорогу.

— Право, это очень печально, что ты уезжаешь,— сказала она, прощаясь со мной.— Ты мне нравишься, я полюбила тебя. Если когда-нибудь передумаешь, возвращайся сюда.

А мне в ту минуту очень хотелось поцеловать ее, ведь я был почти влюблен, но я стеснялся. И к тому же не знал, как она отнесется к этому. Она сама пришла ко мне на помощь.

— Поцелуй меня,— сказала она,— поцелуй, чтобы было о чем вспомнить.

И мы поцеловались там, в снежной долине у Скалистых Гор. Я оставил Люси на краю дороги и пошел вслед за своими собаками. Прошло полтора месяца прежде чем я, одолев перевал, добрался до первого поста на Большом Невольничьем озере.

Город гремел за окнами, как отдаленный прибой. Бесшумно двигаясь, официант принес нам сифоны. В тишине голос Трифдена звучал, как погребальный колокол:

— Было бы лучше, если бы я остался там. Посмотрите на меня.

И мы посмотрели на его седеющие усы, на плешивую голову, мешки под глазами, отвислые щеки, двойной подбородок, на всю эту картину разрушения когда-то сильного и крепкого мужчины, который устал, выдохся, разжирел от слишком легкой и слишком сытой жизни.

— Еще не поздно, старик,— едва слышно сказал Бардуэл.

— Клянусь богом, жаль, что я такой трус!— воскликнул Трифден.— Я мог бы вернуться к ней. Она и сейчас там. Я мог бы подтянуться и жить по-другому еще много лет... с ней... там, в горах. Остаться здесь—это самоубийство! Но взгляните на меня: я старик, а ведь мне всего сорок семь лет. Беда в том,—он поднял свой стакан и посмотрел на него,—беда в том, что такое самоубийство не требует мужества. Я избаловался. Мысль о долгом путешествии на собаках пугает меня; мне страшны сильные утренние морозы, обледенелые нарты.

Привычным движением он снова поднес к губам стакан. Затем внезапно в порыве гнева сделал движение,

как бы желая швырнуть его на пол. Но гнев сменился нерешительностью, затем раздумьем. Стакан опять поднялся и замер у губ. Трифден хрипло и горько рассмеялся, но слова его звучали торжественно:

— Выпьем за Рожденную в Ночи! Она была поистине необыкновенной женщиной!



Когда мир был юным

Он был очень спокойный и хладнокровный человек и потому, вскарабкавшись на стену, стал вслушиваться в сырую тьму, стараясь разгадать, не таится ли где опасность. Но слух его уловил лишь завывание ветра в деревьях да шелест листы на раскачивающихся ветвях. По земле, подгоняемый порывами ветра, полз тяжелый, плотный туман, и хотя он ничего не видел, зато ощущал влажное его дыхание на своем лице. Стена, на которой он сидел, тоже была влажной.

Так же бесшумно, как только что он вскарабкался на стену снаружи, человек соскользнул внутрь. Он достал из кармана электрический фонарик, но не зажег его. Лучше обойтись без света, решил он, хотя кругом царилась крошечная тьма. Зажав фонарь в руке и держа палец на кнопке выключателя, он стал подвигаться вперед. Земля была мягкой и слегка пружинила под ногами, потому что ее устилал многолетний слой мертвой хвои, листьев и мха. Ветви цеплялись за одежду, но разглядеть их во тьме и обойти было невозможно. Он протянул руку и стал продвигаться ощупью, но рука то и дело наталкивалась на толстые стволы огромных деревьев. Кругом высились эти деревья, они подступали со всех сторон, и он вдруг почувствовал, насколько он микроскопически мал среди гигантских стволов, которые нависали над ним, как бы угрожая раздавить. Где-то там, за деревьями, находился дом, и он надеялся отыскать какую-нибудь дорожку или извилистую тропинку, которая привела бы его туда.

Один раз ему почудилось, будто он попал в ловушку. Куда бы он ни повернулся, он всюду наталкивался на

стволы, сучья или на густой кустарник; выхода, казалось, не было. Тогда он осторожно зажег фонарь, сначала направив луч на землю, туда, где стоял. Он медленно обводил лучом вокруг себя, и яркий белый свет выхватывал из темноты во всех подробностях преграды на его пути. Потом он заметил проход между двумя огромными деревьями и, погасив фонарь, двинулся туда, стараясь ступать по сухому: густая листва наверху не давала кое-где осесть туману. Он умело ориентировался и знал, что идет к дому.

И тут случилось нечто неожиданное, немислимое. Его нога наступила на что-то мягкое, живое, и это что-то зафыркало под его тяжестью и стало подниматься. Он отпрыгнул в сторону и замер в напряженном ожидании, готовый броситься прочь или отразить нападение неизвестного существа. Он подождал немного, пытаясь угадать, что за животное выскочило у него из-под ног, а теперь застыло в неподвижности, без единого звука, так же, очевидно, пригнувшись и настороже, как и он сам. Напряжение становилось невыносимым. Держа фонарь перед собой, он нажал кнопку и закричал от ужаса. Он был готов увидеть что угодно—от напуганного тельца или молодого оленя до кровожадного льва,—но то, что он увидел, явилось полнейшей для него неожиданностью. На какое-то короткое мгновение тонкий и белый луч фонаря осветил то, что тысячи лет не изгладят из его памяти—огромного человека с рыжей гривой и бородой; руки, ноги, плечи, большая часть груди были у него обнажены, и только у пояса болталось нечто вроде козлиной шкуры, а ноги были обуты в мокасины из дубленки. Кожа у него была гладкая, без растительности, но потемневшая от солнца и ветра; под ней, точно толстые змеи, тяжелыми узлами сплетались мускулы.

Но даже не появление этого существа, как бы неожиданно оно ни было, заставило человека закричать. Ужас его вызвали невыразимая свирепость в том лице, какой-то животный, дикий блеск голубых глаз, которые почти не ослепил свет, иголки хвои, запутавшиеся в волосах и бороде, огромное тело, изогнувшееся для прыжка. Все это он увидел в одно мгновение. Не успел его крик затихнуть, как существо прыгнуло вперед, а он швырнул в него фонарь и бросился наземь. Он почувствовал его ноги у себя на спине и рванулся в сторону.

Существо не удержалось на ногах и тяжело рухнуло в кустарник.

Когда треск ветвей стих, человек замер на четвереньках и прислушался. Существо рыскало неподалеку, и он опасался, что обнаружит свое присутствие, если тронется с места. Непременно хрустнет какая-нибудь ветка, и тогда существо припустится за ним. Он даже вытащил револьвер, но передумал. К нему вернулось самообладание, и он надеялся теперь убраться потихоньку. Он слышал, как странное существо несколько раз принималось колотить по кустам, стараясь обнаружить его, а потом останавливалось и, очевидно, прислушивалось. Это навело человека на одну мысль. Под рукой у него случился кусок засохшего дерева. Он осторожно обшарил вокруг себя руками, дабы убедиться, что не заденет ничего, когда размахнется, потом поднял деревяшку и бросил ее. Деревяшка была небольшая, ему удалось закинуть ее далеко, и она с шумом упала в кусты. Он слышал, как существо метнулось к тому месту, и тут же пополз прочь. Он полз на четвереньках, медленно и осторожно, пока колени его не стали мокрыми от сырой земли. Когда он останавливался и прислушивался, до него доносились лишь завывание ветра и стук падающих с ветвей капель. Все так же осторожно он поднялся, подбежал к стене, перелез через нее и прыгнул на дорогу.

Ощупью пробираясь сквозь кусты, он вывел велосипед и приготовился сесть на седло. Он как раз переводил одной ногой передачу, чтобы поставить педаль в удобное положение, когда услышал, как на землю легко и, по-видимому, прямо на ноги прыгнуло то существо. Он тут же побежал, держа велосипед за руль, потом, разогнавшись, прыгнул на седло, поймал педали и рванулся вперед. Он слышал позади частое топанье ног по пыльной дороге, но надала ходу и ушел от преследования.

К несчастью, он в спешке покатил в сторону, противоположную городу, и теперь поднимался к холмам. Он хорошо знал, что на этой дороге нет ответвлений и вернуться в город можно единственно поехав назад, мимо того чудовища, а он не находил в себе сил решиться на такой подвиг. Часа через полтора, на каком-то подъеме, который с каждым шагом становился

круче, он слез с велосипеда. Оставив его на обочине дороги, он для вящей безопасности перелез через ограду, попав, как он решил, на выгон, расстелил там на земле газету и сел.

— Ну и ну!—проговорил он, вытирая с лица пот и капли влаги.—Ну и ну!—повторил он, сворачивая сигарету и раздумывая, как бы пробраться к городу.

Но он так и не тронулся с места. Ему не хватило решимости ехать той же дорогой в темноте, и, ожидая рассвета, он уронил голову на колени и задремал.

Человек не знал, сколько прошло времени, когда проснулся, разбуженный тьявканьем молодого койота. Оглядевшись и увидев койота на краю холма позади себя, он заметил, как изменился облик ночи. Туман рассеялся, на небе высыпали звезды и выплыла луна, даже ветер приутих. Стояла мягкая летняя калифорнийская ночь. Он снова опустил голову на колени, но тьявканье не давало ему заснуть. Почти в полусне он вдруг услышал какое-то дикое, жуткое пение. Подняв голову, он увидел, как по гребню холма, перестав лаять, бежит койот, а за ним, тоже молча, мчится то нагое существо, которое он встретил в саду. Койот был молодой и сильный, но существо, как он успел заметить, настигало его; потом они скрылись из виду. Человек поднялся, перелез через ограду и вскарабкался на велосипед. Его било как в лихорадке, но надо было спешить, ибо это единственный шанс на спасение. Чудовище больше не преграждало путь к Мельничной Долине.

Он неся по уклону с головокружительной быстротой, но на повороте в низине, там, где на дорогу падали густые тени, колесо попало в выбоину, и он вылетел через руль из седла.

— Не везет, так не везет,—бормотал он, разглядывая сломанную переднюю вилку.

Потом, взвалив велосипед на плечи, он двинулся пешком. Спустя некоторое время он добрался до каменной ограды сада и, дабы удостовериться, что с ним действительно случилось то странное происшествие, стал искать следы на дороге. Вот они! Огромные, глубоко ушедшие у пальцев в землю, следы мокасин. Он наклонился, рассматривая их, и тут снова услышал жуткое пение. Он видел, как чудовище гналось за

койотом, и понял, что ему не убежать. Он и не пытался обратиться в бегство, решив, что лучше спрятаться в тени на дальней от стены стороне дороги.

Затем он снова увидел то существо, похожее на голого человека,—оно быстро, легко бежало и пело на ходу. Потом оно остановилось как раз напротив человека, и сердце у того замерло. Но существо не направилось к тому месту, где он укрылся; подпрыгнув, оно ухватило за сук стоявшего у дороги дерева и, перебирая руками, быстро, по-обезьяньи, вскарабкалось наверх. Оттуда оно перемахнуло через стену, футах в десяти от нее уцепилось за ветви другого дерева, а потом спрыгнуло на землю в сад. Человек в недоумении постоял несколько минут, потом потихоньку пошел прочь.



II

Дейв Слоттер воинственно облокотился на перегородку, отделявшую приемную от кабинета Джеймса Уорда, старшего компаньона фирмы «Уорд, Ноулз и К^е». Дейва злило, что посматривают на него как-то подозрительно, особенно тот, который стоял перед ним.

— Передайте мистеру Уорду, что я по очень важному делу,—наседал Дейв.

— Я объяснил вам, что мистер Уорд сейчас занят: он диктует стенографистке,—отвечал человек.—Приходите завтра.

— Завтра будет поздно! Доложите ему, что речь идет о жизни или смерти.

Секретарь заколебался, и Дейв поспешил воспользоваться случаем.

— Скажите ему, что вчера вечером я был в Мельничной Долине, там, за заливом, и хочу кое-что сообщить.

— Как доложить?—осведомился секретарь.

— Он не знает меня.

Дейв все еще пребывал в воинственном расположении духа, когда его провели в кабинет, но пыл его поостыл, как только он увидел крупного рыжеволосого мужчину, который, закончив фразу стенографистке, повернулся на вращавшемся кресле к нему. Дейв не знал, почему у него пропал пыл, и залился на себя в душе.

— Вы мистер Уорд?—Он не нашел ничего лучшего, как задать этот глупый вопрос, и оттого разозлился на себя еще больше. Он вовсе не собирался задавать этот вопрос.

— Да,—отвечал мужчина.—А кто вы?

— Гарри Бэнкрофт,—соврал Дейв.—Вы меня не знаете, и мое имя ничего не скажет вам.

— Вы передали, что вчера вечером были в Мельничной Долине. Ну и что?

— Вы ведь там живете?—в свою очередь, спросил Дейв, выразительно поглядев в сторону стенографистки.

— Да, я там живу. По какому делу вы хотели меня видеть? Я очень занят.

— Мне хотелось бы поговорить с вами наедине.

Мистер Уорд оглядел его быстрым, оценивающим взглядом, подумал и сказал:

— Мисс Поттер, сделаем перерыв на несколько минут.

Девушка поднялась, собрала свои бумаги и вышла из кабинета. Дейв с любопытством взирал на мистера Джеймса Уорда, пока тот не прервал цепь зарождавшихся мыслей посетителя.

— Итак...

— Вчера вечером я был в Мельничной Долине,—запинаясь, начал Дейв.

— Это я уже слышал. Что вам угодно?

В Дейве крепло совершенно немыслимое предположение, но он продолжал:

— Я был в вашем доме, вернее, в вашем саду.

— Что вы там делали?

— Я хотел ограбить вас,—откровенно ответил Дейв.—Мне стало известно, что вы живете один с поваром-китайцем, и я решил, что дело безопасное. Но я не попал в дом. Мне помешали. Вот почему я здесь. Я пришел предупредить вас: в вашем саду бегают какой-то дикарь, сущий дьявол, скажу я вам. Такого, как я, на кусочки разорвет. Мне едва удалось спастись. Он совсем почти голый, лазает по деревьям, как обезьяна, и бегают, как олень. Я видел, как он гнался за койотом, и, черт побери, он, кажется, догнал его.

Дейв замолчал, ожидая, какое впечатление произведет его рассказ. Но рассказ не произвел никакого

впечатления. Джеймс Уорд выслушал Дейва со спокойным интересом, не более того.

— Странно, весьма странно,—негромко произнес он.—Так вы говорите дикарь? А зачем вы рассказали об этом мне?

— Чтобы предупредить вас об опасности. Я в некотором роде тоже опасен, но чтоб убивать людей... то есть, если нет крайней необходимости. Вам угрожает опасность, и я решил предупредить о том. Вот и все, можете мне поверить. Само собой, если бы вы пожелали вознаградить меня за хлопоты, я бы не отказался. Это я тоже имел в виду. Впрочем, мне безразлично, отблагодарите вы меня или нет. Я рассказал вам все и выполнил свой долг.

Мистер Уорд задумчиво барабанил пальцами по столу. Дейв обратил внимание, что руки у него были большие, крепкие и ухоженные, несмотря на темный загар. Он снова посмотрел на крошечный кусочек пластыря тельного цвета над бровью, который бросился ему в глаза, как только он вошел. И все же он никак не мог принять ту мысль, что настойчиво лезла в голову.

Мистер Уорд достал бумажник из внутреннего кармана пиджака и, выткнув оттуда банкноту, отдал ее Дейву. Убирая бумажку в карман, тот успел заметить, что банкнота была достоинством в двадцать долларов.

— Благодарю вас,—сказал мистер Уорд, давая понять, что разговор окончен.—Я непременно попрошу проследить за этим делом. Дикарь в собственном саду—это действительно небезопасно.

Но настолько невозмутим был мистер Уорд, что Дейв осмелел. Кроме того, ему явилась новая мысль. А что, если дикарь—лунатик, которого упрятали с глаз, и доводится мистеру Уорду братом. Дейв слышал о таких случаях. Очевидно, мистер Уорд не хочет, чтобы дело получило огласку. Вот и сунул ему двадцать долларов.

— Послушайте,—начал Дейв,—мне только что пришло в голову, что тот дикарь здорово похож на вас...

Дейв не нашел сил продолжать, пораженный переменной в облике своего собеседника: он увидел те же невыразимо свирепые голубые глаза, какие горели в темноте прошлой ночью, те же скрюченные, точно когти, руки, то же огромное тело, изготовившееся для прыжка. На этот раз у Дейва не было фонаря, который

он мог бы швырнуть в лицо, поэтому в тот же миг плечи его сжало железное объятие, и он застонал от боли. Он увидел белые оскаленные клыки, как у собаки, что вот-вот укусит. Борода мистера Уорда терлась о его лицо, зубы приближались к горлу. Но мистер Уорд не укусил. Напротив, Дейв почувствовал, что его противник напрягся, словно зажатый в мощных тисках, затем легко, будто играючи, но с такой силой отшвырнул его, что Дейв отлетел к стене и, ловя ртом воздух, свалился на пол.

— Шантажировать пришел?—прорычал мистер Уорд.—А ну, отдавай назад деньги.

Дейв молча протянул банкноту.

— Я полагал, у тебя добрые намерения. Теперь я вижу, что ты за птица. Убирайся, чтоб духу твоего тут не было, иначе я быстренько упрячу тебя за решетку. Там тебе самое место. Понятно?

— Да, сэр—едва проговорил Дейв.

— А теперь убирайся!

Дейв молча повернулся и пошел к выходу; от того железного объятия отчаянно болели плечи. Когда он взялся за ручку двери, мистер Уорд заговорил:

— Скажи спасибо, что дешево отделался.—Глаза у него светились жестокостью и надменностью.—Я бы тебе руки-ноги оторвал, если бы захотел, и в мусорную корзину выбросил.

— Понимаю, сэр,—с полной убежденностью в голосе отвечал Дейв.

Он открыл дверь и вышел. Секретарь вопросительно поднял голову.

— Ну и ну,—единственно и произнес Дейв, покидая приемную мистера Уорда, а заодно и наш рассказ.



III

Джеймсу Дж. Уорду стукнуло сорок лет, он был весьма преуспевающий бизнесмен и очень несчастный человек. В течение сорока лет он тщетно пытался разрешить проблему собственной личности, и эта проблема с каждым годом становилась все

более страшным несчастьем. В его телесной оболочке обитали как бы два человека, и с точки зрения времени их разделял промежуток в несколько тысяч лет или около того. Он изучил проблему раздвоения личности более тщательно, чем любой из специалистов в этой запутанной и загадочной области психологии. В литературе он не нашел случая, подобного своему. Даже в описаниях беллетристов, отличающихся буйным полетом фантазии, он не обнаружил ничего похожего. Он не был ни доктором Джекиллом, ни мистером Хайдом¹, ни тем несчастным молодым человеком из киплингвской «Самой великой истории на свете». Обе личности в нем были так слиты, что все время каждая из них знала о соседстве другой.

Одна личность была личностью человека современного воспитания и образования, обитавшего в последней четверти девятнадцатого века и первом десятилетии двадцатого. Другая личность принадлежала дикарю, варвару, обитавшему в условиях первобытного существования тысячи лет назад. И Джеймс Уорд так и не мог решить, кем именно был он, ибо постоянно ощущал в себе обе личности. Почти не случалось так, чтобы одно его «я» не знало, что делает другое. Кроме того, к нему не приходили ни видения прошлого, в котором существовало его первобытное «я», ни даже воспоминания о нем. Эта первобытная личность жила сейчас, в настоящем времени, но тем не менее ее всегда тянуло к тому образу жизни, который приличествовал далекому прошлому.

В детстве он был сущим наказанием для матери, отца и докторов, пользовавших семью, хотя никто даже не приблизился к разгадке странного поведения Джеймса. Никто не мог понять, к примеру, откуда у мальчика чрезмерная сонливость в утренние часы и чрезмерный подъем вечером. Не раз видели, как он бродил ночью по коридорам, лазал по крышам на головокружительной высоте или бегал по холмам, и все решили, что мальчик — лунатик. На самом же деле он вовсе не спал — первобытные импульсы толкали его бродить по ночам.

¹ Джекилл и Хайд. — Д. Лондон имеет в виду роман английского писателя Р. Стивенсона «Странная история д-ра Джекилла и мистера Хайда» (1886), в котором писатель разработал тему человека, живущего двойной жизнью.

Однажды он рассказал правду какому-то недалекому лекарю, но в ответ за откровенность тот презрительно высмеял его и назвал все «выдумкой». Однако каждый раз, когда спускались сумерки и наступал вечер, сон словно бежал прочь от Джеймса Уорда. Стены комнаты казались клеткой, раздражали. Он слышал в темноте тысячи каких-то голосов, разговаривающих с ним. Ночь звала его, ибо из всех частей суток именно ночь гнала его из дома. Никто ничего не мог понять, а он не пытался объяснить. Его считали лунатиком и принимали соответствующие меры предосторожности, но они в большинстве случаев оказывались тщетными. С возрастом мальчик становился хитрее, так что чаще всего проводил ночи на открытом воздухе, наслаждаясь свободой. Потом, разумеется, спал до полудня. Поэтому утренние занятия исключались, и лишь днем нанятые учителя могли научить юного Джеймса кое-чему. Так воспитывалась и развивалась современная личность мистера Уорда.

Да, ребенком он был сущим наказанием, таким потом и остался. Он слыл за злого, бессмысленно жестокого чертенка. Домашние врачи в душе считали его умственным уродом и дегенератом. Приятели-мальчишки, которых насчитывались единицы, превозносили его как «силу», но страшно боялись. Он лучше всех лазал по деревьям, быстрее всех плавал и бежал—словом, был самым отчаянным сорванцом, и никто не осмеливался заирать его. Он моментально впадал в ярость и в порыве гнева обладал феноменальной силой.

Когда Джеймсу было девять лет от роду, он убежал в холмы и больше месяца, пока его не нашли и не вернули домой, жил вольной жизнью, скитаясь по ночам. Каким чудом удалось ему не умереть с голоду и вообще выжить, никто не знал. А он и не думал рассказывать о диких кроликах, которых он убивал, о том, как ловил и пожирал выводки перепелов, делал набег на курятники на фермах, о том, как соорудил и выстлал сухими листьями и травой берлогу, где наслаждался в тепле утренним сном.

В колледже Джеймс славился сонливостью и тупостью на утренних лекциях и блестящими успехами на дневных. Занимаясь самостоятельно по пособиям и конспектам товарищей, он кое-как ухитрялся сдавать

экзамены по тем ненавистным ему предметам, которые читались по утрам, зато в других предметах, читавшихся днем, успевал преотлично. Он считался в колледже звездой футбола и грозой для противников, в легкой атлетике его тоже привыкли видеть первым, хотя порой он обнаруживал приступы совершенно непонятной ярости. Что касается бокса, то товарищи попросту боялись встречаться с ним: последнюю схватку он ознаменовал тем, что впился зубами в плечо своему противнику.

После окончания Джеймсом колледжа отец его был в отчаянии, не зная, что делать со своим отпрыском, и наконец решил отправить его на дальнее ранчо в Вайоминг. Три месяца спустя выдавшие виды ковбои вынуждены были признаться, что не могут совладать с Джеймсом, и телеграфировали его отцу, чтобы тот забрал назад своего дикаря. Когда отец приехал, ковбои в один голос заявили, что предпочитают скорее иметь дело с завывающими людоедами, заговаривающимися лунатиками, скачущими гориллами, громадными медведями и разъяренными тиграми, чем с этим выпускником колледжа, носившим аккуратный прямой прибор.

Единственное, что он помнил из жизни своего первобытного «я», был язык. В силу загадочных явлений атавизма в его сознании сохранилось немало слов и фраз первобытного языка. В минуты блаженства, восторга, схватки он имел привычку издавать дикие звуки или раздражаться первобытными напевами. Благодаря этим выкрикам и напевам он с точностью обнаруживал в себе ту пережившую свое время личность, которая давным-давно, тысячи поколений назад, должна была бы стать прахом. Однажды он намеренно спел несколько древних мелодий в присутствии известного лингвиста, профессора Верца, читавшего курс древнеанглийского языка и до самозабвения влюбленного в свой предмет. Прослушав первую песню, профессор наострил уши и пожелал узнать, что это — тарабарский жаргон или испорченный немецкий. После второй он пришел в крайнее возбуждение. Джеймс Уорд закончил свое выступление мелодией, которая неудержимо срывалась у него с уст во время схватки или боя. Тогда профессор Верц объявил, что это не тарабарщина, а древнегерманский, вернее, прагерманский такой давней эпохи, о какой языковеды и понятия не имеют. Он даже представить не мог, в какую

глухую древность уходил тот язык, и все же опытное ухо профессора улавливало в нем нечто такое, что отдаленно напоминало знакомые архаичные формы. Он пожелал узнать, откуда известны Джеймсу эти песни, и попросил его одолжить ему на время тут бесценную книгу, где они приведены. Кроме того, он пожелал узнать, почему Уорд делал вид, будто он круглый невежда по части германских языков. Уорд, разумеется, не смог ни объяснить, почему держался невеждой, ни дать профессору ту книгу. Тогда после длительных, в течение нескольких недель, уговоров и просьб профессор невзлюбил Уорда и стал называть его шарлатаном и бессовестным эгоистом—подумать только, не позволил и краем глаза заглянуть в тот удивительный список на языке, который был древнее, чем самый древний из тех языков, что когда-либо обращали на себя внимание лингвистов.

Сообщение о том, что он наполовину современный американец, а наполовину древний тевтонец, отнюдь не способствовало хорошему настроению вконец запутавшегося молодого человека. Современный американец был, однако, сильного характера, так что он, Джеймс Уорд (если он и в самом деле существовал и имел право на самостоятельную жизнь), принудил к согласию, вернее, компромиссу второго человека, что жил в нем, дикаря, который бродил по ночам, не давая спать своему соседу—культурному, изысканному джентльмену, который хотел жить, любить и заниматься делами, как все нормальные люди. Днем и к вечеру он давал волю одной своей личности, ночью—другой, а утром и урывками в ночные часы отсыпался за двоих. Утром он спал в кровати, как всякий цивилизованный человек. Ночью он спал, как дикое животное, среди деревьев, как и в тот момент, когда на него наступил Дейв Слоттер.

Убедив своего отца ссудить ему значительный капитал, Джеймс Уорд начал заниматься коммерцией, надо признаться, энергично и успешно; он целиком отдавался делам днем, а его компаньон работал по утрам. Покончив с делами, он бывал на людях, но как только время приближалось к девяти или десяти, его охватывало непреодолимое беспокойство, и он поспешно покидал людей до следующего дня. Друзья и знакомые предполагали, что Джеймс Уорд увлечен спортом. И они не ошибались в своем предположении, хотя ни один не

догадывался, каким именно видом спорта, даже если бы увидели, как ночью в холмах Мельничной Долины он гоняется за койотами. И никто не верил капитанам каботажных судов, которые утверждали, что не раз холодным зимним утром в проходе Рэун во время прилива или в быстром течении между островами Козерога и Ангела они видели в нескольких милях от берега плывущего по волнам человека.

На своей вилле в Мельничной Долине Джеймс Уорд жил в полном уединении, если не считать Ли-Синга, повара-китайца и доверенного, который достаточно знал о странностях своего хозяина, но ему хорошо платили за то, чтобы он держал язык за зубами, и он научился молчать. Вдоволь насладившись ночными прогулками и выспавшись утром, Джеймс Уорд после плотного завтрака, приготовленного Ли-Сингом, в полдень переправлялся на пароме через залив в Сан-Франциско и являлся в клуб или контору таким же нормальным, уравновешенным бизнесменом, как и любой другой в городе. Но вот наступал вечер, и ночь снова звала его. Им овладевало беспокойство, обострялось восприятие. Слух становился чутким, и несметное множество ночных шорохов рассказывало ему знакомую увлекательную повесть. И если он бывал наедине с самим собою, то начинал нетерпеливо мерять шагами тесную комнату, точно хищник, попавший в клетку.

Однажды он отважился влюбиться. Но с тех пор ни разу не позволял себе подобного удовольствия. Он боялся. Дело в том, что некая, насмерть перепуганная молодая леди целую неделю ходила с синяками на руках и плечах,—то были следы ласк, которыми он осыпал ее в приливе нежности, но—увы!—слишком поздно вечером. Случись то свидание днем, все сошло бы превосходно: он был бы обыкновенным, в меру страстным возлюбленным, а не свирепым дикарем из непроходимых германских лесов, умыкающим женщину. Из полученного опыта он заключил, что дневные свидания могут быть успешными, но одновременно пришел к убеждению, что в случае женитьбы семейная жизнь его неминуемо обречена на провал. Он с ужасом представлял себе, как останется наедине с женой после наступления темноты.

Поэтому Джеймс Уорд сторонился женщин, регулировал свою двойную жизнь, сколачивал первый миллион

в деле, избегал деятельных мамаш, жаждущих сбить с рук молоденьких дочек разного возраста, но с одинаково нетерпеливым огоньком в глазах встречался с Лилиан Джерсдейл, причем взял за правило никогда не устраивать свиданий позднее восьми вечера, по ночам гонялся наперегонки с койотами, засыпал в лесных берлогах и ухитрялся держать свою жизнь втайне от всех, за исключением Ли-Синга... а потом и Дейва Слоттера. Его встревожило, что тому парню удалось увидеть двух человек, что жили в нем. Правда, он порядком напугал этого громилу, но тот все равно может проболтаться. И даже если он не проболтается, то рано или поздно его тайна все-таки выплывет наружу.

Тогда Джеймс Уорд решил сделать еще одну героическую попытку обуздать тевтонца-варвара, который составлял половину его существа. Настолько неукоснительно следовал он правилу встречаться с Лилиан только днем и ранним вечером, что настало время, когда она примирилась с этим—может, оно и к лучшему, а он ревностно молил в душе, чтобы дела не обернулись к худшему. Никакой, наверное, чемпион не готовился к состязанию так усиленно и прилежно, как тренировался в течение этого времени Джеймс Уорд, чтобы покорить в себе дикаря. Помимо всего прочего, он старался так измотать себя за день, чтобы от усталости не слышать потом зова ночи. Он часто отрывался от дел и предпринимал длительные прогулки, охотясь за красным зверем в самых глухих и недоступных уголках в округе, но делал это непременно днем. Вечером усталый он возвращался к себе. Дома он установил с десятков гимнастических снарядов, сотни раз проделывая те упражнения, которые другой делал бы десять—двенадцать раз. В качестве уступки самому себе он приказал пристроить внизу открытую веранду, где спал, наслаждаясь по крайней мере пряным запахом ночи. Ли-Синг вечером запирал его там и выпускал только утром, а двойная сетка не давала ему возможности сбежать в лес.

Наконец в августе он нанял слуг в помощь Ли-Сингу и рискнул пригласить в Мельничную Долину гостей—Лилиан, ее мать, и брата, и человек шесть общих друзей. В течение двух дней он держался превосходно. На третий, засидевшись допоздна за бриджем, Джеймс Уорд имел все основания гордиться собой. Он умело

скрывал возникающее порой беспокойство, но случилось так, что Лилиан Джерсдейл оказалась его противником в бридже и сидела справа. Это была хрупкая, как цветок, женщина, и ее хрупкость буквально распалила его в тот вечер. Не то чтобы она меньше нравилась ему в такие минуты—нет, он просто испытывал неудержимое желание схватить ее и растерзать—особенно когда она выигрывала.

Он приказал привести в комнату шотландскую борзую, и, когда казалось, что мускулы его вот-вот разорвутся от напряжения, он гладил собаку. Почувствовав шерсть под рукой, он немедленно успокаивался и мог продолжать игру. Никто не догадывался, что за беспечным смехом, тонкой, расчетливой игрой радушный хозяин с трудом сдерживает обуревающие его страсти.

Когда стали расходиться на ночь, Джеймс Уорд намеренно простился с Лилиан на глазах у всех. А после того, как Ли-Синг запер его в комнате, Джеймс Уорд принялся за физические упражнения, вдвое и даже втрое увеличивая их продолжительность, пока, выбившись из сил, не свалился на диван, стоявший на веранде. Пытаясь заснуть, он размышлял над двумя проблемами, которые особенно тревожили его. Прежде всего—эти упражнения. Странная вещь: чем усиленнее он занимался, тем больше прибывало в нем сил. Он, разумеется, вконец изнурил жившего в себе ночного бродягетвонца, но таким образом, сдавалось ему, лишь отодвигал тот роковой день, когда энергия, копившаяся в нем, вдруг прорвется наружу чудовищной, невиданной прежде волной. Другой задачей была женитьба и уловки, к которым придется прибегать, чтобы не оставаться наедине с женой после наступления темноты.

В Мельничной Долине потом долго ломали голову, откуда в ту ночь забрел туда медведь, хотя участники цирка «Братьев Спрингс», дававшего представления в Сосалито, сбились с ног, разыскивая Большого Бена—самого «крупного медведя в неволе». Но Большой Бен ушел от погони и из полутысячи имений и вилл почему-то выбрал для посещения парк Джеймса Уорда. Первое, что осознал мистер Уорд, когда, дрожа от напряжения, вскочил на ноги, был пламень схватки в

груди и древняя боевая песнь на устах. Снаружи доносились заливистый лай и злобное рычание собак. Потом этот адский шум внезапно, словно удар ножом, прорезал пронзительный визг раненой собаки—он знал, что это его собака.

Не надевая туфель, в одной пижаме он взломал дверь, которую так тщательно запирали Ли-Синг, одним махом сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Но как только босые ноги его коснулись гравия, которым была посыпана дорожка, он резко остановился, нагнувшись, пошарил рукой в заветном месте под крыльцом и вытащил огромную сучковатую дубину—верного спутника по безумным ночным приключениям среди холмов. Яростный собачий лай приближался, и, размахивая дубиной, он прыгнул в чащу навстречу ему.

Встревоженные гости собрались на большой веранде. Кто-то включил свет, но они не видели ничего, кроме своих перепуганных лиц. По другую сторону ярко освещенной дорожки черной стеной стояли деревья. И где-то там, в непроглядной тьме, шла страшная схватка. Оттуда доносились дикие крики животных, вой, рычание, звуки ударов, треск ломающихся под тяжелыми прыжками кустов.

Волна боя выкатилась из-за деревьев на дорожку как раз перед верандой. И тут они увидели все. Миссис Джерсдейл закричала и, теряя сознание, ухватилась за сына. Лилиан судорожно, так что потом долго ныли кончики пальцев, вцепилась в перила и, застыв от ужаса, смотрела на рыжеволосого, с неистовым огоньком в глазах великана, узнавая в нем человека, который должен стать ее мужем. Мерно взмахивая дубиной, он яростно наносил удары косматому медведю, такому огромному, какого ей ни разу не доводилось видеть.

Лилиан Джерсдейл было очень страшно за любимого человека, и все же немалую долю того страха внушал он сам. Разве могла она представить, что под крахмальной рубашкой и модным костюмом ее суженого таился такой грозный, величественный дикарь? И разве она знала, каков мужчина в бою? Схватка, что кипела у нее перед глазами, не была, разумеется, схваткой нынешнего времени, и мужчина не был современным человеком. То

был не мистер Джеймс Дж. Уорд, бизнесмен из Сан-Франциско, а некто неизвестный и безымянный, какой-то свирепый, первобытный дикарь, который прихотью случая ожил много тысячелетий спустя.

Продолжая бешено лаять, собаки метались вокруг, бросаясь на медведя и отвлекая его внимание. Как только зверь поворачивался, чтобы отразить нападение сзади, человек прыгал вперед и обрушивал на него свою дубину. Разъяренный медведь снова кидался на противника, но тот отскакивал, стараясь не налететь на собак, отступал, кружил взад и вперед. Тогда собаки опять бросались на медведя, и тот опять огрызался на них.

Конец схватки был неожиданным. Повернувшись, медведь со всего размаха так хватил собаку лапой, что она с перебитым позвоночником и сломанными ребрами отлетела футов на шесть в сторону. Зверь в человеке впал в неистовство. На губах у него выступила пена, из груди вырвался дикий, нечленораздельный вопль; он рванулся вперед и, размахнувшись, изо всех сил опустил дубинку на голову поднявшегося на задние лапы животного. Даже череп медведя не мог выдержать такого, сокрушительной силы удара; и зверь рухнул на землю, где его принялись терзать собаки. Человек, перемахнув через рычащую свору, вскочил на медвежью тушу и там, освещенный ярким светом, опираясь на свою дубинку, запел на неизвестном наречии победную песнь—такую древнюю, что профессор Верц отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать ее.

Гости кинулись к победителю, бурно приветствуя его, но тут Джеймс Уорд внезапно посмотрел глазами древнего тевтонца на хрупкую белокурую девушку двадцатого века, которую он любил, и что-то оборвалось в нем. Неверными шагами он направился к ней, потом уронил дубинку и, пошатнувшись, чуть не упал. Что-то случилось с ним. Невыносимо болела голова. Душа, казалось, распадается на части. Он обернулся, следя глазами за взглядами остальных, и увидел обглоданный скелет медведя. Он закричал, рванулся было бежать, но его удержали и бережно отвели в дом.

Джеймс Дж. Уорд по-прежнему управляет делами фирмы «Уорд, Ноулз и К°». Но он не живет теперь за

городом и не гоняется лунными ночами за койотами. Живший в нем древний тевтонец умер в ту ночь, когда в Мельничной Долине произошла схватка с медведем. Теперь Джеймс Дж. Уорд — только Джеймс Дж. Уорд и никто больше; ни единую часть своего существа не делит он с бродягой, случайно уцелевшим с тех времен, когда мир был юным. Джеймс Дж. Уорд стал настолько современным человеком, что вполне познал безотчетный страх, который горьким проклятием висит над цивилизацией. Он боится темноты, и мысль о том, чтобы пойти ночью в лес на прогулку, повергает его в смятение. Городской дом Джеймса Уорда — пример порядка и изящества, а хозяин его обнаруживает большой интерес ко всякого рода устройствам, защищающим от взломщиков. По стенам всюду протянуты провода, и после того, как расходятся спать, редкий гость повернется в своей постели без того, чтобы не включился сигнал тревоги. Джеймс Уорд самолично изобрел комбинированный дверной замок без ключей, который можно при переездах носить в жилетном кармане и безбоязненно использовать при любых условиях. Но жена не считает его трусом. Она знает, что муж ее не трус. А он, подобно любой знаменитости, преспокойно почит на лаврах. Мужество Джеймса Дж. Уорда не ставится под сомнение теми из его друзей, которые знают о происшествии в Мельничной Долине.



Под палубным тентом

Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человек вытянулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно-военным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и к высокопарности его речей.

— Повторяю, я своими ушами слышал, как он сказал, что некая леди, которую никто из нас не знает, — свинья.

Он не сказал «поступила по-свински», а грубо заявил, что она свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так назвать женщину.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор, позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал,—пробормотал он неуверенно,—что это... э... зависит от... того, какая... женщина.

Маленький человечек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что...—начал он дрожащим голосом.

— ...что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.

Наступило долгое напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неопиаемые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который употребил не совсем деликатное выражение, и высказали свое мнение о нем,—продолжал Трелор спокойным, ровным тоном.—Теперь я расскажу вам об одной женщине—нет, извините, о леди—и, когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовем ее хотя бы мисс Кэрюферз,—просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет тому назад.

Мисс Кэрюферз была очаровательна. Нет, вернее будет сказать, изумительна. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не стану, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных.

Она—простите, что я повторяю,—была изумительна! Другого определения не подберешь. Говоря о ней,

приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно,—воспользуюсь тем, что сказал один краснбай о Наполеоне. А как она плавала! Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она принадлежала к тем редким женщинам, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся еще красивее, но одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально—вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем—сила. Сочеталось это в ней чудесно. У нее были прелестные руки: у плеч—только намек на мускул, нежная округлость от локтя до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем... Ну, я разбираюсь и в анатомии и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как это у нее получалось.

Она могла оставаться под водой две минуты—я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннитсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет за раз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннитсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался всегда не отставать от нее.

Море казалось ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей... Она была совершенством! Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда десятком пылких поклонников, томно-небрежную или блистающую остроумием, которым она их покоряла, а иной раз и мучила, вы сказали бы, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна

бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться,—все стояли перед ней на задних лапах, и стоило ей свистнуть, как все до одного—от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не более китайского идола, бросались на ее зов, а один приятный и немолодой уже человек по фамилии, кажется, Перкинс, вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрюферз поставила его на место.

Мужчины были мягким воском в ее руках, и она лепила из них, что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как им вздумается. Со слугами она вела себя сдержанно и надменно, но любой стюард по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрюферз была великая завоевательница сердец. Она была, как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И, поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что в ней жила нечеловеческая гордость, соединившая в себе гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Страшная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой акуле или серой, которая забредает туда из австралийских вод, — и, раньше чем пассажиры поймут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались на безопасное место!

Дело было после завтрака. Мисс Кэрюферз, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Кэрюферз заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся, — словом, дирижировала всем представлением.

Ее особенно интересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок, согнувшись, и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище! Ныряли они, однако, хуже. Все, кроме одного. Этот мальчуган нырял превосходно. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый: он нырял «ласточкой» и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое: прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки смертные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, а потом падал горизонтально, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о

воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожакom своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами—весь, как чудесный яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы—леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения! В этом мальчике жизнь была ключом, она таилась в блеске его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода,—такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий.

И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали к небу. Мальчуганы карабкались на пароход, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось?—осведомилась мисс Кэрюферз.

— Акула, наверное,—ответил капитан Бентли.—Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.

— Разве они боятся акул?—спросила она.

— А вы?—спросил он, в свою очередь.

Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула!—Она снова вздрогнула.—Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрюферз, бросившую им столько монет. Представление кончи-

лось, и капитан Бентли знаком приказал им убраться. Но мисс Кэрюферз остановила его:

— Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто слышала веселую шутку.

— Акула,—пояснил он, указывая на воду.

— Нет,—сказала она,—никакой акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул!—воскликнула она и обратилась к нам:—Кто одолжит мне полкроны и соверен?

Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полукрону, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила полукрону за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверен,—шепнул ей Деннитсон.

Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте!—сказал капитан Бентли.—Я и большую кошку за борт не брошу, если акула близко.

Но мисс Кэрюферз только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика совереном.

— Не искушайте его,—настаивал Деннитсон.—Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы?—резко сказала она и добавила мягче:—Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените,—заметила она.—Сколько нужно соверенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено,—был ответ.

На мгновение мисс Кэрюферз задумалась. В стычке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня?—спросила она очень тихо.

— Только чтобы спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням; только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь,—сказал Деннитсон.— Дурачьтесь, сколько хотите, только ради бога не бросайте!

Был ли это каприз, думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду, трудно сказать. Для нас всех это явилось полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище. Соверен упал в воду ребром, и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска вошел в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась. Сквозь прозрачную воду мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.

Кто-то из нас шепотом сказал что-то—не знаю, кто,—может быть, и я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрюферз. Лицо ее было смертельно бледно.

— Я... мне и в голову не приходило...—сказала она с коротким истерическим смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннитсона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда, никто из нас не шелонулся.

— Мистер Деннитсон,—сказала она.— Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на лице человека. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И все. И кругом молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнувшись, уперлась рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла—медленно, цепляясь за стену.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому человеку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну,—спросил он наконец,—что вы скажете о ней?

Человек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать,—пробормотал он,—ничего.



Убить человека

Дом освещали только тускло мерцавшие ночники, но она уверенно ходила по хорошо знакомым большим комнатам и просторным залам, тщетно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую накануне куда-то положила и о которой вспомнила только теперь. Войдя в гостиную, она зажгла свет. Он озарил ее фигуру в легком домашнем платье из бледно-розового шелка, отделанном кружевами, в которых тонули ее обнаженные плечи и шея. Несмотря на поздний час, на ее пальцах все еще сверкали кольца, а пышные золотистые волосы были уложены в прическу. Женщина была очень хороша собой и грациозна. На тонко очерченном овальном лице с алыми губами и нежным румянцем светились голубые глаза, изменчивые, как хамелеон: они то широко раскрывались с выражением девичьей невинности, то становились жестокими, серыми и холодными, а порой в них вспыхивало что-то дикое, властное и упрямое.

Она погасила свет в гостиной и прошла через вестибюль, направляясь в другую комнату. У двери

остановилась: что-то заставило ее насторожиться. До ее слуха донесся какой-то звук, легкий шорох, словно там кто-то двигался. Она могла бы поклясться, что ничего не слышала, а между тем ей почему-то было не по себе. Ночная тишина была нарушена. Женщина спрашивала себя, кто из слуг мог в такой час бродить по комнатам? Конечно, не дворецкий: он только в особых случаях изменял своей привычке рано ложиться спать. И не горничная, которую она отпустила на весь вечер.

Проходя мимо столовой, она увидела, что дверь закрыта. Зачем она открыла ее и вошла, она и сама не знала. Может быть, она инстинктивно чувствовала, что именно отсюда донеслись звуки, встревожившие ее. В комнате было темно, но она ощупью отыскивала выключатель и повернула его. Когда вспыхнул свет, она отступила к двери и негромко ахнула.

Прямо перед ней, около выключателя, прижавшись к стене, стоял какой-то мужчина, направив на нее револьвер. Несмотря на испуг, женщина успела заметить, что револьвер черного цвета и очень длинный. «Кольт»,— подумала она. Человек был среднего роста, плохо одет, его темное от загара лицо с карими глазами казалось совершенно спокойным. Револьвер не дрожал в полусогнутой руке и был направлен прямо ей в грудь.

— Ах, извините,— сказала она.— Вы напугали меня. Что вам угодно?

— Мне угодно поскорее выбраться отсюда,— ответил он, насмешливо кривя губы.— Я вроде как заблудился в ваших апартаментах, и если вы будете так добры показать мне выход, я не причиню вам никаких неприятностей и немедленно уберусь.

— А как вы сюда попали?— спросила она, и в ее голосе послышались резкие ноты, как у человека, призывающего повелевать.

— Просто хотел вас ограбить, мисс, вот и все. Я забрался сюда, чтобы посмотреть, что можно взять. Я был уверен, что вас нет дома, потому что видел, как вы садились в машину со стариком. Это, верно, ваш папаша, а вы мисс Сетлиф?

Мисс Сетлиф заметила его ошибку, оценила бесхитростный комплимент и решила оставить незнакомца в заблуждении.

✂

— Кто вам сказал, что я мисс Сетлиф? — спросила она.

— Это дом старого Сетлифа?

Она утвердительно кивнула головой.

— А я и не знал, что у него есть дочь. Ну, а теперь если это вас не затруднит, покажите мне, как выйти отсюда, и я буду вам очень признателен.

— С какой стати? Ведь вы грабитель, взломщик.

— Не будь я зеленым новичком в этом деле, я просто снял бы с ваших рук кольца и не стал бы с вами церемониться, — сказал он. — Но я пришел обчистить старого Сетлифа, а не грабить женщин. Если вы отойдете от двери, я, пожалуй, и сам найду дорогу.

Мисс Сетлиф была сообразительна. Она сразу поняла, что этого человека ей бояться нечего. Ясно, что он не профессиональный преступник и, судя по его произношению, не городской житель. На нее даже как будто пахнуло свежим воздухом необъятных степных просторов.

— А если я закричу? — полюбопытствовала она. — Если стану звать на помощь? Разве вы способны застрелить меня?.. Женщину?

Она заметила мелькнувшее в его темных глазах выражение растерянности. Он ответил медленно, задумчиво, как бы решая трудную задачу:

— Пожалуй, тогда я придушил бы или покалечил вас.

— Женщину?

— Я был бы вынужден так поступить, — ответил он, и она увидела, как сурово сжались его губы. — Конечно, вы только слабая женщина, но, видите ли, мисс, мне никак нельзя попасть в тюрьму. Никак нельзя! Мой друг ждет меня на Западе. Он попал в беду, и я должен выручить его. Думаю, я сумел бы придушить вас, не причинив особой боли.

Она смотрела на него во все глаза, с детским любопытством.

— Я еще никогда не видела грабителя, — пояснила она, — и вы представить себе не можете, как мне интересно говорить с вами.

— Я не грабитель, мисс... То есть не настоящий, — поспешил он добавить, увидев, что она смотрит

на него с ироническим недоверием.— Да, конечно, так можно подумать... раз я забрался в чужой дом... Но за такое дело я взялся впервые. Мне до зарезу нужны деньги. И, кроме того, я, собственно, беру то, что мне причитается.

— Не понимаю.— Она ободряюще улыбнулась.— Вы пришли грабить, а грабить—это значит брать то, что вам не принадлежит.

— Это и так и не так... Однако мне, пожалуй, пора уходить.

Он шагнул к двери, но женщина преградила ему путь. И какая это была обольстительная преграда! Он протянул левую руку, словно желая схватить ее, но остановился в нерешительности. Видно было, что его покорила ее кротость и женственность.

— Вот видите,— сказала она торжествующе,— я знала, что вы меня не тронете!

Незнакомец был в явном замешательстве.

— Я никогда в жизни не обижал женщин,— объяснил он.— И решиться на это мне нелегко. Но если вы закричите, я буду вынужден...

— Останьтесь еще на несколько минут,— настаивала она.— Мы поговорим. Это так интересно.— Я хочу, чтобы вы объяснили, почему грабить—значит брать то, что вам причитается.

Он смотрел на нее с восхищением.

— Я всегда думал, что женщины боятся грабителей,— признался он,— но вы, видно, не из таких!

Она весело засмеялась.

— Воры бывают разные, знаете ли! Я вас не боюсь, потому что вижу: вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Давайте поболтаем. Нас никто не потревожит. Я одна дома. Мой отец уехал с ночным поездом в Нью-Йорк, слуги все спят. Хотелось бы угостить вас чем-нибудь—ведь женщины всегда угощают ужином грабителей, которых они задерживают, так по крайней мере бывает в романах. Но я не знаю, где найти еду. Может, хотите чего-нибудь выпить?

Он стоял в нерешительности и ничего не отвечал; но она без труда заметила, что все больше нравится ему.

— Боитесь?—спросила она.—Я не отравлю вас, честное слово. Чтобы убедить вас в этом, я сама выпью вместе с вами.

— Вы удивительно славная девчонка!—воскликнул он, впервые опустив револьвер.—Теперь уж я никогда не поверю, что городские женщины трусливы. Вот вы—такая слабая, маленькая женщина, а храбрости хоть отбавляй! А главное—так доверчивы! Много ли найдется женщин или даже мужчин, которые спокойно разговаривали бы с вооруженным грабителем?

Она улыбнулась, польщенная комплиментом, но ее лицо стало серьезно, когда она снова заговорила:

— Это потому, что вы мне понравились. Вы кажетесь вполне порядочным человеком, и вас трудно принять за грабителя. Оставьте это занятие. Если вам не везет, поищите работу. Ну, отложите же ваш противный револьвер и давайте потолкуем об этом. Прежде всего вам необходимо найти работу.

— В этом городе ничего не выйдет,—заметил он с горечью.—Я ноги исходил, пытаясь найти здесь заработок. По правде говоря, я был далеко не последним человеком до того... До того, как стал безработным.

Его гневная вспышка была встречена веселым смехом, который пришелся ему по душе, а она, заметив это, постаралась использовать удобный момент. Отойдя от двери, она направилась прямо к буфету.

— Расскажите мне обо всем подробно, пока я найду что-нибудь в буфете. Что вы пьете? Виски?

— Да, мэм,—сказал он, шагнув за нею, но все еще сжимая в руке револьвер и нерешительно поглядывая на открытую и никем не охраняемую дверь.

Она налила в стакан виски.

— Я обещала выпить с вами,—сказала она медленно,—но я не люблю виски. Я... я предпочитаю херес...

Она подняла бутылку с хересом, как бы спрашивая у него позволения.

— Конечно, виски—напиток для мужчин. Признаться, мне не нравится, когда женщина пьет виски. Другое дело—вино.

Она чокнулась с ним, глядя на него томно и ласково.

— За ваши успехи! Желаю вам найти хорошую работу...

Вдруг она замолчала, увидев, что на лице его выразилось отвращение и удивление. Он поставил стакан, отпив один только глоток.

— В чем дело? — спросила она озабоченно. — Вам не нравятся виски? Может, я ошиблась?

— Странный виски! Пахнет дымом...

— Ах, какая я глупая! Я дала вам шотландский, а вы, конечно, привыкли к нашему. Давайте перемену.

С почти материнской заботливостью она переменила стакан и нашла нужную бутылку.

— Ну, а этот вам нравится?

— Да, мэм. Он не пахнет дымом. Настоящий первосортный виски. У меня целую неделю капли во рту не было. Этот виски маслянистый. Сразу видно, что без всяких примесей.

— Вы много пьете?

Это был полувопрос, полувызов.

— Нет, мэм, не сказал бы. Прежде бывало, что я изрядно выпивал, но это случалось очень редко... Иной раз добрая рюмка виски приходится очень кстати — вот как сейчас. Ну, а теперь, мэм, благодарю вас за доброту, мне пора.

Однако мисс Сетлиф не хотелось так скоро отпустить своего вора. Нельзя сказать, чтобы ее увлекала романтика этого приключения, — она была для этого слишком уравновешенной женщиной. Но в нем было что-то необычное, волнующее, и это занимало ее. Кроме того, она теперь знала, что ей нечего опасаться. Этот человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и суровые глаза, был удивительно послушен. И где-то глубоко в ее сознании мелькала мысль о восхищении и изумлении знакомых, когда они узнают... Жаль было упустить такой случай...

— Вы так и не объяснили, почему для вас огрбить — это значит взять то, что вам причитается, — сказала она. — Присядьте вот сюда, к столу, и расскажите об этом.

Она придвинула себе стул, а незнакомца усадила напротив. Настороженность, видимо, не покидала его:

глаза его зорко поглядывали вокруг, возвращаясь к женщине с затаенным восхищением, но останавливались на ее лице лишь ненадолго, а когда она говорила, он больше прислушивался к другим звукам, чем к ее голосу. Он ни на минуту не забывал о револьвере, который лежал на углу стола между ними, повернутый рукояткой к его правой руке.

Он был в чужом, незнакомом ему доме. Этот сын Запада, уши и глаза которого были всегда настороже, когда он смело рыскал по лесам и равнинам, не знал, что под столом, около ноги его собеседницы, находилась кнопка электрического звонка. Он никогда и не слышал о такой выдумке, его бдительность и осторожность здесь были бессильны.

— Видите ли, мисс,— начал он, отвечая на ее настойчивый вопрос,— старик Сетлиф когда-то надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была грязная махинация, и она удалась ему. Для тех, у кого в кармане сотни миллионов, все законно, им все сходит с рук. Я не хнычу и не думаю мстить вашему папаше. Он никогда не слышал обо мне и, конечно, не знает, что сделал меня нищим. Ведь он — важная персона и орудует миллионными, где ему слышать о такой мелкой сошке, как я? Он делец. К его услугам сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я слышал, что некоторые из них получают больше жалованья, чем президент Соединенных Штатов. А я только один из тех тысяч, которых разорил ваш «па».

Понимаете, мэм, у меня было маленькое предприятие с гидравлической установкой в одну лошадиную силу. Но, когда Сетлиф и его компаньоны забрали в свои руки все Айдахо, реорганизовали плавильный трест, завладели всеми земельными участками и поставили большую гидравлическую установку у Туин Пайнс, я, конечно, прогорел, не выручив даже денег, вложенных в дело. Меня выбросили за борт. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда и немного пообчистить вашего папашу. Мне очень нужны деньги, так что, если я отберу у него то, что мне причитается, греха тут большого нет.

— Если даже то, что вы сказали, правда,— возразила мисс Сетлиф,— все же грабеж остается грабежом. И это никак не послужило бы вам оправданием на суде.

— Знаю,— кротко согласился он.— То, что справедливо, не всегда законно. И вот поэтому-то я так беспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет, вы мне очень нравитесь, но мне никак нельзя угодить в лапы полиции. Я знаю, что они со мной сделают! Вот на прошлой неделе одного парня осудили на пять лет только за то, что он на улице стащил у прохожего два доллара восемьдесят пять центов. Я сам читал об этом в газете. В тяжелые времена, когда нет работы, люди становятся отчаянными. А те, у кого можно пожить, тоже ожесточаются и срывают зло на всяком, кто попадется им в руки. Если бы меня сейчас схватили, то меньше чем десятью годами мне никак не отделаться. Поэтому я и хочу поскорее убраться отсюда.

— Нет, подождите,— она жестом пыталась удержать его и одновременно сняла ногу с кнопки звонка, которую время от времени нажимала,— вы даже не сказали мне, как вас зовут.

После минутного колебания он сказал:

— Называйте меня Дэйвом...

— Ну, так вот... Дэйв...— она засмеялась с милым смущением,— нужно что-нибудь сделать для вас. Вы еще молоды и впервые пошли по плохой дороге. Если вы и впредь будете брать все, что, по вашему мнению, вам причитается, то потом вы начнете брать и то, что вам наверняка не причитается. А вы знаете, каков бывает конец. Давайте-ка лучше подыщем вам честное занятие.

— Мне нужны деньги, и нужны сейчас! — ответил он упрямо.— Они не для меня, а для приятеля, о котором я вам говорил. Он в беде, его нужно выручить поскорее, или он пропал.

— Я могу подыскать вам место,— быстро сказала она.— А что касается вашего приятеля... Знаете что? Я одолжу вам деньги, и вы их пошлете ему. Отдадите мне потом из вашего жалованья...

— Долларов триста хватило бы,— медленно сказал он.— Да, с тремя сотнями он выпутается. За это и еще за харчи и несколько центов на табак я готов работать год не покладая рук.

— Ах, вы курите? А я и не подумала об этом.

Она протянула руку над револьвером к его руке, указывая на характерные желтые пятна на его пальцах, и одновременно измерила взглядом расстояние до оружия. Ей страстно хотелось быстрым движением схватить револьвер. Она была уверена, что сможет сделать это, и все же не решилась. В конце концов она сдержала себя и убрала руку.

— Вам хочется курить?

— До смерти.

— Курите, пожалуйста, я не возражаю. Мне даже нравится, когда курят — сигареты, конечно.

Левой рукой он достал из бокового кармана клочок измятой папиросной бумаги и положил его возле правой руки, рядом с револьвером. Снова полез в карман и высыпал на бумажку щепотку крупного бурого табаку. Затем, положив обе руки на револьвер, начал свертывать папиросу.

— Вы так держитесь за этот отвратительный револьвер, как будто боитесь меня, — задорно сказала она.

— Вас не боюсь, мэм, но все-таки чуточку неспокоен...

— А я вот не побоялась вас.

— Вы же ничем не рисковали.

— А жизнью? — возразила она.

— Да, правда, — быстро согласился он. — И все-таки не испугались! Может быть, я чересчур осторожен.

— Я не сделаю вам ничего плохого. — Говоря это и устремив на него серьезный и искренний взгляд, она в то же время ногой снова нажала кнопку электрического звонка. — Я вижу, вы плохо разбираетесь в людях. Особенно в женщинах. Я пытаюсь убедить вас бросить преступную жизнь и хочу найти вам честное занятие, а вы...

Ему стало совестно.

— Прошу прощения, мэм, — сказал он, — пожалуй, моя подозрительность не делает мне чести.

Сняв правую руку с револьвера, он закурил, потом опустил ее на колени.

— Благодарю вас за доверие, — сказала она чуть слышно и, отведя глаза от револьвера, еще энергичнее нажала кнопку звонка.

— А эти триста долларов,— начал он,— я могу сегодня же отправить по телеграфу на Запад. За них я согласен работать целый год, получая только на харчи.

— Вы заработаете больше. Я обещаю вам не меньше семидесяти пяти долларов в месяц. Вы умеете ходить за лошадьми?

Его лицо прояснилось, а в глазах сверкнули огоньки.

— Ну вот, поступайте на службу ко мне или к моему отцу—это все равно, слуг обычно нанимаю я. Мне нужен второй кучер...

— Носить ливрею?— резко перебил он, и презрение свободного сына Запада послышалось в его голосе и выразилось в усмешке.

Она снисходительно улыбнулась.

— Значит, это вам не подойдет. Дайте подумать... Вы умеете объезжать жеребцов?

Он кивнул головой.

— У нас есть племенной завод, и там найдется работа для такого человека, как вы. Согласны?

— Согласен ли, мэм?— В его голосе звучали благодарность и восторг.— Скажите, где это. Я готов начать хоть завтра. И одно могу обещать вам, мэм: вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в беде.

— Вы, кажется, назвали себя Дэйвом?— сказала она с легким упреком.

— Да, мэм, простите, что я соврал. Мое настоящее имя Хьюги Люк. И если вы укажете мне, где находится ваш племенной завод, и дадите денег на проезд, я утром сразу отправлюсь туда.

Во время этого разговора она продолжала непрерывно нажимать кнопку звонка. Она давала разные сигналы: три коротких звонка и один длинный, два коротких и длинный и, наконец, пять звонков подряд. Затем, после ряда коротких звонков, она непрерывно звонила целых три минуты. И то мысленно упрекала глупого заспавшегося дворецкого, то сомневалась в исправности звонка.

— Я так рада,— сказала она,— так рада, что вы согласны! Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком.

И, увидев, что в его глазах мелькнуло сомнение, она быстро добавила:

— Я же доверяю вам триста долларов!

— Я верю вам, мэм,— почтительно ответил он.— Но просто не могу справиться со своими нервами.

— Значит, я могу сходить наверх за деньгами?

Прежде чем он успел ответить, она услышала отдавленный легкий шум. Она узнала скрип двери в буфетной, но он был так слаб— скорее легкое колебание воздуха, чем звук: она бы и не услышала его, если бы не ждала его с таким напряжением. Однако его услышал и Хьюги Люк.

— Что это?— спросил он с тревогой.

Вместо ответа она мгновенно протянула левую руку и схватила револьвер. Ее движение было полной неожиданностью для Люка, и женщина рассчитывала на это. В следующий момент его рука коснулась пустого места, где прежде лежало оружие.

— Сядьте!— скомандовала она резким голосом, который он даже не сразу узнал.— Не двигайтесь! Руки на стол!

Она помнила, как он держал револьвер, и урок пошел ей на пользу. Вместо того чтобы держать тяжелый револьвер в вытянутой руке, она оперлась локтем о стол и целилась не в голову, а прямо в грудь. А он сидел спокойно и подчинялся ее приказаниям, видя, что нет ни малейшей возможности выбить у нее из рук револьвер, а надеяться на промах тоже бессмысленно. Он видел, что ни револьвер, ни рука не дрожат, и хорошо представлял себе размеры дыры, которую оставляют пули с мягким кончиком. Он следил не за женщиной, а за курком, который приподнялся оттого, что она пальцем слегка нажала спуск.

— Пожалуй, надо предупредить вас, что у него очень тонкая нарезка. Не нажимайте так сильно, а то вы просверлите во мне дыру величиной с грецкий орех.

Она немного опустила курок.

— Вот так лучше,— заметил он.— А еще лучше опустить совсем. Видите, как он послушен. Если потребуются, то быстрый и легкий нажим поднимет и опустит его, на вашем зеркальном полу будет хорошая каша.

Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату. Но он не сделал ни малейшего

движения, он только посмотрел на женщину и увидел совсем другое лицо: жестокое, холодное, безжалостное и все же удивительно красивое. Глаза ее тоже стали суровыми и сверкали холодным огнем.

— Томас,— приказала она,— вызовите по телефону полицию. Почему вы так долго не приходили?

— Я пришел, как только услышал звонок, мадам.

Вор ни на минуту не отрывал от нее глаз, и она тоже смотрела на него в упор, но при упоминании о звонке она заметила, что в его глазах мелькнуло недоумение.

— Простите, мадам,— сказал дворецкий,— не лучше ли будет мне взять револьвер и разбудить слуг!

— Нет, звоните в полицию. Я сама задержу здесь этого человека. Идите и действуйте быстро!

Дворецкий, шлепая ночными туфлями, вышел из комнаты, а мужчина и женщина продолжали сидеть, не сводя глаз друг с друга. Она испытывала острое наслаждение при мысли о будущих восторженных похвалах всех ее знакомых, она уже видела заметки в светской хронике газет о молодой, прекрасной мисс Сетлиф, которая одна задержала вооруженного грабителя. Она была уверена, что это вызовет настоящую сенсацию!

— Когда вам вынесут в суде тот приговор, о котором вы говорили,— сказала она холодно,— у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. У вас будет достаточно времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. Теперь скажите правду: ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи? И все, что вы мне говорили,— ложь?

Он молчал, и в его глазах, устремленных на нее, ничего нельзя было прочесть. В эту минуту словно какой-то туман заслонил от него женщину, и он видел не ее, а залитые солнцем просторы Запада, где мужчины и женщины нравственно были неизмеримо выше этих растленных жителей прогнивших городов Востока.

— Что же вы молчите? Почему не выдумываете что-нибудь еще? Почему не попросите, чтобы я вас отпустила?

— Я бы попросил,— ответил он, облизывая пересохшие губы.— Я бы попросил, если бы...



— Если бы что? — спросила она повелительно.

— Я все думаю о словечке, которое вы мне напомнили... Я попросил бы вас отпустить меня, если бы вы были порядочной женщиной.

Она побледнела.

— Будьте осторожнее! — предупредила она.

— Да у вас не хватит духу убить меня! — он презрительно усмехнулся. — Наш мир — прегнусное место, если в нем разгуливают люди вроде вас, но он, мне думается, не так низко пал, чтобы позволить вам безнаказанно продырявить меня. Вы дрянная женщина, но беда ваша в том, что вы слабы. Убить человека не так уж трудно, но вы не посмеете сделать это. У вас не хватит духу.

— Осторожнее выражайтесь! — повторила она. — Предупреждаю вас, дело плохо кончится. От меня зависит, будет ли вам вынесен приговор суровый или мягкий.

— И что это за бог, — воскликнул он неожиданно, — если он позволяет таким, как вы, безнаказанно делать подлости! Не понимаю, зачем ему так зло издеваться над бедным человечеством... Если бы я был богом...

Его рассуждения были прерваны появлением дворецкого.

— Что-то случилось с телефоном, мадам, — сообщил он, — провода повреждены или что другое. Станция не отвечает.

— Так разбудите кого-нибудь из слуг, — приказала она. — Пошлите за полицией, а затем возвращайтесь сюда.

И они снова остались вдвоем.

— Не ответите ли вы мне на один вопрос, мэм? — сказал Люк. — Ваш слуга говорил что-то о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы дотронулись до звонка.

— Он под столом, глупый вы человек! Я нажимала его ногой.

— Благодарю вас, мэм. Мне казалось, что я уже встречал людей вроде вас, и теперь я в этом убежден. Я доверился вам и открыл вам душу, а вы все время подло меня обманывали.

Она пренебрежительно засмеялась.

— Продолжайте. Говорите, что хотите. Это очень занятно.

— Вы строили мне глазки, притворялись доброй и милой и, пользуясь тем, что носите юбку, а не брюки, провели меня. И все это время ногой нажимали кнопку звонка! Что ж, и в этом есть кое-какое утешение. Я предпочитаю оставаться бедным Хьюги Люком и десять лет сидеть в тюрьме, чем быть в вашей шкуре. Таким женщинам, как вы, мэм, место в аду!

Воцарилось молчание, во время которого мужчина не сводил с женщины глаз. Он, казалось, изучал ее и принимал какое-то решение.

— Продолжайте,— настаивала она,— скажите еще что-нибудь.

— Да, мэм, скажу. Обязательно скажу. Вы знаете, что я собираюсь сделать? Я поднимусь со стула и пойду к двери. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сделать глупость и спустить курок. Ладно, оставляю его вам! А жаль, револьвер хороший. Да, так я пойду прямо к двери. И вы не будете стрелять. Чтобы убить человека, необходимо мужество, а у вас его нет. Ну, теперь приготовьтесь и посмотрим, сможете ли вы выстрелить. Я не причиню вам никакого вреда и уйду через эту дверь. Я ухожу.

Не спуская с нее глаз, он оттолкнул стул и встал. Курок наполовину поднялся. Она смотрела на револьвер, и он тоже.

— Нажимайте сильнее,— посоветовал он,— курок еще и до половины не дошел. Ну-ка, попробуйте убить человека, сделайте в нем дыру величиной с кулак, чтобы его мозг брызнул на ваш пол. Вот что значит убить человека.

Курок поднимался толчками, но медленно. Человек повернулся спиной и не спеша пошел к двери. Она подняла револьвер, целясь Люку в спину. Дважды курок поднимался, но нерешительно опускался вниз.

У двери Люк еще раз повернулся, прежде чем уйти. Презрительно усмехаясь, он тихо, с расстановкой, произнес отвратительное ругательство, вложив в него всю свою ненависть к этой женщине.



Мексиканец

I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты¹ и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона—одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все—ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах—привета. Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней, она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она запечатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький

¹ Комитет, общественно-политическая организация (от исп. *junta*).

мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу¹ и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично, — холодно произнес он, — ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции, — отвечал Паулино.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.

— Хорошо, — сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в

¹ Диас Порфирио (1830—1915) — диктатор, в течение долгих лет властвовавший в Мексике. Кровавую диктатуру Диаса разрушила мексиканская революция 1911 года.

стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции—вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение дух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, полойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные, в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое, — заметил Рамос.

— В его душе все притупилось, — сказала Мэй Сэтби. — Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и

вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад,— сказал Паулино.— Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь— неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем,— покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион,— заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби.— Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер,— сказала Мэй Сэтби.

— Да,— ответил Вэра и вздрогнул.— Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти.

И, однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией¹ была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли

¹ Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией.— Мексиканские эмигранты— противники диктатуры Диаса— пытались найти себе приют на территории США. Постепенно одним из центров деятельности патриотических мексиканских организаций, готовивших революцию и поддерживавших из США революционное движение в Мексике, стал город Лос-Анджелес, неподалеку от границы мексиканского штата Нижняя Калифорния, через который проходили тайные коммуникации революционеров.

связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли.

— Я говорю вам,— сказал Вэра.— Больше чем кого-либо Диасу придется опасаться этого юноши. Он неумолим. Он карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там—во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга,—говорил Ареллано.

— Завсегдатай злочных мест,—говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? —спрашивал Вэра.— Сегодня я узнал, что он платил счет за бумагу—сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек,—заметила Мэй Сэтби.— Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить,—предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит,—сказал Вэра.— Думаю, что вы больше никогда не увидите бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком,—признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано.

— Он сама революция, ее дух, ее пламя, — подхватил Вэра, — он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неуспно бодрствующий в ночной тиши.

— Я готова плакать, когда думаю о нем, — сказала Мэй Сэтби. — У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок... — Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

Р

II

ешительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны¹ — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний

¹ Пеоны — сельскохозяйственные рабочие в Мексике, чаще всего индейцы.

тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира»¹ только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все — социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль неся по всей стране.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружают город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник

¹ «Индустриальные рабочие мира» — профсоюзная организация американского рабочего класса, созданная в 1905 году. ИРМ сыграла большую роль в общественной жизни страны.

вычерпан до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если бы люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда, новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу? — спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки, — сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума! — сказал он.

— Через три недели, — отвечал Ривера. — Заказывайте винтовки.

Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки, — повторил он. — Я ухожу.



III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Билом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменил его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка,— едва взглянув на Ривера, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда.— Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами!

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Иеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание.— Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет

никаких шансов. Я не могу надувать публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью.

Келли без обиняков приступил к делу.

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли,—последовал неторопливый ответ.—Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда?—связвил Келли.

Робертс немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд—классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике! Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и вдобавок здорово измочит Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он—мое открытие. Человек без нервов! Суший дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда.

— Отлично.—Келли обратился к своему секретарю:—Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Иеллоустоуне»; щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность.—Келли повернулся к тренеру:—Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился:

— Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальчика. Года два назад он появился в тренировочных

залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый — как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и вынослив невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю, — заметил секретарь. — Он немало для вас поработал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем, — подтвердил Робертс. — И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам, — сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего ему нужны деньги: и он неплохо подработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто

станет его менеджером, наживет капитал; да только с ним не столкнешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспевания. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника. — Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это да! — шутливо обратился Дэнни к менеджеру. — Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анджелес здорово обеднел, если это — лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс. — И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана, — жалобно протянул Келли. — Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил.

Робертс фыркнул.

— Потихе, потихе,—осадил Дэнни менеджер.— С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту,—улыбнулся Дэнни.— Я готов сначала понынчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет,—последовал ответ.— Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу.— Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет.— Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят.— Он обратился к менеджеру:— Подходяще?

Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял?—обратился Келли к Ривере.

Ривера покачал головой.

— Так вот слушай,—сказал Келли.— Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера,—подтвердил Робертс.— Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это, шестьдесят пять процентов со сбора?—осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может, даже и все восемь,—поспешил пояснить Дэнни.— Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все,—решительно сказал он.

Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да!—проговорил наконец менеджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей,— сказал он.— Я не подозреваю судью или, кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает—вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опойт меня?—Он величественно вскинул голову.—Победитель или побежденный—я получаю восемьдесят процентов. Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все,—угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь?—спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей,—начал доказывать Келли.—Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров—и все. А Дэнни—классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анджелеса никто и не слышал о тебе.

— Еще услышат,—пожав плечами, отвечал Ривера,—после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной?—не выдержав, заорал Дэнни.

Ривера кивнул.

— Да ты рассуди,—убеждал Келли.—Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги,—отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет, и то не победишь,—заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера. — Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен! — с внезапной решимостью крикнул Дэнни. — Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере. — Когда взвешиваться?

— Перед выходом, — последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять.

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять, — продиктовал Ривера.

Перо секретаря снова закрипело.

— Это, значит, лишних пять фунтов, — недовольно заметил Робертс Ривере. — Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.



IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягнёнком, отданным на заклятие великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарова-

на. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключались два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хэгерти. Спайдер был главным секундантом. — Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анджелес, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за

легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц», — год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио¹ и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего длинносоного человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать и на маленького мучачо, игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переименовал и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хэгерти: — Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

¹ Внутренний дворик (от исп. patio).

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее — локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами — все они этим питались и мучились резами в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой Компании; тысячи голодных рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса; и винтовки, изрыгающие смерть... Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, преступления рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус¹ на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хэгерти склонилась над ним.

— Не поддаваться сразу, — предупредил Спайдер. — Помни инструкцию. Держись до последнего. Не

¹ Вера-Крус — город и порт в Мексике. В военной тюрьме Вера-Крус уничтожали противников Диаса.

ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок, — прошипел Дэнни, не переставая улыбаться, — сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места.

Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Дэнни разделся, слышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хэгерти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело — Дэнни! Дэнни было

двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.

Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера,— тянул Робертс.— Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч¹. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок!— пробормотал Робертс, обращаясь к соседу.— Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова.

¹ Клинч—положение в боксе, когда один из противников зажимает одну или обе руки партнера. Возможен обоюдный клинч.

Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязаний, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носа лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем, — этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю — тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз; когда судья сосчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять,

раньше, чем будет произнесено десять. Если при счете десять колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на ногах»; и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжал улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца! — шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к

нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, губительным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно силен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом¹, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, пока судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Ривера так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

Но Ривера продолжал держаться, и туман¹ в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные

¹ Апперкот—удар снизу.

гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронесли перед ним: железнодорожные пути, в пустыне; жандармы и американские полицейские; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек—вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо—винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам винтовка! Он сам—Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари, теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете «девять». Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял, не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу» от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему

не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хэгerti усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется!—услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул.—Дэнни должен победить... Не то я теряю огромную сумму... я всади́л в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцатый—я пропал... Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.

С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов,—сказал он.—Ступай в свой угол.

Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери!—зашептал он.—Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера-взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь?—злобно спросил Келли.

— Так или иначе—ты проиграешь,—поддал жару Спайдер Хэгерти.—Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик,—настаивал Келли,—и я сделаю из тебя чемпиона.

Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня.

Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одура-

чил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа!

Дэнни вслух обругал Ривера и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смеявшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть губительного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает.

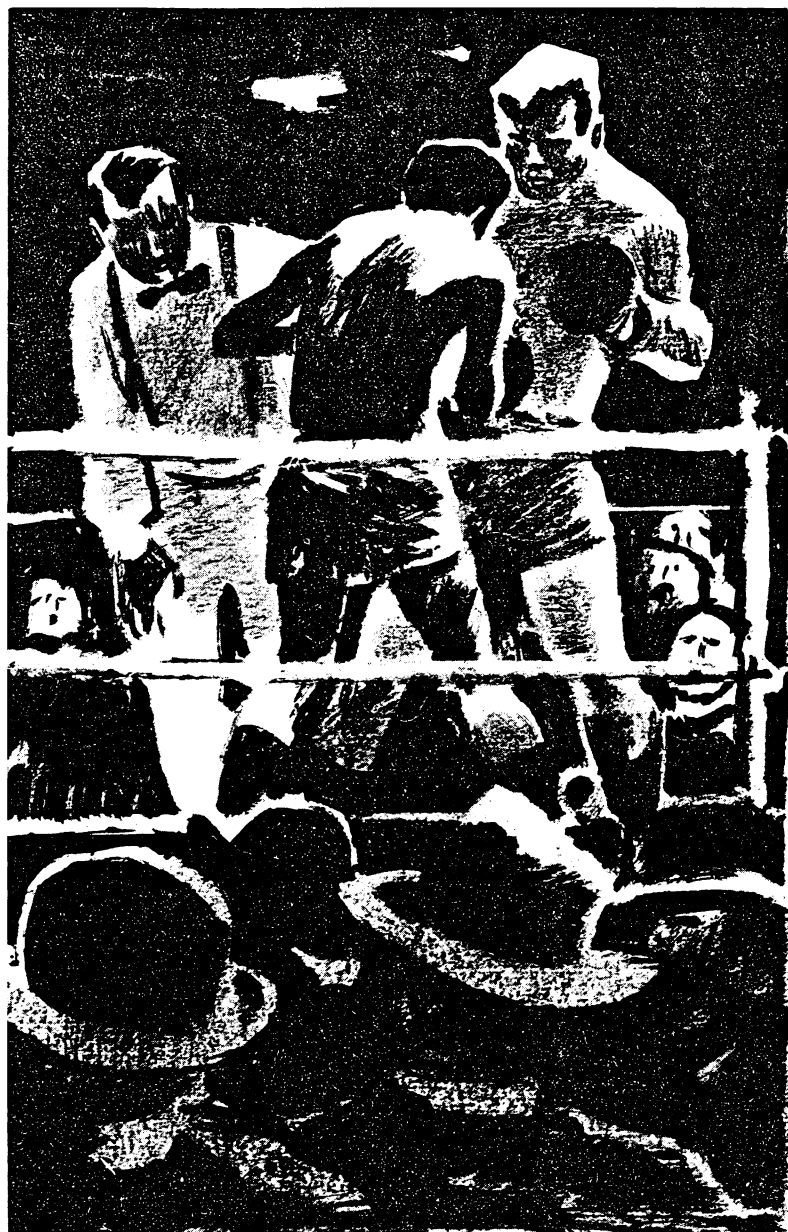
— Не уклоняйся от боя!—в бешенстве орали Ривере.—Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл!—взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать?—в тон ему отвечал судья.—Мне не к чему придираться.



Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить его избивание, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенца. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай!—хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол.

— За кем победа?—спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!



История, рассказанная в палате для слабоумных

Нет, я не сумасшедший. Я здесь за ассистента. Просто не знаю, что делали бы без меня мисс Келси и мисс Джонс. В этой палате двадцать пять слабоумных, самых тяжелых, какие только могут быть. Кто бы их всех кормил, если бы не я? Мне нравится кормить слабоумных. Они не доставляют никаких хлопот.

пот. Да они и не могут. У всех у них что-нибудь не в порядке с руками или ногами, и они не умеют говорить. Они очень плохи. А я могу ходить, разговаривать и делать все, что угодно. Со слабоумными надо обращаться очень осторожно, и не следует кормить их слишком быстро. А не то они подавятся. Мисс Джонс говорит, что я в этом большой знаток. Каждый раз, когда в приют приходит новая няня, я учу ее, как это делать. Вот уж смеху-то бывает, когда новенькая начинает их кормить! Она кормит их так медленно и осторожно, что, пока успевает запихнуть им в рот завтрак, подходит время ужина. Тогда я начинаю учить ее, ведь я большой знаток. Доктор Далримпл тоже подтверждает это, а уж ему ли не знать. Слабоумный может есть вдвое быстрее, если умеют к нему подойти.

Меня зовут Том. Мне двадцать восемь лет. В нашем заведении меня все знают. Ведь это специальное заведение. Оно находится в штате Калифорния, и им заправляют местные политики. Да, да, я знаю. Я живу тут уже очень давно. Мне все доверяют. Мне то и дело дают какие-нибудь поручения, и я бегаю по всему дому, если, конечно, не занят со слабоумными. Я их очень люблю. Когда я с ними, то лишний раз убеждаюсь в том, какое счастье, что сам я не слабоумный.

Мне нравится здесь, в нашем доме. А за его стенами не нравится. Я уже побывал там однажды и вернулся, и меня взяли обратно. Я люблю жить дома, а лучшего дома, чем этот, не сыщешь. И на слабоумного я не похож, ведь правда? Это же видно с первого взгляда. Я ассистент. А для тронутого это что-нибудь да значит. Что такое тронутый? Да ведь это же ненормальный! Я думал, вы знаете. Мы все здесь тронутые.

Но я тронутый высшего разряда. Доктор Далримпл даже говорит, что я слишком умен для нашего заведения, но я никому не рассказываю об этом. По-моему, у нас здесь совсем неплохо. И со мной никогда не бывает припадков, не то что с другими тронутыми. Видите вон тот дом, за деревьями? В нем живут припадочные высшего разряда. Они ужасные задавалы, потому что они не простые тронутые. Они называют свой дом клубом и уверяют, что они ничуть не хуже тех, что живут

на воле, разве что немного нездоровы. Я не очень их люблю. Всегда насмеваются надо мной, если только не корчатся в припадке. Но мне наплевать. Уж я-то не хлопнусь в припадок и не буду биться головой об стенку. А иногда они вдруг начинают носиться, как сумасшедшие, по комнате, словно ищут, где бы присесть. Но не садятся. Припадочные низшего разряда отвратительны, а припадочные высшего разряда вечно задирают нос. Я рад, что я не припадочный. Ничего в них нет особенного. Только и делают, что болтают.

Мисс Келси утверждает, что я тоже много болтаю. Но я говорю разумные вещи, а ни один тронутый на это не способен. Доктор Далримпл говорит, что у меня дар красноречия. Да я и сам это знаю. Вы бы только послушали, как я разговариваю сам с собой или со слабоумными. Иногда мне приходит в голову, что неплохо бы стать политическим деятелем, да только очень уж это хлопотное занятие. Все они большие говоруны, на том и держатся.

Сумасшедших в нашем заведении нет. Все просто немного не в своем уме. Презабавные сценки иногда наблюдаешь. Вот послушайте. У нас здесь есть девицы—человек девять—двенадцать, и все из высшего разряда,—им поручено накрывать столы к обеду. Иногда, управившись до времени, они усаживаются в кружок и принимаются болтать. А я тихонько подкрадусь к двери и слушаю. Вот потеха-то, помереть можно со смеху. Хотите знать, о чем они говорят? Сначала они долго-долго сидят и молчат. Потом одна произносит: «Слава богу, что я в своем уме». А остальные одобрительно кивают головами. И снова молчат. Через некоторое время другая девица говорит: «Слава богу, что я в своем уме»,—опять все кивают головами. Так они и повторяют по очереди одно и то же. Ну, не тронутые? Решайте сами! Я тоже тронутый, но, слава богу, не такой, как они.

А иногда мне кажется, что я вовсе не тронутый. Я играю в оркестре и умею читать ноты. Считается, что все в оркестре тронутые, кроме дирижера. Он настоящий сумасшедший. Мы так думаем, но никогда не говорим об этом, разве только между собой. Ведь его работа тесно

связана с политикой, а мы не хотим, чтобы он ее лишился. Я играю на барабанах. Без меня в нашем заведении не обойтись. Это я уж точно знаю. Однажды я заболел. Просто диву даешься, как у них все не пошло вверх тормашками, пока я лежал в лазарете.

Я в любое время могу уйти отсюда, стоит мне только захотеть. Не так уж я слаб умом, как могут подумать. Но я об этом помалкиваю. Мне и тут неплохо живется. Кроме того, без меня все здесь пойдет кувырком. Боюсь только, что когда-нибудь они поймут, что никакой я не слабоумный, и тогда меня выгонят отсюда в большой мир, и придется мне самому о себе заботиться. А я знаю, что такое большой мир, не люблю я его. Мне хорошо здесь, и больше мне ничего не надо.

Вы иногда видите на моем лице ухмылку. Я ничего не могу с этим поделать. Но иногда я ухмыляюсь нарочно. Однако я совсем не урод. Я часто смотрю на себя в зеркало. У меня смешной рот, и губы отвисают, и зубы гнилые. Слабоумного за версту узнаешь, стоит только поглядеть на его рот и зубы. Но это еще не доказывает, что я слабоумный. Просто мне повезло, что я так на них похож.

Чего я только не знаю! Вы бы поразились, если бы я выложил все, что знаю! Но если я что-нибудь не хочу понимать или меня заставляют что-нибудь делать, а мне это не по душе, я немедленно распускаю губы, ухмыляюсь и мычу. Я не раз видел, как мычат слабоумные низшего разряда, и мне ничего не стоит провести кого угодно. Я могу мычать на все лады. Мисс Келси на днях обозвала меня идиотом. Мне удалось обмануть ее, притворившись слабоумным, и она очень рассердилась.

Однажды мисс Келси спросила меня: «Почему бы тебе не написать книгу о тронутых?» В ту минуту я советовал ей, как ходить за маленьким Альбертом. Маленький Альберт слабоумный, и я всегда понимаю, что он хочет, по тому, как у него подергивается левый глаз. Я и объяснил это мисс Келси, а она вышла из себя: сама-то она этого не знала. Но когда-нибудь я, может, и напишу эту книгу. Только писать ее — хлопот не оберешься. Разговаривать куда как легче.

Вам приходилось видеть микроцефала? Это ребенок с малюсенькой головкой, не больше кулака. Они, как правило, все слабоумные, но живут очень долго. Гидроцефалы необязательно слабоумные. У них огромная голова, и они более толковые. Но они никогда не выживают. Всегда умирают. Смотришь на такого и думаешь: «Долго он не протянет». Иногда, когда на меня нападает лень или нянька начинает ворчать, я жалею, что я не слабоумный: глядишь, не заставляли бы работать да кормили бы с ложечки. Но, пожалуй, все же лучше остаться таким, как я есть, и болтать сколько душе угодно.

А вчера доктор Далримпл сказал мне. «Том,—говорит,—что бы я без тебя делал?» А уж он-то знает, что говорит—шутка сказать, вот уже два года на его руках тысяча тронутых! До него здесь был доктор Уотком. Их ведь сюда назначают. Это все политика. Сколько я их перевидал на своем веку! Я-то появился в приюте, когда их и в помине не было. Я в этом заведении уже двадцать пять лет. Нет, не подумайте, что я жалуюсь. Лучшего заведения, пожалуй, не найти.

Быть тронутым—плевое дело. А возьмите доктора Далримпла. Вот уж кому нелегко приходится! Его положение целиком зависит от политических интриг. Можете не сомневаться, что мы разговариваем о политике. Мы про нее все знаем, и это плохо. Таким заведением, как наше, не должна управлять политика. Посмотрите на доктора Далримпла. Он здесь уже два года и многому научился. Но в один прекрасный день в результате каких-нибудь политических махинаций его выгонят, и на его место пришлют нового доктора, который ничего не смыслит в нашем деле.

А сколько нянек сменилось, пока я здесь! Некоторые из них совсем не дурны. Но они приходят и уходят. Многие обзаводятся мужьями. Иногда я думаю, что и мне неплохо бы жениться. Как-то я заговорил об этом с доктором Уоткомом, но он сказал, что, к его сожалению, тронутым не разрешают жениться. Однажды я влюбился. Она была няней. Мне не хочется называть вам ее имя. У нее были голубые глаза, светлые волосы, нежный голос, и я ей нравился. Она сама сказала мне об этом.

Она всегда уговаривала меня быть хорошим и послушным. И я слушался ее, до того самого момента... Тогда я убежал. Понимаете, она бросила нас и вышла замуж. И не сказала мне об этом ни слова.

Я считаю, женитьба не такая приятная штука, как кажется. Доктор Энглин и его жена часто дерутся. Сам видел. А однажды я слышал, как она обозвала его сумасшедшим. Но ведь никто не имеет права обзывать человека сумасшедшим, если он вовсе не сумасшедший. Вот уж доктор Энглин разбушевался! Но он недолго здесь продержался. Снова какие-то политические махинации—и его убрали. На его место пришел доктор МанDEVИЛЛ. У него не было жены. Я слышал, как он однажды разговаривал с инженером. Инженер с женой жили как кошка с собакой. Доктор МанDEVИЛЛ сказал инженеру: «Я счастлив, что не привязан к юбке». Юбка—это женская одежда. Я знаю, что он имел в виду, хоть я малость и тронутый. Но я помалкиваю. Когда держишь язык за зубами, слышишь массу интересного.

Я много повидал в жизни. Как-то раз меня взяли к себе некие Боппы, и я уехал к ним за сорок миль по железной дороге. У них была ферма. Доктор Энглин сказал им, что я сильный и смывленный, и я подтвердил это—я хотел, чтобы меня взяли на воспитание. Питер Бопп обещал, что мне будет у них хорошо, и юристы оформили все бумаги.

Но очень скоро я понял, что ферма совсем не то место, какое мне нужно. Миссис Бопп почему-то до смерти боялась меня и не разрешала спать в доме. Они приспособили для меня дровяной сарай и заставляли спать там. Я должен был вставать в четыре утра, кормить лошадей, доить коров и развозить молоко соседям. Считалось, что это так, пустое дело, а на проверку выходило, что я гнул спину с утра до вечера. Я колол дрова, чистил курятник, пропалывал огород, и чего только я не делал! Ни развлечений, ни свободного времени.

Послушайте, что я вам скажу. По мне лучше кормить молочной кашей слабоумных, чем холодными утрами доить коров. Миссис Бопп не хотела, чтобы я играл с ее детьми, боялась. Да я и сам боялся. Когда никто не

видел, они корчили мне рожи и дразнили лунатиком. Все звали меня Том Лунатик. А соседские мальчишки бросали в меня камнями. Здесь, в нашем доме, такого никогда не бывает. Слабоумные куда лучше воспитаны.

Миссис Бопп щипала меня и таскала за волосы, когда ей казалось, что я отлыниваю от работы, а я в ответ глупо хихикал. Она не раз говорила, что когда-нибудь я ее в гроб вгоню. Однажды я забыл закрыть крышку колодца на выгоне, туда свалился теленок и утонул. Питер Бопп пообещал отколотить меня. И он сдержал свое обещание. Он взял вожжи и пошел на меня. Это было ужасно. Меня никогда не били. Чтобы у нас здесь кого-нибудь били—такого не случалось. Почему я и говорю, что это заведение—самое подходящее для меня место.

Я разбираюсь в законах и знаю, что он не имел никакого права меня бить. Это жестоко, а в бумагах опекунского совета сказано, что со мной нельзя обращаться жестоко. Но тогда я ему ничего не сказал. Я просто выжидал, и уже из одного этого видно, тронутый я или нет. Я ждал долго, и нарочно работал медленно, и все чаще глупо хихикал и мычал. Но он не отсылал меня домой, на что я так надеялся. Однажды—это случилось в начале месяца—миссис Браун дала мне три доллара в уплату за молоко, которое она покупала у Питера Боппа. Это было утром. А вечером я привез ей молоко и должен был передать ей расписку от Питера Боппа в получении денег. Но я этого не сделал. Я отправился на железнодорожную станцию, купил билет, как всякий другой, и поехал обратно к себе домой. Вот какой я тронутый!

Доктор Энглин к тому времени уже ушел из приюта, и вместо него назначили доктора Мандевилла. Я направился прямо к нему в кабинет. Он не знал меня. «Здравствуйте,—сказал он.—Сегодня не приемный день». «А я вовсе не на прием,—говорю.—Меня зовут Том. Я здешний». Он присвистнул, не скрывая своего удивления. Я сообщил ему обо всем и показал следы от вожжей, а он рассердился и заявил, что займется этим делом.

Видали б вы, как обрадовались слабоумные моему возвращению!

Я отправился прямо к ним в палату. Маленького Альберта кормила новая няня. «Постойте,—говорю я ей.—Так у вас ничего не получится. Разве вы не видите, как у него дергается левый глаз? Давайте покажу, как надо его кормить». Должно быть, она решила, что я новый доктор, и безропотно отдала мне ложку. Мне думается, что со дня моего отъезда маленький Альберт ни разу не ел с таким аппетитом. Со слабоумными не так уж трудно, если уметь к ним подойти. Однажды я слышал, как мисс Джонс сказала мисс Келси, что у меня прямо-таки особый дар в обращении с ними.

Когда-нибудь я поговорю с доктором Далримплом и потребую у него справку, что я не тронутый. Тогда я попрошу его назначить меня настоящим ассистентом в палату слабоумных с окладом в сорок долларов и со столом. А потом женюсь на мисс Джонс, и мы заживем припеваючи. А если она мне откажет, я женюсь на мисс Келси или на какой-нибудь другой сестре. Многие из них хотят выйти замуж. И мне наплевать, если моя жена когда-нибудь вспылит и назовет меня сумасшедшим. Подумаешь! Когда привык иметь дело с ненормальными, то с женой управиться совсем нетрудно.

Я еще не рассказал вам, как однажды убежал отсюда. Я бы и не помышлял о побеге, если б Чарли и Джо не втащили меня в это дело. Оба они эпилептики. В тот день я зашел в кабинет к доктору Уилсону с каким-то поручением и уже возвращался обратно в палату, как вдруг заметил Чарли и Джо. Они спрятались за углом гимнастического зала и подавали мне какие-то знаки. Я подошел к ним.

— Привет!—сказал Джо.—Как поживают твои слабоумные?

— Прекрасно,—ответил я.—Что нового у припадочных?

Они расписиховались, а я преспокойно отправился дальше. И вдруг слышу:

— Том, мы решили бежать. Хочешь с нами?

— Зачем?—спрашиваю.

— Мы хотим добраться до вершины горы,—говорит Джо.

— И найти золотую жилу,—добавляет Чарли.— И никакие мы не припадочные. Мы уже выздоровели.

— Хорошо,—говорю.

Мы прошмыгнули мимо гимнастического зала и выбрались во двор. Не прошли мы и десяти минут, как я остановился.

— В чем дело?—спрашивает Джо.

— Подождите,—говорю я,—мне надо вернуться.

— Зачем?—спрашивает Джо.

— За маленьким Альбертом.

Они разозлились и сказали, чтоб я не смел возвращаться. Но я и ухом не повел. Я знал, что они все равно будут меня ждать. Дело в том, что я живу здесь уже двадцать пять лет и знаю все тропки в горах как свои пять пальцев. А Чарли и Джо не знают этих тропок. Вот почему я им и понадобился.

Я вернулся за маленьким Альбертом. Он не мог ни ходить, ни говорить и только мычал. Я взял его на руки и понес. Мы миновали самый дальний луг—дальше него я никогда не забирался. Вскоре лес и кустарник стали такие густые, что я потерял тропинку, и мы свернули на дорогу, по которой коров гоняют к ручью на водопой, а потом перелезли через забор и очутились за пределами нашего приюта.

Перейдя ручей, мы стали карабкаться на высокий холм. Склоны его поросли большими деревьями, так что не надо было продираться через кустарник. Но подъем был очень крутой, ноги скользили по опавшим листьям, и мы с трудом продвигались вперед. Чем дальше—тем хуже. Дорога пошла по самому краю обрыва, и нам предстояло пройти футов сорок по страшной крутизне. Поскользнешься—полетишь вниз с высоты в тысячу футов, а может, и в сто. Упасть не упадешь, только скатишься вниз. Я пошел первый, с Альбертом на руках. За мной следовал Джо. Но Чарли дошел до середины и испугался.

— Сейчас у меня начнется припадок,—заявил он и уселся на землю.

— Ничего подобного,—сказал Джо.—Ты бы не стал тогда садиться. Ты всегда стоишь во время припадков.

— Припадок припадку рознь,—сказал Чарли и захныкал.

Он стал усиленно трястись и дергаться всем телом, но именно потому, что он очень старался, ему не удалось выжать из себя даже самого слабенького припадка.

Джо пришел в ярость и с бранью обрушился на Чарли. Но это не помогло. Тогда я стал мягко и ласково уговаривать Чарли. Ненормальных можно взять только лаской. Стоит выйти из себя—и пиши пропало. Ведь и со мной так случалось. Вот почему я чуть не вогнал в гроб миссис Бопп. Она только и знала, что выходить из себя...

День приближался к концу, и я понимал, что нам надо продолжать путь. Поэтому я сказал Джо:

— Подержи Альберта и не бранись. Я пойду приведу его.

И я пошел. Но от страха у Чарли так дрожали ноги и кружилась голова, что он мог передвигаться только на четвереньках, а я шел рядом и поддерживал его. Когда я переправил его таким образом на другую сторону и снова взял на руки Альберта, я услышал чей-то смех и посмотрел вниз. Я увидел мужчину и женщину верхом на лошадях. У мужчины к седлу было приторочено ружье; женщина громко смеялась.

— Какого черта их сюда принесло?—испуганно воскликнул Джо.—Уж не погоня ли за нами?

— Хватит ругаться,—сказал я.—Это хозяин ранчо, он пишет книги. Как поживаете, мистер Эндикот?—крикнул я вниз.

— Хэлло!—ответил он.—Что вы здесь делаете?

— Мы убежали из приюта.

— Желаю удачи,—сказал он.—Но постарайтесь вернуться засветло.

— Но ведь мы взаправду сбежали,—ответил я.

Тут они оба рассмеялись.

— Ну что ж, прекрасно! Все равно, желаю удачи! Только смотрите, чтобы вас не съели пумы и медведи, когда стемнеет.

И они со смехом усаkali прочь. «Напрасно он сказал про медведей и пум»,—подумал я.

Как только мы миновали опасное место, я тотчас разыскал тропинку, и мы пошли гораздо быстрее. Чарли раздумал устраивать припадок, он смеялся и без умолку болтал о золотой жиле. Труднее всего приходилось теперь с маленьким Альбертом. Ведь он был чуть не с меня ростом. Я привык звать его маленьким, а он уже давным-давно вырос. Он был до того тяжелый, что я с трудом поспевал за Джо и Чарли. Я изнемогал от усталости и предложил нести его по очереди, но они отказались. Тогда я сказал, что брошу их, они заблудятся и их съедят пумы и медведи. Чарли задрожал, словно собирался забиться в припадке, а Джо сказал: «Давай его мне». После этого мы несли маленького Альберта по очереди.

Мы продолжали карабкаться на гору. Я не думаю, чтобы там была золотая жила, но мы все равно могли бы напасть на нее, если бы не сбились с пути, если бы не стемнело и если бы мы не выбились из сил, потому что тащили Альберта. Многие припадочные боятся темноты, и Джо заявил, что у него сию же минуту начнется припадок. Но припадок не начался. Никогда не встречал такого невезучего парня: только он вздумает устроить припадок, и пиши пропало—ничего не получится. А другим закатить припадок—раз плюнуть.

Мало-помалу стемнело, нам хотелось есть, а костра развести мы не могли. Дело в том, что тронутым не дают в руки спичек, и нам ничего не оставалось, как дрожать от холода. Кто бы мог подумать, что мы захотим есть? Ведь тронутые живут на всем готовом. Вот почему куда как лучше быть тронутым, чем самому зарабатывать себе на пропитание.

Тишина! Вот что было самое страшное. Страшнее ночной тишины разве только ночные шорохи. Они были повсюду—шорохи и снова тишина, тишина и снова шорохи. Должно быть, то были кролики, но они шуршали в кустах, словно дикие звери—эдак, знаете: пш-пш, тум-бум, крэк-крэк. Сперва начался припадок у Чарли—на этот раз настоящий. Потом забился Джо. Я не против припадков, если только они случаются в приюте, когда кругом полным-полно народу. Но в лесу, когда темно, хоть глаз выколи,—это совсем другое.

Послушайтесь моего совета: никогда не пускайтесь на поиски золотой жилы в компании эпилептиков, даже если они эпилептики высшего разряда.

То была ужасная ночь. В короткие промежутки, когда Чарли и Джо не бились в припадке, они притворялись, будто он вот-вот начнется; они дрожали от холода, а в темноте я принимал эту дрожь за новый приступ. У меня тоже зуб на зуб не попадал, и мне казалось, что я сам с минуты на минуту забьюсь в припадке. Маленький Альберт до того проголодался, что только жалобно мычал. Ни разу не видел я его в таком плохом состоянии. Левый глаз его дергался так сильно, что я опасался, как бы он вовсе не выскочил. В темноте я не мог этого разглядеть, но по тому, как Альберт ерзал и мычал, догадывался, что это так. Джо валялся под кустом и непрерывно ругался, а Чарли хныкал и просился обратно в приют.

Мы все же не умерли в ту ночь, и как только забрезжило утро, отправились прямехонько домой. Маленький Альберт стал еще тяжелее. Видели бы вы, как разбушевался доктор Уилсон! Он сказал, что я самый скверный и непослушный парень в приюте. Да и Чарли с Джо, по его словам, недалеко от меня ушли. Но мисс Страйкер, тогдашняя няня в палате слабоумных, обняла меня и заплакала от радости, что я вернулся. Я подумал, что, может быть, женюсь на ней. Но не прошло и месяца, как она выскочила замуж за водопроводчика, который приехал из города устанавливать трубы в нашем новом лазарете. А маленький Альберт до того измучился, что у него целых два дня не дергался левый глаз.

Когда я убегу в следующий раз, то отправлюсь прямиком на эту гору. Но чтобы взять с собой эпилептиков—ни за что. Они никогда не излечиваются, и если испугаются чего-нибудь или придут в возбуждение, то сразу закатывают припадок. Однако маленького Альберта я возьму. Я не могу его бросить. А вообще-то говоря, я не собираюсь отсюда бежать. Зачем мне золотая жила, если мне и здесь хорошо! И я слышал, что должна приехать новая няня. К тому же маленький Альберт уже перерос меня, и я не смогу перенести его через гору. А он все растет—не по дням, а по часам. Просто удивительно!



Как аргонавты¹ в старину...

Летом 1897 года семейство Таруотеров не на шутку всполошилось. Дедушка Таруотер, который, казалось, окончательно покорился своей судьбе и сидел смиренхонько почти полных десять лет, вдруг снова будто с цепи сорвался. На сей раз это была клондайкская горячка. Первым и неизменным симптомом таких припадков было у него то, что он начинал петь. И пел он всегда одну песню, хотя помнил из нее только первую строфу, да и то всего три строчки. Стоило ему хриплым басом, превратившимся с годами в надтреснутый фальцет, затянуть:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым Руном,—

и все семейство уже знало, что ноги у него так и зудят, а мозг сверлит всегдашняя бредовая идея.

Десять лет назад он запел свой гимн, исполнявшийся на мотив «Слава в вышних богу», когда схватил патагонскую золотую горячку. Многочисленное семейство дружно на него насело, но справиться с дедушкой Таруотером было не так просто. Когда все попытки его образумить оказались напрасными, родные решили напустить на старика адвоката, установить над ним опеку и засадить его в сумасшедший дом—мера вполне уместная в отношении человека, который четверть века назад ухитрился спустить в рискованных спекуляциях огромные владения в Калифорнии, сохранив всего какой-то жалкий десяток акров, и с той поры не выказывал никакой деловой сообразительности. Угроза призвать адвокатов подействовала на Джона Таруотера как хороший горчичник, ибо, по его глубокому убеждению, именно стараниями этих господ, умеющих драть с человека три шкуры, он и лишился всех своих земельных богатств. Немудрено поэтому, что в пору

¹ Аргонавты—греческие герои, совершившие на сказочном корабле «Арго» плавание в Колхиду за Золотым Руном. В основе этого предания лежат исторические факты.

патагонской горячки¹ одной мысли о столь сильно действующем средстве оказалось достаточно, чтобы его излечить. Он мгновенно оправился от горячки и согласился ни в какие Патагонии не ехать, чем и доказал, что находится в здравом уме и твердой памяти.

Но вслед за тем старик совершил поистине безумный поступок, передав родным по дарственной свои десять акров земли, воды, дом, сарай и службы. К этому он присовокупил бережно хранимые в банке восемьсот долларов—все, что ему удалось спасти от бывшего богатства. Тут, однако, близкие не нашли нужным заключать сго в сумасшедший дом, сообразив, что это лишило бы дарственную законной силы.

— Дедушка, видать, дуется на нас,—сказала старшая дочь Таруотера, Мери, сама уже бабушка, когда отец бросил курить.

Старик оставил себе только пару старых кляч, тарайку и свою отдельную комнатку в переполненном доме. Больше того, заявив, что не желает быть ничем обязанным детям, он подрядился дважды в неделю возить почту из Кельтервила через гору Таруотер в Старый Альмаден, где в нагорном скотоводческом районе находились ртутные разработки. На своих клячах ему только-только хватало времени обернуться. И десять лет кряду, и в дождь и в ведро, он исправно дважды в неделю доставлял почту. Столь же аккуратно каждую субботу вручал он Мери деньги за стол. Отделавшись от патагонской горячки, он настоял на том, чтобы платить за свое содержание, и пунктуальнейшим образом вносил деньги, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.

Мысли свои на этот счет старик поверял только ветхому колесу старой таруотерской мельницы, которую он собственноручно поставил из росшего здесь мачтового леса. Она молола пшеницу еще для первых поселенцев.

¹ Патагонская горячка...—В конце XIX века возникли ложные слухи о богатых залежах золота в Патагонии (Южная Америка), которые стали причиной искусственного оживления на американской бирже. В Патагонию хлынули тысячи золотоискателей.

— Э-э!— говорил он.— Пока я сам себя могу прокормить, они не упрячут меня в богадельню. А раз у меня теперь нет ни гроша, никакой мошенник-адвокат не пожелает сюда по мою душу.

И вот, поди ж ты, за эти именно весьма разумные поступки Джона Таруотера стали почитать в округе полоумным!

Впервые он запел «Как аргонавты в старину» весной 1849 года, когда, двадцати двух лет от роду, заболев калифорнийской горячкой, продал двести сорок акров земли в Мичигане, из которых сорок уже были расчищены, на все вырученные деньги купил четыре пары волов и фургон и пустился в путь через прерии.

— В Форте Холл мы разделились: часть переселенцев повернула на север к Орегону, а мы двинулись на юг, в Калифорнию,—так он неизменно заканчивал свой рассказ об этом тяжелом переходе.— И в долине Сакраменто, где Каш Слу, мы с Биллом Пингом в кустарниках ловили арканом серых медведей.

Долгие годы он занимался извозом, промыслом золота, пока наконец на деньги, вырученные от продажи своей доли в прииске Мерсед, не обосновался в округе Сонома, удовлетворив таким образом присущую веку и унаследованную от отцов и дедов ненасытную жадность к земле.

Все десять лет, что старик развозил почту в Таруотерском районе, вверх по долине реки Таруотер и через Таруотерский хребет—территория, некогда почти целиком входившая в его владения,—он мечтал вернуть эти земли, прежде чем ляжет в могилу. И вот теперь, распрямив согбенное годами большое костлявое тело, с вдохновенным пламенем в крохотных, близко посаженных глазках, старик опять запел во все горло свою старую песню.

— Ишь, заливается... слышите?—сказал Уильям Таруотер.

— Совсем спятил старик,—посмеялся поденщик Хэррис Топпинг, муж Энни Таруотер и отец ее девяти детей.

Дверь отворилась, и на пороге кухни показался дедушка Таруотер; он ходил задать корм лошадям. Песнь оборвалась, но Мери была в тот день не в духе,

потому что обварила себе руку, и потому, что внучонка, которого начали прикармливать разбавленным по всем правилам коровьим молоком, слабило.

— Пой не пой, ничего у тебя не выйдет, отец,— накинулась она на старика.— Прошло времечко, когда ты мог очертя голову скакать в какой-нибудь Клондайк, пением-то ведь сыт не будешь.

— А я вот голову даю на отсечение, что добрался бы до Клондайка и накопал столько золота, что хватило бы выкупить таруотерскую землю,—спокойно возразил он.

— Старый дуралей!—буркнула себе под нос Энни.

— Меньше чем за триста тысяч да еще с лишком ее не выкупишь,—пытался образумить отца Уильям.

— Вот я и добыл бы триста да еще с лишком, только бы мне туда попасть,—невозмутимо возразил дедушка Таруотер.

— Слава богу, что туда не дойти пешком, а то вмиг бы отправился; знаю я тебя,—крикнула Мери.—Ну, а парходом стоит денег.

— Когда-то у меня были деньги,—смирненно заметил старик.

— А теперь у тебя их нет, так что и толковать не о чем,—сказал Уильям.—Прошло то времечко. Когда-то ты с Биллом Пингом медведей арканом ловил. А теперь и медведи все перевелись.

— Все равно...

Но Мери не дала ему договорить. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед самым носом своего престарелого родителя.

— А ты читал, что рассказывают тамошние золотоискатели? Вот оно черным по белому написано. Только молодые да сильные выдерживают. На Клондайке хуже, чем на Северном полюсе. Сколько их там погибло! Взгляни-ка на портреты. А ты лет на сорок старше самого старого из них.

Джон Таруотер взглянул, но сейчас же уставился на другие снимки на той же испещренной кричащими заголовками первой странице.

— А ты взгляни, какие они оттуда самородки привезли,—сказал он.—Уж я-то знаю толк в золоте. Худобедно, двадцать тысяч добыл из Мерседы? Кабы ливень

не прорвал мою запруду, так и все бы сто добыл. Попасть бы только в Клондайк...

— Как есть рехнулся,—чуть ли не в глаза старику бросил Уильям.

— Это ты про отца родного!—мягко пожурил его старик Таруотер.—Посмел бы я сказать такое твоему деду, он бы мне все кости переломал вальком.

— Да ты и в самом деле рехнулся...—начал было Уильям.

— Может, ты и прав, сынок. А вот дед твой, тот был в здравом уме и не потерпел бы такого.

— Дедушка, видно, начитался в журналах про людей, которые разбогатели, когда им уже за сорок перевалило,—с насмешкой сказала Энни.

— А почему бы и нет, доченька?—возразил старик.—Почему бы человеку и после семидесяти не разбогатеть? Мне-то семьдесят ведь только нынешний год стукнуло. Может, я бы и разбогател, кабы в этот самый Клондайк попал.

— Так ты туда и не попадешь,—срезала его Мери.

— Ну что ж, нет так нет,—вдохнул он,—а раз так, можно, пожалуй, и на боковую.

Старик встал из-за стола, высокий, тощий, мосластый и корявый, как старый дуб,—величественная развалина крепкого и могучего когда-то мужчины. Косматые волосы и борода его были не седые, а белоснежные, на огромных узловатых пальцах торчали пучки белой щетины. Он пошел к двери, отворил ее, вдохнул и остановился, оглядываясь на сидящих.

— А все-таки ноги у меня так и зудят, так и зудят,—пробормотал он жалобно.

На следующее утро дедушка Таруотер, засветив фонарь, покормил и запряг лошадей, сам позавтракал при свете лампы и, когда все еще в доме спали, уже трясся вдоль речки Таруотер по дороге в Кельтервил. Два обстоятельства были необычны в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу сорок раз с тех пор, как подрядился возить почту. Первое—то, что, выехав на шоссе, старик повернул не к Кельтервилу, а на

юг, к Санта-Роса. А второе — что уже и вовсе странно — у него был зажат между коленями бумажный сверток. В свертке находилась его единственная еще приличная черная пара; которую Мери давно уже не приказывала ему надевать, не оттого, как догадывался он, что сюртук очень обносился, а потому, что дочь считала одежду достаточно еще приличной, чтобы отца в ней похоронить.

В Санта-Роса, в третьеразрядной лавке подержанного платья, он, не торгуясь, продал пару за два с половиной доллара. Тот же услужливый лавочник дал ему четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади и шарабан пошли за семьдесят пять долларов; правда, наличными он получил всего двадцать пять. Встретив на улице Алтона Грэнджера, которому он никогда не поминал раньше про взятые им еще в семьдесят четвертом году десять долларов, Таруотер теперь напомнил ему о долге и тотчас получил деньги. Старик перехватил доллар даже у известного всему городу горького пьяницы, который, как это ни удивительно, оказался при деньгах и с радостью ссудил человека, не раз угощавшего его виски в дни своего благоденствия, — после чего с вечерним поездом Таруотер отбыл в Сан-Франциско.

Две недели спустя с тощим вещевым мешком за плечами, где лежали одеяла и кое-какая теплая одежка, старик высадился на берег Дайи в самый разгар клондайкской горячки. На берегу стоял сущий содом. Тут было сложено в кучи и разбросано прямо на песке не меньше десяти тысяч тонн всяких припасов и снаряжения, вокруг которых металось два десятка тысяч пререкавшихся и оравших во всю глотку людей. Цена за доставку груза через Чилкутский перевал к озеру Линдерман сразу подскочила: вместо шестнадцати центов за фунт индейцы запрашивали теперь тридцать, что составляло шестьсот долларов за тонну. А полярная зима была уже не за горами. Все это знали, и каждый прекрасно понимал, что из двадцати тысяч приезжих лишь очень немногие переберутся через перевалы, остальным же предстоит зазимовать в ожидании нескорой весенней оттепели.

Вот на этот-то берег и ступил старый Джон, миновал его, мурлыча под нос свою песенку, с ходу направил стопы прямо вверх по тропе к перевалу, как древний аргонавт, не заботясь о снаряжении, потому что снаряжения у него никакого и не было. Ночь он провел на косе в пяти милях вверх по течению Дайи; выше этого места уже нельзя было плыть даже на каноэ. Река, бравшая свое начало от высокогорных ледников, вырывалась здесь из мрачного ущелья и превращалась в бурный поток.

И здесь рано утром он был свидетелем того, как щупленький человек, не более ста фунтов весом, шатаясь под тяжестью привязанного за плечами стофунтового мешка с мукой, опасливо переправлялся по бревну. Видел он и то, как человечек сорвался с бревна, упал вниз лицом в тихую протоку, где не было и двух футов глубины, и преспокойно стал тонуть. Ему вовсе не хотелось так легко расстаться с белым светом; просто мешок, весивший столько же, сколько и он сам, не давал ему подняться.

— Спасибо, старина,— сказал он Таруотеру, когда тот помог ему встать на ноги и выкарабкаться на берег.

Расшнуровывая башмаки и выливая из них воду, незнакомец разговорился, затем вытащил золотой и протянул его своему спасителю.

Но старик Таруотер, у которого зуб на зуб не попадал после ледяной ванны, отрицательно покачал головой:

— Вот по-приятельски с тобой перекусить, пожалуй, не откажусь.

— Ты что, еще не завтракал?— с явным любопытством оглядывая Таруотера, спросил человечек, который назвался Энсоном и которому на вид было лет сорок.

— Маковой росинки во рту не было,—признался Джон Таруотер.

— А где ж твои припасы, отец? Впереди?

— Нету у меня никаких припасов.

— Думаешь купить продовольствие на месте?

— Не на что покупать, дружище, денег нету ни цента. Да это не важно, мне бы сейчас вот перехватить чего-нибудь горяченького.

В лагере Энсона—примерно в четверти мили дальше—Таруотер увидел долговязого рыжебородого мужчину лет тридцати; он, чертыхаясь, тщетно пытался разжечь костер из сырого тальника. Представленный как Чарльз, молодой человек всю свою злость перенес на старика и сердито посмотрел на него исподлобья, но Таруотер, делая вид, что ничего не заметил, занялся костром: рыжебородый умудрился наложить камней с подветренной стороны. Таруотер откинул их, утренний ветерок усилил тягу, и вскоре вместо валившего от тальника дыма запылал огонь. Тут подоспел и третий их компаньон, Билл Уилсон, или Большой Билл, как прозвали его товарищи, с тюком в сто сорок фунтов весом, и Чарльз подал весьма скверный, по мнению Таруотера, завтрак. Каша сверху не проварилась, а снизу подгорела, бекон обуглился, кофе больше походил на поmoi.

Наспех проглотив завтрак, трое компаньонов забрали лямки и отправились назад по тропе примерно за милю, к месту последней стоянки, чтобы перетащить остатки своего добра. Но и старик Таруотер тоже не сидел сложа руки. Он почистил котел, вымыл миски, натаскал валежника, зашил порванную лямку, наточил кухонный нож и лагерьный топорик и по-новому увязал кирки и лопаты, чтобы ловчее было нести.

За завтраком старика поразило, что Энсон и Большой Билл почему-то с особым почтением относятся к Чарльзу. И когда Энсон, принеся очередной стофунтовый тюк, сел передохнуть, Таруотер издали завел об этом разговор.

— Видишь ли,—ответил Энсон,—мы поделили между собой обязанности. У нас у каждого своя специальность. Я вот, к примеру, плотник. Когда мы доберемся до озера Линдерман, навалим лесу и распилим на доски, постройкой лодки распоряжаться буду я. Большой Билл—шахтер и лесоруб. Так что он будет вести разделку леса и всем, что касается добычи. Больше половины нашего груза уже на перевале. Мы все деньги спустили индейцам, чтобы подтащить хоть эту часть на Чилкут. Наш четвертый компаньон сейчас там и пока один перетаскивает снаряжение вниз. Его зовут Ливер-

пул. Он—моряк. Так вот, когда построим лодку, всем переходом по озерам и рекам до самого Клондайка командовать будет он.

— А Чарльз? Этот Мистер Крейтон, по какой он части?

— Он у нас за коммерсанта и распорядителя. Когда до этого дойдет, он будет заправлять всеми делами.

— Н-да...—задумчиво протянул Таруотер.—Вам повезло! Компания подобралась всех мастей!

— Еще как повезло-то,—простодушно согласился с ним Энсон.—И ведь все, понимаешь, вышло случайно. Отправлялись каждый сам по себе, в одиночку. А на пароходе, когда шли из Сан-Франциско, познакомились и решили ехать артелью... Ну, мне пора, не то Чарльз, чего доброго, начнет меня шпынять, что я не управляюсь со своей долей груза. А как мне, мозгляку, который весит всего-то сто фунтов, сравняться с детиной в сто шестьдесят!

Притащив в лагерь еще один тюк и заметив, как ловко старик все там прибрал и устроил, Чарльз сказал Таруотеру:

— Хочешь, оставайся, приготовишь нам чего-нибудь к обеду.

И Таруотер состряпал обед на славу, перемыл всю посуду, а к ужину подал великолепную свинину с бобами и испек в сковороде такой восхитительный хлеб, что трое компаньонов объелись и чуть не полегли костью. Вымыв посуду после ужина, он нащепал лучины, чтобы утром не канителиться с костром и побыстрее приготовить завтрак, показал Энсону, как нужно обуваться, чтобы не стирались ноги, спел «Аргонавты в старину» и рассказал им о великом переходе через прерии в сорок девятом году.

— Убей меня бог, это первый порядочный привал с тех пор, как мы высадились,—сказал Большой Билл, выбивая трубку и принимаясь стаскивать башмаки на ночь.

— Так-то вроде лучше будет, ребята, а?—добродушно спросил Таруотер.

Все утвердительно кивнули.

— Тогда, ребятаки, у меня к вам есть предложение. Хотите—принимайте его, хотите—нет, а уж выслушать извольте. Вам нужно торопиться попасть на место до ледостава. А один из вас половину времени тратит на стряпню, вместо того чтобы таскать груз. Если я буду на вас стряпать, дело у вас пойдет веселее. И еда будет получше, а с хорошей еды работа спорится. Между делом и я подсоблю с переноской, и побольше, чем вы думаете; не смотрите, что старик,—силенка еще есть.

Большой Билл и Энсон одобрительно было закивали головой, но Чарльз их опередил.

— А что ты за это хочешь?—осведомился он у старика.

— Это уж как все решат.

— Так дела не делаются, твое предложение, тебе и условия ставить,—отчитал его Чарльз.

— Я вот как думал...

— Небось, хочешь, чтобы мы тебя всю зиму кормили?—перебил Чарльз.

— Какое там! Мне бы только добраться до Клондай-ка на вашей лодке, и на том великое спасибо.

— Да ведь у тебя нет никаких припасов, старик. Ты с голоду там померешь.

— Кормился же я как-то до сих пор,—отвечал Таруотер, и в глазах его зажглись лукавые огоньки.—Вон уж семьдесят стукнуло, а с голоду не помер.

— А подпишешь бумагу, что по прибытии в Доусон обязуешься сам заботиться о своем пропитании?—деловито осведомился Чарльз.

— Почему не подписать, подпишу,—отвечал старик.

Но Чарльз опять не дал товарищам выразить свое удовлетворение состоявшейся сделкой.

— И вот что еще, старик. Нас ведь четверо компаньонов, такие вопросы мы обязаны решать сообща. Впереди с главным грузом Ливерпул, он хоть и молодой, но согласие его тоже требуется, раз его сейчас здесь нет.

— А что он за человек?—полюбопытствовал Таруотер.

— Моряк. Сорвиголова и буян. Характер у него неважный.

— Да, горяченек,— подтвердил Энсон.

— А уж сквернослов и богохульник, страсть какой!— удостоверил Большой Билл. Однако тут же добавил:— Но справедлив, этого у него не отнимешь.

Энсон одобрительно закивал, присоединяясь к похвале.

— Ну что ж, ребята,— сказал Таруотер.— В свое время я отправился в Калифорнию и добрался до нее. Доберусь и до Клондайка. Сказал, доберусь—и доберусь. И свои триста тысяч из земли добуду, это тоже верно. Как сказал, так оно и будет, потому деньги мне позарез нужны. А дурного характера я не боюсь, лишь бы парень был честный да справедливый. Попытаю счастья, пойду с вами, пока его не нагоним. А уж если он откажет, что ж, внакладе останусь я один. Только мне не верится, чтобы он отказал. До ледостава остались считанные дни, да и поздно мне искать другой оказии. А уж раз я до Клондайка непременно доберусь, значит, нипочем он мне не откажет.

Старый Джон Таруотер вскоре стал одной из самых примечательных фигур на Клондайкской тропе, где путникам никак нельзя было отказать в своеобразии и красочности. Тысячи людей, которым приходилось отмерять каждую милю пути раз по двадцать, чтобы на своем горбу доставить до места полтонны груза, уже знали его в лицо и, встретив, дружески называли «Дедом Морозом». И всегда старик дребезжащим от старости фальцетом пел за работой свой гимн. Три спутника Таруотера не могли на него пожаловаться. Пусть суставы его плохо гнулись—он не отрицал, что у него небольшой ревматизм,— пусть двигался он медленно, с хрустом и треском, зато он был неустанно в движении. Спать он укладывался последним и вставал раньше всех, чтобы еще до завтрака напоить товарищей кружкой горячего кофе, прежде чем они с первым тюком отправятся к новой стоянке. А между завтраком и обедом и обедом и ужином он всегда ухитрялся и сам перетащить тюк-другой груза. Однако не больше чем в шестьдесят фунтов весом. Это был его предел. Он мог взвалить на себя и семьдесят пять фунтов, но тогда очень скоро сдавал. А один раз, попытавшись дотащить тюк в

девяносто фунтов, свалился на тропе и потом несколько дней чувствовал противную дрожь и слабость в ногах.

Труд, неустанный труд! На тропе, где даже привычные к тяжелой работе мужчины впервые узнавали, что такое труд, никто соразмерно со своими силами не трудился больше, чем старик Таруотер. Подгоняемые страхом перед близостью зимы, подхлестываемые страстной жадной золотом, люди работали из последних сил и падали у дороги. Одни, когда неудача становилась явной, пускали себе пулю в лоб. Другие сходили с ума. Третьи, не выдержав нечеловеческого напряжения, порывали с компаньонами и ссорились насмерть с друзьями детства, которые были ничем их не хуже, а только так же измучены и озлоблены, как и они.

Труд, неустанный труд! Старик Таруотер мог посрамить их всех, несмотря на треск и хруст в суставах и мучивший его сухой кашель. С раннего утра и до позднего вечера, на тропе и в лагере, он всегда был на виду, всегда что-то делал и всегда по первому зову «Дед Мороз» с готовностью откликался. Как часто усталые путники, прислонив к сваленному дереву или выступу скалы рядом с его тюком и свои, присили:

— А ну-ка, дед, спой нам песенку о сорок девятом годе.

И когда Таруотер, тяжело дыша, исполнял их просьбу, снова взваливали на себя поклажу, говорили, что ничто так не подымает дух, и шли дальше.

— Если кто честно заработал свой проезд,— сказал как-то Большой Билл компаньонам,— так это наш старикан.

— Что верно, то верно,— подтвердил Энсон.— Для нас он просто находка, и я лично не прочь бы принять его в нашу артель на полных правах...

— Еще чего?— вмешался Чарльз Крейтон.— Приедем в Доусон— и до свидания, как уговорились. Какой смысл тащить с собой старика, чтобы его там похоронить. А кроме всего прочего, здесь ждут голода, и каждый сухарь будет на счету. Не забывайте, что нам придется всю дорогу кормить его из своих запасов. Так что если в будущем году нам нечего будет кусать,

пеняйте на себя. Пароходы доставляют продовольствие в Доусон к середине июня, а до этого еще девять месяцев.

— Что ж, ты вложил в дело не меньше денег и снаряжения, чем мы все, и имеешь такое же право голоса,— признал Большой Билл.

— И я этим правом воспользуюсь,— заявил Чарльз со всевозрастающим раздражением.— Ваше счастье, что хоть кто-то из вас думает, не то с вашей идиотской жалостью вы все с голоду передохнете. Говорят вам, что будет голод. Здешние порядки мне уже достаточно известны. Мука дойдет до двух долларов за фунт, если не до десяти, да еще ее не достанешь. Вот помяните мое слово.

По осыпям, вверх по мрачному ущелью к Овечьему Лагерю, мимо грозно нависших ледников к Весам и от Весов по крутым уступам отшлифованных ледниками скал, где приходилось карабкаться чуть ли не на четвереньках, старый Таруотер носил тюки, стряпал и пел. Через лежащий высоко над границей леса Чилкут он перевалил вместе с первой осенней метелью. Те, кто уже спустились до неприютного берега озера Кратер и мерзли там, не имея даже хворостинки на костер, услышали из надвигавшейся сверху тьмы призрачный голос, который пел:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым Руном.

И вслед за тем из снежного вихря выступила длинная, сухопарая фигура с развевающимися космами белоснежных, как сама метель, бакенбард, согнувшаяся под тяжестью шестидесятифунтового мешка с лагерными пожитками.

— Дед Мороз!— приветствовали его восторженно.— Ура Деду Морозу!

В двух милях от озера Кратер расположен Счастливый Лагерь, прозванный так потому, что здесь проходит верхняя граница леса и путники могут наконец обо-

греться у костра. Впрочем, растущие здесь карликовые горные ели лишь с большой натяжкой могут быть названы лесом, ибо даже самые могучие их экземпляры подымают свою крону всего лишь на фут выше мха, а стволы наподобие портулака скручиваются и вьются подо мхом. Здесь, на тропе, ведущей в Счастливый Лагерь, в первый за всю неделю солнечный день, старый Таруотер, прислонив мешок к огромному валуну, остановился перевести дух. Тропа огибала валун, и мимо старика в одну сторону медленно шагали люди, нагруженные кладью, а обратно спешили другие, налегке, за новым грузом. Дважды пытался Таруотер взвалить мешок на спину и тронуться в путь, и оба раза дрожь в ногах заставляла его прислоняться к камню и ждать, пока не прибудет сил. За валуном раздались приветственные возгласы. Он услышал голос Чарльза Крейтона и понял, что наконец-то они встретились с Ливерпулом. Чарльз сразу же заговорил о деле, и Таруотер от слова до слова слышал, как Чарльз нелестно отозвался о нем и о его, Таруотера, предложении довести его до Доусона.

— Дурацкое предложение,— заключил Ливерпул, выслушав Чарльза.— Везти к черту на рога дряхлого семидесятилетнего деда! Если он еле ноги таскает, какого дьявола вы с ним связались? А как же голод? Ведь к тому идет. Тогда каждая щепотка муки самим нужна будет. Запасались-то мы на четверых, а не на пятерых.

— Да ты не волнуйся. Все это очень просто уладить,— услышал Таруотер, как Чарльз успокаивал компаньона.— Старый чудак согласился подождать, пока мы тебя не нагоним, и за тобой остается последнее слово. Так что тебе нужно только упереться и сказать «не хочу».

— Выходит, ты предлагаешь мне отказать старику после того, как вы его обнадежили и пользовались его услугами от самой Дайи?

— Путь тяжелый, и надо быть мужчиной, если хочешь дойти,— оправдывался Чарльз.

— А я, значит, из-за вас подлость делаю? — проворчал Ливерпул.

У Таруотера упало сердце.

— Ничего не попишешь,— сказал Чарльз.— Тебе решать.

Но тут старый Таруотер опять воспрянул духом, ибо воздух потряс неистовый циклон брани, среди которой можно было разобрать такие фразы:

— Ах, подлецы... Сперва я вас самих к дьяволу упеку... Я принял решение. Линек вам поперек!.. Старик пойдет с нами по Юкону, заруби себе на носу, голубчик... Мужчина? Я тебе покажу, что значит быть мужчиной!.. Я ни на что не посмотрю, если вы вздумаете отделаться от старика... Только попробуйте, я такое тут светопреставление устрою, что вам небо с овчинку покажется.

И такова была живительная сила этого словоизвержения Ливерпула, что старик, даже не сознавая того, что делает, легко взвалил на плечи свою ношу и бодро зашагал к Счастливному Лагерю.

Весь путь от Счастливого Лагеря к Долгому озеру, от Долгого озера к Глубокому и от Глубокого вверх, через крутой горный хребет, и вниз к Линдерману продолжалась гонка не на жизнь, а на смерть с наступающей зимой. Здоровые мужчины, выбившись из сил, падали в изнеможении и плакали у обочины тропы. Но зима, которой не требовалось ни отдыха, ни передышки, неуклонно надвигалась. Задули пронизывающие осенние ветры, и под проливными дождями и все более частыми снегопадами партия, к которой примкнул Таруотер, свалила наконец последние тюки на берегу озера.

Но отдыхать не пришлось. Со склона горы на противоположной стороне озера с ревом сбежал поток; пройдя с милю вверх по течению, они нашли несколько елей и вырыли яму для пилки леса. Здесь вручную, с помощью продольной пилы, они распиливали бревна на доски. Работали круглые сутки. В ночную смену, работая внизу в яме, старый Таруотер раза три терял сознание. А днем он еще и стряпал и между делом помогал Энсону собирать лодку, по мере того как им подбрасывали сырые доски.

Дни становились все короче. Ветер переменялся и дул теперь с севера, нагоняя непогоду. По утрам

изнуренные путники с трудом выползали из-под одеял и, сидя в одних носках, согревали затвердевшие от мороза башмаки у костра, который Таруотер, встав раньше всех, для них разводил. Слухи о голоде становились все упорнее. Последние суда с продовольствием из Берингова моря застряли из-за мелководья у первых же отмелей Юкона, больше чем на сотню миль севернее Доусона. Они стояли на приколе возле старой фактории Компании Гудзонова залива, в Форте Юкон, по существу, за Полярным кругом. Мука в Доусоне дошла до двух долларов за фунт, но и за эту цену ее нельзя было достать. Короли Бонанзы и Эльдорадо, не знавшие счета деньгам, уезжали в Штаты, потому что не могли купить продуктов. Комитеты золотоискателей конфисковали продовольствие и посадили все население на жесткий паек. Того, кто утаивал хотя бы горстку бобов, пристреливали, как собаку. Десятка два людей уже постигла такая участь.

Между тем нечеловеческое напряжение, сломившее даже более молодых и крепких мужчин, чем Таруотер, начало сказываться на старике. Он все сильнее кашлял, и если бы его измученные товарищи не спали мертвым сном, не дал бы им глаз сомкнуть всю ночь. Его трясло от озноба, и, укладываясь спать, он старался теперь одеться потеплее. Когда бедняга забирался наконец под одеяло, в его вещевом мешке не оставалось даже рваного носка. Всю свою жалкую одежонку, все до последней тряпки, он напяливал на себя или обматывал вокруг своего старого, тощего тела.

— Плохи дела! — заметил Большой Билл. — Если старикан в двадцать градусов выше нуля¹ надевает на себя все тряпки, что же он станет делать потом — при минус пятидесяти или шестидесяти?

Они спустили грубо сколоченную лодку вниз по горному потоку, десятки раз рискуя ее разбить, и в снежную бурю переправились через южную оконечность озера Линдерман. На следующее утро им предстояло погрузиться и плыть прямо на север, совершить опаснейший переход в пятьсот миль по озерам, бурным

¹ По Фаренгейту.

потокам и рекам. Вечером, прежде чем лечь спать, Ливерпул куда-то отлучился из лагеря. Вернулся он, когда все уже спали. Разбудив Таруотера, Ливерпул долго вполголоса с ним беседовал.

— Вот что, отец,— сказал он.— Проезд тебе в нашей лодке обеспечен, и если кто заслужил свое место, так это ты. Но сам понимаешь, годы твои уже не те и здоровьишко твоё тоже не ахти какое. Если поедешь с нами, того и гляди концы отдашь. Постой, отец, не перебивай, дай досказать. За проезд теперь платят по пятьсот долларов. Я тут походил и нашел одного пассажира. Он служащий Аляскинского коммерческого банка и должен во что бы то ни стало попасть в Доусон. Он дает шестьсот долларов, чтобы я его взял в своей посудине. Продай ему свое место, ты его честно заработал, забирай эти шестьсот долларов и сыпь к себе на юг, в Калифорнию, пока еще можно умотать. За два дня доберешься до Дайи, а через неделю будешь в Калифорнии. Что ты на это скажешь?

Таруотер долго кашлял и дрожал, прежде чем мог выговорить слово.

— А вот что я тебе скажу, сыночек,— ответил он.— В сорок девятом я гнал свои четыре упряжки волов через прерии, и хоть бы один у меня издох. Я пригнал их целехонькими в Калифорнию и потом возил на них грузы из Форта Суттера в Америкен Бар. Теперь я еду в Клондайк. Как сказал, так оно и будет. Я поеду в лодке, которую ты поведешь, напрямик до Клондайка и вытрясу там из мха свои триста тысяч долларов. А раз так, то какой же мне смысл продавать мое место? Но большое тебе спасибо, сынок, за заботу, большое спасибо!

Молодой матрос горячо потряс руку старика.

— Ну и молодчина же ты! Ей-ей, отец, поедешь с нами!— воскликнул он и, с откровенным презрением взглянув в сторону храпевшего в рыжую бороду Чарльза Крейтона, добавил:— Такие, как ты, видно, больше не рождаются, отец!

Пятерка золотоискателей упорно пробивалась на север, хотя встречавшиеся им старожилы качали головами и предвещали, что они на озерах неминуемо вмерзнут в лед. Ледостава и в самом деле надо было

ждать со дня на день, и, дорожа каждой минутой, они перестали считаться с опасностью. Так Ливерпул решил проскочить порожистую протоку, соединяющую озеро Линдерман с озером Беннет, не разгружая лодки. Обычно лодки здесь перегоняли порожняком, а груз перетаскивали на себе. Впрочем, немало и пустых лодок разбивалось в щепы. Но теперь прошло время для таких предосторожностей.

— Вылезай, папаша,—приказал Ливерпул перед тем, как оттолкнуться от берега и ринуться вниз по протоке.

Но старый Таруотер покачал белой, как лунь, головой.

— Ну нет, сынок, я остаюсь с вами,—заявил он.—Тогда наверняка проскочим. Видишь ли, я в Клондайк доберусь. И если буду сидеть в лодке—значит, и она дойдет. А вылезу, так, чего доброго, и лодку потеряю.

— Но и перегружать ее не к чему,—ввернул Чарльз и в ту минуту, когда она отчаливала, выпрыгнул на берег.

— В другой раз без команды не вылезать!—крикнул ему вдогонку Ливерпул, в то время как лодку подхватило течение.—Еще чего выдумал, пешком обходить пороги, а мы жди его, теряя время!

И правда, то, что по воде отняло всего каких-нибудь десять минут, заняло у Чарльза целых полчаса. Поджидая его у впадения протоки в озеро Беннет, путники разговорились с кучкой оборванных старожилков, спешивших выбраться отсюда подобра-поздорову. Слухи о голоде не только подтверждались, но становились все тревожнее. Отряд северо-западной конной полиции, стоявший у южной оконечности озера Марш, где золотоискатели переходят на канадскую территорию, пропускал только тех, кто имел с собой не меньше семисот фунтов продовольствия. В Доусоне больше тысячи человек с собачьими упряжками ждали лишь ледостава, чтобы выехать по первопутку. Торговые фирмы не могли выполнять договоров на поставку продовольствия, и компаньоны тянули жребий, кому уезжать, а кому оставаться разрабатывать участки.

— Значит, и толковать больше не о чем,—заявил Чарльз, узнав о действиях пограничной полиции.— Можешь, старик, с тем же успехом сейчас же поворачивать оглобли.

— Полежай в лодку! — скомандовал Ливерпул.— Мы идем в Клондайк, и дедушка идет с нами.

Северный ветер сменился попутным южным, и по озеру Беннет они шли курсом фордевинд¹ под огромным парусом, который смастерил Ливерпул. Тюки со снаряжением и продовольствием служили хорошим балластом, и он выжимал из паруса все, что мог, как и подобает отважному моряку, когда дорога каждая минута. На Оленьей переправе ветер опять как нельзя более кстати отклонился на четыре румба к юго-востоку, погнав их по протоке к озерам Тагиш и Марш. Опасный рукав Уинди-Арм они пересекли на закате, и уже в сумерках, при сильном ветре, тут, на их глазах, опрокинулись и пошли ко дну две другие лодки с золотоискателями.

Чарльз предлагал провести ночь на берегу, но Ливерпул, даже не сбавив хода, повел лодку по Тагишу, определяя направление по шуму прибоя на отмелях и горевшим кое-где вдоль берега кострам менее смелых или потерпевших крушение аргонавтов. Часа в четыре утра он разбудил Чарльза. Окоченевший от холода Таруотер никак не мог уснуть; он заметил, как Ливерпул подозвал к рулю Крейтона, и слышал весь разговор, в котором рыжебородому едва удавалось вставить словечко.

— Вот что, приятель, послушай, что я тебе скажу, а сам попридержи язык,— начал Ливерпул.— Я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу: у деда на заставе не должно быть заминки. Понятно? Никакой заминки. Когда полиция начнет досматривать тюки с продовольствием — пятая часть деда, ясно? На каждого из нас получится меньше, чем положено, но как-нибудь вывернемся. Так вот запомни хорошенько: все должно сойти гладко.

¹ Фордевинд — здесь курс парусного судна, совпадающий с направлением ветра. Словом «фордевинд» называют также поворот на парусном судне, при котором оно переходит линию ветра кормой.

— Если ты думаешь, что я могу донести на старого чудака...— возмущенно начал Чарльз.

— Я ничего подобного не говорил, а вот ты, видать, это думал,— оборвал его Ливерпул.— Но вот что я хочу сказать тебе: что ты думал—мне наплевать, важно то, что ты теперь надумаешь. Сегодня во второй половине дня мы будем у заставы. И надо сделать так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Ну, хватит, надеюсь, ты меня понял.

— Если ты думаешь, что у меня на уме...— начал было Чарльз.

— Послушай,— перебил его Ливерпул.— Что у тебя на уме, я не знаю, да и знать не хочу. Я хочу, чтобы ты наконец понял, что у меня на уме. Если дело сорвется, если полиция отправит деда обратно, я выберу какой-нибудь уголок поживописней, свезу тебя на берег и там так отлуплю, что ты своих не узнаешь. И не мечтай легко отделаться. Поколочу тебя как полагается, как мужчина мужчину, а у меня, сам знаешь, рука тяжелая. Убить не убью, а до полусмерти исколочу, будь уверен.

— Но что я могу сделать?— заскулил Чарльз.

— Только одно. Молить бога! Так горячо молить бога, чтобы полиция пропустила дедушку, что она его пропустит. Больше ничего,— закончил Ливерпул.— А теперь ступай спать.

Они еще не достигли озера Ле-Барж, как земля покрылась пеленой снега, который не сойдет раньше полугода. Труднее стало приставать к берегу, уже обросшему кромкой льда. В устье реки, при впадении ее в озеро Ле-Барж, укрылось не менее сотни судов аргонавтов, задержанных бурей. Уже который день из конца в конец большого озера дул свирепый норд со снегом. Три утра кряду Ливерпул и его спутники вступали в борьбу с ветром, и гонимыми к берегу пенящимися валами, которые захлестывали лодку, покрывая ее ледяной корой. Четверка золотоискателей надрывалась на веслах, а закоченевший Таруотер потому только и остался жив, что непрерывно скалывал лед и выбрасывал его за борт.

И все три дня, доведенные до отчаяния, они вынуждены были бесславно отступать с поля боя и искать прибежища в устье реки. На четвертый день там уже скопилось более трехсот лодок, и все две тысячи аргонавтов хорошо понимали, что, лишь только утихнет шторм, озеро замерзнет. По ту сторону Ле-Баржа быстрые реки еще долго не остановят свой бег, но если лодки сейчас же, не теряя времени, не переправятся на ту сторону, им предстоит на целые полгода вмерзнуть в лед.

— Сегодня пробьемся,— объявил Ливерпул.— Ни за что не повернем обратно. Хоть сдохнем за веслами, а грести будем.

И пробились. К наступлению темноты они дошли до середины озера и гребли всю ночь напролет; ветер понемногу стих, а они все продолжали грести, засыпая за веслами; тогда Ливерпул расталкивал их, и они снова налегали на весла, будто в бесконечном кошмаре. Между тем в вышине одна за другой высыпали звезды, волнение улеглось, и гладкое, словно лист бумаги, озеро постепенно стало затягиваться ледяной корочкой, которая под ударами весел похрустывала, как битое стекло.

А когда забрезжило ясное и холодное утро и они вошли в реку, позади расстилалось сплошное море льда. Ливерпул посмотрел на своего престарелого пассажира: по всему было видно, что старик обессилел и едва жив. Но только моряк повернул лодку к кромке прибрежного льда, чтобы обогреть Таруотера у костра и напоить его чем-нибудь горячим, как Чарльз накинулся на него,—ничего, мол, зря тратить время.

— Это тебе не коммерция,—оборвал его Ливерпул,—так что прошу не в свое дело носа не совать. На воде я командир. Вылезай быстрее да топай за валежником, только не вздумай отделаться одной охапкой, чтобы хватило, слышишь! Я займусь дедушкой. Ты, Энсон, разведешь костер. А ты, Билл, пристрой-ка на носу лодки юконскую печурку. Дедушка немного постарше нашего, пусть сидит у печки и греется до самого Доусона.

Так и сделали, и увлекаемая течением лодка, дымя, как заправский речной пароход, своей двурогой печу-

рочной трубой, проскакивала kloкочущие пороги, крутилась в водоворотах, мчалась по быстринам и горным потокам, все глубже забираясь на север. Притоки Большой и Малый Лосось несли в реку сало, а за порогами всплыл сверкавший, как хрусталь, донный лед. С каждым часом росла кромка льда у берега; там, где течение замедлялось, она достигала уже более ста ярдов ширины. А старик, закутанный во все свое тряпье, сидел у печки и поддерживал огонь. Смело устремляясь вперед, они, боясь ледостава, не могли остановиться ни на минуту, а вслед за кормой лодки двигался и все уплотнялся лед.

— Эй, там, на баке!— время от времени окликал моряк Таруотера.

— Есть на баке!— научился отвечать старик.

— Как же мне, сынок, тебя отблагодарить?— говорил иногда Таруотер, помешивая в печурке и глядя на Ливерпула, который сидел на заледеневшей корме у руля и, похлопывая о колено, отогревал то одну, то другую руку.

— А ты грянь-ка свою геройскую, про сорок девятый год,— был неизменный ответ.

И Таруотер срывающимся по-петушиному голосом запевал свою песнь, как запел ее, достигнув цели, когда лодка сквозь теснящиеся льдины повернула к доусонскому причалу и весь прибрежный Доусон наострил уши, внимая его победному пеану:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За Золотым Руном.

Чарльз все-таки донес, но он сделал это так хитро и осторожно, что никто из его спутников и всего меньше матрос могли что-либо заподозрить. Еще когда они причаливали, он увидел две большие открытые баржи, на которые сгоняли народ; расспросив у людей, он узнал, что это комитет спасения вылавливает и отправляет вниз по Юкону золотоискателей, не имеющих продовольствия. Тут лелеяли, правда, слабую надежду, что последний пароходик из Доусона все же успеет до ледостава отбуксировать баржи к Форту Юкон, где

стояли вмерзшие в лед суда с продовольствием. Как бы то ни было, Доусон по крайней мере избавится от лишних ртов. Чарльз тайком сбегал в комитет спасения и предупредил, что сюда прибыл немощный старик без денег и без продовольствия. Таруотера забрали самым последним, и когда Ливерпул вернулся к лодке, он с берега увидел, как окруженные шугой баржи исчезают за поворотом реки у горы Лосевая Шкура.

Продвигаясь все время среди льдов и благополучно миновав несколько заторов на юконских отмелях, баржи проследовали еще на сто с лишним миль далее к северу и вмерзли в лед бок о бок с продовольственным транспортом. Здесь, за Полярным кругом, Таруотер обосновался на всю долгую арктическую зиму. Кормился он тем, что рубил дрова для пароходной компании. Это занимало у него несколько часов в день, остальное время делать было нечего, и он отлеживался в бревенчатой хижине.

Тепло, покой и сытная пища излечили сухой кашель, и, насколько это возможно в такие преклонные годы, восстановили его силы. Однако еще до рождества, из-за отсутствия свежих овощей, в лагере объявилась цинга, и приунывшие искатели счастья один за другим укладывались в постель и лежали, не вставая, сутками, малодушно пасуя перед этой последней неудачей. Иное дело Таруотер. Не дожидаясь первых признаков цинги, он стал применять лучшее, по его мнению, средство против этой болезни — моцион. На старой фактории в куче хлама он отыскал несколько заржавленных капканов, а у одного из шкиперов попросил на время ружье.

Снарядившись таким образом, он бросил рубить дрова и стал промышлять не ради одного пропитания. Не пал он духом и тогда, когда сам захворал цингой. По-прежнему обходил он свои капканы и пел свою старинную песнь. И ни один пессимист не мог поколебать его твердую уверенность в том, что он вытрясет из мхов Аляски свои триста тысяч долларов.

— Но ведь в здешних местах и золота-то нет, — говорили ему.

— Золото там, где его находят, сынок. Мне ли не знать, ведь я его копал, когда тебя еще на свете не было,

в сорок девятом году, вон когда! — не смущаясь, отвечал Таруотер. — Чем была Бонанза? Долинкой, где лоси паслись. Ни один порядочный золотоискатель туда не заглядывал. А вот намывали же там в лотке по пятьсот долларов и добыли чистых пятьдесят миллионов! А Эльдорадо? Почему знать, может, под этой самой хижинкой или вон за той горой лежат миллионы и только того и ждут, чтобы какой-нибудь счастливчик вроде меня выкопал их из земли.

Однако в конце января с Таруотером приключилась беда. Какой-то крупный зверь, должно быть рысь, попал в один из капканов поменьше и уволок его. Старик погнался было за ним, но повалил сильный снег, и он потерял след зверя, а когда повернул обратно, не нашел и своего следа. В это время года короткий северный день сменяется двадцатичасовым мраком; снег все валил, и в серых сумерках угасающего дня отчаянные попытки Таруотера отыскать дорогу в Форт привели только к тому, что он окончательно заплутался. По счастью, когда в этих краях выпадает снег, всегда становится теплее, и вместо обычных сорока, пятидесяти и даже шестидесяти градусов ниже нуля температура была минус пятнадцать. К тому же Таруотер был тепло одет и в кармане у него лежала полная коробка спичек. Облегчило его положение и то, что на пятый день ему удалось добить подстреленного кем-то лося, который весил больше полутонны. Устроив возле туши подстилку и загородку из хвой, старик приготовился здесь зазимовать, если его не разыщет спасательная партия и не доконает цинга.

Так прошло две недели, но никто его не разыскивал, и цинга явно усилилась. Свернувшись в комок у костра и укрывшись от ветра и холода за своей загородкой из еловых ветвей, Таруотер долгие часы спал и долгие часы бодрствовал. Но, по мере того как им овладевало оцепенение зимней спячки, часы бодрствования все сокращались, становясь не то полудремотой, не то полужабытием. Искра разума и сознания, носившая имя Джона Таруотера, постепенно угасала, погружаясь в недра первобытного существа, сложившегося задолго до того, как человек стал человеком, и в самом процессе развития человека, когда он, первый из зверей, начал

приглядываться к себе и создал начальные понятия добра и зла в страшных, словно кошмар, творениях фантазии, где в образах чудовищ выступали его собственные желания, подавленные запретами морали.

Как горячечный больной временами приходит в себя, так Таруотер просыпался, жарил себе мясо и подкладывал сучья в костер, но все чаще и чаще его одолевала апатия, и в безмятежном забытии он уже не различал, когда грезит наяву и когда — во сне. И тут, в заветных катакомбах неписаной истории человечества, он встретил непостижимых и невероятных, как кошмар или бред сумасшедшего, чудовищ, созданных первыми проблесками человеческого сознания, чудовищ, которые и поныне побуждают людей слагать сказки, чтобы уйти от них или бороться с ними.

Короче говоря, под бременем своих семидесяти лет, один среди пустынного безмолвия Севера, Таруотер, словно курильщик опиума или одурманенный снотворным больной, вернулся к младенческому мышлению первобытного человека. Над съезжившимся в комок у костра Таруотером черной тенью реяла смерть, а он, как его отдаленный предок, человек-дитя, слал мифы и молился солнцу, сам и мифотворец и герой, пустившийся на поиски сказочного и труднодостижимого сокровища.

Либо он добудет сокровище, гласила неумолимая логика этого призрачного царства, либо погрузится в ненасытное море, во всепожирающий мрак, что каждый вечер проглатывает солнце — солнце, которое наутро встает на востоке и сделалось для человека первым символом бессмертия. Но страна заходящего солнца, где он пребывал в своем забытии, была не чем иным, как надвигающимися сумерками близкой смерти.

Как же спастись от чудовища, которое медленно пожирало его изнутри? Он чересчур ослаб, чтобы мечтать о спасении или даже чувствовать побуждение спастись. Действительность для него перестала существовать. И не из глубин его затемненного сознания могла она возродиться вновь. Сказывалось бремя лет, болезнь, летаргия и оцепенение, навеянное окружающим безмолвием и холодом. Только извне могла действительность встряхнуть его, пробудить в нем

сознание окружающего, не то из призрачного царства теней он неприметно скользнет в полный мрак небытия.

И вот действительность обрушилась на него, ударила по его барабанным перепонкам внезапным громким фырканием. Двадцать дней подряд стояли пятидесятиградусные морозы, и все эти двадцать дней ни единое дуновение ветерка, ни единый звук не нарушали мертвой тишины. И как курильщик опиума не сразу может оторвать взгляд от просторных хором своих сновидений и с недоумением оглядывает тесные стены жалкой лачуги, так и старый Таруотер уставил мутные глаза на замершего по ту сторону костра огромного лося с перебитой ногой, который, тяжело дыша, в свою очередь, уставился на него. Животное, как видно, тоже слепо бродило в призрачном царстве теней и пробудилось к действительности, только наткнувшись на догорающий костер.

Таруотер с трудом стянул с правой руки неуклюжую меховую рукавицу на двойной шерстяной подкладке, но тут же убедился, что указательный палец совсем онемел и не может спустить курок. Казалось, прошла вечность, пока он, опасаясь спугнуть зверя, медленно засовывал бессильную руку под одеяло, затем под свою меховую парку и, наконец, за пазуху, под чуть теплую подмышку. Целая вечность прошла, пока к пальцу вернулась подвижность, и Таруотер мог с той же осторожной медлительностью приложить ружье к плечу и нацелиться на стоявшего перед ним лося.

Когда грянул выстрел, один из скитальцев в царстве сумерек рухнул наземь и погрузился во мрак, а другой воспрянул к свету и, шатаясь, как пьяный, на ослабевших от цинги ногах, дрожа от волнения и холода, стал трясущимися руками протирать глаза и озираться на окружающий его реальный мир, который предстал перед ним с головокружительной внезапностью. Таруотер встряхнулся и только тут понял, что долго, очень долго грезил в объятиях смерти. Первое, что он сделал,— это плюнул; слюна еще на лету затрепала: значит, много больше шестидесяти градусов. В тот день спиртовой термометр Форта Юкон показывал семьдесят два градуса ниже нуля, иначе говоря—сто семь градусов

мороза, ибо по Фаренгейту точка замерзания — тридцать два градуса выше нуля.

Медленно, словно ворочая тяжести, мозг Таруотера подсказывал ему, что нужно действовать. Здесь, среди пустынного безмолвия, обитает смерть. Сюда пришли два раненых лося. С наступлением сильных морозов небо прояснилось, и Таруотер определил свое местонахождение: лоси могли прийти только с востока. Значит, на востоке люди — белые или индейцы, неизвестно, но, во всяком случае, люди, которые окажут ему поддержку, помогут пристать к берегу жизни, избежать пучины мрака.

Таруотер взял ружье, патроны, спички, уложил в мешок двадцать фунтов мяса убитого лося — движения его по-прежнему были медленны, но зато он двигался в реальном мире. Засим воскресший аргонавт, прихрамывая на обе ноги, повернулся спиной к гибельному западу и заковылял в сторону животворного востока, где каждое утро вновь восходит солнце...

Много дней спустя — сколько их прошло, он так никогда и не узнал, — грезя наяву, галлюцинируя и бормоча свою неизменную песнь о сорок девятом годе, словно человек, который тонет и из последних сил барахтается, чтобы его не затянула темная глубина, Таруотер вышел на снежный склон и увидел в ущелье, внизу, выходящий дымок и людей, которые, бросив работать, глядели на него. Не переставая петть, он, спотыкаясь, устремился к ним, а когда у него пресеклось дыхание, он умолк, они закричали на все лады: «Смотрите, Николай-чудотворец!.. Борода!.. Последний из моги-кан!.. Дед Мороз!» Они обступили старика, а он стоял неподвижно, не в силах вымолвить слова, и только крупные слезы катились у него по щекам. Он долго беззвучно плакал, потом, будто опомнившись, сел в сугроб, так что его старые кости хрустнули, и из этого удобного положения повалился на бок, облегченно вздохнул и лишился чувств.

Не прошло и недели, как Таруотер уже снова был на ногах и, ковыляя по хижине, стряпал, мыл посуду и хозяйничал у пятерых обитателей ущелья. Настоящие

старожилы-пионеры, люди мужественные и привыкшие к лишениям, они так далеко забрались за Полярный круг, что ничего не слыхали о золоте, найденном в Клондайке. Таруотер первый принес им эту весть. Питались они мясом лосей, олениной, копченой рыбой, дополняя этот почти исключительно мясной стол ягодами и сочными корнями каких-то диких растений, которые заготавливали еще с лета. Они забыли вкус кофе, зажигали огонь с помощью увеличительного стекла, в дорогу брали с собой трут и палочки, как индейцы, курили в трубках засушенные листья, от которых першило в горле и шел невыносимый смрад.

Три года назад они вели разведку к северу от верховьев Коюкука и до самого устья Маккензи на побережье Северного Ледовитого океана. Здесь, на китобойных судах, они в последний раз видели белых людей и в последний раз пополнили свои запасы товарами белого человека, главным образом солью и курительным табаком. Направившись на юго-запад в длительный переход к слиянию Юкона и Поркьюпайна у Форта Юкон, они наткнулись в русле пересохшего ручья на золото и остались тут его добывать.

Появление Таруотера обрадовало золотоискателей, они без устали слушали его рассказы о сорок девятом годе и окрестили его Старым Героем. Отваром из ивовой коры, кислыми и горькими корешками и клубнями, хвойным настоем они излечили старика от цинги, так что он перестал хромать и даже заметно поправился. Не видели они причин и к тому, чтобы лишить старика его доли в богатой добыче.

— Насчет трехсот тысяч поручиться не можем,— сказали они ему как-то утром, за завтраком, перед тем как идти на работу.— Ну, а как насчет ста тысяч, Старый Герой? Заявка тут примерно того стоит, рассыпь, что ни говори, богатая, а участок тебе уже застолбили.

— Спасибо, ребята, большое вам спасибо,— отвечал старик,— могу сказать одно—сто тысяч для начала неплохо, даже совсем неплохо. Конечно, я на этом не останавлиюсь и свои триста тысяч добуду. Ведь я затем сюда и ехал.

Ребята посмеялись, похвалили его упорство, говоря, что, видно, им придется сыскать старику местечко побогаче. А Старый Герой ответил, что, как наступит

весна и он станет бодрей, видно, ему самому придется тут полазить и пошарить.

— Почем знать, может, вон под той горкой,— сказал он, указывая на заснеженный склон холма по другую сторону ущелья,— мох растет прямо на самородках.

Больше он ничего не сказал, но, по мере того как солнце подымалось все выше и дни становились длиннее и теплее, все чаще поглядывал через ручей на характерный сброс посредине склона. И однажды, когда снег почти всюду стаял, Таруотер перебрался через ручей и поднялся к сбросу. Там, где солнце припекало сильнее, земля уже оттаяла на целый дюйм. И вот в одном таком месте Таруотер стал на колени, большой заскорузлой рукой ухватил пучок мха и вырвал его с корнями. Что-то блеснуло и загорелось в ярких лучах весеннего солнца. Он тряхнул мох, и с корней, будто гравий, на землю посыпались крупные самородки — золотое руно, которое оставалось теперь только стричь!

У аляскинских старожилков еще свежа в памяти золотая горячка лета 1898 года, когда из Форта Юкон на новооткрытые прииски Таруотера хлынули толпы народа. И когда старый Таруотер, продав свои акции компании Боуди за чистые полмиллиона, отправился в Калифорнию, он до самой пароходной пристани Форта Юкон ехал на муле по великолепной новой тропе с удобными трактирами для проезжих.

На борту океанского парохода, вышедшего из Сент-Майкла, Таруотер за первым же завтраком обратил внимание на скрюченного цингой седоватого официанта с испитым лицом, который, морщась от боли, подавал ему на стол. Но только еще раз пристально оглядев его с головы до ног, он удостоверился, что это и в самом деле Чарльз Крейтон.

— Что, плохо пришлось, сынок? — посочувствовал Таруотер.

— Уж такое мое счастье,— пожаловался тот, когда узнал Таруотера и они поздоровались.— Из всей нашей компании ко мне одному прицепилась цинга. Чего только я не натерпелся! А те трое живы-здоровы и работают, собираются зимой отправиться на разведку вверх по Белой. Энсон плотничает, зарабатывает двадцать пять долларов в день. Ливерпул валит лес и получает двадцать. Большой Билл, тот работает стар-

шим пильщиком на лесопилке, выгоняет больше сорока в день. Я старался, как мог, да вот цинга...

— Старался-то ты старался, сынок, только можешь ты мало, уж очень коммерция тебе характер испортила, больно ты мужчина черствый да раздражительный. Так вот что я тебе скажу. Хворый—ты не работник. За то, что вы взяли меня с собой в лодку, я уж заплачу капитану за твой проезд, отлеживайся и отдыхай, пока едем. А что думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско?

Чарльз Крейтон пожал плечами.

— Так вот что,—продолжал Таруотер,—пока не наладишь свою коммерцию, для тебя найдется работенка у меня на ферме.

— Возьмите меня к себе управляющим...—сразу оживился Чарльз.

— Ну нет, голубчик,—наотрез отказал Таруотер.—Но другая работа всегда найдется: ямы рыть для столбов, колоть дрова, а климат у нас превосходный...

К возвращению блудного дедушки домашние не преминули заколоть и зажарить откормленного тельца. Но прежде чем сесть за стол, Таруотер пожелал пройтись и оглядеться. Тут, разумеется, все единокровные и богоданные дщери и сыновья непременно пожелали его сопровождать и подобострастно поддакивали каждому слову дедушки, у которого было полмиллиона. Он шествовал впереди, нарочно говорил самые нелепые и несообразные вещи, однако ничто не вызывало возражений у его свиты. Остановившись у разрушенной мельницы, которую он когда-то построил из мачтового леса, он с сияющим лицом глядел на простиравшуюся перед ним долину Таруотер и на дальние холмы, за которыми возвышалась гора Таруотер,—все это он мог теперь снова назвать своим.

Тут его осенила мысль, и, чтобы скрыть веселые огоньки в глазах, он поспешил отвернуться, делая вид, что сморкается. По-прежнему сопровождаемый всем семейством, дедушка Таруотер прошел к ветхому сараю. Здесь он поднял с земли почерневший от времени валеk.

— Уильям,—сказал он,—помнишь наш разговор перед тем, как я отправился в Клондайк? Не может быть, чтобы не помнил. Ты мне тогда сказал, что я рехнулся. А я тебе ответил, что если бы я посмел так разговари-

вать с твоим дедушкой, он бы мне все кости переломал вальком.

— Я только пошутил,— старался вывернуться Уильям.

Уильям был сорокапятилетний мужчина с заметной проседью. Его жена и взрослые сыновья стояли тут же и с недоумением смотрели на дедушку Таруотера, который зачем-то снял пиджак и дал его Мери поддержать.

— Подойди ко мне, Уильям,— приказал он.

Уильям скрепя сердце подошел.

— Надо и тебе, сынок, хоть раз попробовать, чем меня частенько потчевал твой дед,— приговаривал Таруотер, прохаживаясь вальком по спине и плечам сына.— Заметь, я тебя хоть по голове не бью! А вот у моего почтенного родителя нрав был горячий, бил по чему попало... Да не дергай ты локтями! А то по локтю огрею. А теперь скажи, любезный сыночек, в своем я уме или нет?

— В своем!— заорал Уильям благим матом, приплясывая на месте от боли.— В своем, отец. Конечно, в своем!

— Ну то-то же!— наставительно заметил старик и, отбросив валец, стал натягивать куртку.— А теперь пора и за стол.



Содержание

<i>А. Зверев. Джек Лондон: величие таланта и парадоксы судьбы.....</i>	<i>3</i>

РАССКАЗЫ

<i>Белое Безмолвие. Перевод А. Елеонской.....</i>	<i>19</i>
<i>Сын Волка. Перевод Н. Галь.....</i>	<i>29</i>
<i>На Сороковой Миле. Перевод Э. Васильевой.....</i>	<i>45</i>
<i>В далеком краю. Перевод Н. Хуцишвили.....</i>	<i>56</i>
<i>За тех, кто в пути! Перевод А. Елеонской.....</i>	<i>73</i>
<i>Северная Одиссея. Перевод Н. Георгиевской.....</i>	<i>82</i>
<i>Великая загадка. Перевод Р. Облонской.....</i>	<i>114</i>
<i>Дочь Северного сияния. Перевод Т. Озерской.....</i>	<i>129</i>
<i>Закон жизни. Перевод А. Елеонской.....</i>	<i>140</i>
<i>Лига стариков. Перевод Н. Банникова.....</i>	<i>146</i>
<i>Тысяча дюжин. Перевод Н. Дарузес.....</i>	<i>164</i>
<i>Осколок третичной эпохи. Перевод Р. Облонской.....</i>	<i>182</i>
<i>Любовь к жизни. Перевод Н. Дарузес.....</i>	<i>193</i>
<i>Бурый волк. Перевод М. Богословской.....</i>	<i>212</i>
<i>Однодневная стоянка. Перевод Л. Кисловой.....</i>	<i>228</i>
<i>Тропой ложных солнц. Перевод Д. Горбова.....</i>	<i>246</i>
<i>Когда боги смеются. Перевод Н. Волжиной.....</i>	<i>266</i>
<i>Кусок мяса. Перевод Н. Аверьяновой.....</i>	<i>279</i>
<i>Дом Мапуи. Перевод М. Лорие.....</i>	<i>300</i>
<i>Ату их, ату! Перевод Р. Гальпериной.....</i>	<i>322</i>
<i>Страшные Соломоновы острова. Перевод Е. Коржева.....</i>	<i>336</i>
<i>Кулау-прокаженный. Перевод М. Лорие.....</i>	<i>352</i>
<i>Прощай, Джек! Перевод Г. Злобина.....</i>	<i>367</i>

«Алоха Оэ». <i>Перевод М. Абкиной</i>	378
Шутники с Нью-Гиббона. <i>Перевод К. Телятникова</i>	385
Ночь на Гобото. <i>Перевод К. Телятникова</i>	401
Жемчуг Парлея. <i>Перевод Н. Галь</i>	419
Рожденная в ночи. <i>Перевод Н. Емельяниковой</i>	446
Когда мир был юным. <i>Перевод Г. Злобина</i>	462
Под палубным тентом. <i>Перевод И. Гуровой</i>	479
Убить человека. <i>Перевод Н. Емельяниковой</i>	487
Мексиканец. <i>Перевод Н. Ман</i>	502
История, рассказанная в палате для слабоумных. <i>Перевод</i> <i>Н. Будаевой и Э. Шаховой</i>	530
Как аргонавты в старину... <i>Перевод В. Курелла</i>	542

ДЖЕК ЛОНДОН

Сочинения (1)

РАССКАЗЫ

Редактор
Н. А. Галахова

Оформление художника
Р. Р. Вейлерта

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 773

Сдано в набор 18.05.83. Подписано к печати 06.10.83.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,24. Уч.-изд. л. 31,29. Тираж 3400000 экз.
(2-й завод: 250 001—500 000).
Цена в переплете № 4—2 р. 70 к.
Цена в переплете № 7—3 руб.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства ЦК КП Белоруссии,
220041. Минск. Ленинский проспект, 79.
Заказ № 763.

Уважаемые товарищи!

С 1974 года организован сбор макулатуры с одновременной продажей популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Применение макулатуры для производства бумаги дает возможность экономить остродефицитное древесное сырье, значительно уменьшить расходы по производству бумаги.

Использование одной тонны макулатуры позволяет получить 0,7 тонны бумаги или картона, заменить 0,85 тонны целлюлозы или 4,4 кубического метра древесины. Кроме того, при этом сберегаются леса нашей Родины, чистота ее рек, озер, воздушного пространства.

Сбор и сдача макулатуры — важное государственное дело.

*Сдавайте макулатуру
заготовительным организациям!*



2 р. 70 к.